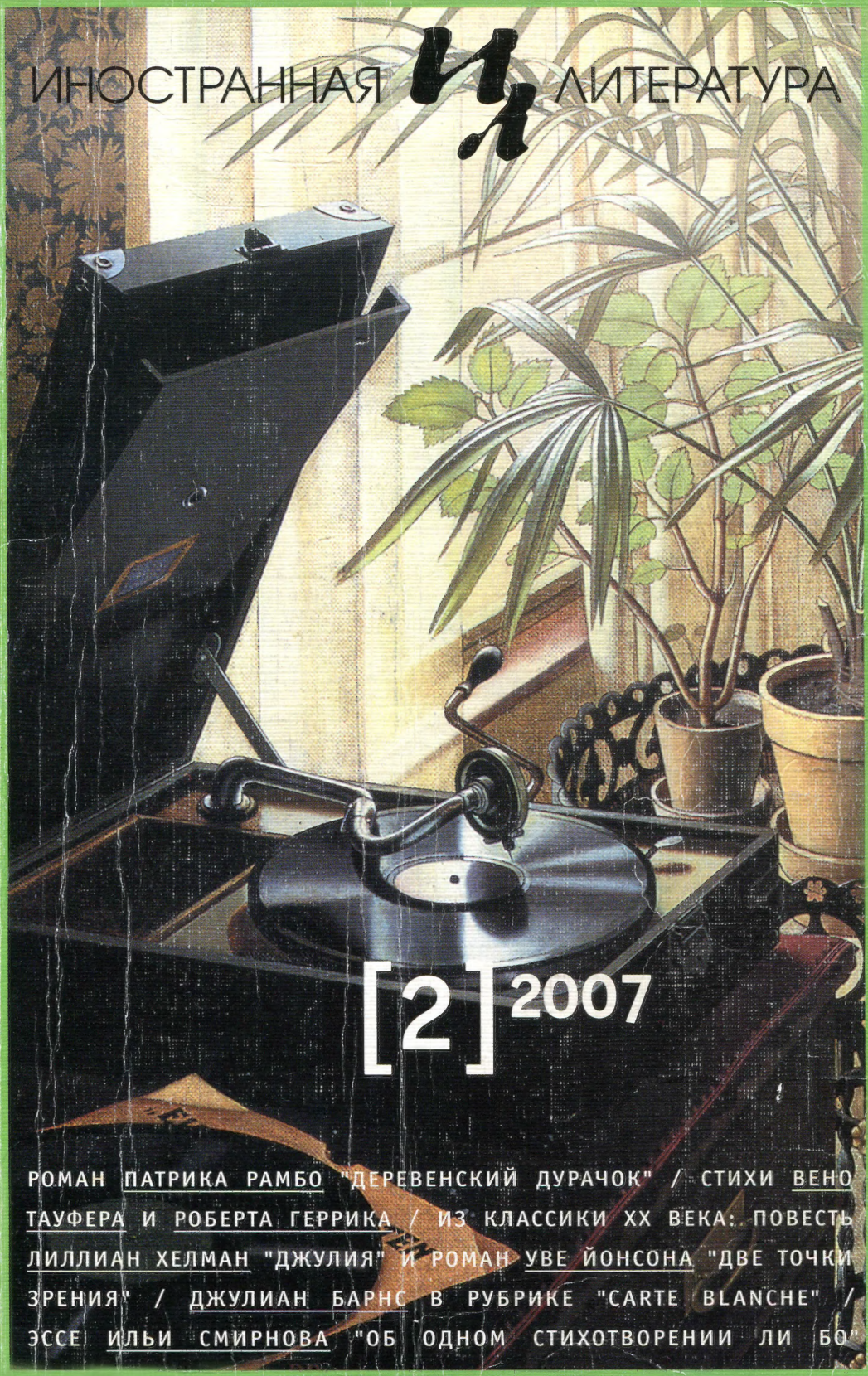
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[2] 2007

РОМАН ПАТРИКА РАМБО "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАЧОК" / СТИХИ ВЕНО ТАУФЕРА И РОБЕРТА ГЕРРИКА / ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА: ПОВЕСТЬ ЛИЛЛИАН ХЕЛМАН "ДЖУЛИЯ" И РОМАН УВЕ ЙОНСОНА "ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ" / ДЖУЛИАН БАРНС В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE" / ЭССЕ ИЛЬИ СМИРНОВА "ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ ЛИ БО"

Основан в 1801 году

[2]
2007

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Патрик Рамбо *Деревенский дурачок.* Роман-вымысел. Перевод с французского Екатерины Кожевниковой

74 Вено Тауфер *"Время когти точит".* Стихи. Перевод со словенского и вступление Григория Кружкова

Из классики XX века

80 Уве Йонсон *Две точки зрения.* Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Вступление Екатерины Скляровой

193 Лиллиан Хелман *Джулия.* Повесть. Перевод с английского Л. Беспаловой

Литературное наследие

218 Роберт Геррик *Стихи.* Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой

Carte blanche

230 Джулиан Барнс *Педант на кухне.* Перевод с английского Веры Пророковой

Статьи, эссе

275 Илья Смирнов *Об одном стихотворении Ли Бо*

Среди книг

289 Михаил Визель *Чистое искусство.*
А. В. Коровин *Сотни душ пошли за мной...*
А. В. Коровин *"Удивительнейшая сказка — это сама человеческая жизнь"*

БиблиофИЛ

298 *"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках начала 2007 года.* Выбор главного редактора

Авторы номера

301

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

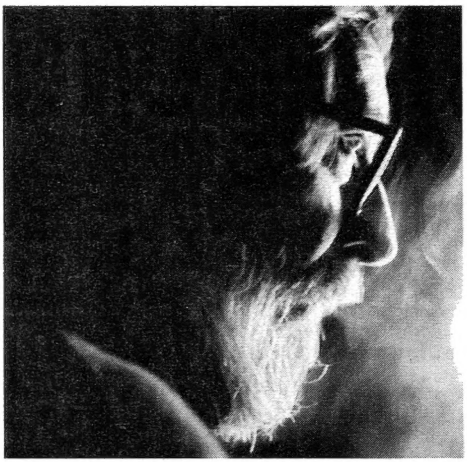
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Патрик Рамбо



Деревенский дурачок

Роман-вымысел

Перевод с французского Екатерины Кожевниковой

Посвящается Тьо Хонг

и моему дорогому ушедшему двоюродному брату Фредерику Бону, воспоминание о котором подсказало мне: “Сотки роман из вымыслов, несбыточных желаний и легенд”. И вот я с удовольствием тку его из вымыслов, несбыточных желаний и легенд прошлого, повернув время вспять.

Париж, 1995 год

Пью себе тихо-мирно холодное пиво на террасе кафе на улице Монторгёй. Почему бы и нет, если только-только выздоровел после тяжелого гриппа и выздоровел по-настоящему, телом и душой. Разворачиваю газету, рассеянно просматриваю передовицу. Что такое? Ни одной фотографии. Странно. “Дирекция “Рено” прилагает все усилия к тому, чтобы работа на предприятии возобновилась”. Забастовка в пригороде Бьянкур! Чушь какая-то! Там завод сто лет как закрыли, впрочем, сейчас столько забастовок, наверное я перепутал. Листаю дальше, мелькают заголовки. Боже! С ужасом читаю: “Вьетнамские войска

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2005
© Екатерина Кожевникова. Перевод, 2007

выведены из Лаоса"[1]. "Депутаты РПФ[2] во избежание роспуска партии приняли решение переименовать себя; отныне они 'социальные республиканцы'". "Прекращение военных действий в Корее". Статья о книге Фабр-Люса "Перспективы развития алжирского вопроса"[3]. Одна из колонок подписана Жаком Фове... Мигом складываю газету, смотрю, какое число: 8 мая 1953, пятница, № 2576, десятый год издания. Так, спокойно, не иначе приложение к сегодняшнему номеру, юбилейная вкладка, факсимиле, правда, не пойму, что за дата. Спросим у продавца газет.

– Я сейчас купил у вас номер "Монда".
– И что же?
– Взгляните: 1953 год.
Продавец нацепил очки:
– Верно, только вы его купили где-то еще, я не торгую коллекционными номерами.
– Как же так! Неужели не помните? Я покупал у вас газету только что!
– Покупали, но другую.
– Я взял ее вон из той стопки.
– Убедитесь сами, там последний выпуск.
– Других у вас не было и нет?
– Непроданные номера потом разносят по домам.
– А этот, 1953 года, мне приснился?
– Ну...
– Вы уверены, что не могло быть специального выпуска или...
– Насколько мне известно, нет.
– Откуда же он взялся?
– Кто-то подшутил над вами, мсье.

Подшутил! Продавец съежился под моим возмущенным взглядом. В Париже нетрудно купить старую газету, но она бы пожелтела от времени, потерлась на сгибах, а эта недавно вышла из типографии, еще пахла свежей краской. Кому бы пришло в голову отпечатать газету сорокалетней давности и тайком подсунуть в стопку новых, исключительно чтобы разыграть меня? Бред! Но ведь не в бреду я держал в руках белейшие хрустящие листы и вчитывался в статьи о событиях прошлого, теперь уже с предельным вниманием. Я пока что в своем уме. И во что бы то ни стало докопаюсь, откуда у меня номер 1953 года. Чудес не бывает. Эта мысль меня успокоила, и я принялся с любопытством листать газету. Что у нас на второй странице? События на Дальнем Востоке; материал о фальшивомонетчиках в Турции; расизм в республиканских кругах Вашингтона. А рядом, на третьей, заседания ассамблеи Совета Европы[4]

1. Речь идет о колониальной войне Франции во Вьетнаме 1946–1954 гг. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. РПФ (Rassemblement du peuple francais) – партия "Объединение французского народа", основана генералом де Голлем 7 апреля 1947 г. во времена Четвертой республики. На муниципальных выборах весной 1953 г. число избирателей РПФ сократилось в 3–4 раза. Генерал де Голль распустил парламентскую фракцию РПФ и объявил о прекращении своей политической деятельности. Часть депутатов переименовала себя в "социальных республиканцев", часть примкнула к другим партиям.
3. Речь идет о подготовке к колониальной войне Франции в Алжире (1954–1962 гг.).
4. Совет Европы, созданный в 1949 г., – наиболее ранний из наднациональных консультативно-совещательных органов.

перенесены в Страсбур. Сообщается к тому же, что перед Национальной компанией железных дорог стоит проблема повсеместной электрификации; что в Лионе и производители, и потребители ратуют за снижение цен. Передовица посвящена генерал-лейтенанту Насеру[1]: "Вот уже десять дней в Каире ведутся переговоры, и в который раз окончательное решение проблемы откладывается на неопределенный срок".

Ничего интересного. Чем вообще примечателен 1953 год? Один из годов моего детства, не хуже и не лучше других. Я мало что о нем помню. Кажется, носил тогда короткие штаны из джерси с подтяжками, перекрещенными на спине. Кораблями мне служили картонные коробки, они отлично бороздили паркетный океан. Оловянные ассирийцы вперемешку с гусарами высаживались на ковер и шли на приступ старинного комода в стиле Людовика XV. Одного меня никуда не пускали, мой мирок ограничивался домом и двором; лишь в пятнадцать лет я смог перейти Сену и обследовать левый берег. Еще вспоминается, как я съезжал на санках по пологой улице Кантен-Бошар; за церковью Сен-Пьер-де-Шайо была лавочка, господин Баррюс торговал там кровяной колбасой вразвес; молоко тогда разливали половником в алюминиевые бидоны. По воскресеньям я заходил в ризницу, чтобы священник подписал мне карточку посещений мессы. По улице Марсо еще ходил трамвай... Хлопнула дверь. Вернулась Марианна. Вошла, примостилась на подлокотнике кресла рядом со мной, сбросила туфли на палас, откинула с лица черные с проседью витые андалузские пряди.

— Мечтаешь?

— Вспоминаю пятидесятые.

— Одолела тоска по детству?

— Ничуть не бывало. Просто мне в руки попала газета... Вот взгляни, ты тоже удивишься.

— Чему?

— Прочти-ка вслух заголовки.

— Пожалуйста, — насмешливо протянула она, со вздохом исполняя непонятный каприз. — "В США задержан информационный враг номер один". "Кобэ: японское экономическое чудо под угрозой"...

— Постой!

— Ты же просил прочесть заголовки в газете.

— Не в этой, в другой!

— В какой другой?

— На столе лежала еще одна.

— Нет, только эта.

Я опешил. Тот номер не мог испариться, я твердо знал, что так и не купил сегодняшний выпуск "Монда", однако именно он был у Марианны в руках. Расскажи я ей правду, она бы мне не поверила. Я притворился обиженным. Она презрительно хмыкнула и отправилась в ванную. Я прикинул, не поможет ли мне свидетель, продавец газет. А что, если он ответит Марианне: "Газета 1953 года? Что-то не припомню". Или еще того хуже: "Этот господин так нервничал, я поддакивал, чтобы он успокоился". Люди зачастую забывчивы и лживы, помощи от них не до-

1. Гамаль Абдель Насер (1918–1970) — президент Египта с 1956 г. Основатель и руководитель организации "Свободные офицеры", осуществившей переворот 23 июля 1952 г.

ждешься, придется все распутывать самому. Весь вечер я обшаривал комнату, но так и не нашел проклятую газету.

На набережной Сен-Мишель я выискивал у букиниста старые "Пари-матч" – каждый номер аккуратно обернут полиэтиленом. Я купил несколько, чтобы окунуться в атмосферу того времени, и вдобавок купил еще "Эспри", февральский номер 1953 года: "Станет ли Франция полицейским государством?"

Меня лихорадило, не терпелось внимательно изучить каждую – уютное кресло подождет, – я устроился на террасе кафе в Шатле. "Эспри": исчерпывающая информация о зверствах колонизаторов на Мадагаскаре и в Тунисе[1]. Резня в Марокко[2]. Наши злоупотребления в Алжире. Мы обрекли вьетнамцев на полицейский режим Бао-Дая[3], а испанских республиканцев оставили умирать в застенках Франко. Жан Лакруа разносил в пух и прах католиков-фундаменталистов, обвиняя их в мракобесии. "Зеленые чалмы" в Египте объявили Кристиана Диора главным своим врагом. Что изменилось с тех пор? Бывший глава службы общей информации Виши вошел в правительство... Статьи я читал небрежно, зато долго рассматривал фотографии, чтобы оживить в памяти тот год. Технический прогресс торжествовал, то была эпоха целлофана, плексигласа, анилиновых красителей, немнущихся штанов из терилена или нейлонового поплина, чемоданчиков-проигрывателей. Мебель стала практичной, стандартной и уродливой, вся из палисандра и металла. В сельском хозяйстве маленький трактор окончательно вытеснил лошадь. В вагонах третьего класса были деревянные скамьи. Телефонные номера начинались с букв, их запоминали по ассоциации с Бальзаком, Боцарисом или Трюденом[4]. Роже Вайян писал тогда роман "Бомаск", Ферре переложил на музыку стихи Рютбёфа, и до сих пор мы отдыхаем примерно как герой "Каникул господина Уло[5]". Я не спеша шел домой, крепко прижимая к себе купленные журналы, чтобы они, не дай бог, не превратились в современные. Эта мысль меня забавляла. Улыбаясь, я вошел в прихожую. Марианна к тому времени вернулась. Слушала в спальне мои старые пластинки на сорок пять оборотов. Я узнал Белафонте.

Потихоньку приоткрыл дверь.
И по спине забегали мурашки.

Пластинка с Белафонте вращалась на проигрывателе в дерматиновом чемоданчике. Откуда-то взялись обои в цветочек. А главное, вместо

1. Мадагаскар был французской колонией с 1896 по 1960 г.; Тунис – французским протекторатом с 1881 по 1956 г..
2. Французская зона Марокко – основная часть султаната Марокко, находившаяся под протекторатом Франции с 1867 по 1956 г..
3. Бао-Дай (1913–1997) – с 1926 по 1945 г. император Вьетнама, с 1949-го по 1955-й – глава марионеточного государства на оккупированной французами территории Вьетнама.
4. Маркос Боцарис (1790–1823) – герой греческой национально-освободительной революции; Трюден Даниэль-Шарль (1703–1769) – французский государственный деятель, основал Школу путей сообщения (1747).
5. Роже Вайян (1907–1965) – французский писатель, член ФКП с 1952 года. В романе "Бомаск" создал образ французской коммунистки. Рютбёф – трувер XIII века, автор мистерий, сатир и фаблио. Господин Уло – комический персонаж нескольких французских телевизионных фильмов.

Марианны я увидел девушку с волосами, забранными в хвост, она сидела перед желтым деревянным секретером, склонившись над раскрытой тетрадью, и грызла карандаш. Барышня пятидесятых, в этом не было сомнений: белые носочки, плиссированная юбка, широченный, туго стянутый пояс, яркий шарфик на шее. Она не услышала меня и не обернулась. Я поспешно захлопнул дверь. У меня закружилась голова.

Видение ошеломило меня, я не решался еще раз заглянуть в спальню, какое-то время стоял неподвижно, потом выпил несколько рюмок успокаивающей настойки на страстоцвете и флёрдоранже и включил телевизор, чтобы не пялиться тупо в пустоту.

— Сегодня к нам Мансар придет обедать, или ты забыл?! — упрекнула меня Марианна, входя со множеством свертков. Я пробормотал: "Помню", — хотя сам начисто забыл о приглашенном приятеле. Кому бы рассказать о моем видении? Марианне? В отличие от меня она боится призраков. И в ответ я получу: "Замолчи сейчас же! Ну и шуточки у тебя!" Или Мансару? Мы с ним вместе учились. Он мечтал стать режиссером, а стал психиатром. Попробую за обедом осторожненько все у него выведать, сделаю вид, будто речь не обо мне, главной своей тревогой тоже не поделюсь, о галлюцинации ни слова. Промолчишь — сойдешь с ума, расскажешь — поднимут на смех. Из спальни вышла Марианна в желтом пеньюаре.

— Ты там свои старые газеты разбросал.

— Дай-ка! Ах да, я же купил их сегодня утром на набережной.

— Как вчерашнюю?

— Слушай, скажи честно, я что, по-твоему, псих?

— Не псих, а чокнутый собиратель старого хлама. Ты хлеба принес? Нет? Так сходи!

Наш разговор, такой привычный, обыденный, вернул меня к действительности: в самом деле, людям нужен к обеду свежий хлеб; я уже вполне владел собой. И все-таки, спускаясь, громко топал, как топаешь, когда идешь по некошеному лугу в деревне, чтобы распугать змей и прочую нечисть.

Я вынимал из духовки жаркое и вдруг увидел у ног белого пуделя, обстриженного, как самшит в Версальском парке. С каких это пор Мансар завел собаку? Я топнул на пуделя, прикрикнул на него, но тот и ухом не повел. Чтобы он ничего не стащил и не вздумал попрошайничать, я отковырнул кусочек мяса и бросил ему. Пес не соизволил даже его обнюхать и удалился в угол под раковину. Я слышал, что некоторые собаки стыдятся есть при чужих, поэтому отвернулся, взял жаркое и вышел из кухни. Марианна и Мансар грызли редиску и болтали; Марианна встала и пошла за запеканкой по-савойски, я подточил нож, чтобы нарезать жаркое.

— Представить себе не мог, что ты вдруг заведешь собаку, — между прочим сказал я гостю.

— Я и не завел.

— А как же твой белый пудель?

— Нет у меня пуделя.

— То есть как нет? Ты не заметила под раковиной собаку? — спросил я у вернувшейся с кухни Марианны.

— Ни собаки, ни кота, ни мышки, ни таракана, ни мухи. У нас под раковиной только стиральные порошки и всякая химия.

— Взгляните сами!

— Из-за твоих глупостей все остынет...

И все-таки они пошли со мной на кухню, где никакого пуделя не оказалось.

— Но я клянусь, он только что здесь был!

— Вчера ты клялся, что купил свежий номер газеты 1950 года.

— Майский, 1953-го.

— 1953-го, если тебе так больше нравится.

— Мне это совсем не нравится!

— Успокойся, дружище, — обратился ко мне Мансар. — Почему бы нам не потолковать о твоих галлюцинациях за обедом?

Я резал жаркое и упрямо твердил:

— Я вправду видел белого пуделя.

— Тебе померещилось.

— Нет. Я вправду его видел.

— Перестань! — рассердилась Марианна. — Ты читал обычную газету, а вообразил неведомо что.

— Ничего я не воображал!

— Какое там стояло число? — поинтересовался Мансар.

— Я уже сто раз повторял, май 1953-го.

— А день недели? Не помнишь?

— Пятница.

— А какие заголовки?

— Точно не припомню, я был так потрясен. В голове путаница. Заголовки... Забыл! Хотя нет, забастовка на заводе Рено...

— Да у нас всегда забастовки! — Марианна страдальчески возвела глаза к потолку.

— Если сумеешь вспомнить названия и порядок статей, — продолжал Мансар, — можно будет обратиться в архив и сравнить. Это ведь так любопытно.

— Вот видишь, Марианна, Мансар мне верит!

— Не спеши с выводами. Что это любопытно, я не отрицаю, но мы должны найти и какое-то разумное объяснение.

— Может, у него осложнение после гриппа? — предположила Марианна.

— Если долго держалась высокая температура, бредовые состояния возможны, — согласился Мансар.

— Как мне убедить вас, что я не брежу?

— Убедимся, когда увидим твои фантомы собственными глазами.

Тут Мансар рассказал нам об одном итальянце, хозяине ресторанчика, у которого умерла мать. Он думал о ней постоянно — днем, пока хлопотал, жарил кур, обслуживал посетителей, ночью видел ее во сне. Както раз народу было особенно много, итальянец поспешил в кладовую за хлебом. Тут его насторожил странный шум; он прислушался; звук доносился сверху из спальни покойной матери. Кто посмел туда войти? Он запрещал переступать порог ее комнаты, следил, чтобы каждая мелочь оставалась на прежнем месте. Итальянец прокрался наверх, осторожно ступая, так что не скрипнула ни одна ступенька. Надеясь захватить вора врасплох, он тихо отодвинул щеколду, распахнул дверь настежь... И в ужасе застыл на пороге. На постели завернутая в простыни ворочалась и бормотала его мать, крошечная, сморщенная, в огромном ночном

чепце. Обезумев от страха, итальянец буквально скатился с лестницы и с воплем вбежал в зал, полный посетителей. Его обступили, усадили, стали успокаивать, расспрашивать.

– Там в постели лежит моя умершая мама! Я сразу узнал ее, – наконец выдавил он. Его помощники поспешили наверх и вернулись перепуганные насмерть.

– И вправду хозяйка! – божились они.

Обедавший в ресторане священник поспешно освятил графин с водой и вместе с несколькими смельчаками отправился изгонять нечистую силу. Они приблизились к кровати; там действительно корчилась и дьявольски гримасничала морщинистая старушонка.

– Изыди, сатана! – возопил священник и окатил привидение святой водой.

Мокрое привидение зарычало, внезапно накинулось на священника и вцепилось зубами ему в ухо. Все в дикой панике бросились прочь, давя друг друга. Тут с привидения свалился чепец. Оказалось, что это обезьяна забралась в постель умершей хозяйки и нацепила на себя ее одежду.

Ясное дело, Мансар отнесся к моим словам скептически, такова уж его профессия, но ему не удалось переубедить меня своей сказочкой. Что общего между невольно обманувшим всех итальянцем и мной, с моими недавними переживаниями?

Сон не принес мне облегчения. Дневные страхи лишь разрастались в темноте и тишине. Ночью всегда оживают кошмары, тревоги и боли. Я представлял себе все явственнее девушку с хвостом, пуделя, газету. Ворочался в постели с боку на бок, не смыкая глаз, так что Марианна с недовольным бормотанием толкала меня локтем, чтоб я не мешал ей спать. В конце концов я встал, постаравшись не разбудить ее, хотя едва ли преуспел – налетел в потемках на стул, на который с вечера повесил джинсы. Марианна выругала меня сквозь сон. Я вышел, громко скрипнув дверью. В коридоре настороженно вглядывался во тьму и прислушивался, но различал лишь шорох своих шагов – ничего подозрительного не обнаружил. Мне хотелось спокойно поразмышлять одному в гостиной.

До 1917 года наш дом в центре Парижа был гостиницей, в которой по преимуществу останавливались русские. На каждом этаже вместо квартир были номера, и в узкий нелепый коридор выходили многочисленные двери. Трубы с тех пор, похоже, ни разу не меняли, во всяком случае над каждым краном в подвале по-прежнему стоит отметка, к какому номеру он относится. Я часто пытался представить, что за люди жили здесь до нас, открывали наши окна, спали в нашей спальне. Сколько тут было расставаний, радостных встреч, ссор, разрывов, праздников! Сколько комедий и драм помнят эти стены! Душа дома поныне прячется в уголках, за батареями, в сплетении электрических проводов. Возможно, облокотившись о подоконник, какая-нибудь московская княжна или подруга Распутина наблюдала, как едут внизу экипажи, прохаживается полицейский, фонарщик гасит огни. О чем беседовали между собой постояльцы? Возможно, о присоединении к Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины, о юбке-брюках, изобретенной Полем Пуаре, о чудном басе Шаляпина, о забастовке официантов парижских кафе, требующих себе права на ношение усов. А что видели из этих окон люди в двадцатых, тридцатых, сороковых годах? Что отражали зеркала над каминами? Те-

перь бессонница привела ко мне из прошлого целую вереницу прежних обитателей этой комнаты, не только недавнюю девушку в белых носочках, но и юную петербургскую барышню, и пожилого толстовца. В мою фарфоровую зеленую пепельницу, привезенную из Шанхая, стряхивал пепел с золотистой сигары кто-то похожий на Сунь Ятсена[1]. Нет, пора остановиться! Воображение разыгралось, все эпохи перепутались. Путаницы прибавлял и мой книжный шкаф — чего в нем только не было! Роман в твердой обложке, и на форзаце карандашом написано имя бывшего владельца: "Морис Перрюшо, 1924 год". Кто он такой? Как выглядел? Он читал до меня эту книгу, листал вот эти страницы. Понравился ли ему роман? Книги, наверное, попали к букинисту после его смерти, но от чего умер Перрюшо, когда умер? Я взял с полки несколько томов, весьма подходящих для моего воспаленного воображения: какие-то рассказы о магнетизме и видениях, "Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего внутреннего существа" Шопенгауэра[2], лекции об эфирных телах, которые читал в Лондоне и Аделаиде Конан Дойл, когда увлекался спиритизмом. На рассвете у меня начали слипаться глаза, а тем временем улица ожила. Было слышно, как перед нашим домом остановился грузовик, люди внизу шумели, переговаривались. Чтобы отвлечься от мрачных размышлений, я высунулся в окно. И похолодел.

Деревья, два года назад украсившие нашу пешеходную улицу, — ярко-зеленые пушистые метелки, не менявшие цвет даже зимой, — вдруг исчезли. Мостовая вместо серых мраморных плиток вновь оделась скучным асфальтом. Посреди улицы стоял грузовик, и из кузова здоровенный детина подавал другим грузчикам огромные мешки, а те взваливали их на плечи и тащили в магазин, я отчетливо различил вывеску: "Тирвейо, оптовая продажа картофеля". Но позвольте, магазина уже лет пять как не существует, вместо него открыли вполне современное интернет-кафе.

Мне нужно срочно хоть кому-то показать очередной мираж. В страшном возбуждении я помчался в спальню и стал трясти Марианну за плечо: "Вставай! Пошли скорее!" Недовольная, сонная, она в конце концов поднялась. Я зажег лампу. Свет ослепил ее, она зажмурилась.

— Который час?

— Не знаю! Начало шестого!

— Ты в своем уме?

— Вот это мы сейчас и выясним. Пожалуйста, идем скорей!

Спустив с кровати ноги, она нашарила черные бархатные тапочки, сшитые на скорую руку в ателье "Kowloon" и начавшие разлезаться, натянула майку и неохотно последовала за мной в гостиную.

— Марианна, посмотри в окно.

— Смотрю. И что?

— А ты помнишь, что было на месте интернет-кафе?

— Картошкой торговали, позабыл, что ли?

— А теперь скажи, что ты там видишь?

1. Сунь Ятсен (1866—1925) — китайский революционер-демократ, первый президент Китайской республики (1912), основатель партии Гоминьдан.
2. Подразумевается одна из глав книги Артура Шопенгауэра (1788—1860) "Мир как воля и представление".

— Интернет-кафе.
— А грузовик?
— Какой еще грузовик?

Я рухнул в кресло. Марианна потянулась и зевнула: "От переутомления ты стал такой утомительный..." Она вернулась в спальню и меня потащила за собой. Я решил больше не выглядывать в окно и забрался под одеяло.

Понедельник, вторник, среда прошли спокойно. Мансар продлил мне отпуск по болезни в надежде, что за месяц я оклемаюсь. Он сказал по телефону Марианне: "Все дело в переутомлении. А тут еще грипп. Ты не можешь свозить его на недельку в Трувиль? Морской воздух, шум прибоя — он у нас мигом поправится!" Но Марианна работала и не могла поехать со мной в Трувиль, и я не мог ее бросить одну, остался в Париже, гулял, отсыпался, читал, мечтал. Я давно не перечитывал роман Мориса Ренара "Повелитель света" и как-то утром перелистал его. Речь там о человеке, который обнаружил, что в его новом доме особые стекла — в них отражается прошлое. Однажды он наблюдал из окна, словно из театральной ложи, за покушением на Луи Филиппа корсиканца Фиески[1], хотя покушение происходило в 1835 году, а персонаж Ренара жил полвека спустя. Так отчего и мне, только взаправду, не увидеть витрину магазинчика, который больше не существует? Обыденная городская сценка, и она ведь не промелькнула у меня перед глазами, не блеснула на миг яркой вспышкой — я наблюдал за грузчиками добрых пять минут, пока не побежал будить Марианну.

Всеми силами я отвлекал себя от своих дурацких видений, но мне это никак не удавалось. Заглядывал в Дюма, открывал "Саламбо", однако судьба д'Артаньяна или Мато, Нар-Гаваса и жрицы богини Танит с волосами в сиреневой пудре нисколько меня не волновала. С куда большим увлечением я взялся за "Многообразие религиозного опыта" Уильяма Джеймса[2]. Там есть рассказ об одной англичанке, которая в магическом кристалле видела судьбы всех жертв из криминальной хроники "Таймса"; или, к примеру, о юноше, что сидел под навесом и вдруг услышал голос своей покойной матери: "Беги отсюда, Стефан!" Юноша послушался, выскочил из-под навеса, и тут же опоры рухнули. Джеймс утверждает, что все мы обладаем сверхъестественными способностями. Лично я никогда всерьез ни о чем подобном не задумывался. В лицее иногда мы валяли дурака: крутили по четвергам вечерами столик, подталкивая потихоньку столешницу коленом. Теперь все было по-другому, я читал Джеймса с напряженным вниманием, его книга доказывала, что увиденное мной вовсе не плод моего больного воображения. Я действительно держал в руках свежий номер газеты 1953 года, я не выдумал, будто под раковиной сидел белый пудель, а в спальне слушала музыку девушка в белых носочках и с забранными в хвост волосами.

В четверг я искал и не мог найти наших с Марианной альбомов с фотографиями. Они все куда-то подевались, кроме двух, самых давних, которые,

1. Жозеф Фиески (1790–1836) — корсиканский революционер.
2. Уильям Джеймс (1842–1910) — американский философ и психолог, один из основоположников прагматизма.

как нарочно, заканчивались 1953 годом. Черно-белая фотография пятилетней Марианны: мама гуляет с ней за ручку в парке Монсо. Вот она смеется на фоне оснеженных вершин Веркора, у нее как раз выпал первый молочный зуб. Еще два снимка с узорчатыми краями: на одном Марианна в сборчатой юбке и нелепом чепце стоит, отвернувшись от объектива, на другом она — препотешный индеец, но мне нетрудно узнать ее — светлые глаза, мягкий овал лица с тех пор не изменились. От альбома к альбому я бы и дальше с удовольствием плыл по реке прошлого — фрагменты его, что стали вдруг так неожиданно врываться в мою жизнь, меня нервировали. Вообще-то я всегда любил путешествовать во времени, разглядывая фотографии. В коллеже на вечерних занятиях сидел не шевелясь, завороженный иллюстрациями Лагарда и Мишара. Учителя считали, что мальчик прилежно зубрит, но мальчик напряженно вглядывался в портрет Бодлера, сделанный знаменитым фотографом Надаром[1], ему казалось, что у поэта шевелятся губы, что он беседует с ним. Или же плыл на лодке по альпийскому озеру Дебурже, чье изображение поместили рядом с мистической поэмой Ламартина... Куда Марианна умудрилась задевать самые последние альбомы, где хранятся наши общие воспоминания: о поездке в Бангкок, например, на ее тридцатилетие — она столько мне позировала — или в Барселону и в Почитано, где мы так здорово отдохнули в июле? Вечером спрошу у нее. Она человек аккуратный.

— Марианна, куда ты убрала наши альбомы с фотографиями?

— Они лежат в коридоре на книжном шкафу.

— Там лежат два, остальных нет.

— Я их не брала.

— Остались только старые, до 1953 года включительно.

— Не может быть!

— Не веришь, убедись сама.

— Что ты! Я тебе верю!

— Похоже, ты смеешься надо мной!

— Да нет, я вполне серьезно, успокойся.

— Не могу успокоиться! Подумай, Марианна, альбомов нет на шкафу, хотя ни ты ни я их не трогали.

— Лежат где-нибудь в другом месте.

— Где, скажи на милость?

— Ты сам их куда-нибудь засунул и позабыл.

— Не засовывал, я точно знаю!

— Что же они растворились, что ли? Кстати, ты принимал транквилизаторы? Тебе же Мансар велел!

Никаких лекарств, прописанных Мансаром, я не принимал. Мне не нужны лекарства. Я прекрасно отдохнул, успокоился и отныне, что бы ни случилось, намерен держать себя в руках. Исчезновение альбомов раздосадовало меня, но в жизни так много таинственного, я должен смириться и сохранять хладнокровие. Рассказы о замках с привидениями, где тарелки пляшут румбу, круглые столики, одичав, разбиваются о стены, а в полночь по лестнице донжона ковыляют хромые рыцари, ни-

1. Феликс Надар (наст. имя Феликс Турнашон; 1820–1910) — французский фотограф, художник, писатель, воздухоплаватель.

когда не внушали мне доверия. Глупые россказни. Байки музейных служителей. Сказки. Но сколько бы я ни убеждал себя, что привидений не бывает, приходилось признать: старинные дома помнят многое. Что если призраки на самом деле их воспоминания? Я снова впал в противоречие. На пятом этаже живет старая врачиха; она поселилась в этом доме еще в тридцатых годах. Зайду к ней и между прочим разузнаю, кто раньше жил в нашей квартире.

Врачихе было за восемьдесят. Кокетливо скрывая свой возраст, она выходила из дому, опираясь вместо палки на сиреневый зонт, красила волосы, румянила щеки. Едва шевеля сухими подкрашенными губами, она мне сказала: "Когда-нибудь обнаружат мой скелет в этом кресле, да-да, не смейтесь, писали же в газете об одном старике, найденном в пригороде Барселоны: "Умер у себя в гостиной шесть лет назад". Одинокий старик был всем безразличен, когда я умру, никто из моих драгоценных ближних тоже не заплачет. И пускай!" Она давно вышла на пенсию, и в добровольном уединении множились и множились ее обиды. Изо рта у нее пахло, а к моему пиджаку лип запах сладких духов и рисовой пудры. Обстановка квартиры оказалась под стать хозяйке: все здесь дышало горьким сожалением о прошлом и воспоминаниями полувековой давности. Громоздкий черешневый шкаф, круглые продавленные кресла в чехлах, кружевные салфеточки, всегда задернутые плотные шторы. Ветеринар подстригал когти ее коту, чтобы кот не порвал атласного покрывала. На комодике с мраморным верхом среди нагромождения фарфоровых попугаев, чашек, вазочек с сухими цветами я заметил потемневшую фотографию улыбающегося маршала Петена в рамке и под стеклом. Желая извиниться за вторжение и смягчить старую гарпию, я принес ей бутылку прекрасного портвейна. Мой подарок ей не понравился. Оказалось, старуха не пьет ничего, кроме чая и липового отвара. Я терпеливо выслушал ее нелестное мнение о роде человеческом и в конце концов перешел к интересующей меня теме — к прежним обитателям моей квартиры.

— Знаю ли я всех жильцов? Еще бы! Я тогда практиковала, и все они побывали у меня на приеме. Очень удобно иметь соседку-врача. Начни я выдавать их секреты, они бы поубивали друг друга. Взять, к примеру, мадам Мартинон, да, мадам Мартинон с виду такая праведница, а на самом деле...

— Она жила раньше в моей квартире?

— Вы где живете, на третьем?

— Да, с правой стороны.

— Она жила в квартире напротив. Потом там поселился зубной врач, господин Лусталу.

— Я его помню.

— Отвратительный субъект. Ну да ладно. Кто жил в вашей? Кажется, инженер с женой по фамилии... Господи, вот память дырявая, позабыла я их фамилию. Да они тут недолго прожили, перебрались в Эльзас, оно и понятно, с их-то профессией.

— А до них?

— Что до них?

— Кто там жил до инженера с женой?

— До них... Я живу в этом доме с тридцать первого года, порядочный срок, верно ведь? Кого только не перевидала! До них. Консьержкой то-

гда служила мадам Пироне. Жили скученно, новостроек и в помине не было. Шум стоял! Я без конца в потолок стучала, чтобы черномазые Рузо угомонились. Вот уж вопили!

– А в моей-то кто?

– Вполне приличные люди. По виду, во всяком случае.

– В пятидесятые годы?

– Нет, в тридцатые, когда я въехала.

– Они и после войны здесь жили?

– Конечно нет. В сорок втором исчезли.

– А потом вернулись?

– Постойте-ка! На них же донесли!

– Кто донес?

– Мадам Пироне.

– Консьержка...

– Ну да. На самом деле эти люди не были истинными французами, вы понимаете, о чем я? Вот полиция и сцапала их с утра пораньше.

– Гнусные гестаповцы...

– Французские полицейские просто выполняли свой долг.

– С тех пор несчастных никто не видел?

– Туда им и дорога!

– А дальше что?

– В смысле?

– Кто поселился после них в моей квартире?

– Племянник мадам Пироне, кто же еще. Славный юноша. Ловкий, денежки загребал, мне, кстати сказать, приносил нежнейшие бараньи отбивные и шелковые чулки.

– С черного рынка? Он сотрудничал с немцами?

– Зачем так грубо? Сразу видно, не жили вы во время войны. Слишком молоды, чтоб других судить.

– И что сталось потом с этим племянником?

– После освобождения его приговорили.

– К тюрьме?

– Нет, к высшей мере.

– А дальше что?

– Не слишком ли вы любопытны?

– Я очень любопытен.

– Кто еще там жил? Погодите... Вспомнила, семейство Клерико. О них ничего дурного не скажешь, вежливые, приличные. Муж, жена и дочь.

– Значит, в 1953 году здесь жили именно они?

– Разумеется.

– Вы помните их дочку?

– Мартину? Прекрасно помню. Как-то зимой лечила ее от бронхита.

– Как она выглядела?

– Обычная девочка, одевалась модно, волосы стягивала в хвост резинкой. Я еще говорила ей: "Деточка, с этими резинками ты облысеешь!" Но Мартина не успела облысеть...

– Что же с ней случилось?

– Ехала на мопеде, и где-то на Больших бульварах ее сбили. Спасти не удалось. Чудовищные травмы. Ее переехал грузовик.

– Когда это произошло?

— О, я отлично помню тот день, день моего сорокалетия. Ко мне как раз пришла близкая подруга, мы с ней познакомились еще в Шамбери.

— А число?

— 25 мая 1953 года. Что с вами? Вы так побледнели, бедняжка!

— Нет-нет, спасибо, со мной все в порядке.

— А зачем вам эти подробности? Может, вы решили спиритизмом заняться?

В глубокой задумчивости я спустился к себе на третий. Мартина Клерико. Погибла, ее сбила машина. Так вот кого я видел в нашей спальне. Был ли у нее белый пудель? Вполне возможно. Надо было спросить у врачихи. Теперь поздно. Не возвращаться же к чокнутой старухе с вопросом о пуделе! Входя в нашу квартиру, чьи стены помнили столько неприятных событий, я машинально включил свет да так и застыл на пороге. Где вы, китайские фонарики? Вместо фонариков зажглась люстра.

Бабушкина люстра с хрустальными слезами-подвесками, искусственными свечами, абажурами в оборках над каждой "свечкой". При тусклом освещении я оглядел знакомую прихожую, вернее некогда знакомую, поскольку переменилось все: и обои, и обстановка, вдобавок на стене появилась отвратительная картина — пузатая ваза с фруктами. Старинный телефонный аппарат, черный, высокий, стоял на полочке. Застекленные двери с занавесками были плотно закрыты. Я начал привыкать к перемещениям в прошлое и на этот раз осмелел: смысла нет сопротивляться, лучше все обследую. Двинулся вперед по коридору. Ковер бесследно исчез, под ногами поскрипывал паркет. Удача. Если кто-то начнет подкрадываться, я услышу. В ванной горел свет, оттуда слышался шум воды. Он прибавил мне храбрости: вряд ли привидения моются мочалкой. Сквозь приоткрытую дверь я увидел, как девушка в носочках, одетая точно так же, как в прошлый раз, пробует пальчиком воду в ванне. В старинной ванне на когтистых лапах. Раковина по сравнению с нашей стала меньше, а вот топили и тогда уже здорово. Ванную наполнял пар. Девушка пятидесятых годов расстегнула пояс, сняла с волос резинку, встряхнула головой. Потом обернулась ко мне, но не вскрикнула от изумления, она меня не видела, но когда она проходила мимо меня, направляясь к себе в спальню, я все-таки вжался в стену. В спальне она сняла блузку, юбку, носки и вернулась, чтобы закрыть кран. Полуголая галлюцинация несколько смутила меня, и я в растерянности отступил в спальню. На полосатом покрывале лежала одежда девушки. Я взял ее в руки, помял шелковистую ткань, потрогал белый нейлон. Что все это значит? Неизвестно. В голове пусто. Теряя сознание, я повалился на кровать.

Пришел в себя, услышав родной голос Марианны: "Ты так и проспал весь день?" В полной расслабленности я лежал на животе, уткнувшись носом в подушку. С трудом поднялся и постепенно осознал, что я, несомненно, у себя дома, кругом разбросаны мои вещи, привычный милый беспорядок, а полосатого покрывала нет в помине, как нет и нейлоновой блузки, которую я сжимал в руках в момент обморока. В бессильной ярости я стал колотить подушку.

На следующее утро в половине одиннадцатого мы отбыли в Трувиль. Марианне удалось отпроситься на несколько дней, конечно, не без по-

мощи Мансара. "Я тебя вылечу", – уверяла Марианна. По приезде мы поели устриц, фаршированных морских гребешков, рубцов, запивая все белым сансерским вином, и после такого изобилия и смешения блюд я ощутил тяжесть в желудке и легкость на душе. Мы отправились на прогулку. Шли по берегу моря, по самой кромке, где прилив выгладил песок. Видели стаи галдящих чаек. Кругом ни души. Мы попали в безлюдный край вольного ветра, переменчивой погоды, прекрасный, как золотая Тоскана, такой же голый и беспечальный. Ветер дул нам в спину, мы шли обнявшись, разглядывая запертые виллы. Почти весь год здесь пустует столько жилья! Пропадает столько места для ночлега! Поздно вечером мы насчитали всего два-три освещенных окна. "Какая глупость!" – возмутился я. Мне явно стало лучше, я вернулся к действительности и ощутил под ногами твердую почву.

Наедине с Марианной, без телевизора, телефона и надоедливых соседей я понемногу пришел в себя. Об этом приморском городке Нормандии я издавна хранил самые теплые воспоминания. Школьником я в июле приезжал сюда на каникулы, тогда пляж был диким, кругом рос густой кустарник, еще не снесли блокгаузы. Теперь городок стал курортным, уютным и пошловатым. Там, где некогда стоял памятник Флоберу, теперь красовалось казино розового поросячьего цвета, а перед ним – автостоянка. Флобера переместили поближе к набережной и поставили неподалеку от причала, куда приплывают рыбацкие баркасы с уловом мерлана. Но ничто не может отвлечь каменного Гюстава от мысли о его первой любви к Элизе, и писатель тихонько улыбается в густые усы.

Раньше тут можно было руками ловить креветок, теперь нефть погубила их. Рыбаки больше не вытаскивают из моря тяжелые сети. Морская пена отливает ядовитой зеленью: в реку, впадающую близ Трувиля в Ла-Манш, сбрасывают химические отходы. На улице Дебен меня окликнул букинист: "Мсье, я нашел в Кане книгу, которую вы заказывали в прошлом году". Я стал рассеянно читать на ходу, вдруг одна фраза поразила меня и заставила сосредоточиться: "Позицию человека во многом определяет эпоха: жизненные силы иссякают, когда планета заходит в область пылевой туманности". Вот так, жизненные силы иссякли, пылевая туманность приблизилась, действительно, когда человек постоянно вращается в среде недоброжелателей и тупиц, он вынужден свернуться, отгородиться, отсюда и галлюцинации. С умиротворением, будто наконец обрел истину, я принял решение пройти курс лечения у Мансара, как только вернусь в Париж.

– Ты считаешь, мне померещились девушка, пудель и все эти картинки прошлого?

– По сути, да, – ответил Мансар. – Другое дело, что все твои иллюзии обладали потрясающей убедительностью. В действительности это галлюцинации. С тобой не произошло ничего сверхъестественного: у бодрствующего человека иногда случается обман зрения и слуха.

– Но все увиденное казалось мне настоящим, живым, едва ли не осязаемым.

– Ты верно сказал: *едва ли не* осязаемым.

– Я держал в руках блузку девушки.

– Скорей всего, ты держал блузку Марианны или просто тряпку.

— Какова причина галлюцинаций?

— Обычно галлюцинации возникают при высокой температуре, интоксикации, перенапряжении нервной системы.

— Слушай, Мансар, у меня ничего этого и близко нет!

— Ты недавно перенес тяжелую форму гриппа.

— Во время болезни галлюцинаций не было, они начались потом.

— Может, ты травку куришь?

— Скажешь тоже! Колумбийская дурь и мексиканские грибы вышли из моды вместе с Пинк Флойд и Алисой Купер. Нет, всякий раз я был трезв, спокоен и испытывал крайнее удивление. Я не алкоголик, не наркоман, чаще пью травяные чаи, чем настойки на травах. Нет, тут что-то другое.

— Было у тебя в Трувиле хоть одно видение?

— Не единого.

— Между тем у тебя с Трувилем связано столько воспоминаний. Сам бог велел погрузиться в прошлое: Черные Скалы, дикий пляж, старая вилла, которую снимали на лето твои родители. Так нет же.

— К чему ты клонишь?

— Тебя угнетает Париж. Он так изменился, ты не узнаешь города, тоскуешь по прежним улицам, магазинчикам, снесенным домам. Тоскуешь о прошлом.

— Ну не настолько же!

— Скажем, тебе неуютно в настоящем.

— Не мне одному. К тому же гораздо больше меня пугает будущее.

— И ты начинаешь представлять, придумывать, воображать, создавать реальность по своему вкусу...

— Нет, там полная безвкусица, я же видел.

— Помнишь сны наяву Казота[1]?

— Смутно. Что-то подобное мы с тобой читали у Нерваля, когда учились на филологическом факультете, а с Казотом носился профессор-зануда, помнится, читал он в аудитории AI.

— Профессор Морийон.

— Вот-вот. Забыл, как его звали.

— Однажды на званом вечере Казот предсказал Кондорсе, Шамфору и Байи[2], что все они умрут через шесть лет во время революции, причем описал кончину каждого во всех подробностях. Над ним посмеялись, но все исполнилось в точности.

— Я вижу прошлое, а не будущее.

— Какая разница. Невидимые миры окружают нас.

— Ты же врач, как ты можешь верить дурацким бредням? В прошлый раз ты мне доказывал, что россказни о привидениях — выдумка.

— Я только сказал, что тайна исчезает, когда находишь объяснение происходящему.

1. Жак Казот (1720—1792) — французский писатель, автор романа "Влюбленный дьявол". Увлекался оккультизмом и мистикой. В 1792 году казнен как роялист-заговорщик.
2. Жан Антуан Никола Кондорсе (1743—1794) — знаменитый французский математик и философ. Во время якобинской диктатуры был приговорен к смертной казни. До исполнения приговора отравился. Никола Себастьен Рок Шамфор (1741—1794) — писатель-моралист, автор книги "Максимы и мысли, характеры и анекдоты", трагедии "Мустафа и Зеангир". Член Французской академии с 1781 года. Покончил с собой при якобинской диктатуре. Байи (1736—1793) — французский писатель и астроном, казнен при якобинской диктатуре.

— Мансар, я пришел к тебе на прием как раз за тем, чтоб ты мне все объяснил. Ты говоришь, говоришь, но до сих пор не сказал ничего путного.

— Слушай, после поездки в Трувиль с тобой ведь больше не случалось ничего странного. На всякий случай выпишу тебе еще один транквилизатор.

— Опять! Те, прежние, мне совершенно не помогли!

— Потому что ты их не принимал.

Я вышел от Мансара в замешательстве: он знал не больше моего. В конце концов я в здравом уме, твердой памяти и координация у меня не нарушена. Я многое помню, но детские мои воспоминания сводятся к небольшому количеству четких картин, возникших скорее всего под влиянием рассказов родителей и других людей, бывших в те времена взрослыми. Нет, прошлое, где я теперь оказывался время от времени, не могло быть воссоздано моим воображением: оно изобиловало неожиданными подробностями, и к тому же мне отводилась там скромная роль наблюдателя. Когда я закрывал глаза и пытался ясно представить себе какой-нибудь эпизод из детства, мне всегда приходилось снимать позднейшие наслоения, восстанавливать недостающие детали, по сути, выдумывать их. Лица людей, их движения, голоса, обстановка, освещение, краски проступали из тумана забвения неохотно и неотчетливо. Если на нашей улице открывался новый магазин, я уже через неделю забывал, что тут было прежде. Метрдотель одного ресторанчика близ Центрального рынка, служивший в нем лет тридцать, спросил меня как-то, помню ли я, что находилось на месте огненно-красного кафе и нового сквера. Я не мог вспомнить. "Ну, как же, мсье, целый квартал занимали склады 'Манюфранс'". Только после его слов мне смутно, в общих чертах припомнилось какое-то длинное здание.

Память у меня избирательная, донельзя капризная. Не могу запомнить ни одной даты, а вот длиннейшие номера — пожалуйста! Например, знаю наизусть номер счета в банке и код нашего дома. Дойдя до своей двери, я начал машинально набирать код, как вдруг обнаружил, что вожу пальцем по гладкому камню. Может, кодовый замок сняли? Последнее время он часто ломался, и жильцам приходилось стучаться к консьержке; та отпирала дверь, проклиная короткие замыкания. На этот раз мне не пришлось потревожить консьержку: я толкнул дверь, и она открылась. Поскольку я совсем недавно против воли побывал в прошлом, любая перемена внушала мне подозрения. Внимательно оглядел холл: вроде бы все по-прежнему, только вот ковер на лестнице... Хотя, с чего я взял, будто он был другого цвета? Видишь вещь каждый день и перестаешь замечать ее: чем прочней она уходит в подкорку, тем быстрей стирается с поверхности памяти. В нынешнем тревожном состоянии я, кажется, склонен преувеличивать странность происходящего. Лифт на толстых прочных тросах с привычным стрекотом гигантской швейной машинки отвез меня наверх.

Я не смог вставить ключ в скважину. Вероятно, по рассеянности ошибся этажом, такое со мной случалось, ведь все лестничные клетки одинаковы. На двери напротив блестела медная табличка, я прочел: "Лусталу, зубной врач". Снова прошлое. Я вовсе не ошибся этажом. Когда в конце шестидесятых мы поселились здесь, я видел мельком старика Лусталу. Его окна, так же как наши, выходили во двор, иногда мне

приходилось наблюдать, как он моет инструменты прямо в раковине у себя на кухне; наверное, именно поэтому у меня никогда не возникало желания доверить ему лечение собственных зубов.

— Вы к кому? — невысокая полная дама оглядела меня с подозрением.

Она явно ощущала себя хозяйкой и спрашивала с полным правом, а я между тем видел ее впервые. Дама так пристально всматривалась в мое лицо, словно застала меня на месте преступления и готовилась описать во всех подробностях мои приметы полиции.

— Вы к кому? — повторила она с еще большей угрозой.

— Ни к кому, мадам. Я, собственно, возвращался домой.

— Вы живете не в нашем доме.

— Вы ошибаетесь, я живу здесь.

— У нас живут приличные люди, бродягам здесь не место. А ну, прочь отсюда, живо!

Если бы я мог прийти в себя, оставить эту ведьму в прошлом, а сам вернуться в свое время! Сейчас она поднимет шум, созовет соседей, будет вопить, что я вор и убийца. Я решил, что благоразумнее уступить и ретироваться. Хитростью ее не одолеешь. В конце концов и это видение рассеется, как предыдущие. Я очнусь в своем любимом кресле, Марианна будет рядом, она встревожится, я приму успокоительное.

— Успокойтесь, мадам, я ухожу.

— И чтобы я вас больше не видела. Шляются тут всякие!

У меня возникло искушение проверить, на самом ли деле она существует. Послушать Мансара, так галлюцинация — результат нашей мозговой деятельности: мы слышим голос, видим некий облик, но не можем прикоснуться к нему, у видения нет ни плоти, ни крови. Я протянул руку, чтобы схватить милую даму за запястье, — она в ужасе отшатнулась. Шагнул вперед, надеясь все-таки прикоснуться к ней, — дама решила, что я нападаю, и завизжала. На пятом этаже кто-то выглянул из-за двери.

— Что случилось? Это вы, мадам Салинья?

— Скорее, доктор, вызовите полицию!

Я поднял глаза и увидел, что сверху сквозь решетку лифта на меня с любопытством уставилась напудренная и накрашенная врачиха. Все, пора удирать: я буквально скатился с лестницы, а мне вдогонку неслись крики: "Помогите! Держите его!" Еще ни разу у меня не было таких продолжительных и навязчивых видений. Мне захотелось поскорей на улицу, глотнуть свежего воздуха, потолкаться среди прохожих, увидеть молочника с его шавкой или еще кого-нибудь знакомого и убедиться, что я снова в настоящем. Но стоило мне оказаться снаружи, я едва не лишился чувств и остатка разума. Недавно покрашенные фасады домов вновь облупились. На дороге пробка, и среди грузовиков я заметил "ситроен" с передней тягой, кабриолеты, лошадь, везущую фургон с мороженым. Мужчины в шляпах и картузах косо поглядывали на меня. К счастью, из-за сутолоки, гвалта и гудков никто не услышал, что мне вдогонку надсадно кричат врачиха и консьержка. Тем не менее я предпочел уйти от них подальше и направился к улице Монторгёй, едва переставляя ноги. У меня сильнейший жар, как только проклятая температура спадет, мне станет легче и видения отступят — во всяком случае, так я себя утешал.

Париж, 1953 год

Из алюминиевого кузова на меня таращились круглыми агатовыми глазами два десятка отсеченных телячьих голов с высунутыми языками. Грузовики и легковые машины с широкими подножками сигналили, едва продвигаясь среди нагромождения коробок, ящиков, лотков, расставленных прямо на мостовой, торговок с тележками, помощников мясника, что, сдвинув набекрень белые колпаки, таскали в магазин огромные туши. Пахло яблоками, кровью, чабрецом, бензином, табаком и пылью. Мне сразу вспомнились мощные балки, подпиравшие почерневшие растрескавшиеся стены старинных домов. На колокольне церкви Святого Евстафия отзвонили шесть, я шел вперед, мне уже видна высоченная стеклянная крыша Центрального рынка, выстроенного в 1854 году архитектором Бальтаром. Чем ближе к рынку, тем гуще толпа вокруг; людской поток внес меня внутрь; оглушенный происходящим, я не сопротивлялся и ни о чем не думал. Смеркалось. Я испытывал одновременно тревогу и восторг, мне казалось, я на старой фотографии, ожившей, озвученной и объемной. Все переменилось, лишь отдельные детали напоминали знакомый квартал: та же вывеска на ресторане, фигурная решетка, дверь, облезлая винтовая лестница. Внезапно меня охватил ужас: как же я выберусь отсюда? Я знаю, что я в Париже, но не знаю, в каком году. Нельзя же спросить вон у того полицейского в форме старого образца: "Скажите, пожалуйста, какой нынче год?" По улице Реомюр мне навстречу бежал мальчишка с кипой газет и выкрикивал: "Покупайте последний выпуск!" Сунул руку в карман, но там одни современные купюры. Итак, я без гроша и, по-видимому, без каких-либо документов в своем давно исчезнувшем прошлом. Забыл, сколько все стоило при инфляции, что было принято, как люди общались между собой. Ребенок плохо запоминает внешний мир, играет себе в индейцев, устраивает вигвам под столом в гостиной, живет в собственном тихом мирке. Совершенно очевидно: я попал в пятидесятые годы, те самые, когда к врачихе еще приходили пациенты, когда девушка в белых носочках мечтала о чем-то в нашей комнате. Мне напомнили о том времени и машины, и полицейский с белым жезлом у пояса, в кепи с круглым козырьком, которого я только что встретил. Галлюцинации меня больше не пугали, я свыкся с ними, на мой взгляд, они даже привнесли в мою жизнь разнообразие. Но все люди вокруг, что горланили и толкались, были вполне реальны, я мог до них дотронуться, как вот до той стены или прилавка. На углу улицы Этьен-Марсель я едва не попал под грузовик и пребольно ушибся коленом об его бампер. Грузовик вовсе не был призрачным. Боже мой! Остается только надеяться, что все исчезнет само собой.

Когда совсем стемнело, я был на грани отчаяния. Подумать только! Затерян, заперт, сослан и никак не могу попасть домой, в 1995 год. Проклятое колдовство! Стал себя ощупывать: нет, я тоже не призрак, не утратил плотности, не прохожу сквозь стены. Во сне все вокруг было бы нечетким, расплывчатым, нелепым — я летал бы над крышами вместе с голубями и танцевал бы в одних кальсонах на балу с трехгрудыми принцессами. Ничего подобного не происходило. Я бродил среди лотков с овощами под зонтиком-крышей из стекла и стали. Прихрамывал — болело ушибленное на улице Этьен-Марсель колено. Где бы присесть? Что-

бы устроиться в кафе, нужно что-нибудь заказать, а мне платить нечем. Сяду вот здесь, на ящик, под сенью салатного цикория. Я снял с плеча сумку, поставил ее на колени и расстегнул. На обратном пути от Мансара я купил в магазине "Фнак" полароид, надеясь собрать доказательства, поймать, запечатлеть призраков, как запечатлевали их спириты в начале века. Но у тех получались едва различимые белые пятна на слепых снимках, я же намеревался сразить наповал всех скептиков, показав нечто неоспоримое, яркое, четкое, сочные краски, колоритных персонажей посреди блеклой обыденности. Я усмехнулся: угораздило же меня! Ведь сегодня утром я уже был здесь, спускался вниз на эскалаторе — сейчас на месте эскалатора краснолицый толстяк торгует репой, — направлялся в подземный лабиринт современного Форума, который построен в футуристическом, уже устаревшем стиле, точь-в-точь аэропорт — в пятидесятые обыватели воображали такой Америку, — в подземелье холодное, механизированное, пригодное лишь для кротов. Я собрался достать свой новенький фотоаппарат и зарядить его, но внезапно передумал: неизвестно, понравится ли мое щелканье рабочим в грязных блузах, что громко переругивались поблизости, или вон той красавице торговке, клавшей на весы лук-порей. Я так и не решился их сфотографировать. Проклятое наваждение все длилось и длилось. Приходилось с этим смириться. Мне стало страшно. Посмотрел наверх: по металлической решетке уверенно карабкались две крысы — я позавидовал им. Неужели у меня не окажется даже сигарет в кармане? По счастью, отыскалась пачка, но вместе с ней я вытащил счет за телефон, который должен был срочно оплатить. А Марианна? Что она скажет? Если я не вернусь сегодня вечером, и как можно скорее, у нас отключат телефон! Интересно, где она сейчас? Она будет ждать меня, ходить в нетерпении из угла в угол, кусать губы, ломать руки, нервозная, напряженная, наконец спросит у Мансара, где я. Подымет тревогу, известит полицию, обзвонит все больницы. Я тоже сейчас тосковал и тревожился, но за Марианну волновался больше, чем за себя. Долгие годы мы и часа не могли пробыть друг без друга, мы задыхались без атмосферы тепла и нежности, что была соткана из тысячи незаметных мелочей: наших улыбок, ласковых прикосновений, неизбежной доли взаимного раздражения, незначительных обид и капризов. Я дрожал от волнения и повторял, как молитву: "Марианна, Марианна, Марианна..."

— Чего тебе? — спросил грубый женский голос у меня за спиной.

— Вас, что же, зовут Марианна?

— Ну. Откуда ты меня знаешь?

— Кажется, мы с вами не знакомы.

— Я тоже в первый раз тебя вижу. Чего тебе надо, бездельник?

— Ничего, спасибо.

— Ты нездешний, что ли?

— И здешний, и нездешний.

— Прямо не хочешь отвечать?

— Я раньше много лет прожил здесь неподалеку.

— Вернулся глянуть, как оно тут, а? Темнишь ты, парень. Эй! Колченогий! Подойди-ка сюда! Гляди, какого я ковбоя отыскала!

Его называли Колченогий, потому что при ходьбе он сильно припадал на одну ногу, но был он широк в плечах, сросшиеся брови темной полосой перерезали его лоб, волосы мышиного цвета упрямо топорщились. Выправка военная, не хватало только фуражки на голове. Я встал, морщась от боли, потирая ушибленное колено. Он оглядел мои джинсы и ковбойские сапоги.

— Ты откуда, парень?

— Издалека.

— Небось, из Индокитая?

Польщенный, я кивнул, как бы отдавая дань его проницательности, но сейчас же и спохватился, пожалев о своей неосторожности.

— Меня все забыли, и я все забуду.

— Парень, я тебя понимаю, сам чудом выдрался из проклятых джунглей. Ты где живешь?

— Пока нигде.

— Тебе сейчас туго, но я тебе помогу. Здесь, на рынке, с голоду не помрешь, пускай в ноге засела пуля, были бы руки целы.

Он махнул рукой, мол, пошли; я молча надел сумку через плечо и двинулся следом. В конце концов, хуже не будет. Он решил, что я воевал в Индокитае, весь вопрос в том, закончилась там уже война или нет? О прошлом у меня сохранились лишь отрывочные сведения, а мне предстояло здесь освоиться. Ничего страшного. Солдат, вернувшийся с фронта, всегда неразговорчив, многое скрывает, его одолевают чудовищные воспоминания, ему чудятся ямы-западни для тигров, перед глазами кишат болотные пиявки, он чувствует дыхание смерти, и, главное, он утратил связь с действительностью. Так что мне остается лишь играть эту роль, благо я видел фильмы о ветеранах Вьетнама, разница невелика, а в случае чего я как-нибудь вывернусь. Черт подери! Кажется, я смирился с невыносимо долгим пребыванием в пятидесятых годах. Ужасно!

Мы снова на улице Монторгёй. "Я вон там вкалываю", — сказал мне Колченогий, указав на витрину ресторана "Труба святого Евстафия"; внизу белыми, слегка растекшимися буквами полукругом над заходящим солнышком значилось: "У мадам Поль, фирменные лионские блюда". Колченогий трудился на кухне: крошил, нарезал и разделывал, готовил, мыл, прибирал — за ничтожную плату, однако у него была крыша над головой, и его кормили. Он рассказал, как нашел работу. У хозяина ресторанчика, господина Поля, с Азией связаны особые воспоминания, хотя он там никогда и не был. Еще со времен Шелкового пути между купцами с берегов Роны и жителями берегов Меконга[1] велась торговля, купцы возвращались на родину богатыми и молчаливыми, заключали солидные сделки, узнавали о новых ремеслах, привозили с Востока неясные мечты и странные безделушки. Со старой квартиры в районе Бротто господин Поль бережно перевез доставшиеся ему по наследству вещи: трубку для курения опиума, пахнущую вяленой рыбой, темно-зеленую настольную лампу и бледно-зеленую нефритовую статуэтку богини Милосердия, некогда разбитую и тщательно склеенную из почтения

1. Меконг — одна из крупнейших рек Индокитая, относится к бассейну Тихого океана.

к прошлому. Вещи были хороши лишь в качестве экзотики, дорожить ими было, по меньшей мере, странно. Однако господин Поль исключительно из пристрастия ко всему восточному взял к себе Колченогого, когда тот вернулся покалеченным из Сайгона. Теперь мой покровитель собирался разжалобить хозяина, рассказать, что я его боевой товарищ и даже спас ему жизнь.

Мы миновали ресторан, где уже сидели первые посетители, изучая меню, написанное мелом на грифельной доске, и вошли в него сбоку, с черного хода, со стороны переулка Венгерской королевы, грязного и вонючего. Я знал, откуда взялось название: до революции здесь находилась лавчонка некой Жюли Бешёр; однажды она предстала перед Марией-Антуанеттой с прошением от всех рыночных торговок; при виде нее монархиня воскликнула: "Глядите, наша августейшая матушка Мария Терезия[1], просто вылитая!" Прозвище закрепилось за Жюли, а потом стало названием узкой подворотни, куда выходят двери кухонь нескольких ресторанов.

Мадам Поль среди пара, поднимавшегося над множеством кастрюль, умудрялась всюду поспевать и за всем следить; в тот момент, когда мы вошли, она как раз подливала коньяк в медный сотейник, и вырвавшийся язык голубого пламени осветил ее. Лица я не увидел — она стояла ко мне спиной, — зато разглядел могучую шею и седые волосы, торчавшие во все стороны, напоминая о былом перманенте. Мадам, даже не обернувшись на скрип двери, сразу набросилась на Колченогого: "А ну берись за дело! Народ вот-вот повалит!" Колченогий вытолкнул меня на середину кухни, а сам двинулся к сервировочному столику, за которым девушка раскладывала закуски по тарелкам. Мадам Поль, поставив в духовку запеканку с раковыми шейками, наконец заметила меня и проворчала:

— Это что еще за франт?

— Наш, с рисовых полей, — отозвался Колченогий.

— Не хватало, чтоб ты к нам весь свой батальон притащил!

Тут распахнулась дверь, и на кухню вбежал сам господин Поль с засученными рукавами, в просторном темно-синем фартуке до пят — лысый человечек с отвислыми щеками и аккуратно подстриженными усами. "Порция рагу из баранины, порция свиной колбасы и еще две порции мозгов с испанскими артишоками!" — заторопился он. Девушка повезла в зал столик на колесиках с ветчиной и колбасами. Вместо нее закусками занялся Колченогий. Я смотрел, как он готовит рубцы: вытаскивает ровные куски мяса из маринада, обмакивает их во взбитое яйцо, обваливает в сухарях. Быстрые, точные движения людей, обжигающий жар духовки и конфорок, шум, запах мясной подливы, раков, соусов... Нет, это все — реальность, скорее уж я призрак.

Но призрак необычный, коль скоро призраки едва ли страдают от несварения желудка, а я страшно мучился: радушные хозяева поздно вечером — лишь только ушел последний посетитель — накормили меня чересчур обильно, к тому же господин Поль переусердствовал, подливая мне божоле. Впрочем, он надеялся услышать рассказ о моих подвигах, с

1. Мария Терезия Австрийская (1717–1780) — австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов. Мать Йозефа II и Марии-Антуанетты. Отличалась смелостью и решительностью.

упоминанием громких имен, реки Меконг, окрашенной кровью, игорных домов Шолона[1], деревьев с непроизносимым названием, за которыми прячутся враги, разнообразных случаев и приключений. Заметив, что я всячески уклоняюсь от расспросов, мадам Поль пришла мне на помощь: "Отстань от парня, не видишь, он устал, еще успеете наговориться". В самом деле, разговаривать с господином Полем нам предстояло долго. Благодаря протекции Колченогого меня взяли в ресторан на работу, чтобы я носил с рынка продукты, помогал мыть посуду, и к тому же, если мне это по вкусу и я действительно желаю у них остаться, мне надлежало коротко остричься, обзавестись костюмом поприличнее, то есть амуницией официанта, и обслуживать посетителей. "Мы рады, что можем выручить тебя", – сказал под конец господин Поль. Потом подозвал кругленькую рыжую девушку, что расставляла столики в зале перед завтрашним днем:

– Луиза, отведи парня в его комнату.

– В кладовку?

– Пусть временно поживет в кладовой, все же лучше, чем ничего.

Потом прибавил, обращаясь ко мне: "Комнатенка на седьмом этаже, рядом с Луизиной. Там свален всякий хлам, зато есть кровать. Пока поживешь там, потом видно будет, ладно?" И снова служанке: "Луиза, дашь ему одеяло!" Мне: "На Востоке тебе приходилось вообще ночевать под открытым небом, верно?"

И вот я пошел вслед за Луизой по лестнице черного хода, крутой и скрипучей. Вскарабкавшись до самого верха, мы очутились в узком коридоре, освещенном тусклыми голыми лампочками, что уныло раскачивались на сквозняке. На каждой двери нацарапан номер. В конце коридора – массивный позеленевший кран и узкая раковина, наподобие чаши для святой воды с решеткой внизу, чтобы наполнять большие кувшины. Сколько раз, лежа в уютной мягкой постели, я мечтал оказаться в рабочем квартале былого Парижа; теперь мне предстояло здесь поселиться. "Вот ваша комната, – сказала Луиза. – Я живу в соседней, двадцать восьмой". Она протянула мне ключ, а сама так и осталась стоять – ей было интересно, понравится мне новое жилище или нет. Я открыл дверь. К моему удивлению, одинокая лампочка, свисавшая с потолка, сразу зажглась. И осветила мансарду со скошенным потолком, наполовину заваленную пыльными перевязанными бечевкой картонными коробками. Краска на стенах вздулась от сырости пузырями. "Вам помочь?" – спросила Луиза, кивнув в сторону складной кровати. Я молча покачал головой. "Подождите, я сейчас принесу вам одеяло". Она бесшумно удалилась, только слегка скрипнула соседняя дверь, и через мгновение вернулась с теплым шотландским пледом. Я вежливо поблагодарил ее; однако Луиза и не думала уходить. Мне пришлось взять ее за плечи и тихонько выставить в темный коридор – свет там уже автоматически выключился. Дверь я запер на ключ, мне хотелось побыть одному. Я подумал: "Луиза – первая из живущих в давних, пятидесятых, до кого я дотронулся. В самом деле, я положил ей руку на плечо, почувствовал через свитер кожу, даже начало лопатки. Она не растаяла у меня в руках. Живая, настоящая девушка, рыжая с белой молочной кожей". Я еще глубже увяз в прошлом, а мне бы так хо-

1. Шолон – ныне китайский район Хошимина.

телось вернуться в настоящее! Что же теперь делать? Я не знал, почему там очутился, тем более не знал, как оттуда выбраться. Отныне я ничем не распоряжался. Только терпеливо сносил все испытания.

Я лег на край кровати с металлической сеткой и стал ждать, что хоть на мгновение перемещусь в мои родные девяностые. Ведь и в пятидесятых годах я оказался не сразу, сначала как бы только оступался в прошлое, потом видения стали меня затягивать, и я окончательно провалился. Я ждал, надеялся, но все оставалось по-прежнему. Коробки с барахлом, наваленные до самого чердачного окна, не превращались в изящный диванчик, темные лоснящиеся балки не исчезали, отведенная мне каморка так и не преобразилась в роскошную современную квартиру с остекленным потолком. От нечего делать я принялся рыться в сумке. Достал полароид и на всякий случай зарядил его. Повесил куртку на дверную задвижку и вывернул оба кармана. Разложил на коробке неуместные здесь "таинственные предметы": кредитные карточки, влажные салфетки, гелиевую ручку, наш с Марианной семейный железнодорожный билет, я раскрыл его ради фотографии Марианны. Ее карточка была рядом с моей. Хорошо бы Марианна вдруг ожила! Появилась сейчас передо мной! Который час теперь в 1995-м? Говорю ее портрету: "Я исчез, ты внезапно осталась одна, без тебя моя душа ссыхается, в новом окружении я словно замороженный. Я здесь не выдержу!" В отчаянии ударил кулаком по коробке и закашлялся от поднявшейся пыли. От гнева и бессилия меня колотила дрожь, по грязным щекам текли слезы. Я закрыл глаза. Вне всякого сомнения, я очнусь и увижу фигуры в белых халатах, склоненные надо мной, услышу тихий сочувственный шепот: "Мадам, успокойтесь, видите, он приходит в себя". В конце концов я задремал, но разбудил меня не врач, разбудила Луиза, тихонько постучавшись в дверь. Я вскочил. Увы, вопреки всем ожиданиям никаких перемен — та же жалкая обстановка, что и вчера. Предстояло прожить еще один тягостный день. Изображать ветерана, не жаловаться, скрывать тоску и страх.

"Вот и он! — приветствовал меня господин Поль. — Сегодня ты выглядишь гораздо лучше". Пришлось бриться опасной бритвой, намыливаясь помазком, к тому же без горячей воды. Луиза одолжила мне зеркальце, но все равно я порезал подбородок. Потом Луиза вооружилась ножницами и подстригла мне волосы на затылке. Еще для меня откопали черные брюки невероятной ширины. Обряженный по их вкусу, чувствуя себя смешным и нелепым, я спустился вниз и уселся за столик, чтобы выпить чашку кофе. Народ толпился у оцинкованной стойки, в конце нее возвышалась, словно церковная кафедра, касса, проповедовать с нее готовилась уткнувшаяся в свои бумажки мадмуазель Бассе, очень грозная на вид особа. Часы с маятником пробили восемь раз. Поутру ресторан "Труба святого Евстафия" превратился в обыкновенное бистро. Мясники из соседнего магазина доедали внушительные, посыпанные петрушкой антрекоты. Особо приближенные завсегдатаи болтали у стойки с господином Полем, попивая из круглых бокалов сент-амур. Луиза, взобравшись на диванчик, обитый красным молескином, писала на грифельной доске сегодняшнее меню. Я следил, как она старательно выводит мелом слова, почти касаясь головой копченых окороков, украшенных бумажными гирляндами и розетками. За вешалками и лакированными деревянными

ширмами скрывалась неприметная дверь: спустившись на две ступени вниз, вы попадали в другой зал, не менее просторный, но в отличие от первого не такой вытянутый. Здесь за столиками с чистыми клетчатыми скатерками обедала в полдень публика с улицы Монмартр: вход в этот зал располагался как раз напротив церкви.

Один из посетителей забыл газету, и мне смертельно хотелось скорей пролистать ее и узнать, какое сегодня число и что творится в мире. Но я сдержался, спокойно допил кофе и, лишь направляясь на кухню, где мадам Поль уже вовсю варила и пекла, ловко стащил забытый свежий номер "Пари-пресс энтранзижан", выпущенный в субботу 16 мая 1953 года.

Во второй половине дня, после того как я отработал на кухне и в зале, мне разрешили три часа отдохнуть. А затем снова на кухню, в пекло, мыть жирные тарелки, отчищать с противней намертво приставшие корки, быть на побегушках у мадам Поль и сходить с ума от духоты и суеты. Я рухнул на железную кровать, сунул под голову свернутый плед и наконец-то развернул украденную газету. Бракосочетание норвежки Рагнхильд с кем-то там, а, не важно; забастовка служащих торгового флота, что ж, ничего удивительного. "Конфликт между Англией и Америкой вспыхнул с новой силой". Постойте, какой конфликт? Прочтем повнимательнее. Обе стороны поливают друг друга грязью, борясь за сферы влияния в Атлантике, сенатор Маккарти организовал проверку так называемой лояльности. Маккартизм. Мрачный период политической нетерпимости. Доносы, подозрения, аресты, высылка людей из страны. "Берия стремится захватить власть после смерти Сталина". Боже! Ведь Сталин только что умер. Там тоже был мрачный период нетерпимости. Доносы, аресты, убийства. Я попал в то время, когда мир на свою беду жестко разделился на два непримиримых лагеря, два одержимых смертельной ненавистью блока, западный и восточный, на мой взгляд смехотворных: мне-то известно, что будет дальше. "Доберется ли Эдмунд Хиллари[1] до вершины Эвереста?" — вопрошал журналист на другой странице. И его сомнения мне под силу рассеять. Доберется, факт. Листаем дальше. В Париже идут неизвестные мне фильмы: "Андрокл и лев", "Пропойца", "Конечная остановка", "Миледи и мушкетеры" с Иветт Лебон в главной роли. Об Индокитае ни строчки. Ни статьи, ни заметки, ни единого слова. Да, я прочел Бодара, Дельпея[2], еще кое-кого, но прочел давно, к тому же мне необходимы подробные, точные сведения, иначе мне не удастся придумать правдоподобный рассказ о войне, и Колченогий станет уличать меня на каждом шагу — вдруг я назову генералом того, кто еще не произведен в этот чин, или скажу: "Такой-то город давно под контролем Вьетминя[3]" — а это пока не так. Я ведь даже не знал, кто в мае 1953-го был у нас президентом республики: все еще Венсан Ориоль или уже Рене Коти[4]? В полном унынии я решил наконец уснуть.

1. Эдмунд Хиллари (р. 1919) — новозеландский альпинист; в 1953 году он с Н. Тенцингом первыми в мире достигли вершины Джомолунгмы.
2. Люсьен Бодар (р. 1914) — журналист, специалист по Китаю, автор книги "Тень Мао"; Роже Дельпей — французский писатель, автор книги "Солдаты грязной войны" о войне в Индокитае.
3. Вьетминь — Лига борьбы за независимость Вьетнама, коалиция вьетнамских националистов, демократов и коммунистов во главе с лидером последних Хо Ши Мином.
4. Венсан Ориоль (1884—1966) — президент республики с 16 января 1947 г. по 16 января 1954 г., социалист. Рене Коти — президент республики с 16 января 1954 г. по 8 января 1959 г., представитель "независимых".

Открываю глаза. Луиза вертит в руках полароид. Я так устал, что забыл запереть дверь, она увидела, что я сплю, вошла, взяла фотоаппарат и теперь обезоруживающе улыбается. Я не отчитал ее за непрошеное вторжение. Должно быть, в пятидесятые годы служанки запросто заходили к соседям и не считали это неприличным. Я испугался и смутился, потому что в наше время люди стали замкнутыми; бытовой комфорт воздвиг между нами непреодолимые преграды; к концу XX века мы очерствели, помощь ближним сводится у нас к регулярным выплатам на нужды благотворительности, учтенным в системе налогообложения. Меня восхитила первобытная непосредственность Луизы, ведь я и сам рожден в те незапамятные времена: в мае 1953-го мне было семь лет.

"Что это такое?" — спросила она, оглядывая полароид в чехле со всех сторон. Я объяснил, что это опытная модель фотоаппарата. "Можно посмотреть?" Я послушно расстегнул чехол. Глядя в видоискатель, она нажала на пусковой тросик; вспышка меня ослепила. Луиза не ожидала появления готового снимка и в испуге выронила его. Я едва успел подхватить. Потер снимок о плед, чтобы краски ярче проявились. Слегка смазанное изображение: я сижу на железной кровати с глупейшим видом, на лице написана обреченность и покорность судьбе. Луизу ошеломило такое немыслимое чудо: обыкновенно, чтобы проявить и отпечатать фотографию, требовалось много времени, нужна была целая мастерская. Теперь она боялась полароида, как уроженка Ориноко испугалась бы тостера. Я успокоил ее, но просил никому не говорить про волшебное устройство — пусть это будет нашим секретом. Если она не проболтается, я обещаю фотографировать ее сколько угодно. Она чмокнула меня прямо в губы, схватила снимок и убежала. Какая Луиза кругленькая, ей идет черная юбка в обтяжку!

Центральный рынок закрыт по понедельникам, поэтому и в ресторане "Труба святого Евстафия" с вечера воскресенья до утра вторника не поднимали жалюзи. Я предпочел свой первый свободный вечер провести наверху, в грязной мансарде; пройтись по улицам после того раза я не решался, хотя Колченогий, уходя, настойчиво звал меня с собой. Поднявшись на седьмой этаж, я столкнулся в коридоре с Луизой и ее приятелем Бебером, подручным у булочника, приносившим в ресторан утром и вечером горячий хлеб. Узкоплечий блондин, длинный и тощий как жердь, заурядный, нескладный, Бебер не позволял себе лишнего, видимо по причине застенчивости. Он шел деревянной походкой и был одет, как говорится, по-воскресному, из рукавов белой рубашки с жестким воротничком торчали громадные красные руки, узкий галстук сдавливал шею. Нарядная Луиза в платье в цветочек и в туфлях на высоченном каблуке тоже двигалась не слишком грациозно. Она посмотрела мне в глаза со значением: "Пойдемте скорей, я кое-что для вас приготовила". Она схватила меня за руку и потащила к себе, оставив злосчастного Бебера, который и так уже был раздосадован моим появлением, одного в темном коридоре. Перед двадцать восьмым номером она замешкалась, отыскивая в сумочке ключ, наконец отперла дверь и с жаром повторила прежнее приглашение, видя, что я не отваживаюсь войти: "Пойдемте скорей!" Ее комната походила на бонбоньерку: и стены, и скошенный потолок оклеены полосатыми, розовыми с белым, обоями, на кровати розовое кретоновое покрывало, такие же занавески на

большом окне. Луиза взяла с металлической подставки для журналов в виде кораблика последний номер "Пари-матч" и принялась лихорадочно его перелистывать: "Подождите, вот здесь, я подумала, вам будет интересно". Она показала мне занимавшую целый разворот черно-белую фотографию Хо Ши Мина: в очках, сползавших с носа, он склонился над книгой. Я не успел прочитать название статьи, поскольку она поспешно захлопнула журнал и сунула его мне: "Держите, это вам, а я спешу на танцы, я обещала, вы не обидитесь?" Я улыбнулся: "Ну что ты, беги к своему жениху". Она нахмурилась: "Бебер — мой жених? Вот уж нет. Я просто хожу с ним на танцы. А вы не стесняйтесь, оставайтесь в моей комнате, читайте, здесь вам будет лучше, чем в кладовой. Если соберетесь уходить до моего возвращения, оставьте ключ в коридоре на подоконнике". И, послав мне воздушный поцелуй, она убежала к подручному булочника. Ее каблучки простучали по коридорным плиткам. А я остался в обществе коричневого плюшевого медведя с проплешиной за ушами. Я ни за что не стану рыться в ее шкафу, в ее ящиках — на это я не способен. Я никогда не нарушал приличий из любопытства. Мне вполне достаточно просто подышать ароматом девичьей комнаты. Я сел на единственный стул, положил журнал на желтый деревянный стол, зажег лампу и углубился в чтение.

Довольно рано я отправился к себе в кладовую, лег на кровать, неровная металлическая сетка тут же впилась мне в бок, и я принялся обдумывать события последних дней, немыслимые и маловероятные. Мне было так тяжело применяться к "счастливой поре моего детства", что традиционный вопрос: "В какую эпоху вам хотелось бы перенестись?" — казался чудовищным и дурацким до крайности. Ах, я бы хотел быть мушкетером! Ах, в Афинах, прогуливаясь в расписанном дивными фресками портике, я беседовал бы с Сократом! Жалкие идиоты! Воображают, что стоит им оказаться в прошлом, как они преобразятся в рыцарей, маркизов, великих жрецов Осириса, а вовсе не в рабов или в сколопендр. Прошлое, далекое и недавнее, представляется нам галереей дивных лакированных картин; красивые легенды и реконструкции заставляют забыть о главном: прошлое было будничным настоящим, полным вечных изнурительных, тяжких забот, ничтожной суеты, несчастий и безобразий.

В 1995 году у себя дома я пролистал бы этот журнал, тоскуя о прошлом, вспоминая детство; сейчас он мне пригодился лишь для того, чтобы уяснить основные факты и не бояться попасть впросак. Теперь я знал наверняка: Венсан Ориоль — президент республики. Генерал де Голль, разобиженный, поскольку его прокатили на выборах, недавно удалился в Колумбию и пишет там мемуары в стиле маркиза де Сада. Между тем его более удачливым сторонникам нужно как-то сладить с волной забастовок: бастуют грузчики в доках, рабочие на автомобильных заводах, газопроводчики, электрики, водители автобусов, машинисты электропоездов в метро, персонал гостиниц. Вдобавок война в Индокитае затянулась. Прежде чем надуться и уйти, великий человек завещал нам: не допускайте вмешательства Америки, иначе локальный конфликт перерастет в международный. А вдруг Америку заинтересуют наши колонии в Северной Африке? Там уже и так неспокойно, хотя на школьных географических картах эта территория по-прежнему закра-

шена розовым цветом. Однако французов мало занимают колонии; гораздо важнее предстоящая коронация английской королевы или прибытие в Рим жены иранского шаха Сорайи в облегающем свитере. Все жаждали узнать об Алене Бомбаре[1], покорителе океана. О матадоре Ордоньесе, которого в Севилье покалечил бык, поскольку быкам, предназначенным для корриды, перестали подпиливать рога. И в особенности о красотке Шуро, ослепительной блондинке с огромными голубыми глазами, — ей прочили карьеру в Голливуде под резкими лживыми огнями софитов, но громкая слава актрисы продлилась недолго, ее скоро забыли.

Я стал размышлять о давно ушедших людях, таких самоуверенных и наивных, к которым меня забросил злой рок. Они почти оправились после Второй мировой и не подозревали, какие катастрофы их ждут впереди. Я прожил на сорок лет дольше их и мог с полным основанием утверждать: надежды пятидесятых не оправдаются. Но их неведение, напрасные страхи и незадачливые радости меня умиляли.

Луиза пришла только после полуночи. Цоканье каблучков, перешептывания: она вернулась не одна, а с дылдой Бебером. Перегородка между нашими комнатами оказалась тонкой, я неодобрительно прислушивался, словно был ее отцом; правда, нельзя сказать, что во мне заговорила оскорбленная добродетель. Луиза смеялась, Бебер хихикал. Она шикнула на него: "Тише ты!" С приглушенным стуком упали на пол туфельки. Заскрипела кровать. Я-то думал, в пятидесятые нравы были строже, впрочем, легкомысленные девушки вроде Луизы встречаются во все времена. Общественная мораль следит за длиной юбок и высотой ширм, а подлинная любовь, и возвышенная, и низменная, остается такой же, какой была еще при фараонах. Но всему есть предел! Я и представить себе не мог, что она спит с Бебером! Луиза обманула меня, когда сказала: "Жених? Вот уж нет. Я просто хожу с ним на танцы". Пусть делает все что хочет, но зачем врать? Солгала, чтобы меня не обидеть? Так, приятель! Ты никак ревнуешь? А как же Марианна, ведь она осталась на исходе XX века одна, она страдает, ищет тебя! Наверное, в полиции ей сказали, что ты без вести пропал. Даже твой труп нельзя обнаружить. Какой волшебник сможет перенести тебя теперь обратно в будущее? Из-за Луизы я вспомнил Марианну и застонал от горя; пусть я переношу все тяготы, я не смирился с ними, и только инстинкт выживания заставляет меня приспосабливаться. За стеной, в двадцать восьмом номере, Луиза тоже простонала. Но я стонал и плакал от тоски, а она — от наслаждения.

В понедельник, хоть он и был выходным, мне не удалось побыть одному. Господин Поль пригласил меня в гости. Они с женой жили в четырехкомнатной квартире над рестораном: пол, устланный коврами, тяжелая темная навощенная мебель, бархатные и тюлевые шторы, бесчисленные безделушки, хромолитографии с видами Соны в рамочках и фарфоровые тарелки на стенах. Теперь мадам Поль не покрикивала на меня у плиты, а для разнообразия сама готовила мне завтрак. Мы

1. Ален Бомбар (1925–2005) — французский врач. За 65 дней пересек Атлантический океан на резиновой лодке "Еретик", чтобы доказать, что потерпевшие кораблекрушение способны выжить в самых экстремальных условиях. Написал книгу "За бортом по своей воле".

с ее мужем беседовали возле остекленных шкафов с бокалами бордо. Добрейший господин Поль отхлебнул глоток, подержал вино за щекой, проглотил и прищелкнул языком с блаженной улыбкой. Он принимал меня запросто, по-дружески, без пиджака, в расстегнутом жилете, повинуясь странной иллюзии, будто каким-то образом связан с восточными колониями, о которых имел весьма туманное представление. Господин Поль горел любопытством, а я ничем не мог его порадовать.

На одной из полок стояла вырезанная из слоновой кости фигурка Будды.

– Хорошо сработано, а?

– Да, господин Поль.

– Вам, наверное, на Востоке часто попадались такие.

– Да, господин Поль.

– Этого Будду мой дед привез из Сайгона. Дед тканями торговал, ресторана у него не было. А на что, скажите, похож Сайгон?

– Вы бывали в Экс-ан-Провансе? Точь-в-точь Сайгон, только там еще жарче, все время гудят вентиляторы, водятся огромные ящерицы, растут высоченные пальмы, все одеты в белое и ездят на рикшах.

Он слушал мое описание в полном замешательстве, высоко подняв брови. Потом задал следующий вопрос:

– А резня там ужасная, да?

– Все войны одинаковы.

– Верно вы говорите. Вот лет десять назад нам солоно пришлось с проклятыми оккупантами. Они, собаки, все лучшее на рынке забирали не заплатив! Бараньи ножки ели только господа из особняка Мерис, нам доставались одни обрезки. Хорошо устроились, нечего сказать! Вы тогда были здесь, в Париже?

– Нет, воевал в Индокитае.

– Нам тут доводилось не лучше вашего. Я был связан с Сопротивлением, но обслуживал посетителей как ни в чем не бывало. У меня хранились важные донесения. И вот однажды кто бы вы думали приходит к нам в "Трубу"? Молодчики из гестапо собственной персоной, обезьяньи морды, черные плащи. Два часа они у нас рылись, всю квартиру перевернули. Ничего не нашли. Знаете, куда я спрятал бумаги? В бак, где кипятилось белье! Завернул в клеенку, засунул поглубже среди простынь, налил в бак воды и поставил на огонь! Неплохо придумано, а, что скажете?

– Ловко вы их провели.

– Да еще на следующий день пожаловался на них офицерам, что обедали у меня. После этого меня ни разу не тронули.

Господин Поль налил еще вина. Хмель слегка ударил мне в голову, к тому же я вполне освоился. Будь с нами Колченогий, я вряд ли бы так разошелся – тот в самом деле знал Сайгон и побывал во многих передрягах. Но полная неосведомленность господина Поля придавала мне уверенности. И я уже не мог остановиться. Когда-то я кое-что читал и теперь выдумывал вполне правдоподобные события. Чтобы придать вес собственной персоне, я произвел себя в лейтенанты; на господина Поля мой чин произвел впечатление.

– Вы были штабным офицером?

– Нет, полевым командиром.

Зачем я вдруг это ляпнул? Полевым командиром! Где и когда? Мы с Марианной отдыхали однажды на севере Таиланда, любовались орхиде-

ями, смотрели на слонов. Как и прочим туристам, нам показывали деревню с соломенными хижинами, где жили беженцы из верхнего Лаоса, горцы муонг[1], спасшиеся от преследований коммунистического правительства. Они торговали изящными дорогими вышивками и приторговывали опиумом. К счастью, я много расспрашивал об их истории – полученные сведения теперь отлично пригодились для описания моих вымышленных подвигов.

– Наш отряд расположился на берегу реки Красной, эти земли принадлежат племени муонг. Мужчины у них наголо бреются, оставляют только одну длинную прядь. Тогда мы организовывали партизанское движение против коммунистов на севере Лаоса.

– Да-да, – закивал господин Поль.

– Нам нужны были средства, чтобы поддерживать партизанские отряды – они сражались в тылу у Вьетнамской коммунистической партии.

– Ну да, – согласился господин Поль.

– Мы их выручили от продажи наркотиков: муонг растят опиумный мак.

– От продажи наркотиков! – ужаснулась мадам Поль.

Она как раз ставила на стол тушеные овощи.

– На войне все средства хороши, – примирительно сказал господин Поль, откупоривая еще одну бутылочку.

– Так что нас перебросили с Аннамского хребта на плоскогорье Тран нинь, чтобы мы отправили несколько тонн опиума в Сайгон.

– Нет, ну чтобы наша армия торговала наркотиками! – возмущалась мадам Поль.

– Приказы не обсуждают! – наставительно проговорил ее муж и прибавил, обращаясь ко мне: – Рассказывайте, пусть себе ворчит.

– Опиум был на войне основной валютой.

– Еще бы!

– Я сам свидетель: вьетнамцы тоже пытались скупить у муонг весь мак на корню. Они поставляли опиум китайцам, в Ханой, Гонконг, даже сбывали его своим в Сайгоне, чтобы закупать оружие и навербовать побольше сторонников.

Господин Поль с довольной улыбкой взял с полки и показал мне знаменитую трубку, привезенную с Востока его дедом.

– Старинная вещь! – восхитился я.

Сказав заведомую ложь, я изобразил знатока, которого не проведешь, и одновременно польстил хозяину.

– Дедушка Анри сам никогда не курил опиум, – поспешила меня заверить мадам Поль.

– А вдруг? – игриво предположил ее муж.

Я все хитрил.

– У нас продажу наркотиков контролировало государство, не важно, куда их возили, главное – республика обогащалась. Наркотики приносили больше дохода, чем гевея и соль. После поражения при Дьенбьенфу[2]

1. Муонг – народ, проживающий в горных районах Аннама и Лаоса.

2. Дьенбьенфу – узкая долина, где некогда располагался японский аэродром. В 1954 г. главнокомандующий французской армией генерал Наварр сосредоточил здесь основные силы, чтобы дать армии Вьетминя решающее сражение. Французы попали в окружение и 7 мая 1954 г. капитулировали.

я знал французов, которые продолжали торговлю на свой страх и риск в крошечных барах, за стойкой. Такие притоны появлялись и мигом исчезали на берегах Меконга.

— О каком поражении вы говорите? — вдруг перебил хозяин.

Я прикусил язык: что из себя представляет долина Дьенбьенфу, они узнают лишь на будущий год! Промычал в ответ что-то невнятное и умолк, как-никак разговаривать с набитым ртом неприлично...

Слухи о моем славном прошлом распространились быстро. Во вторник с утра Колченогий уже величал меня "лейтенантом", хотя мы с ним по-прежнему были на "ты".

— Гляди, лейтенант: берешь раков, одному из дюжины обрываешь клешни; клешни бросаешь вон в тот котел.

— Зачем?

— Из них варят раковый суп, который подают с кнелями. Везде свои хитрости.

— Посетители не скандалят, получив такого рака?

— А чего им скандалить? Раки дерутся и в драке обрывают друг другу клешни.

На рынок только что завезли свежие продукты, и мадам Поль лично обходила ряды, выбирая, что подешевле. Пользуясь ее отсутствием, я рассказал Колченогому о вчерашнем визите к хозяевам. Когда я упомянул, что господин Поль участвовал в Сопротивлении, Колченогий насмешливо осклабился: "Да он бесстыдно наживался на черном рынке! Мне Шампо-младший рассказывал. Его отец рыбой торгует, знаешь, наглый такой мужик в рыбных рядах на рынке. Так вот, всю войну они с Полем мошенничали вовсю. Сопротивление! Никакого Сопротивления, если дельце выгодное! Конечно, когда союзники на танках въехали в Париж, выяснилось, что он где только не участвовал. Впрочем, он и сейчас своего не упустит, такая уж порода. Знаешь, как сделать яичницу с двумя глазками из одного яйца? Я тебе покажу".

Выходит, господин Поль меня обманул, Луиза меня обманула, я тоже обманываю их. Мы все тут друг друга стоим. Но если я скажу им правду, разве они поверят? Тем временем Колченогий извлек из ящика стеклорез, взял в левую руку яйцо, провел алмазом, наметив через всю скорлупу тонкую, едва заметную линию, обмакнул в подсолнечное масло наточенный нож и острым лезвием очень ловко рассек яйцо точно пополам. В самом деле в миске плавало два желтка. Явно гордый своим мастерством, Колченогий сказал небрежно: "Если рука дрогнет, желток растечется". Завороженный его искусством, я не заметил, как на кухню вошла Луиза. Она положила на сервировочный столик купленные на рынке фрукты. Поскольку они с мадам Поль вернулись, мы перестали злословить и занялись делом. Я добросовестно пересчитывал раков и каждому двенадцатому отрывал клешню. Луиза на другом конце кухонного стола крошила овощи, не поднимая глаз. Все утро, стоило мне взглянуть на нее, она отворачивалась, будто я в чем-то перед ней провинился. Пришлось притвориться рассеянным и равнодушным. Во время послеобеденной передышки она подсунула мне под дверь записку: "Вы на меня не сердитесь?" Вот дурочка! Я постучался к ней. Но ее не было в комнате.

Вечером мы по-прежнему не замечали друг друга. При постоянной суете и сумятице на кухне нам это вполне удавалось. Над жареной свиной ножкой трудно объясниться в любви, зато нетрудно изобразить полнейшее безразличие. Но, забирая у Луизы половник, я случайно коснулся ее руки, и по руке пробежала дрожь. Не глядя на меня, девушка убежала в зал с тарелкой селедочного паштета.

Дни шли за днями: все та же суета, все та же усталость. В субботу мы с Колченогим опустили жалюзи на витрину, заперли двери и спокойно отправились к себе на чердак. Колченогий жил в мансарде на другом конце длиннющего коридора. Пока мы поднимались на седьмой этаж, он дал мне адрес притона курильщиков опиума в конце улицы Лепик, где собирались все ветераны экспедиционного корпуса. Колченогий очень живописно рассказывал, как умудрялись разводить мак солдаты его гарнизона в Тонкине, где постоянно шли бои. Впрочем, я слушал вполуха, поскольку страшно устал за день. Простившись с ним, я заковылял к себе и едва не налетел на Луизу — она как раз стояла у крана и наполняла водой кувшин. Столкнувшись нос к носу в пустынном темном коридоре, мы были вынуждены заговорить. Боясь потревожить в поздний час других жильцов, она сказала шепотом: "Я порвала с Бебером. Из-за вас". Глаза Луизы светились зеленым, словно кошачьи. Я не смел шевельнуться, не смел ответить ни слова. Она стремительно исчезла, расплескав из кувшина воду на кафельный пол. Свет автоматически выключился. Я остался в полной темноте.

По воскресеньям Луиза вставала рано и шла к утренней мессе в церковь Святого Евстафия. На этот раз я решил подстеречь ее и встал еще раньше. В костюме антрацитного цвета, который господин Поль буквально оторвал от сердца, я чувствовал себя так же непринужденно, как ученый-антрополог в набедренной повязке. К тому же я давно не был в церкви во время службы. И привело меня сюда не святое религиозное чувство, а мирское, человеческое, обыденное, которому ангельское пение ближе грохота органа, запах травы на лугу приятнее благоухания ладана и копоти свечей, поскольку сулит вполне земное блаженство. Рассматривая каменные изваяния на капителях, я улыбнулся, представив, как бесы со смехом гоняются за грешницами с тяжелыми косами и наконец ловят их, вполне довольных, несмотря на вечное проклятие, кругленьких и аппетитных, как Луиза. Да вот и она, в черном платье, в косынке, завязанной узлом под подбородком, в скромных туфельках. Подошла, перекрестилась, опустилась на колени перед алтарем и, закрыв глаза, стала истово молиться. О чем? Церковь понемногу заполнилась народом: правоверными католиками и просто ранними пташками. Торжественно вышел священник с двумя певчими, мальчуганами с торчащими ушами, гладко причесанными и облаченными в крахмальные стихари. Прозвонил колокольчик, и начался магический ритуал, миллион раз повторенный и отточенный до малейших деталей. Луиза, не отрываясь от молитвенника, повторяла вместе с другими прихожанами латинские заклинания. Я не отрываясь смотрел на ее профиль, на всю ее литую ладную фигуру, что сгибалась и вновь выпрямлялась. Луиза усердно читала молитвы. Каким ей виделось будущее, уже известное мне? Каким представлялось окончание нашего дурацкого века? Неужели она верила,

что, перебирая деревянные бусины четок, помогает человечеству образумиться? Наивное дитя! Если я расскажу ей, что люди окончательно отгородятся от себе подобных, закоснеют в эгоизме и грубости, она обвинит меня в человеконенавистничестве. Я выскользнул из церкви до того, как священник сказал проповедь. И стал ждать Луизу на паперти, вблизи рыночной сутолоки и гама, неподалеку от неопрятных лотков с овощами, которыми торговали огородники-нормандцы в просторных блузах.

– Вы пришли к утренней мессе?

– Нет, Луиза, я не верю в Бога.

– Кого же вы посвящаете в ваши тайны?

– У меня нет тайн.

– Неправда, есть!

– Откуда ты знаешь?

– Вы молчун, а молчуны всегда что-то скрывают. С кем вы делитесь своими секретами?

– Ни с кем.

– Врунишка! У вас никогда не было подруги?

– Я много лет прожил с наваждением.

– Оно вас преследует?

– Да, во сне.

– Вас бросила ваша любимая?

– Нет, я сам покинул ее против воли.

– Это случилось, когда вы были там, на войне?

– Можно сказать и так.

– А сейчас вы свободны?

– Боже мой! В каком смысле? А ты свободна, Луиза?

– Я же вам сказала, что мы с Бебером разругались. Зачем вы спрашиваете, мне неприятно говорить о нем.

– Весьма сожалею! Прости, пожалуйста.

– Вы так красиво говорите, прямо благородный господин.

– Я когда-то учился, Луиза.

– Я вам нравлюсь?

– Сколько тебе лет?

– В июле исполнится двадцать два. А вам сколько?

– Я вдвое тебя старше. Даже больше, чем вдвое.

– Неправда.

– Уверяю тебя!

– Мой отец давно растолстел и поседел.

"Как быстро пролетела жизнь", – сказала со вздохом одна из моих давних знакомых; привыкнув быть молодой, она с огорчением разглядывала проступившие на руках голубые вены. Вот так же пристально я всматривался в свое лицо в зеркале над раковиной, что висело в туалете для посетителей ресторана. Я сам удивился, как молодо выгляжу. Впрочем, хотя мне и стукнуло пятьдесят, внутренне я этого совсем не ощущал. Возможно, за жизнь я что-то понял и чему-то научился, но разыгрывать умудренного опытом старца, привыкнуть, что я солидный пожилой человек, не удавалось и не хотелось. Не изменились ни мои привязанности, ни мои антипатии. Я не стал беззубым и лысым, не разжирел, не по-

крылся морщинами, не страдал люмбаго, и сердце не шалило. Колченогий лет на пятнадцать меня моложе, господин Поль — мой ровесник, но оба они уже старики. Наверное, в то время люди скорей изнашивались. В отличие от нашей, жизнь их протекала не гладко. От усталости они быстро старели, с трудом несли груз прожитых лет, рано умирали. К пятидесяти годам богатые пресыщались нажитыми благами, бедные надрывались от непосильной работы. Как ни странно, на рубеже тысячелетий, с одной стороны, комфорт, с другой — проклятая неуверенность в завтрашнем дне заставляют людей дольше сохранять жизненную энергию. Из раздробленного и раздерганного мира я попал в мир регламентированный, где каждый вполне отождествляет себя со своей возрастной группой. К тому же за плечами у людей той эпохи остались голод, страх, фашистская оккупация, американские бомбардировки. Все это не прошло бесследно. Вдобавок непрестанный труд, переедание у одних, недоедание у других.

К тридцати годам Луиза станет почтенной матерью семейства. С этой мыслью я посмотрел на девушку и улыбнулся. Она завязывала на талии белый фартук официантки. Под моим пристальным взглядом Луиза трогательно покраснела. Она уже напомнила мне о моем обещании сфотографировать ее, я не отнекивался: мы договорились, что в четыре часа во время перерыва пойдем к ней, и она станет мне позировать. Уже теперь Луиза так волновалась, что неловко наклонила поднос, и баночка с корнишонами полетела на пол и разлетелась вдребезги у самых ног мадам Поль. "Куда ты смотришь, растяпа!" — завопила та.

Луиза гладко причесала огненно-рыжие волосы, накрасила ресницы и старалась во всем подражать моделям из журналов мод. Мы распахнули окно, чтобы солнце освещало ее как можно ярче. Она распахнула шкаф и попросила, чтобы я сам выбрал из ее немногочисленных туалетов наиболее удачный. Я уговорил ее надеть светлую юбку, нарядную блузку с мужским отложным воротничком и остаться босиком, безо всяких туфель. Переодеваясь, она стыдливо отвернулась. А я поудобнее уселся на стуле и не сводил с нее глаз. Вот она опустила бретельки розовой комбинации, тоненькие тесемочки оставили на нежной коже рыжей девушки красные полосы. Я нажал на пусковой тросик, она обернулась, прижимая одежду к груди, посмотрела с гневом, впрочем, довольно наигранным, и сказала: "Не надо, это нехорошо!" Мне следовало сказать ей, что грубые заигрывания Бебера не встречали столь добродетельного отпора, но я промолчал: не люблю говорить женщинам пошлости. Она протянула руку: "Покажите!" Я отдал ей фотографию. "Я в одной комбинации да еще наклонилась! Неприлично так фотографировать девушку". Она упрекала меня, но довольно ласково. Потом со смехом приказала: "Теперь смотрите мне только в глаза!" И незаметно надела блузку и юбку, так, что мне не удалось ничего подглядеть. Итак, Луиза сидит верхом на светлом деревянном стуле, положив локти на спинку и опершись подбородком на сцепленные пальцы. Колени разведены, босые ноги едва касаются холодного пола. Четыре снимка, пять, шесть, скоро мой полароид придет в полную негодность. Луиза брала в руки каждую фотографию и выносила строгое суждение: "Черт! На этой я закрыла глаза. И ляжки всем видны. Такую не пошлешь родителям!" Оказалось, что Луиза родом из Бетюна. "Мой отец — плотник, а

мать всю жизнь растила детей и готовила". Наконец я предупредил, что остался всего один снимок, а перезарядить полароид в Париже невозможно. Тогда девушка отняла у меня его, прицелилась в видоискатель и сфотографировала. Однако фотография не получилась: помешал солнечный блик на оконном стекле. Видны были только какие-то смутные очертания. Луиза удрученно вздохнула: "Ну вот, прошлый снимок размытый, а на этом вообще ничего не разобрать". Известно, что оборотни не отражаются в зеркалах. Ничего удивительного, что пришельца из будущего не удается сфотографировать.

Я напрасно потратил все кадры, напрасно потерял драгоценное время. Я мог бы открыть Луизе будущее, вместо этого мы болтали о пустяках. Осуществилась давняя человеческая мечта: на свое счастье и на свою беду, я перенесся в прошлое. И как я этим воспользовался? Сначала тосковал и боялся, потом принялся самым жалким образом кривляться и любезничать. Ни на что не похоже!

Что сказала бы Марианна, увидев меня под ручку с двумя девицами пятидесятых годов, Луизой и ее подругой, продавщицей из цветочного магазина, красивой блондинкой с длиннющей косой? Мы бродили под высокими сводами Центрального рынка, пустынного и безлюдного в понедельник. Я шел, задрав голову, любуясь сложным переплетением серых металлических опор, балок и арок, что поддерживали стеклянную крышу. Этот своеобразный храм внушал мне восхищение и страх. Надо же, я свободно прогуливаюсь по Вавилону из стекла и стали, пышному, как восточный базар, воспетому Золя, а всего через пару десятков лет от него ничего не останется: вечная пара — богатство и глупость — сотрут его с лица земли. Мысль о том, как мне все-таки повезло, развеселила меня. Впервые с того момента, как я очутился в 1953 году, мне удалось рассмеяться.

— Чего это вы смеетесь? — обиделась прекрасная цветочница.

— Просто хорошо на душе.

— Похоже, он у тебя с приветом, — сказала она Луизе.

— Что ж, ему и посмеяться нельзя?

Мы вышли на набережную Сены, мощенную крупным неровным камнем. Земля у корней деревьев густо поросла сорняками, по реке плавали лодочки, рыбаки в подтяжках неподвижно глядели на воду: надеялись поймать хоть одного пескаря. Я с умилением наблюдал за простыми радостями жизни, давно канувшими для меня в небытие. Как вдруг цветочница вскрикнула: она сломала каблук. "Пожалуйста, — попросила Луиза, — сбегайте к москательщику и принесите резинового клею!" "Москательщик", "резиновый клей" — теперь таких слов и в помине нет, однако я мигом вспомнил, что они значат, и без труда разыскал дешевый магазинчик, заставленный корзинами, кастрюлями и банками с краской. Тем временем девушки сбросили туфли и с громким хохотом болтали босыми ногами в воде к величайшему возмущению рыбаков. Вдруг в глазах у меня потемнело: на том берегу я различил очертания черной башни Монпарнас и ближе к Иври — громоздкие дома построенного в девяностых квартала Итали, что нарушил гармонию города.

Я очнулся в постели, провел рукой по грубому полотну простынь, стал вглядываться в лица обступивших меня людей, но все плыло перед глазами. Пробормотал: "Марианна!" Мне ответили негромко: "Не пугайтесь, я доктор Мартинон. Все обошлось, вам теперь лучше". Я стал видеть яснее. Ближе всех стоял доктор, абсолютно лысый, солидный и серьезный. За ним — Луиза, вне себя от волнения, и хмурый озабоченный Колченогий. Я попытался встать, но Луиза поспешно подбежала и уложила меня обратно. Я заметил, что она недавно плакала. "Не вскакивайте, полежите спокойно, с господином Полем я все уладила". Что случилось? Ах да, мне померещился Монпарнас и отвратительные небоскребы близ моста Тольбиак. Я огляделся по сторонам: мы в комнате Луизы.

— Я перенес твою койку к ней, — сказал Колченогий. — Тебе повезло, приятель. Девчонка станет ухаживать за тобой в свободное от работы время.

— Но мне...

— Молчи. Так надо.

— Вам необходим покой, повторяю, покой, — проговорил доктор. Сидя за столом у окна, он нацарапал несколько рецептов.

— Отдыхайте себе спокойно, — поддержала его Луиза. — Вам тут будет лучше, чем в кладовой. Не надо меня благодарить, вы мне ничуть не мешаете. Как вы нас всех напугали!

По правде говоря, я сам испугался. В мирный городской пейзаж пятидесятых вдруг вклинились четкие зловещие очертания безобразных башен. Может быть, я сдвигаюсь обратно в девяностые? Ведь прежде чем я оказался здесь, меня тоже преследовали видения, все более длительные и отчетливые. Сколько времени я там отсутствовал? Что, если эти десять дней промелькнули всего за час? И еще один непростой вопрос: так ли уж мне хочется снова вернуться в эпоху спешки и стресса? В пятидесятые годы люди были куда симпатичней.

Забавно, что мой обморок пришелся очень кстати: врач предписал мне постельный режим, и теперь я мог сосредоточиться и хорошенько разобраться в мире моего детства, куда против воли незаконно проник. Всякий человек не без основания боится будущего и не знает, что его ждет. Но еще больше он боится прорицаний. Гораздо приятнее тратить время на всевозможные предположения. Я слышал, что все вокруг тревожились за судьбу Европы и не доверяли Германии: еще свежи были воспоминания о войне. Говорили об экономическом кризисе, сетовали, что президента не поддерживает правительство, разделенное на тысячу фракций. Надеялись, что "холодная война" вскоре закончится, опасались, что Берия действительно займет место Сталина. Не чаяли, когда выберутся из трущоб, застроенных однотипными домами по американскому образцу, которыми постепенно обрастали все крупные города, и уедут к морю, чтобы в уютном пансионе отдохнуть и на время забыть о непрерывной инфляции.

Я бродил по ушедшему Парижу с благоговением и трепетом, словно по старому кладбищу. Раньше у меня в памяти хранились лишь отдельные картинки и важные для ребенка, но незначительные для взрослых подробности: как выглядел продавец игрушек, что выкрикивал стекольщик, где покупали горчичники. Пятидесятые годы казались мне самы-

ми лучшими. И теперь я был, наверное, единственным человеком, который глядел с нежностью на почерневшие стены домов, на тяжелые металлические урны, опрокинутые котами, и на серую толпу боящихся пестроты, одинаково одетых людей в шляпах. Больше всего меня поразило отсутствие иностранцев и бунтующей молодежи: ни одного чернокожего, нет стаек щебечущих японцев, нет наглых панков с гребнями невероятных цветов. Кругом одни аккуратно выбритые бледные и серые лица. Даже рекламные плакаты — приглушенных тонов. Люди жили по стандарту и напыщенно проповедовали общие места.

Я совсем запутался в денежных знаках и ценах. Обыкновенный турист с помощью гида быстро узнает курс фунта стерлингов или песеты, но кто поможет мне разобраться в тогдашнем курсе франка? Так, к примеру, газета "Пари-матч" стоит пятьдесят франков, это что же, пятьдесят сантимов? Заходя с передней площадки автобуса № 43 с целым веером купюр в руке, я выглядел полным идиотом. Ну и пусть. Зато я так соскучился по этим автобусам с кремовой крышей, похожим на добродушных бульдогов. Подошел кондуктор. Он отрывал для каждого билет от книжечки-гармошки и пробивал его, крутя ручку смешной машинки, висящей у него на ремне через плечо. В остальном — никакого порядка: стоило автобусу остановиться у светофора, пассажиры, нарушая правила, требовали открыть дверь и выходили. Если кондуктор, занятый продажей билетов, не мог дернуть за шнур, чтобы подать сигнал водителю, который, сидя в кабине, не видел, все ли вошли, эту обязанность самоуверенно исполнял кто-нибудь из постоянных пассажиров.

Каждый квартал Парижа казался мне особым мирком со своим населением. Совершенно разные люди садились в автобус. Миновав площадь Терн, мы выехали в предместье. Здесь я вышел вместе с деловитыми служащими, а пожилые дамы в черном, возвращавшиеся из церкви, поехали дальше. Спустившись по улице Гранд-Арме, я увидел огромный, написанный красками плакат, который так любил в детстве: франт с прилизанными волосами и в перчатках сидит за рулем роскошного лимузина с открытым верхом. Внизу рекламное объявление: "Только у Версиньи учится вождению самое избранное общество". Пригород Порт-Майо начинался с огромного пустыря. За ним виднелся лесок. Справа — свалка. А дальше, вдоль скверно вымощенной дороги, — домики с палисадниками: деревня Нёйи, а за ней — деревня Пюто. Я надеялся увидеть мираж в этой пустыне: остекленные, отражающие друг друга поверхности высотных домов квартала Дефанс, напоминающего Манхэттен, и громадную стеклянную арку. Но тщетно. Я по-прежнему был погребен в пятидесятых.

Я скучал по будущему и иногда перечитывал отрывочные записи в блокноте, касавшиеся всех моих невольных перемещений во времени. Там я наткнулся на разговор с врачихой: "Мартина Клерико ехала на мопеде, и где-то на Больших бульварах ее сбили. — Ее переехал грузовик. — 25 мая 1953 года". Господи, сейчас вечер 24 мая того же года! Девушка в носочках завтра должна погибнуть. А вдруг меня послали сюда нарочно, чтобы ее спасти? Она ни о чем не подозревает, спокойно спит в комнате, которая впоследствии станет нашей спальней, полная самых радужных надежд. Я несколько раз бродил по нашему кварталу и видел, как она слезала со злополучного мопеда. Она его оставляет на улице. Если

мне удастся изменить ее судьбу, у моего пребывания в прошлом появится смысл. Я выстроил логическую цепочку: благодаря моему вмешательству она не умрет; ее родителям не придется переезжать отсюда; после них квартиру унаследует дочь; мы с Марианной там никогда не поселимся. Чушь! Мы с Марианной уже живем в этой квартире. А вдруг, если я изменю ход событий, моя будущая жизнь тоже изменится? Что нас ждет в таком случае? Нет, к черту подлый расчет!

Среди ночи я потихоньку, словно вор, выбрался из Луизиной комнаты. Осторожно притворил дверь, чтобы не разбудить Луизу, и на цыпочках, в одних носках прокрался по коридору к лестнице. Обулся внизу. Ресторан уже давно закрыли. На Центральном рынке еще суетились рабочие, они выметали и выбрасывали мусор, зато окрестные улицы были безлюдны.

Я поднял глаза и посмотрел на наше окно. На подоконнике цвели герани. Маленькая Марианна тоже спала где-то здесь, по соседству. Неужели я никогда ее не увижу... Стоп! Хватит скулить. Пора действовать. Делай то, за чем пришел! Мопед Мартины Клерико, как всегда, ждет на улице. Может, просто-напросто его украсть? Но руль примотан цепью к решетке подвального окна, а цепь заперта на висячий замок. Чтобы разбить цепь, нужен какой-нибудь инструмент. Так что украсть мопед нельзя, нужно его испортить. Жаль, что я ничего не понимаю в технике! Сделав вид, что завязываю шнурок, я расшатал какие-то детали и оборвал какие-то проводки. Теперь девушка, сев на мопед, не сможет его завести. В худшем случае упадет и обдерет локоть — все-таки лучше, чем погибнуть под трехтонкой! Пока мопед починят, будем надеяться, роковой день останется позади.

Назавтра перед домом Мартины остановилась "скорая помощь". Соседи и торговцы окрестных магазинов перешептывались с консьержкой.

— Совсем еще девочка... Какой ужас!

— Кто-то сломал коробку передач.

— Нет-нет, отскочило колесо.

— На Больших бульварах она упала, и ее переехал грузовик.

— Полиция установила, что мопед был поврежден.

— Вот бы мне попался этот гад!

Я не смог изменить судьбу, хуже того, я стал ее орудием. Много ночей подряд меня мучила бессонница. Что я наделал! А если бы я не вмешался?

2 июня господин Поль решил порадовать посетителей и специально купил телевизор, чтобы они могли полюбоваться восшествием на престол английской королевы. Вокруг огромного ящика с выпуклым экраном столпились завсегдатаи, зеваки и соседи, завороженно глядя на зеленоватое смутное, дрожащее изображение церемонии. Луиза обнесла всех вином. Ради праздника. Хотя, что именно мы отмечали? Коронацию двадцатисемилетней монархини? Или покупку злосчастного ящика, от которого через пару десятков лет человечество осатанеет?

Поднимаясь на седьмой этаж, Луиза жаловалась:

— Я почти ничего не увидела!

— Не горюй, мы посмотрим с тобой цветное кино.

— Не может быть!

– Правда, посмотрим.

Я вовсе не пытался ее обмануть. Как раз в этом году стали крутить первый цветной фильм на Елисейских Полях, в кинотеатре "Нормандия". Луизу тревожил мой дар ясновидения, раздражала рассеянность. Но я не мог быть внимательным и нежным, как ей бы того хотелось. С напряжением я ждал возврата к девяностым. Обычно предчувствия нас обманывают, и мы боимся грядущего, но как скучно живется тому, кто знает будущее наизусть! Я начал всерьез беспокоиться, поскольку видения прекратились. Чтобы не впасть в отчаяние, придумывал различные уловки. К примеру, собирал между делом вещественные доказательства: покупал для Марианны новые вещи с пометкой "1953 год". Разговаривал с ее фотографией. Луиза свернулась клубочком и видела третий сон, когда я поднялся с походной койки, чтобы спрятать в сумку первый, вошедший в историю, номер газеты "Экспресс". Вдруг я нащупал в сумке какой-то сверток. Боже мой, что это? Меня так потрясло погружение в прошлое, что я, хотя и помнил про полароид, совсем забыл о другой покупке. Поговорив с Мансаром, я по-настоящему заинтересовался, насколько достоверны мои миражи, и, чтобы выяснить наверняка, чего они стоят, решил узнать побольше о пятидесятых годах. И накупил с этой целью кучу книжек. Луиза встрепенулась:

– Вам плохо?

– Нет, Марианна, все в порядке.

– Почему вы назвали меня Марианной?

– Прости, Луиза.

– Вы бледный как полотно.

Она присела рядом со мной, и я поспешно закрыл сумку. "Господи, опять вы что-то скрываете", – вздохнула она, положив мне голову на плечо.

Я стал беречь сумку пуще зеницы ока: что, если кто-нибудь обнаружит книги "Четвертая республика" и "Жизнь послевоенной Франции день за днем"? Мне следовало как можно скорей вернуться в кладовку, чтобы иметь возможность спокойно читать без свидетелей. Луиза ни за что не соглашалась, но я так настаивал, что она сдалась: "Одно скажу, какой вы все-таки неблагодарный и неразумный!" Но разве я мог открыть правду? Луиза приняла бы меня за сумасшедшего, скажи я ей: "Видишь вон ту зеленщицу с тележкой, что торгует тмином и лавровым листом? Она всех здесь переживет, ее будут величать "мамашей", я помню ее восьмидесятилетней старухой". Или: "Вон тот толстощекий мальчишка станет молочником, отрастит себе усы не хуже, чем у отца, того, что выбирает сейчас сыры. Поверь, я узнал его".

Лучше жить одному. За тонкой перегородкой Луиза рыдала у себя на постели, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать во мне раскаяние. Но серьезные отношения с ней не входили в мои планы: когда ты проклят и обречен скитаться во времени, какие могут быть интрижки? И Марианна ждет меня где-то там. Я притворился глухим, придвинулся поближе к лампе и углубился в чтение. Я буду единственным, кто узнает будущее со всеми фактами, датами и подробными комментариями. Через два дня Коппи победит в велогонке. Кстати, зачем мне это знать? 5 июня остров Гренландия будет включен в состав Дании. В Сеуле отклонят предложение Америки о перемирии между Южной и Северной Коре-

ей[1]. 17 июня в ГДР начнется забастовка рабочих. Мое идиотское положение дает мне определенные преимущества, но как ими воспользоваться? Провозгласить себя ясновидящим? Эта мысль так меня развеселила, что я впервые заснул крепким сном. Назавтра мне предстояло работать официантом, облачившись в черный жилет и длинный белый фартук. Я твердо решил отныне запирать дверь на висячий замок.

Целую неделю я бегал между столиками, разнося дымящиеся тарелки. Господин Поль принимал заказы, угощал настойкой, улучшающей пищеварение, беседовал с завсегдатаями и соглашался с ними во всем, чтобы их не обидеть. На этот раз он поддакивал полному курчавому человеку, который что-то вещал с апломбом. На госте был синий костюм в тонкую серую полоску. Рядом с ним сидела его спутница — красивая брюнетка с красными губами, большими глазами и пушистыми ресницами. На ее изящном берете красовалось воронье перо. Я принес пулярку, и толстяк расстегнул на жилете последнюю пуговицу. Ставя перед его дамой антрекот по-божолезски, я прислушался к разговору. Речь шла о супругах Розенберг, американцах, приговоренных к смерти за то, что выдали Советскому Союзу секрет атомного оружия. В Европе, особенно во Франции, приговор вызвал бурный протест, люди выходили на демонстрации, подписывали требования об освобождении Розенбергов.

— Вот увидите, добрейший Поль, — горячился толстяк в синем костюме, — их помилуют, спорю на что угодно. Эйзенхауэр не может игнорировать мнение мировой общественности. Он не чужд милосердия. К тому же мы с Америкой союзники. Президент Ориоль выступил в защиту Розенбергов, и Папа Римский, и Эйнштейн...

— Да, их неправильно осудили, — кивал господин Поль.

— Неправильно! Да это настоящая охота на ведьм! — и толстяк с возмущением набросился на пулярку с грибами, вооружившись вилкой и ножом.

— В самом деле, вина их не доказана, — с нажимом произнесла более сдержанная спутница.

Я слышал отдельные их реплики, поскольку убирал посуду с соседнего освободившегося столика. Вероятно, я слишком многозначительно поднял брови. Во всяком случае, господин Поль вдруг задал мне вопрос при гостях:

— А вы думаете, их казнят?

— Двадцатого июля приговор будет приведен в исполнение в тюрьме Синг-Синг.

— Ваш новый официант — самый достоверный источник, — ухмыльнулся толстяк и продолжал, обращаясь ко мне: — Давайте поспорим, милейший, что их помилуют!

— Вот увидите, их казнят.

— Вы сказали: двадцатого. Подождем до двадцатого.

Какой-то посетитель потребовал хлеба, и я отошел. Толстяк покачал головой и сказал господину Полю:

— Ваш новенький — упрямый малый.

— Упрямый, но с головой. К примеру, еще в прошлый понедельник он говорил, что корейцы откажутся заключить перемирие.

1. Подразумевается война в Корее 1950–1953 гг. с участием США.

— Ну, это несложно предугадать.

— Еще уверял, что в Восточной Германии взбунтуются рабочие.

— И день называл?

— Да, семнадцатое число.

— Что же, добрейший Поль, посмотрим, исполнятся ли предсказания вашего оракула.

Он принялся истово пережевывать пулярку. А его дама с большими глазищами так и сверлила меня взглядом, хрустя жареной картошкой. Что ж, действительно, посмотрим.

— Вы говорили с такой уверенностью, что произвели впечатление на самого Галюша́-Морена, — сказал мне потом господин Поль.

— На Галюша́-Морена, а кто это?

— Как, разве вы не знаете? Ах да, вы так долго пробыли в джунглях! Очень популярный журналист, пишет политические статьи в "Фигаро", у него там своя рубрика. К его мнению прислушиваются, он редко ошибается.

— Но сегодня ошибся.

— Если вы выиграете пари, вот он удивится!

— А кто его прекрасная спутница?

— Это его жена. Богатая наследница. Денег у нее куры не клюют.

— Значит, хорошо, что я заключил с ними пари.

— Да, вы ловкач.

— Так вам понравилась мадам Галюша́? — съязвила Луиза, увозя на кухню столик с остатками мясного ассорти.

Я не хотел показывать фокусы наподобие Калиостро, темнить и недоговаривать, как бездарный астролог, или изрекать зловещие предупреждения, подражая Казоту, который предсказал день собственной гибели. В тишине и покое я перелистывал драгоценные книги и выписывал из них в блокнот все, что могло мне пригодиться. Еще раз перечел главу о трагической судьбе Розенбергов. Их вина была окончательно доказана лишь несколько лет спустя, правда, выяснилось, что Юлиус Розенберг посылал не слишком ценные сведения. Он очень достойно вел себя перед казнью, и меня тронули последние его слова. Без всякой патетики и гнева он ободрял свою жену Этель. Увы. Я не мог передать Галюша слова, которых Розенберг еще не произнес. Мне следовало избегать ошеломляющих пророчеств. Логические выкладки лучше прорицаний, они не возбуждают подозрений. Пусть Галюша удивится моей проницательности, но зачем мне представляться ясновидящим? Внутренняя политика, изменчивая и непредсказуемая, заинтересовала меня гораздо больше внешней. Новое правительство будет окончательно сформировано двадцать шестого. Административный кризис продлится больше месяца. За это время ни Полю Рейно, ни Мендес-Франсу, ни Бидо[1] не удастся взять бразды правления в свои руки. Я один знаю имя будущего председателя Совета министров: им станет представитель независимой

1. Поль Рейно (1878—1966) — французский государственный деятель, в 1953—1954 гг. — заместитель премьер-министра. Пьер Мендес-Франс (1907—1982) — премьер-министр Франции с 1954 по 1955 г., подписал Женевские соглашения в 1954 г. Жорж Бидо (1899—1983) — участник Сопротивления, премьер-министр Франции в 1946-м и 1949—1950 г., один из основателей и руководителей Народно-республиканского движения.

партии Жозеф Ланьель. Я переписал в блокнот состав кабинета, утвержденный Ланьелем. Вот уж где чудеса! К примеру, туда вошли ближайшие сподвижники де Голля, отстраненные от должности после ухода вождя. Как только мои прежние прогнозы подтвердятся, я буду потчевать Галюша неожиданными перемещениями в правительстве. Пока подождем. Розенбергов непременно казнят, а в Германии будет буча.

Я открыл чердачное окно, хотя на рынке шум не смолкал даже ночью. Меня поразила внезапная тишина: словно бы снаружи выключили звук. Может быть, я оглох? Нет, ворочаясь на постели, я слышал скрип сетки. Однако на улице все так же подозрительно тихо. Вскарабкался на груду коробок и ящиков, высунулся из окна. Центральный рынок, возведенный Балтаром, исчез. Я увидел прямоугольники современных зданий, ограду садика, широкую неосвещенную улицу. Снова девяностые! Подождите! Только не сейчас! Я еще не выиграл спор у толстяка Галюша.

Нет, ложная тревога. Темные дома растаяли, как дым. 17 июня 1953 года начались волнения в Восточном Берлине. "Об этом сообщили по телевидению", – недоуменно пробормотал господин Поль. В голосе моего хозяина слышался страх. Ему очень хотелось спросить: "Откуда вы знали?" Но он не решался. Все поглядывали на меня с испугом – и Колченогий, и Луиза, и мадам Поль. Даже кассирша, мадемуазель Бассе. В душе я ликовал, но как ни в чем не бывало допил утренний кофе. Чтобы разрядить атмосферу, коротко сказал: "Иначе и быть не могло". И стал вместе с Луизой свертывать трубочкой салфетки.

Около полудня в ресторан вплыл Галюша-Морен. Опустился, отдуваясь, на диванчик и потребовал: "Поль, уступите мне на минуточку вашего официанта". Я сел напротив журналиста. Тот оглядел меня, прищурившись.

– Беспорядки в Германии можно было предвидеть. Но откуда вы знали точную дату? Этого я не могу понять.

– Мне помог дедуктивный метод.

– А если серьезно?

– У меня особый дар: предчувствовать, когда произойдет то или иное событие.

– Каков ваш дальнейший прогноз?

– Вижу ясно: мне предстоит проверить, на всех ли столиках есть соль и горчица.

– Перестаньте паясничать. Я спрашиваю вас о всеобщей забастовке в Берлине.

– Власти объявят о чрезвычайном положении.

– Скорей всего.

– Но комендантский час не напугает бастующих. Они продолжат манифестации, будут поджигать здания партийного руководства. И тогда в Берлин войдут советские танки.

– Зачем же танки? Полиция справится.

– Будут танки.

– Не могу представить, чтобы коммунисты давили людей танками.

– Вы отлично представите себе эту картину уже сегодня.

– Танками на демонстрантов!

— Назавтра поднимется вся Восточная Германия, но Советский Союз ее скрутит.

— Когда именно?

— Девятнадцатого.

— Подождите, я запишу ваши странные измышления.

— Вот увидите, они вполне оправдаются.

Он принялся строчить в записной книжке.

— Как вы сказали? Девятнадцатого откроют огонь по демонстрантам, погибнет...

— Человек двадцать.

— Всего-то?

— Вы, кажется, уверовали в мой дар, господин Галюша.

— Все говорят, что у меня есть чутье. Если все ваши предсказания исполнятся...

— Двадцать шестого июня русские запретят въезд из Западного Берлина в Восточный. В начале июля начнется забастовка польских шахтеров. Это, по-вашему, записывать не стоит?

— Нет.

— Вы мне не доверяете?

— Поймите, я...

— Тогда зачем вообще меня спрашивать?

— Я обдумываю текущие события, оттачиваю формулировки. Полезно проговаривать свои мысли вслух. А если вы верно предугадали...

— И что же будет, если я угадал?

— Посмотрим.

Он спрятал записную книжку в карман, надел шляпу и поспешно вышел.

Через три дня советские танки смяли сопротивление германского народа, американское правосудие поджарило чету Розенберг на электрическом стуле, а толстяк Галюша с супругой пожаловали в наш ресторан. Господин Поль обслуживал их с необыкновенным усердием. Я стал довольно проворным и ловким официантом, бегал без устали между столиками и, казалось, не замечал их присутствия. Хотя они явно говорили обо мне, во всяком случае, глянув в зеркало, я заметил, что мадам Галюша неотступно следит за каждым моим движением. Наконец я подошел к ним и поздоровался с подчеркнутой скромностью. Принес закуски.

— Полагаю, баранью ножку под уксусным соусом заказывал мсье.

— Вы совершенно правы.

— Вот артишок и паштет из гусиной печенки для мадам.

— Вы угадали, благодарю вас.

— Я редко ошибаюсь.

Голос у мадам Галюша был низкий, хрипловатый, она как бы ласково ворковала. На ней была обтягивающая блузка с высоким модным воротником.

В действительности господин Поль положил на клетчатую скатерть меню с отметками против выбранных ими блюд, и я молниеносно пробежал его глазами, как истинный виртуоз своего дела.

— Еще две порции мозгов с испанскими артишоками...

— И всего один вопрос, — поспешно перебил меня Галюша.

— О чем, собственно?

— Все ломают голову и не могут догадаться, кто встанет во главе кабинета министров, кто преодолеет нынешний кризис. У вас имеются какие-нибудь предположения?

— Еще бы! Скорей всего победит Жозеф Ланьель.

— Не может быть!

— Прошу прощения...

Я бросился к другому столику, чтобы получить с посетителя по счету; затем убежал на кухню, провозгласив: "Порцию пулярки с испанскими артишоками!" Мне нужно было срочно заглянуть в блокнот. Я вернулся с двумя порциями мозгов и с молчаливого согласия господина Поля надолго задержался, беседуя с Галюша. Луиза посмотрела на меня мрачно.

— Как по-вашему, кому именно Ланьель предложит министерские портфели?

— Он обратится за поддержкой к сторонникам де Голля.

— Они не согласятся его поддерживать. Генерал всегда был противником подкупов и прочих грязных махинаций.

— Тем не менее я уверен, что Корнильон-Молинье станет министром внутренних дел. В правительство войдут также Лемер, Ферри...

— Все ваши прежние прогнозы подтвердились, иначе я принял бы вас за сумасшедшего. Но ближе к делу. Чем займется Лемер?

— Жилищным строительством и реконструкцией Парижа.

— Ваши предсказания невероятны, зато подробны, — буркнул Галюша.

— И когда же Ланьель окончательно все утрясет? — спросила его жена.

— К концу месяца, мадам, — галантно поклонился я.

Я знал, что о назначениях в Совет министров объявят двадцать шестого. Но не хотел перегибать палку и ответил приблизительно.

— Если вы снова окажетесь правы, я предложу вам неплохую должность, — пообещал Галюша.

— Политического обозревателя в "Фигаро"?

— Нет, моего личного консультанта. Поль не возражает. А ты, Одетта?

— По-моему, мысль довольно удачная.

Оказывается, мадам Галюша звали Одетта. Она мне улыбалась очень приветливо.

26 июня Галюша-Морену предстояло убедиться в моей правоте и сделать меня своим тайным советником. В ожидании этого дня все свободное время я просиживал у себя в кладовой, запершись на ключ, хотя Луиза упрекала меня и плакала. Я даже не согласился в следующий понедельник поехать вместе с ней к родителям ее подруги-цветочницы на побережье Марны. Я думал только о побеге и внутренне все больше отдалялся от хозяев и персонала ресторана. Прощайте, господин Поль, прощай, Луиза! Чтобы ей не так больно было расставаться, я напустил на себя равнодушие, притворялся насмешливым и даже враждебным. Разве человек несет ответственность за любовь женщины из далекого прошлого? При нормальном течении событий она годилась бы мне в бабушки! Я перестал жить по-настоящему и сделался просто зрителем. К тому же мне было необходимо запастись сведениями на ближайшее вре-

мя. Итак: летом у нас намечалась всеобщая забастовка; в Индокитае мы терпели поражение за поражением; Франсису Пикабиа[1] предстояло вскоре умереть... Все события я записывал в блокнот в алфавитном порядке. Теперь потихоньку сверяться с записями мне будет намного легче. А как иначе? Ведь мне предстояло отвечать на самые каверзные вопросы и знать ближайшее будущее в мельчайших подробностях. Я погрузился в историю, опережая ее ход. Я изобрел хитрую тактику и намеревался всегда ее придерживаться, чтобы меня не заподозрили в сговоре с дьяволом. К примеру, я стал убеждать Галюша, что назвал будущего главу Совета министров только потому, что его кандидатура показалась мне наиболее неожиданной, вдобавок, в отличие от прочих претендентов, он помимо компетентности обладает инициативой и способен объединить вокруг себя политиков самых различных фракций. Не важно, верными или неверными были посылки — конечный вывод будет блестящим. Зная правильный ответ, несложно подогнать к нему решение задачи. Правда всегда на моей стороне, толстяку-журналисту нечем крыть.

Однажды, возясь на кухне, я заметил, что мадам Поль кладет в тушеное мясо с овощами целый мускатный орех. Я тоже всегда так делал. Неужели я перенял эту хитрость у нее? Конечно, она меня старше и вполне могла научить меня готовить. Но фактически это невозможно. В 1953 году я был так мал, что не мог ни разу побывать в ее ресторане. И тем не менее я здесь. Как мне надоело прыгать из одной эпохи в другую! Лучше не думать об этом, не то с ума сойдешь.

Луиза среди ночи забарабанила в мою дверь. Господи, который час? Попытался нащупать в темноте выключатель, вместо этого свалил на пол лампу, злобно выругался, второпях натянул штаны и отодвинул защелку.

— Ты в своем уме?! Сейчас три часа ночи.

— Мне страшно.

— Привидений не существует.

— Я не привидений боюсь. Мне просто страшно.

Она вошла и легла в ногах моей постели, закутавшись в длинный махровый халат и свернувшись калачиком. Растрепанные волосы падали ей на лицо. Луиза всхлипывала. Вздыхала. Надоедала мне и мешала спать.

— Вы собираетесь от нас уйти? — наконец прошептала она.

— Собираюсь.

— К этим Галюша?

— Почему бы и нет?

— Они такие богатые...

— Господин Поль мне сообщил...

— А меня вы с собой возьмете? Я больше здесь не могу. Пожалуйста! Я знаю, вы меня не любите, но если бы вы меня взяли... Заберите меня отсюда!

Я обнял ее и принялся утешать. Луиза не знала будущего и боялась его. А ведь все у нее будет хорошо.

1. Франсис Пикабиа (1879—1953) — французский поэт и художник.

Господин Поль провожал до порога последних завсегдатаев, допоздна засидевшихся за коньячком. Дверь распахнулась, и появился чопорный, вышколенный шофер в синем костюме и такой же синей каскетке. Луиза и кассирша давно уже ушли, я один перетирал за стойкой давно уже сухие бокалы в надежде, что Галюша все-таки вспомнит обо мне. Ланьелю действительно поручили сформировать правительство, а Лемера назначили руководить реконструкцией Парижа. Шофер снял каскетку и что-то зашептал на ухо господину Полю. Тот поспешно подошел к стойке и сказал мне:

— Галюша-Морен желает встретиться с вами.

— Он знает, где меня найти.

— Нет, прямо сейчас. Его шофер, Марсель, отвезет вас. Скорей, переодевайтесь. Да бросьте вы эти стаканы! Дались они вам.

Сидя рядом с шофером в жемчужно-сером автомобиле с ведущими передними колесами, я перелистывал блокнот и улыбался. Конечно же Галюша потребует новых подробностей; у меня есть время заучить факты, которыми я располагаю. Журналист жил неподалеку от Трокадеро, на самом верху импозантного современного здания. Востроносенькая служанка в кружевном фартуке провела меня по анфиладе комнат и вывела на открытую террасу. Здесь на фоне подсвеченной оранжевой занавески, от которой на лицо ложился теплый отблеск, меня ожидала Одетта Галюша-Морен. Она кивнула на продолговатое кресло из ротанга, предлагая сесть, и сказала, что муж скоро вернется. Я впервые видел ее без шляпы. Черные курчавые волосы, короткая стрижка. Ни колец, ни браслетов, только бриллиантовые серьги в ушах. Загорелая. Видно, скучала не только в Париже на авеню Поль-Думе, но и в Каннах на Лазурном берегу.

Она села нога на ногу, высоко задрав юбку, и сказала небрежным светским тоном: "Наверное, в колониях вам пришлось многое пережить". Здесь, на террасе с бокалом чинзано в руке, мне вовсе не хотелось "заново переживать", вернее воображать, как меня режут в темноте в двух шагах от лагеря, как я хватаюсь за горло и ощущаю на руках горячую кровь; тем более не хотелось импровизировать на эту тему. Милую даму интересовало самое дно, притоны, проститутки Шолона — все, чего я не видел, о чем только читал. Изнывая от праздности, мадам Галюша-Морен мечтала о разврате, жестокостях, извращениях, ведь многие считают подобный дрянной товар экзотикой. Тут я вспомнил рассказ Колченогого. Мы с ним как-то обваливали в муке лягушачьи лапки на кухне у мадам Поль, и он поделился со мной одним местным рецептом. Я решил, что рецепт придется по вкусу рыхлой буржуазной гурманке. И, чтобы не говорить о войне, стал повествовать о местных обычаях.

— Делают дырку в кокосовом орехе, ловят лягушонка и сажают его туда. Дыру закрывают сеткой.

— Какой ужас! Лягушонок захлебывается?

— Вовсе нет. Он спокойно плавает и пьет кокосовое молоко. Жиреет. И уже не может выпрыгнуть сквозь маленькое отверстие. Когда молока больше не остается, орех раскалывают, и поджаривают лягушку на медленном огне.

— Несчастное создание!

— Но вы же ели вчера паштет из гусиной печенки.

— Он такой вкусный!

— Вам не жалко гуся, потому что вы сами его никогда не откармливали.

— Действительно!

— Люди — плотоядные животные, мадам.

— Зовите меня Одетта.

— Мы пожираем живых существ.

— Да, я знаю, их плоть и кровь.

— А чем лучше способ приготовления рыбы, при котором она сама себя фарширует?

— Ах, расскажите!

— Пускаете плавать живую рыбу в кастрюлю с водой.

— Будто в аквариум...

— Сыпете в воду начинку и ставите кастрюлю на огонь. Вода подогревается. Рыба ест начинку, пока не сварится.

— Какие ужасы вы рассказываете!

— Специально для вас, мадам. — Я заметил у нее на лодыжке тонкую золотую цепочку.

Тут на террасу ввалился, отдуваясь, толстяк Галюша, на ходу срывая роскошный галстук. Он даже не извинился за то, что заставил ждать. Его волновало одно:

— Как, по-вашему, долго продержится наше нынешнее правительство?

— От силы год.

— Всего год! Однако...

— И то с трудом.

— А в чем дело?

— Инфляция растет. Ланьель попробует летом, когда все на отдыхе, принять довольно крутые меры. И просчитается. Начнется всеобщая забастовка.

— Подробнее расскажете потом. Отныне вы мой консультант.

— А как же господин Поль?

— Я больше него нуждаюсь в ваших советах.

— Я не ярмарочный предсказатель!

— И тем более не официант.

Я перебирался к чете Галюша и пришел в ресторан за вещами. Луиза провожала меня вся в слезах, Колченогий дружески похлопал по плечу, а господин Поль взял с меня обещание, что я буду обедать только у них. Нужно придумать, чем бы их отблагодарить. Они гордились моим даром ясновидения, и действительно, кем бы я был без них?

Нежась в мягкой постели в просторной комнате, залитой ярким солнцем, я мысленно переживал все перипетии путешествия во времени. Потом не спеша встал, принял ванну и облачился в один из шелковых халатов моего нового хозяина. Мне предстояло обзавестись приличной одеждой; Одетта собиралась заняться моим гардеробом и походить со мной по магазинам. Драгоценные пророческие книги я бережно запер в золотистый секретер. Мне нравилось, что я обладаю тайным знанием, и хотелось извлечь из него как можно больше пользы. Подумать только, я ведь неожиданно для себя стал пророком и спокойно жил в прошлом без привязанностей и забот, без документов и денег, словно беспечный гость. Интересно, окажись я при дворе Генриха IV,

сумел бы я остановить Равальяка[1]? Говорят, короля предупреждали, что на него готовится покушение, но он не придал этому значения. А вот я сумел бы его оберечь. Придумал бы какую-нибудь хитрость. Очистил бы улицу Феронри от народа и экипажей. Только по причине сутолоки убийце удалось вскочить в королевскую карету и зарезать монарха. Что бы произошло, если бы Генрих IV правил гораздо дольше? Если бы не убили Юлия Цезаря? Если бы уцелел Робеспьер? Последнего я заставил бы расправиться с Конвентом 9 термидора. Пять тысяч вооруженных рабочих и ремесленников ждали его приказа, но напрасно: нерешительный от природы, он все медлил. Я пробрался бы к Робеспьеру в ратушу и вдохновил бы на вооруженную борьбу. Я представил себе его: близорукий, в синих очках с толстыми стеклами, он часто раздражался, страдал от язв на ногах, пудрился, ел апельсины, каждую минуту боялся, что его пырнут ножом, интриговал, злоумышлял, таился. В конце концов мне удалось бы его убедить: "Поверьте в свои силы и в свою правоту, покончите с революцией и перебейте экстремистов!" Господи! Будь я рядом с Робеспьером, Наполеон не пришел бы к власти! Мне самому стало смешно: какая наивность! Разве я в силах изменить ход истории? Вот, к примеру, я здесь, в 1953 году, но мне ни за что не предотвратить высадку солдат в Дьенбьенфу.

В отличие от меня у Галюша не было времени валяться в постели. Он писал статьи для "Фигаро", рыскал по городу, бывал на официальных и светских раутах, кому-то тайно назначал свидания, добывал сведения в приватных беседах с высокопоставленными лицами. Он был вхож в министерские кабинеты. Водил знакомство кое с кем из депутатов. Свой человек за кулисами, он приятельствовал с актерами и художниками. Завтракал с владельцем крупного издательства. Обедал с генералом. Получал отовсюду тьму приглашений. Копил информацию, знал все сплетни, высказывал свое мнение с глубокомысленным видом, наставлял, предрекал, ошибался, изредка бывал прав и очень гордился своей проницательностью. Именно я создал ему репутацию непогрешимого оракула, впрочем, это входило в мои обязанности. Но виделись мы с ним редко, большую часть дня я был свободен. Утром мы разговаривали минут пять, потом я набрасывал пару страниц на заданную тему — на самом деле попросту списывал нужную главу из книги, слегка подпустив туману. И, пока работал, запирался в комнате на ключ. Готовую, слегка подправленную рукопись вкладывал в папку и отдавал Одетте. Я ни разу не видел, как за папкой приходит курьер, но скорей всего Галюша получал пророчества с курьером. Что я делал потом? Развлекался. К примеру, шел в гигантский кинотеатр на площади Клиши, который к девяностым давно уже сровняли с землей.

Как-то ночью мне приснилась Марианна. Я внезапно перенесся в будущее и рассказывал ей о своих приключениях. Услышав, что я побывал на первых концертах Бреля, она мне здорово позавидовала. Хотя на сцене "Труа Боде" он держался скованно, ему совсем не шли усики, и гитара слегка дребезжала. Марианна пристала ко мне: "Давай отправимся в прошлое вместе!" И мы сейчас же перенеслись с ней во времена Директории. Не-

1. Генрих IV(1553–1610) — французский король, первый из династии Бурбонов, убит католиком-фанатиком Равальяком.

видимый оркестр играл Чимарозу[1], и при свете бесчисленных свечей дамы в легких платьях с разрезом самозабвенно вальсировали с военными в трехцветных поясах. Мы встретили на балу Мансара в зеленом сюртуке и господина Поля в гусарском ментике. Напудренная Марианна с короткими черными вьющимися волосами а-ля Титус, стройная, точеная, в полупрозрачном открытом платье из белого муслина и красной кашемировой шали, с браслетом в виде золотой змеи с изумрудными глазками, держалась вызывающе и танцевала столь резво, что в разрезе платья мелькали прелестные ножки. Одетта Галюша в серебристой тунике поглядела на нее свысока и закрылась веером. Внезапно мы покинули бал и оказались в Древней Греции на берегу моря. Я почувствовал, что у меня выросла курчавая борода. Какой-то философ-киник стоял абсолютно голый на четвереньках и лаял на нас. Он попытался укусить Марианну за ногу. Она испугалась. Я прижал ее к себе, стал гладить нежную шею. Меня удивило, что волосы у нее успели отрасти и сделались не такими пушистыми. Я очнулся. Увидел, что лежу на большой кровати в квартире Галюша, а рядом со мной спит Луиза. Тут я все вспомнил. Накануне мы с Луизой гуляли по Сен-Жермен-де-Пре, сидели в подвальчике, пили вино и слушали джаз, даже танцевали при тягучих тоскливых звуках саксофона.

Я глянул на нее в замешательстве: что было ночью, я абсолютно не помнил. Накрыл ее одеялом — она во сне заворочалась и промурлыкала что-то, — отвернулся и стал смотреть на плотную занавеску: сквозь нее уже пробивался серый утренний свет. Не полагается смущать пристальным взглядом девический сон. Какой нынче день недели? Понедельник. У Луизы выходной, но я-то должен трудиться. Я поднял с пола штаны, натянул их и отправился на поиски Галюша. Тот заглатывал на террасе круассаны, запивал их кофе, просматривал кипу газет и слушал по радио новости.

— Что скажете о стратегическом плане генерала Наварра? — спросил он, даже не взглянув на меня.

— Хм-м...

— Поль предупредил, что вам неприятна эта тема, но вы же там были, в конце концов. Значит, должны знать, что к чему. Ваш инстинкт никогда вас не подводит. Так как, можно доверять оптимистическим сводкам генерала Наварра?

— В прошлом месяце он еще контролировал ситуацию. Теперь она вышла из-под контроля.

— Журналисты утверждают обратное.

— Они заблуждаются.

Я только что просматривал записи в блокноте и знал наизусть, какие события нас ожидают в начале июля. Но не сказал ничего определенного, не назвал ни одной даты. Спокойно намазывал клубничный джем на тост и делал вид, будто собираюсь с мыслями.

— Ведь это в целом партизанская война: маскировка, засады, вылазки, диверсии, почти ни одного сражения. Напрасные потери...

— Наварр заявил, что и года не пройдет, как партизаны Вьетминя будут разбиты.

— Его заявления легковесны.

— Он производит впечатление опытного стратега.

1. Доменико Чимароза (1749–1801) — итальянский композитор.

— Его план провалится с треском. Посудите сами, мсье Галюша, две-три блестящих операции не много значат. Временный успех вскружил ему голову.

— Но почему его план провалится?

— Нервы у наших бойцов на пределе, они пали духом. Верховному командованию на них наплевать. Американцы не высылают подкрепления. Армия Бао-Дая сражается отвратительно.

— Навагр жесткой рукой поведет их в бой.

— Коммунисты вовсе не дураки. Они пользуются царящей неразберихой и наносят удар за ударом; к тому же их поддерживают Советский Союз и Китай. Навагр понимает, что в партизанской войне нам не выиграть. Он хочет сократить фронт. Не удивлюсь, если он уже подал рапорт в Генеральный штаб о подготовке к решающему сражению.

— Рапорт, разумеется, секретный?

— Шифрованный.

— Вас не затруднит развить эту мысль письменно к полудню?

Я отпер секретер, достал мои бесценные книги и принялся сдабривать исторические события будущего изрядной долей отсебятины и лукавства. Смотрим по оглавлению: Насер, Натансон, Навагр... так с тридцать шестой по тридцать девятую страницу. У меня за спиной тихо посапывает, свернувшись калачиком, Луиза. Я старательно списываю: "После семилетней бесплодной борьбы против партизан Вьетминя... Поскольку коммунисты закрепились в Лаосе..." Внезапно кто-то положил мне руку на плечо. Я так и подскочил. Всклокоченная сонная Луиза тихо пробормотала:

— Что ты, это же я.

— Как ты меня напугала!

Я поспешно захлопнул книги и перевернул их так, чтобы она не могла прочесть названий.

— Работай, работай, я не буду тебе мешать, — сказала Луиза, зевая.

Оказавшись в непривычной обстановке, Луиза восхищалась буквально всем: пушистыми коврами, яркой обивкой кресел, даже длиннющим коридором, по которому мы шли из моей комнаты через всю квартиру на террасу. Мне нужно было в покое и тишине поработать над секретной информацией, поэтому я оставил Луизу на попечение востроносенькой служанки, почтительно именовавшей ее "мадемуазель". Закончив ежедневную повинность, я вложил листы в папку и отнес в вестибюль — пусть курьер заберет их с круглого столика. Из спальни Одетты доносились женская болтовня и смех, я подошел поближе, тихонько приоткрыл дверь. Одетта и Луиза не слыхали, как я вошел. Обе были завернуты в белые простыни, подобно африканкам. Одетта лежала на животе, а Луиза массировала ей спину китайским "Золотым бальзамом", который стащила у меня с тумбочки, — я купил его в девяносто пятом году в аптеке в Бельвиле. Одетта извивалась и стонала:

— О-о! Как жжет! Теперь давай я тебя...

Она встала на четвереньки, проворно соскочила с постели, сдернула с Луизы простыню, уложила ее и начала гладить, сначала слегка, затем все более страстно. Внезапно декорации переменились: потолок стал низким, кресло "бержер" в стиле Людовика XV превратилось в со-

временную этажерку. Женщины состарились у меня на глазах: кожа их высохла, сморщилась, волосы поседели, глаза ввалились. Господи! Скорей вытащи меня из прошлого, я хочу домой, мне надоело быть самозванцем! Я сыт по горло собачьей комедией! Сел на пол и в отчаянии закрыл лицо руками.

Галюша. Сегодня утром вам стало плохо?

Одетта. У него был припадок.

Я. У меня бывают припадки.

Одетта. На вас было страшно смотреть.

Я. Где Луиза?

Галюша. Шофер отвез ее домой.

Одетта. Очаровательная девушка.

Я. Легкомысленная и легковерная.

Галюша. Пусть приходит в гости, я ничего не имею против.

Я. Благодарю, но я не слишком люблю гостей.

Одетта. Не беспокойтесь. Я сама позабочусь о ней.

Я. Я и не беспокоюсь.

Одетта. Вы с ней так хорошо смотритесь.

Я. Нет, я человек непостоянный, люблю перемены...

Галюша. Так-так-так! Уж не собираетесь ли вы нас покинуть? Вы мне нужны.

Я. Не обижайтесь, но я здесь действительно не в своей тарелке.

Одетта. Покажите мне вашу ладонь.

Я. Пожалуйста.

Одетта. Боже мой!

Галюша. В чем дело?

Одетта. У него две линии жизни!

Галюша счел меня своей собственностью: я должен был просвещать его одного. Он ни с кем меня не знакомил, не возил на званые вечера, так что влиять на государственную политику, общаясь с министрами, я не мог. Одетта считала меня волшебником и следила за каждым моим шагом. Сопровождала меня на прогулках. Сидела со мной вечерами, если не приходила Луиза. Я словно приворожил ее. Однажды Галюша ночевал за городом на вилле у какого-то высокопоставленного лица. Одетта легла ко мне в постель и чуть не задушила в объятиях. Прерывисто дыша, она твердила: "Поделись со мной магической силой!" Я не мог прогнать сумасшедшую и терпел. К сожалению, и в моем молчании ей мерещилась тайна. Из-за меня она всерьез увлеклась магией. Воровала мои вещи, даже рубашки и махровые полотенца. Подъедала за мной все крошки. Вызвалась собственноручно меня постричь и спрятала прядь волос в медальон, который носила не снимая. Скажи я ей: "Повисни на люстре!", "Служи черную мессу!", "Ползи по-пластунски по коридору и выкрикивай заклинания!" — она бы все выполнила. По счастью, я не отдавал ужасных приказаний.

Одетта преклонялась перед моими сверхъестественными способностями, Галюша хладнокровно их использовал. Июль подходил к концу, мои предсказания сбывались одно за другим, и авторитет ловкого журналиста возрос чрезвычайно. Чем больше его ценили читатели и критики, тем меньше он ценил своего тайного консультанта. В конце кон-

цов Галюша и сам поверил, что он подлинный автор невероятно проницательных пророческих статей, а меня стал считать всего лишь орудием, наподобие магического кристалла. Велогонка "Тур де Франс" только началась, а он уже безошибочно угадал победителя, Луизона Бобе, и попробовал бы кто с ним поспорить. Он ничуть не удивился, когда французскому десанту удалось захватить город Ланг-Сон, что находится на территории административной области Тонкин, рядом с китайской границей. И совершенно справедливо назвал взятие Ланг-Сона бессмысленной и временной победой. Когда молодой адвокат Фидель Кастро выступил против диктатуры Фульхенсио Батисты и потерпел поражение, один только Галюша поместил в газете его портрет, предрекая ему успех, в то время еще совсем неочевидный. А через шесть лет Кастро действительно изгнал Батисту из Гаваны, Галюша с гордостью извлек из архива свою давнюю статью и пожинал лавры провидца.

– Что я слышу? В августе вы не поедете вместе с нами в Грецию? Вы не выносите жары?

– Не в этом дело, Одетта.

– Ну да, вы предупреждали, что близится всеобщая забастовка. Так ведь лучше переждать ее на греческом острове.

– Не советую вам ехать туда нынешним летом.

– Предпочитаете остаться в Париже с вашей любимицей Луизой?

– Мои предпочтения здесь ни при чем.

– Мы можем взять Луизу с собой.

– Одетта, сейчас нельзя ехать в Грецию.

– Нам с мужем нельзя путешествовать?

– Путешествуйте себе на здоровье, поезжайте, куда вам угодно, со мной или без меня, – не в том суть. Держитесь только подальше от Греции.

– Начнется война? Нас ожидает кораблекрушение? Мы утонем?

– Там будет страшное землетрясение.

– Боже!

– Целые города исчезнут с лица земли. Остров Закинф раздробится на части. Порт Аргостолион обрушится в море.

– Но мужу вы назвали совершенно другую причину.

– Ему я не мог открыть истину.

– Почему не могли? Мы оба верим вам безгранично.

– Вы мне верите, но по-разному. Я просто-напросто *предвижу будущее.* Вы одна это поняли. Ваш муж считает, что в основе моих построений – логика. А логика тут ни при чем. Разве аналитически можно вычислить время землетрясения? Стихии бушуют, когда им заблагорассудится.

– Да, верно...

– Постарайтесь сами его отговорить. Выдумайте что-нибудь. Но пусть этот разговор останется между нами.

– Я-то думал, вы давно укатили в Грецию, мсье Галюша!

– Как видите, милейший Поль, наши планы переменились. Жена не захотела ехать, а я подчиняюсь ее капризам.

– Остались и правильно сделали. Что бы вы там ни говорили, наши вина лучше греческих. А в жару вообще можно пить только сухие.

По четвергам мы с Галюша обедали в "Трубе святого Евстафия". По заведенному обычаю я каждый раз шел сперва на кухню. Целовал в щеку мадам Поль и жал руку Колченогому. Впрочем, пожать мне удавалось только запястье: руки у Колченогого были вечно в муке, в кляре или в толченых сухарях. Оглядев мой шикарный костюм, он неизменно приговаривал: "Прямо граф, с таким на 'ты' не поговоришь!" Появлялась Луиза, сама не своя от восторга. Одетта решила сделать мне сюрприз и наняла ее к себе компаньонкой. В сентябре ей предстояло переселиться на авеню Поль-Думе. "Так ты зайдешь за мной в воскресенье?" Я кивал, разве можно было испортить Луизе радужное настроение? Затем я садился за наш особый столик под номером шесть, и господин Поль приносил дежурное блюдо — булочки со сладким мясом. Интересно, зельц, лучшее средство для расстройства пищеварения, изобретен в 1953 году или раньше? Хорошо бы узнать. Трапезы в пятидесятые годы были такими продолжительными, обильными и жирными, что мой ссохшийся в девяностые желудок не мог с ними справиться. Зато Галюша чувствовал себя прекрасно и, размахивая вилкой с ломтиком горячей поджаренной колбасы, умудрялся еще и работать, вернее задавал работу мне.

— Вы снова попали в яблочко, профсоюзы города Бордо призывают к всеобщей забастовке.

— Забастовка в самом деле станет всеобщей.

— Ее поддержат все государственные служащие?

— От железнодорожников до электриков. Я вам уже говорил.

— Правительство примет меры, издаст указ о возобновлении работы.

— Его меры ни к чему не приведут. Правительство пойдет на уступки. Количество бастующих возрастет до трех, а потом и до четырех миллионов. Забастовка затронет даже частный сектор.

— И когда же она кончится?

— В начале осени.

— Какая вкусная колбаска, — сменил тему Галюша. — Ходят слухи, в Москве изобрели водородную бомбу. Вы считаете, это правда?

— Вскоре об этом объявят официально.

— Они блефуют!

— То же самое скажут многие. Когда Маленков известит мировую общественность о том, что в его стране есть новая бомба, ему не поверят. А зря!

— Допустим, я поверю. И сяду в лужу, а?

— Не бойтесь. Западные ученые в ближайшее время смогут с помощью сейсмографов засечь испытания водородной бомбы на территории Советского Союза.

— Тревожная новость. Подумать только! Америка во всем опережает СССР, но там до водородной бомбы не додумались.

— Да, нам предстоит узнать еще более тревожные новости.

— Неужели они используют бомбу против нас? — ужаснулась Одетта.

— Используют, но иначе, чем вы думаете.

Стоит ли их пугать? Зачем объяснять, что человечество, хотя и создаст разветвленные и запутанные системы управления, будет беззащитным, как никогда, перед произволом фанатиков. Что ядерное оружие вследствие незаконной торговли плутонием распространится повсюду. Окажется в руках магнатов, бандитов, террористов и психов. Я тоже предпочел сменить тему разговора:

— Мадам Поль прекрасно готовит заливное из дичи.

Но Одетта глядела на меня расширенными от ужаса глазами и судорожно вцепилась мне в колено под столом.

Я инстинктивно избегал кварталов, знакомых с детства. Обходил стороной дом, где мы жили с родителями, садик, куда меня водили гулять. Боялся встретить родных, помолодевших лет на пятьдесят, или, чего доброго, себя самого маленьким неуклюжим мальчиком. Но по иронии судьбы у Галюша была вилла в Трувиле, и конечно же мои благодетели потащили меня с собой. Я не смог отказаться, ведь они так настаивали. "Вы столько сделали для нас и теперь должны отдохнуть", — говорила Одетта. "Мне необязательно сидеть в городе и следить за развитием событий у нас и за рубежом, если мой ясновидец будет рядом", — добавлял ее муж. Итак, мы сели в машину и добрались до Трувиля за четыре часа по сквернейшей дороге — шоссе к тому времени еще не построили.

В первый же день я отправился побродить по городу и спустился к морю. По соседству с домом, который мои родители снимали на лето, жили муж с женой, энергичные и спортивные. Мы с ними никогда не общались. Теперь я наблюдал, как их дочка ходит колесом по песчаной дорожке, а два сына тащат к воде надувную лодку. Кем потом стали эти дети? Вернее, кем они станут? Я не знал и радовался, что не знаю. Памятник Флоберу еще стоял на прежнем месте, на площади, в окружении кафе со спущенными жалюзи. Казино не было и в помине. Я не забыл, что здесь торговал антиквар, а вон там — продавец игрушек; не забыл, как он раскладывал на прилавке всевозможные совки, ведерки и сачки для ловли креветок. С радостью и щемящей тоской я вглядывался в ожившие картины прошлого. Обратно к Галюша я шел по тропе над обрывом, вспоминал детство, умилялся, глядя на прежние скромные домики, отмечал про себя: "Здесь, оказывается, росло дерево, а здесь был пустырь". Далеко внизу шумело море, виднелись остроконечные Черные Скалы, передо мной, лежа на зеленой травке в купальнике, загорала Одетта.

— Вы здесь одна, мужа нет?

— Он зашел проведать Бертонов, сейчас вернется.

Я поспешно сунул ей в руки местную газету. "Чудовищное землетрясение в Греции. Десятки тысяч погибших, тысячи беженцев". Одетта вскочила, порывисто обняла меня, измазав мне всю рубашку кремом для загара.

— Вы спасли нас от смерти!

— Спас. Но, пожалуйста, не говорите об этом мужу.

Вечером к Галюша пришли в гости соседи Бертоны. У мадам Бертон спина была красней вареного рака; Одетта посоветовала ей, каким кремом мазаться. Господин Галюша увел меня под навес и познакомил со своим старинным другом, полковником, великим стратегом и тактиком. Крошечный седенький человечек в полотняном костюме смерил меня недоверчивым взглядом: "Много о вас наслышан. Галюша утверждает, что вы обладаете даром предугадывать события". Я улыбнулся с подчеркнутой скромностью. Старый дурак предупредил: "Все, что здесь будет сказано, пусть останется между нами. Никому ни слова!" Галюша поручился, что я буду нем. Полковник ринулся в бой.

— Так вот. Вьетминь теснит нас со всех сторон. Нужно покончить с мерзавцами. Я набросал неплохой план действий, даже показал кое-кому из моих друзей в Генеральном штабе. Создадим укрепленный лагерь с посадочной площадкой для самолетов. Оттуда будем снабжать оружием и провиантом наших сторонников. И отрежем врагу путь к границе с Лаосом.

— Лагерь в долине Дьенбьенфу?

— Откуда вы узнали, черт возьми?

— Он мастер угадывать! — заверил Галюша, словно решил продать меня и набивал цену.

— Повторяю вопрос: откуда вы узнали?

— Посмотрел по карте.

— И я по карте! — обрадовался Бертон. — Лучшего места не придумаешь: недалеко от лаосской границы, среди рисовых полей, к тому же там есть заброшенный японский аэродром.

— Его еще нужно отремонтировать и расширить, иначе наш военный самолет там не сядет.

— Отремонтируем! Главное — крупная база врагу не по зубам. Мы не дадим ему проникнуть в Лаос и постепенно уничтожим на всей территории Индокитая.

— Есть одно "но", господин Бертон.

— О чем вы?

— Еще в древности китайские военачальники предостерегали: нельзя становиться лагерем в узкой долине.

— В двадцатом веке французы плевали на их предрассудки.

— Напрасно.

— А чего бояться, скажите на милость?

— Заранее ясно, что попадешь в окружение.

— В окружение? Кто же сумеет нас окружить? Вьетнамцы? А вы их видели? Жалкие крестьяне без оружия и боеприпасов.

— Боеприпасы им доставят с севера.

— Как? На велосипедах? — полковник расхохотался, Галюша захихикал.

— Вот именно, на велосипедах.

— Что за чушь вы говорите! Конечно, место вы угадали правильно, но в остальном... Друг мой, у вас отсутствует стратегическое мышление.

— Место он угадал потому, что был там, — ввернул Галюша.

И я еще надеялся что-то изменить! Да кто станет меня слушать?! Ведь я пустое место. Бертон в лицо называет меня дураком. Я знаю будущее, ну и что с того? Знаю, но ничего не значу. Знаю себе на горе.

Париж, 1953 год (продолжение и окончание)

В деревне дурачком называют здоровенного детину, который за все берется, но, в сущности, ничего не делает. Стоит себе, рот до ушей, на берегу реки или у дороги, смотрит, сдвинув берет набекрень, как едут повозки. Простоват, но добродушен и каждому рад услужить. Время от времени изрекает глубокомысленные истины, но никто его не слушает.

А ему и горя мало, хотя зачастую в его словах не меньше правды, чем в пословицах и поговорках. Дурачка не тревожит, что его мудрость никому не нужна, вот у кого следует поучиться мне, изгнаннику и чужаку, которому навязали роль не то пророка, не то шута.

Мне вспомнилась история про нищего плотника из Майена. Он зарабатывал на хлеб, сколачивая гробы. Но не мог зря расходовать доски, поскольку был беден. А ведь смерть приходит внезапно. Так вот, в первый день нового года плотник обходил деревню и поздравлял всех жителей. Те встречали его радостные и довольные, только что от праздничного стола. Однако по таинственным признакам, едва уловимым флюидам плотник безошибочно угадывал, кому суждено умереть в наступившем году. С первого взгляда узнавал обреченных. Знал, кто умрет, но хранил молчание. Просто мысленно снимал мерку с будущего покойника и не тратил понапрасну ни щепочки. О странном даре плотника узнали, когда его самого не стало, просмотрев его записи. И я возьму с него пример: буду отвечать на конкретные вопросы Галюша, а больше ни слова. Все остальное лучше держать при себе, не придавая своим знаниям особого значения и не стремясь принести пользу человечеству.

Отныне я не делился своей широкой осведомленностью, только давал по просьбе Галюша прогноз на ближайшее будущее. За последние несколько недель у меня не было ни одной галлюцинации, ничто не предвещало скорого возвращения в девяностые. Но я уже предвкушал, как пойду в архив и обнаружу в старых номерах "Фигаро" статьи, написанные, можно сказать, под мою диктовку. Ведь не приснилось же мне все это. Меня беспокоило одно: вот я живу в 1953 году, и в том же году я жил раньше; как же мне удается одновременно быть и взрослым и ребенком? Мальчик и человек средних лет, гость из будущего и абориген прошлого, что, если я встречу себя самого? Впрочем, повседневные заботы отвлекали меня от тревожных мыслей, пока, наконец, 3 сентября я не отправился вместе с шофером Марселем в "Трубу" за вещами Луизы. Марсель вскарабкался на седьмой этаж, а я остановился у стойки поболтать с господином Полем.

Было это около половины первого. В ресторан вошли несколько посетителей. Они громко разговаривали и смеялись. Господин Поль поспешил им навстречу, по обыкновению расхваливая дежурное блюдо. Оставшись один, я от нечего делать стал рассматривать новых гостей. В особенности мое внимание привлекла молодая женщина в ягуаровом пальто. Ее лицо показалось мне знакомым. Ей нет и тридцати, но все же странно, что я встречал ее в девяностые и теперь узнал. Я мучительно напрягал память, и вдруг меня осенило. Я оторопел. Фотографию этой женщины в ягуаровом пальто в аллее парка Монсо я видел у Марианны в альбоме. Это ее мама.

Я ослабел от волнения и едва передвигал ватные ноги. Вышел из ресторана, ни с кем не попрощавшись. Снаружи Марсель укладывал в багажник Луизины чемоданы. "Мадемуазель сейчас придет", — сказал он. "Отвезите ее сами, Марсель, придумайте что-нибудь, скажите ей... Ну, что угодно. Я страшно тороплюсь. Буду позже". Я свернул за угол и притаился, словно охотник, подстерегающий зверя.

Родители Марианны вышли из ресторана около двух часов дня. Я никогда не видел ее отца, ныне изящного молодого человека. Он вскоре по-

гиб в автокатастрофе: его "студебекер" съехал с шоссе в кювет и налетел на платан. С ним под руку шла его жена, Маргарита. Я не боялся, что она меня узнает, ведь до нашей встречи еще далеко. Как же они с Марианной похожи! Тот же смех, та же походка, та же точеная фигура. Я знал, какие несчастья ожидают их в будущем, и огорчался до слез, глядя на беспечные, радостные лица. Чтобы не сойти с ума, нужно сосредоточиться на настоящем, но где оно, настоящее? Их подстерегает смерть, а они счастливы и только что плотно поели. Впрочем, я увлекся слежкой, и гробовые видения отступили. Маргарита и ее муж сели в машину. В погоне за родителями моей суженой я поймал такси. Похожие такси в Лондоне: красные с черным, просторные, удобные, с откидными сиденьями и стеклянной перегородкой между кабиной водителя и салоном.

Никак не вспомню, как звали Марианниного отца. Оказывается, они уже переехали в квартиру на улице Ньель, где я бывал в шестидесятых. Мы с Марианной учились тогда в университете и увлекались немым кино. Я стал смотреть на их окна. Там, за шторами, в гостиной, пожилая косенькая гувернантка учит читать пятилетнюю Марианну. Марианна часто вспоминала об этом с улыбкой и нежностью. Я представил себе, как маленькая девочка водит пальцем по строчкам. Она не очень твердо знает буквы и потому запинается, выговаривая по слогам: "Жи-ла...бы-ла..." Меня захлестнуло волной восторга и тоски, я стоял у нее под окном и не мог сдвинуться с места.

К вечеру судьба вознаградила меня за терпеливое ожидание. В витой решетке, закрывавшей вход во внутренний двор, отворилась дверца. Вышла Маргарита, ведя за руку Марианну. Маленькая девочка с капризным личиком, в клетчатом платье с белым воротничком семенила рядом с мамой, прижимая к себе большой мяч. Волосы у Марианны с тех пор потемнели, щеки перестали быть пухлыми и розовыми, зато ясные яркие глаза остались теми же. Я шел следом за мамой и дочкой на почтительном расстоянии. Они миновали площадь Терн, прошли в тени лип по бульвару Курсель и скрылись за помпезной оградой парка Монсо. "Дети должны дышать свежим воздухом!" — считало старшее поколение, и действительно, воздух тогда был гораздо чище. Вот почему Марианну водили в скучные скверы, где по газонам ходить нельзя — играй себе в пыли на дорожке в мячик или прыгай через скакалку. В парке, сидя на зеленых скамейках, вязали и болтали милые дамы. Я сел на самом солнцепеке рядом с Маргаритой. Но сначала спросил разрешения, и в ответ она мне улыбнулась и приветливо кивнула. Теперь Маргарита читала книгу, впрочем, не столько читала, сколько присматривала за Марианной. Та носилась с целой оравой крикливой мелюзги. Наблюдать за ней пристально я не стал — Маргарита могла встревожиться.

Беготня, толчея — Марианна упала и заплакала. Маргарита бросила книгу и поспешила на помощь, но я оказался проворнее и уже поднял девочку. Как странно было вытирать Марианне платком разбитую коленку, а потом держать ее на руках, видеть ее меленькие молочные зубки, слышать, как она всхлипывает и сопит. Маргарита поблагодарила меня за отзывчивость. Я подобрал в траве ее книгу и прочел вслух первую фразу: "Долго я не решался отдать жизни силы, скопленные для смерти".

— Вам нравится Пьер Бенуа?

— Он неплохо пишет.

— Вы вряд ли любите романы о любви.

— Да, мадам, я предпочитаю смешные истории.

— Я тоже — и в книгах, и в жизни.

— В жизни все жанры перемешаны.

Марианна все еще хромала, и я предложил отнести ее до дому на руках. Маргарита согласилась.

— А вам не будет тяжело? Ей ведь уже пять лет.

Мы не спеша подходили к улице Ньель, Марианна положила голову мне на плечо и уснула. Много лет спустя она вот так же будет засыпать у меня на плече.

— Удивительно, — сказала Маргарита. — Обычно она боится чужих.

— Так, может быть, я ей не чужой?

Мы рассмеялись. Но Маргарита не знала, чему смеюсь я.

Какой же я глупец! Упустил счастливую возможность познакомиться! Не решился проводить их дальше, распрощался у дверей консьержки. А все потому, что нес на руках Марианну, баюкал ее и потом долго не мог опомниться от волнения. К Галюша пришел поздно ночью — просто-напросто забыл про них. Словно с того света вернулся. Дрожал от возбуждения, как старый любитель подглядывать. Постыдный интерес к маленькой девочке поначалу даже не пробудил во мне раскаяния, я не сопротивлялся ему, и теперь меня мучила совесть.

Я зажег свет в прихожей. В темноте меня поджидала Одетта.

— Мы с Луизой чуть с ума не сошли от беспокойства.

— Что может со мной случиться после всего, что я пережил?

— Да, но...

— Что, черт возьми?!

— Я уложила Луизу в вашей спальне.

Бесшумно вошел. Луиза посапывала в моей кровати. Мне пришлось устроиться в вольтеровском кресле. С ослиным упорством я все думал и думал о странных событиях прошедшего дня. Раз я мог взять на руки Марианну, настоящую в память о будущей, мою и в то же время мне незнакомую, значит, в один прекрасный день я случайно встречусь с самим собой в образе маленького мальчика. Такая перспектива не давала мне уснуть. Мысль, что я одновременно и взрослый, и ребенок, приводила в отчаяние. До самого рассвета я просидел в кресле, измученный, подавленный, оцепеневший, вне времени и пространства, то есть буквально заблудившийся в пространстве и во времени. Раньше я думал: раз сладил с прошлым, слажу и с судьбой. Сначала мне казалось, что нужно активно вмешиваться, потом — что мудрее отстраниться, теперь у меня осталась единственная надежда покончить со всеми муками — встать и прямо сейчас выброситься из окна.

Было похоже, что на меня внезапно нашло полное затмение. Луиза испугалась, даже мошенники Галюша обеспокоились. И засуетились. Я не мигая смотрел перед собой, но отлично понимал, о чем они толкуют.

— Он теперь все время молчит, — с тревогой говорили они друг другу.

— Даже на вопросы не отвечает.

— Может, его как следует встряхнуть? Если человеку нужно вправить мозги, грубость не повредит. Утопающие отбиваются, когда их вытаскивают на берег, а потом сами же благодарят.

— Он глядит на нас, но никого не видит.

— И чего он уставился на голую стену, что ему там мерещится?

— Мы его вылечим.

— Ему необходим полный покой.

— Он и так ничего не делает, бездельничает целыми днями.

— Но ведь он в таком состоянии!

— Я вызвал профессора Маршодона, вечером он его осмотрит.

— Маршодон? Который лечит электрошоком?

— Пережившим шок электрошок помогает.

— Господи, что же с ним случилось?

— Этого мы никогда не узнаем.

— Спасибо за заботу, милые друзья! — сказал я и встал.

Разинув рты, они так и застыли от удивления, а я спокойно надел пиджак, вышел и прикрыл за собой дверь.

На Елисейских Полях еще можно было увидеть конские яблоки: туристы катались до площади Звезды и обратно в повозках, запряженных лошадьми. Из серой массы выделялось яркое пятно. Ни один кучер не мог сравниться с Рашель Доранж, бывшей цирковой наездницей. Рыжая, в котелке, пестрых шароварах и оранжевой кутке, она гордо пощелкивала кнутом. В наш век автомобилей она одна хранила верность прошлому. Еще в шестидесятые я видел, как она правит своим росинантом среди потока машин.

Я шел мимо частных гостиниц, вскоре исчезнувших или переменившихся, мимо трехэтажного прямоугольного здания магазина тканей, где их продавали на метры, мимо барочного зеленого фасада кондитерской Сирдара, мимо помпезных кинотеатров и крытого рынка Лидо. Около любимой дамами чайной "Маркиза де Севиньи" я свернул на улицу Вашингтон. Вот здесь, в доме под номером десять, я жил, то есть, простите, живу в 1953 году. На той стороне улицы в газетном киоске я заметил господина Альбера, как всегда небритого, в засаленном берете. Кроме газет, он торговал дровами и углем. Дверь моего дома была заперта. Я взглянул на окна пятого этажа, на узкую галерею, идущую вдоль всего фасада.

Войти я не решался. Или попробовать? Но страх пересиливал любопытство: каково это встретиться с собой прошлым лицом к лицу? Я не спеша пошел дальше. Постоял у витрины кондитерской Фаге. Снизу из подвального этажа доносился вкусный запах: там варили варенье. Принюхался: кажется, малиновое. И остолбенел. Из булочной на углу с улицей Лорда Байрона вышел узколиций бледный мальчик — то ли недовольный, то ли погруженный в мечты, в коротких штанах из серого джерси, со светлой косой челкой а-ля Марлон Брандо. Сомнений нет, это я.

Мальчик прошел мимо, не взглянув на меня, некоторое время я шагал за ним следом. Внезапно он с тревогой обернулся, и только я открыл рот, чтобы спросить, как пройти на соседнюю улицу, в надежде услышать голос себя семилетнего, как он побежал к дому, судорожно нажал кнопку звонка и в один миг исчез за дверью. Дядя, пристающий с рас-

спросами, явно его напугал. Я вспомнил, как однажды меня действительно до смерти перепугал какой-то неприятный тип. Я возвращался из булочной, а он странно уставился на меня, а потом шел за мной по пятам до самого дома. Чего ему было нужно? Я уже тогда не доверял чужим людям.

Новая встреча потрясла меня не меньше предыдущей. Я снова вернулся поздно на авеню Поль-Думе. В прихожей было темно. Я не стал включать свет. Пошел на ощупь по длинному коридору. Заметил яркую полоску под дверью моей спальни. Значит, Луиза еще не спит. Подойдя поближе, различил голоса: Луиза всхлипывала, Одетта визжала и вопила, как сумасшедшая, Галюша что-то возмущенно басил. Я подкрался покошачьи и стал подслушивать, что это они говорят в мое отсутствие, собравшись ночью в моей спальне.

Галюша. Говорю вам, он шпион!

Одетта. Он сам дьявол, дьявол!

Луиза. Вот увидите, он все объяснит.

Галюша. Тут нечего объяснять!

Луиза. Что вы задумали?

Галюша. Позвоню моему другу из Министерства внутренних дел. Деточка, мы должны принять меры, ситуация чрезвычайно серьезная.

Одетта. Против дьявола полиция бессильна!

Галюша. Да успокойся ты, ради бога!

Одетта. Дьявол появляется и исчезает по своей воле, кто может ему помешать?

Галюша. Посуди сама, что дьявольского в этих книгах?

Одетта. Ты забыл о чернокнижниках!

Луиза. Мадам, прошу вас...

Галюша. Луиза, укутайте ее шалью. Разве вы не видите, она дрожит от холода.

Одетта. От холода? В адском пламени?

Я резко распахнул дверь. Все трое оцепенели. Одетта затопала ногами, завопила и повалилась на ковер. Луиза, взглянув на меня с ужасом, склонилась над ней и попыталась успокоить. Растрепанный Галюша стоял посреди комнаты и изничтожал меня взглядом. Они открыли секретер с помощью ножниц. Обнаружили мои книги, перелистали их, прочли несколько глав, растерялись и ополоумели. Галюша решил, что это прогнозы иностранной разведки. Одетта заподозрила вмешательство темных сил. Луиза не знала, что и думать. Именно такой компании не хватало человеку, который живет неизвестно где, неизвестно когда, раздваивается и троится. Я заговорил первым:

— Отлично! Стоит мне уйти, вы роетесь в моих ящиках!

— Мы обнаружили такое, что можем не просить у вас прощения.

— Что, скажите на милость?

— Не разыгрывайте оскорбленную невинность! Откуда у вас эти книги?

— А вы их уже прочитали?

— Поверьте, мы прочли вполне достаточно.

— Конечно. Вы просто не могли оторваться!

— Хватит изворачиваться и хитрить, отвечайте прямо!

— Объясните нам, в чем тут дело, — в голосе Луизы слышалась мольба.

— В этих книгах собраны предсказания.

Я принялся на ходу сочинять невероятную историю, чтобы поскорей их успокоить. Якобы на Востоке, в Шолоне, я познакомился в одном монастыре со столетним китайским мудрецом — с тонкими закрученными усами и бородкой. Он ясно видел причины и следствия любого события и научил меня слышать голос неотвратимой судьбы, что направляет непрерывную цепь превращений. У меня открылся дар ясновидения, и я записал все пророчества, когда жил совсем один среди горцев муонг, раздобывая у них опиум, который обострял зоркость моего третьего глаза. Книги мне пришлось издать под псевдонимом, чтобы не разгневать командование. Их напечатал в Сайгоне один неизвестный издатель, причем я заплатил ему целую кучу золота.

Галюша сник под моим напором и некоторое время смущенно молчал. В самом деле, когда я преподносил ему политические новости на неделю вперед, он хоть поначалу и удивлялся, но довольно скоро привык к моим сверхъестественным способностям и пользовался ими без зазрения совести. Долгое время они его не смущали, а тут вдруг нате вам, привели в бешенство! Мой рассказ вполне убедил его. Он попросил прощения. Луиза облегченно вздохнула и без страха взяла меня за руку. Профессора Маршодона позвали на другой день, но не ко мне, а к несчастной Одетте. Пока мы разговаривали, она лежала на полу с отсутствующим видом, утратив дар речи.

Наши отношения переменились: я обвинил Галюша в неблаговидном поступке, он стал меня побаиваться. Я мог злоупотреблять его гостеприимством до бесконечности, но какая-то неведомая властная сила звала меня в дом, где прошло мое детство, и я был не в состоянии бесконечно ей сопротивляться. Играя на публику, я мог сколько угодно изображать таинственного мудреца и пророка, но в душе знал, что смертельно боюсь заглянуть в глаза тому счастливому, беспечному мальчику. Я сказал "беспечному", но это неправда, я никогда не был беспечным ребенком, всегда ощущал одиночество и мучительное несходство с другими людьми. Мне не повезло, я родился цивилизованным, культурным человеком. А мир, в котором я рос, все больше дичал.

Мне нельзя вечно отсиживаться на улице Поль-Думе. Толстяку Галюша я подарил мои книги, пусть наслаждается. Неужели он действительно поверил бредовым россказням о китайском мудреце? Похоже, поверил и раздумывать не стал, коль скоро ему так удобней. Одетту отправили в психиатрическую больницу в Везине. Накачали огромным количеством транквилизаторов и прочего дерьма. Я навещал ее и испугался, встретив потухший, бессмысленный взгляд. Луиза смотрела на меня снизу вверх с восхищением и боязнью, так что мне становилось стыдно. Она уже привыкла к комфорту и быстро адаптировалась в новой среде. Хотя по-прежнему говорила "ейный", вместо "ее" и не знала смысла некоторых слов. Но кто из приглашенных в роскошный особняк на улице Мозар обратит внимание за бриджем на такие мелочи? Какой только тарабарщины не услышишь в светском обществе!

Я забыл, как звали нашу прежнюю консьержку в доме на улице Вашингтон, маленькую, кругленькую даму, что благоухала жасмином и в любой час дня и ночи следила за всеми и каждым. Если ты возвращал-

ся домой после десяти часов вечера, мало того, что тебе приходилось отпирать дверь подъезда своим ключом, ты еще должен был громко назвать свою фамилию, проходя мимо ее резиденции по звонким бежевым плитам просторного вестибюля, тускло освещенного двумя матовыми плафонами. Во внутреннем дворе по-прежнему стоял нелепый навес непомерной высоты. Я свернул направо к лифту с потертым бархатным диванчиком. Лифт едва дополз до пятого этажа по остекленной шахте, вынесенной наружу. Может, на всякий случай позвонить в дверь? Нет, в будний день в этот час никого нет дома. Кухарка уже ушла, папа давно у себя в ювелирной мастерской, мама, пока нет занятий в школе, брала меня с собой разносить заказы — она вязала крючком модные шляпки.

Длинный гладкий ключ от нашей квартиры родители принципиально не брали с собой, я и теперь нашел его на площадке за горшком с геранью. В пятидесятые годы люди среднего достатка не боялись воров и без страха гуляли по Парижу темной ночью. Грабежи случались в банках, казино и роскошных магазинах на Вандомской площади. Без стальных дверей и хитрых замков мы спали спокойным сном, а в жару даже оставляли входную дверь приоткрытой. Я постоял в темной прихожей, не зажигая лампы из полупрозрачного фарфора. Оглядел подставку для зонтиков, зеркало и подзеркальник из темного дерева. Длинный, узкий коридор, дверь гостиной, дверь столовой, дверь кухни, а дальше спальни. Боже, какое тут все знакомое и привычное! У меня захватило дыхание и пересохло во рту. Я робко вошел в гостиную, отсюда балконная дверь вела на галерею. Громоздкие диваны, низкие кресла, обитые коричневым атласом, большое зеркало в темной раме и в такой же раме зеркало над камином — в нем еще одна гостиная с диванами, камином и креслами. Что стало потом с нашим пузатым комодом со множеством полочек, выдвижных ящичков, резных украшений и секретов? Я сел в кресло и протер глаза, не веря своему счастью.

Вдруг скрипнула входная дверь. Послышались голоса, стук каблучков, топот детских ног. В тревоге я замер, едва дыша. Прислушался. Я знал наизусть нашу квартиру и на слух угадывал, куда идут мама и я. И я! Но я-то сижу как дурак здесь, в гостиной, захваченный врасплох. И деваться мне некуда. Так хотелось убежать и спрятаться, однако ноги не слушались, и встать мне не удалось. Ну же, скорей! До спасительной двери два шага. В коридоре потрескивал паркет. Мама звала меня и заглядывала повсюду: "Куда ты запропастился? Иди скорей, пора полдничать!" Вот-вот она войдет в гостиную. Я притаился за креслом возле мраморного камина. Как раз вовремя. Мама вошла: "Где ты там? Давай выходи!" Господи! Она идет прямо к креслу! Сейчас меня поймает! Весь в поту от страха, я пригнул голову, сжался в комочек и закрыл глаза. "Что с тобой? Пойдем, сынок!" Я взглянул: мама стоит прямо передо мной. На мне короткие серые штаны, щеки стали гладкими, руки — маленькими. Отныне по виду мне семь лет, хотя внутри я по-прежнему в семь раз старше.

Нет, я не сошел с ума, а просто кубарем скатился в детство. Я еще не оправился от потрясения после неожиданного скачка. Трудно привыкнуть к тому, что ты стал, как прежде, подвижным и гибким. Совсем забыл, что булки с миндальным кремом, покрытые сахарной глазурью и усыпанные миндалем, такие вкусные! Напротив меня за большим сто-

лом сидела мама и вязала шляпку. Я не мог на нее наглядеться: молодая, веселая, озорная... Через четыре года она умрет от рака. Сначала я забуду ее голос, потом – лицо. От нее останется несколько совсем непохожих фотографий. Последнюю я найду у отца в картонном футляре: мама болтает ножками, лежа на животе, она прикрыла лицо рукой, и видны одни смеющиеся глаза. Я смотрел с огромной нежностью на прекрасную женщину, которой суждено исчезнуть без следа. Если бы я мог подарить ей хоть десять лет жизни!

– О чем мечтаем? – спросила мама.

Стены у меня в детской желтые и до половины обшиты серебристыми деревянными панелями. Из окна видна остекленная крыша огромного гаража на улице Берри. Позже гараж снесут и на его месте построят несколько многоэтажных домов-коробок. Я улегся на постель и принялся листать последний номер детского журнала "Спиру". Тысячу раз уже перечитывал приключения Жана Вальгарди и Бака Дэнни. Знаю наизусть: они выйдут сухими из воды. Кстати, окажется, что план фантастической машины с турбодвигателем был спрятан в роге у носорога.

Я ждал возвращения отца с беспокойством и трепетом. Мы теперь с ним ровесники, я даже чуть старше. Его авторитет не будет меня подавлять. Конечно, он повидал две войны, а я ни одной, но мы оба умудренные опытом люди, и нам есть чем поделиться друг с другом: все-таки мое время здорово отличается от его. Хлопнула входная дверь. У меня подвело живот от страха. Я побежал его встречать. Отец стоял в гостиной ко мне спиной и, по обыкновению, вынимал из кармана и клал на каминную полку пачку мятых банкнот – в юности я буду неограниченно брать из этой пачки на сиюминутные и весьма многочисленные нужды – и рубины, завернутые в тонкую бумагу. Эти рубины он, опытный эксперт, рассматривал под лампой, вставив в глаз смешную черную лупу, похожую на крошечный фотообъектив. Отец ходил в строгом синем костюме, безукоризненной белоснежной рубашке и дорогом галстуке в полоску от "Рэд энд блю", купленном на авеню Георга V. Он рано облысел, но аккуратно расчесывал белые пряди на висках частым костяным гребешком. От природы человек властный, он обладал хорошим чувством юмора. Я унаследовал от него скрашенный иронией пессимизм. И тембр голоса. Еще я получил в наследство – к несчастью, отец рано умер – крупный золотой перстень с печаткой. На нем изображен герб нашего предка, воевавшего под знаменами маршала де Монморанси и погибшего при осаде Турина: дуб, а над ним голубка, увенчанная лавровым венком. Я никогда не снимал перстня и расстался с ним только теперь, став семилетним мальчишкой.

Отец наклонился ко мне и привычно поцеловал в лоб, затем поцеловал маму – она все вязала шляпку. По вечерам родители всегда рассказывали друг другу, как у них прошел день. На часах ровно семь. Я смотрел на папу и маму. Они спокойно беседовали, ни о чем не подозревая. А ведь совсем скоро мама умрет. В Нормандии, на террасе у моря, я буду играть с соседским мальчишкой в машинки. Тут мне скажут, что мама далеко уехала и я больше ее не увижу. Я продолжу игру, чтобы никто не заметил, как мне больно. Отец последует за ней одиннадцать лет спустя. Он так и не оправится после утраты и в глубине души никогда не утешится. Я найду в его бумажнике фотографию мамы и пожелтевшую са-

модельную книжечку — переписанные от руки мрачные элегии Мимнерма[1].

Я пошел вслед за отцом в родительскую спальню. Он снял пиджак и стал расстегивать пуговицы на сером кашемировом жилете. Они оба скончаются вот на этой кровати красного дерева. Мне будет восемнадцать лет, я зайду к отцу утром попрощаться перед тем, как уйти в лицей. Небритый, смертельно больной, ослабевший, он спросит: "Когда ты вернешься? В половине седьмого? Поздно. Меня уже не застанешь. Простимся, сын". И пожмет мне руку чуть крепче обычного. Тогда я снова сделал вид, будто ничего не случилось. Хотя отец был прав, во время последней лекции меня вызвали и сообщили, что он умер в пять часов вечера. Сейчас я снова маленький, я вернулся к родителям и смогу, наверное, понять, отчего отцу захотелось дать мне классическое образование, так что я поныне без труда с удовольствием читаю Горация и Сенеку. Откуда у меня инстинктивное знание итальянских городов: когда я впервые попал в Венецию, все ее каналы и мостики показались мне знакомыми, я знал ее как свои пять пальцев, словно бродил здесь десятки тысяч раз. Пойму, наконец, почему я с детства недоверчив и скрытен.

Пока что я испытывал не радость первооткрывателя, а скорбь прорицателя. Поневоле я наблюдал за всеми издалека и со стороны, поэтому видел в каждом из окружающих не теперешнего живого человека, а добычу близкой смерти. К родителям пришли гости. Молодая красивая пара, излучающая здоровье и благополучие. Они только что вернулись из Монте-Карло, загорелые и радостные. Она — стюардесса, а в те времена это считалось завидной профессией. Он — преуспевающий парикмахер, работающий в роскошном салоне на улице Монтеня. Но я-то знал, что их ждет. Она сопьется и умрет от цирроза печени. Он помешается на идее создать духи, назвать их своим именем и прославиться. Бесконечные опыты вконец разорят его. Тогда он станет дрессировать львов. Поселит их у себя в саду в Буживале. Львы сломают клетку и убегут. Натворят бед в округе. Их незадачливый хозяин скроется в Германии и поступит в цирк простым рабочим. Будет подметать арену, пропахнет дикими зверями и мочой. В семидесятые годы он превратится в бездомного бродягу, кокаиниста, страшного, ненужного даже в самом захудалом цирке.

Само собой, я не хотел, чтоб чудовищные картины будущего отравили мне жизнь. Я бы стал настоящим мальчишкой с огромной радостью, но как взрослому стать ребенком? Мне не хотелось играть, я забыл, как играют дети. Оловянные солдатики не будили во мне творческой фантазии. Неужели кому-то нравится запускать игрушечную железную дорогу? По мне — скука смертная. Я вспомнил причудливую биографию аббата де Рансе, описанную Шатобрианом. Оплакав погибшую возлюбленную и мумифицировав ее, блестящий светский молодой человек решил заживо похоронить себя в монастыре у суровых траппистов. Он страстно захотел искупить грехи тяжелым трудом. Ему дали лопату, он стал копать и сейчас же нашел клад: шестьдесят фунтов стерлингов. С этими деньгами де Рансе бежал из монастыря и уехал в Италию. Может

1. Мимнерм — греческий элегический поэт VII в. до н. э.

быть, и я, замурованный в прошлом, не хуже чем в монастырских стенах, смогу, подобно ему, отыскать клад и унести ноги?

Унести ноги мне не удастся. Я не в силах влиять ни на прошлое, ни на будущее и не могу перемещаться во времени по своей воле. И потом, что делать семилетнему мальчишке из пятидесятых одному в двухтысячном году? Попрошайничать в метро? Придется мне жить в настоящем, весело и с удовольствием. Я почти научился ставить взрослых в тупик типичными детскими вопросами: "Как попадает личинка долгоносика внутрь белой фасоли? Почему один начнет зевать, и все за ним? Почему люди боятся темноты? А если я закрою глаза, вдруг все исчезнет?"

С ребенком меня роднило чувство беспомощности. Детство — не слишком приятная пора: взрослые нас защищают, но мы целиком от них зависим; нас вынуждают слушаться, а мы, бестолковые, все делаем наперекор и хотим поскорее вырасти — надоедает карабкаться на табуретку, чтобы взять что-нибудь со стола или выглянуть в окно. Наблюдая за жизнью детей теперь, когда я достиг сознательного возраста, я понял, что вначале мы все получаем горький опыт: огонь яркий, но потянешься к нему и обожжешься; игрушка красивая, а сунешь ее в рот, наешься краски. Мы открываем внешний мир и прежде всего узнаем, что он опасен и жесток. Под влиянием первого впечатления многие люди на всю жизнь сохраняют иллюзию, будто лучшее время — это младенчество, когда о тебе заботятся, следят за каждым твоим шагом, направляют, решают, что тебе лучше делать и во что играть. Скрывают от тебя все проблемы и огорчения. Другие наоборот — с раннего детства бунтуют. Но абсолютно все, едва начав улыбаться, уже умеют лукавить и хитрить.

К примеру, человеческий детеныш научился ползать или ходить. Он сейчас же прячется под столом, за дверью, за шторой. Родители делают вид, будто потеряли его, ищут, но всерьез не беспокоятся. Малыш понимает, что это игра, и хихикает. Позднее, во время каникул, в деревне — если, конечно, ему посчастливится уехать в деревню — мальчишка устраивает себе настоящее укрытие среди кустов — шалаш или вигвам, и сидит там притаившись, как настоящий индеец, с голубиным пером на макушке. Он мечтает о приключениях, о битвах с врагами, хотя никаких врагов и в помине нет. Воображение заменяет ребенку реальность, а я разучился придумывать и представлять.

Дети из благополучных семей не играют на улице. Они только и видят что натертый паркет и турецкие ковры с причудливым абстрактным узором — приглядись и различишь среди пестрых линий диковинных чудовищ или реки, леса, озера и горы. Я вырос в квартире и никогда не бывал ни в подвале, ни на чердаке. Зато мог бродить сколько душе угодно по подземельям Мулинсара, где братья Луазо выслеживали Тентена[1]. Находил среди оранжевых кирпичных стен и каменных опор военное снаряжение всех времен и народов, от шишака до треуголки. А еще бюсты римских полководцев, гипсовых Венер, великое множество всевозможных ваз и кувшинов, картины, японские маски, улыбающиеся статуэтки

1. Герои французских комиксов 50-х гг.

Будды, старинные счеты, музыкальные шкатулки, часы, ширмы и африканские барабаны. Коль скоро мне негде было построить шалаш, я устраивал уютную берлогу между креслом и буфетом из диванных валиков и подушек. И, помнится, путешествовал без конца, листая толстенные тома энциклопедии 1910 года выпуска. Освоил древний мир, объехал дальние страны, видел растения, птиц и зверей, какие только есть на планете Земля, ведь поблизости от Триумфальной арки флора и фауна довольно скудные. Вот когда начались мои перемещения во времени. Я уносился в прошлое, перечитывая "Сказки дядюшки Поля" и основательный труд Максима Пети "История Франции". Отчетливые черно-белые репродукции картин на исторические сюжеты прочно врезались в мою память: "Каменный век" Кормона, "Осада Алезии" Анри Мотта, "Отлучение от церкви короля Роберта Благочестивого" Жан-Поля Лорана. В центре убитый горем король держит за руку королеву, у его ног дымится опрокинутая погасшая свеча, на заднем плане расходятся, повернувшись к королю спиной, и исчезают в тени мрачных сводов непреклонные епископы. В детстве моими лучшими друзьями были книги.

В конце концов мои воспоминания отрывочны и неточны, их трудно увязать с настоящим; лишние, ненужные, они лишь тормозят плавный непрерывный поток существования, мешают и отвлекают. Я стал понемногу избавляться от них, они бледнели и таяли при столкновении с несомненной реальностью. Мне понравилась размеренная, налаженная жизнь в родительском доме, я наслаждался отсутствием телевизора и прочих чудодейственных устройств. Радио не набрасывалось с новостями, а постепенно разогревалось, трещало и шипело. Облезлый портфельчик переходил от отца к сыну, рваную одежду не выбрасывали, а чинили; вместо того чтобы купить новую юбку, надставляли или укорачивали по моде старую; даже зажигалки служили десятки лет, вещи были долговечнее людей. Меня восхищало простое, разумное общество, где потребление ограничивалось естественными нуждами — ничего лишнего, ничего бесполезного. Зимой мы топили дровами камины и жгли каменный уголь в комнатных печках с фаянсовой облицовкой. В нашей просторной кухне было холодно, поэтому папа готовил кофе, надев теплый халат и черную бархатную шапочку. Летом мы покупали бруски льда и обкладывали ими глиняный кувшин со сливочным маслом.

Через неделю начнутся занятия в школе. Я нервничал, места себе не находил. Ладно! Как-нибудь справимся. За полвека я узнал столько всякой всячины, что стану в классе первым учеником, впрочем, и здесь требуется осторожность, лучше быть в меру одаренным, гениальность до добра не доведет. Пока что днем я ходил с мамой по магазинам мод, куда она сдавала за бесценок связанные ею шляпки. Мама принимала заказы и спорила об оплате. Всю дорогу она крепко держала меня за руку. Когда мы пришли в "Ля Токад" на Трокадеро, в двух шагах от улицы Поль-Думе, я совсем устал, зевал и, больше не прислушиваясь к маминым переговорам с хозяином, рассеянно смотрел по сторонам. Внезапно я увидел Галюша под ручку с Луизой. Похоже, их ничуть не встревожило мое исчезновение. Я пропал очень кстати. Выходит, я ни в чем не виноват. И отлично! Луиза хохотала, Галюша смотрел на нее масляными глазками. Они остановились у витрины. Луиза повелительно указала паль-

чиком на шляпку, связанную моей мамой. Белую, с большим пером, прикрепленным спереди.

По вечерам родители приходили пожелать мне спокойной ночи. Сначала меня целовала мама и уходила, отобрав комиксы или книгу, с которой я никак не мог расстаться. Потом заглядывал папа и гасил лампу в изголовье постели. В темноте я быстро засыпал, но перед сном еще успевал помечтать, что теперь я проживу детство и юность заново и совсем иначе, гораздо лучше, не упущу ни одной благоприятной возможности. И впоследствии мне не придется ни о чем пожалеть. Сколько молоденьких девушек, недотрог, тихоней, воображал, кокеток, мне пришлось повидать, и разве я догадывался о значении их взглядов, об их смущении и застенчивости? Долой сдержанность и осторожность, отныне я отвечаю нежным взглядом на каждый нежный взгляд. Тут я тяжело вздохнул. Такие мысли мне явно не по возрасту.

В первый день занятий я боялся школы не меньше, чем в прежней жизни. Мы с мамой приехали на автобусе. Портфель у меня за плечами был набит чистыми тетрадями, карандашами и перьями. Мама подтолкнула меня к стайке школьников, что робко топтались в тени каштанов, тихонько окликали друг друга и вполголоса рассказывали, кто как провел каникулы. А сама остановилась у ворот вместе с другими родителями и аббатами в черных сутанах. На фасаде главного здания под самой крышей висели большие часы, все ждали, пока маленькая стрелка доползет до восьми. Я всматривался в лица, многих узнавал, но не мог вспомнить ни одной фамилии. Вон тот парень с рыжим бобриком дружелюбно мне подмигивает. Как же его зовут? Ничего, скоро перекличка, я узнаю имена всех одноклассников. Пора! Надзиратель позвонил в бронзовый колокольчик, которым всегда возвещал начало и окончание занятий. Толпа учеников прихлынула к крыльцу. Аббат, следивший за поведением в младших классах, вышел вперед и встал около колонны перистиля, у самых остекленных дверей. Он хлопнул в ладоши, призывая к тишине, и объявил громким голосом: "Ученики из класса господина Петито строятся вот здесь, у крыльца. Подходите по очереди, я сейчас назову ваши фамилии. Итак: Абрамов, Аврен, Адам, Арманбуа, Арно, Бернигон..." Родители ушли, сторож в серой блузе запер двери школы. Господин Петито оглядел озорников, которых ему предстояло учить три года. Небольшого роста, с внушительным брюшком, в довольно тесном костюме, в очках с толстыми линзами, наш учитель постоянно улыбался, причем его улыбку трудно было назвать доброй. Еще во дворе я понял, что у рыжего фамилия Аврен, узнал Пакота, которого всегда наказывали за болтовню на уроках, а также Форена, Меркаде и Поластрона.

Мы сели за парты. Между рядами прошел сторож и налил каждому из огромной бутыли с носиком чернил в белый крошечный керамический стаканчик, заменявший нам чернильницу. Аккуратно выводите тонкие линии! У меня никогда не выходило аккуратно писать перьевой ручкой: и перо сломаешь, и страницу забрызгаешь, и пальцы перемажешь. "Не болтать!" С первого урока первой четверти аббат Монжен, наш классный надзиратель, с угрожающим видом следил за Меркаде и Поластроном. А те все шушукались. Их говорливость не пропадет даром: оба станут блестящими адвокатами. Я еще встречу их в 1980 году.

Но после того как аббат потряс металлической линейкой, все болтуны умолкли. Неслухи не раз пребольно получат ею по рукам. Господин Петито поприветствовал нас и сказал несколько слов о том, что нам предстоит изучить. Каждый написал свое имя и фамилию на листочке в клеточку, чтобы учителю легче было нас запомнить: до конца года мы будем сидеть так, как нас рассадили сегодня. Затем Петито продиктовал расписание: "Понедельник: география, математика..." И так далее, и тому подобное...

Мне совсем не понравилось в школе. Ни о каких преимуществах перед другими и речи не шло. Весь накопленный за жизнь багаж не в помощь, коль скоро нужно вызубрить все префектуры и супрефектуры. А как их запомнишь! Меня снова принуждают осваивать азы жизни в коллективе: как отвечать, учить наизусть, читать вслух стихи, писать, считать, рисовать, трудиться, подчиняться, терпеть насмешки и страшную скученность. Жить можно только дома и во дворе, школу нужно переносить молча, как пытку. Что делать: отстаивать свои права и драться либо испуганно притихнуть и смириться, пускай оболванивают?!

Пакот, тощий, щуплый, с брекетами на зубах, мешающими ему говорить, в нашем классе выше всех на голову. В дальнейшем он станет послом, а пока что он конь, а я всадник. Класс разделился на два враждующих лагеря, мелкие оседлали длинных. Мы жестоко сшибаемся. Побежденный валится с коня на асфальт. Увечий не избежать. В столовой мы заключаем тайные соглашения и разрабатываем стратегию будущих битв. О ней разговор особый. Ровно в полдень аббат Монжен рявкает: "Стройся в затылок!" И мы гуськом спускаемся в полуподвал с зарешеченными окнами, провонявший хозяйственным мылом. Здесь мы завтракаем. Учителя и надзиратели восседают за отдельным столом на возвышении. Наскоро прочитав молитву, ученики стремительно набрасываются на корзины с булками и опустошают их. При этом ругаются, толкаются, тузят друг друга и визжат. Гвалт стоит неимоверный. В качестве горячего блюда нам ставят на грязные, липкие длиннющие мраморные столы тарелки с покрытыми желтым жиром сосисками и чечевицей, в которой полно мелких камешков.

В столовой за дисциплиной не следят, якобы дают ученикам выпустить пар. Вообще, суровое обращение призвано искоренить жестокость, от природы свойственную большинству мальчишек. В действительности лицемерные воспитатели всего лишь загоняют внутрь дурные инстинкты, кстати, необыкновенно живучие. Ученики им в ответ тоже лицемерят. Научаются изворачиваться и лгать, чтобы на них не надели дурацкий колпак, не били по рукам линейкой и не ставили на колени на гравий. Круговая порука у школьников не хуже, чем у бандитов. Девять лет ежедневно по восемь часов я терпел эти муки, неужели мне предстоит это вновь?

Средняя школа. Здесь не прекращается скрытая война между учениками и учителями, вражда между классами и внутри классов. Драки стенка на стенку, травля. Здоровяки похваляются силой, колотят слабых и вконец запугивают их. Верзилы-старшеклассники тащат в туалет с решетчатой дверью несчастного Меркаде. Чем-то он им не понравился. Его бьют, заламывают ему руки. В коридоре на перемене шумно, во дво-

ре вопят футболисты, криков бедняги не слышно. Аббаты в развевающихся сутанах, с молитвенниками в руках с голубиной кротостью прогуливаются парами. Они вмешаются, только если запахнет смертоубийством. И посадят виновного писать строчки после уроков. Наиболее предприимчивые и тут не растерялись: Поластрон заготовил огромную стопу исписанных листков и продавал их наказанным в обмен на пирожные, стеклянные шарики и йо-йо.

Учителя живут по тем же звериным законам. Выбрать козла отпущения и всласть потешаться над ним — какой прекрасный способ разрядить напряжение в классе! Добрейший господин Петито, с вечной насмешливой улыбочкой, с первого же дня стал издеваться над Бернигоном, неуклюжим, нелепым, красневшим как помидор, когда его спрашивали. Вот его-то он и сделал всеобщим посмешищем, принялся задавать ему каверзные вопросы, измываться, снижать оценки. "Бернигон, к доске!" "Встаньте, Бернигон! Прочтите нам с места басню 'Волк и ягненок'. Только будьте любезны, по-французски". Дело в том, что Бернигон, родившийся в чудесной области Морван, говорил на диалекте, так что класс забавлялся от души. Отчего Бернигон ни разу не взбунтовался? Отверженный, осыпаемый насмешками, униженный, опозоренный — как, наверное, он страдал, скрываясь под маской непрошибаемого благодушия! О дальнейшей его судьбе я узнал двадцать лет спустя. Поластрон вскользь упомянул, что он заведует отделением крупного голландского банка в Сингапуре и стал человеком черствым, желчным и озлобленным.

Когда вам семь или восемь лет, вы стыдитесь, если родственники ожидают вас у дверей школы. Кому понравится такая забота, к тому же неизвестно, что скажут про них ваши товарищи. Если вы чем-то похожи на маму, брата или старшую сестру, не избежать издевок: "Эй! Видал сестру Бернигона? Ну и носищи у них у всех!" Вы уже вошли в образ, пустили всем пыль в глаза, а тут являются домашние и вас развенчивают. Сущее наказание! Отправившись в школу, вы начинаете вести двойную жизнь.

Школу отделяет от семьи прочная стена. Там вы становитесь абсолютно другим человеком. Школа — замкнутый социум, по определению враждебный ребенку и подавляющий его, не важно, какую роль он играет: примыкает ли в силу внутреннего тяготения или случайности к какой-нибудь группе, остается ли одиночкой, которого изгоняют и преследуют. Для таких, как Бернигон, нет спасения. Кто станет дружить с шутом? Доверять ему, делиться с ним секретами, хвастаться перед ним, обмениваться таинственными посланиями, вместе изобретать особый язык, непонятный непосвященным? Никто. Ведь все самоутверждаются, учатся не быть, а казаться. Бернигон обречен до конца учебы потешать учителя и весь класс.

Дома по вечерам я ложился на ворох пестрых подушек, нежился при мягком свете лампы на деревянной подставке и выдумывал, выдумывал... После школы и в выходные дни все свободное время — хотя, по правде сказать, какая свобода? — я слонялся один по просторной пустой квартире, сочинял невероятные истории и ни с кем ими не делился. Чем фантастичнее они были, тем лучше. В пятидесятые годы школьни-

ки предпочитали небылицы реальной жизни. Правдивые рассказы взрослых нагоняли смертельную скуку.

Я прятался от повседневности в ярком мире комиксов. Поскольку я был мал, отец снисходительно смотрел на мое страстное увлечение детскими журналами, хотя считал их бездарными и глупыми. Дожив до девяностых и оглядываясь назад, я не могу с ним согласиться. Дурацкие комиксы оказались пророческими. Там были верно показаны все пороки XX века, века Фантомаса и других страшилищ. Нет, нас пичкали не фантастикой, а бесспорными истинами, истинами будущего. Каков зачастую сюжет рассказа в картинках? Злодей, одержимый манией величия, хочет заполучить в свои руки планету и править ею. Хочет превратить людей в рабов, а города в развалины. К его услугам новейшее вооружение и современнейшие технологии. Он захватывает радиостанцию, выходит в эфир и запугивает весь мир чудовищными угрозами. Морит жителей города ядовитым газом и безнаказанно грабит. Напускает на Париж самолеты-призраки, и парижан парализует страх. Уничтожает целые страны радиоуправляемыми ракетами. Крадет в секретной лаборатории вредные бактерии, чтобы отравить реки. По его вине падают самолеты. Он берет заложников и шантажирует международное сообщество. Разжигает беспощадные, бессмысленные войны. Похищает ученых и заставляет их выдумать лекарство, способное превратить человека в бессловесное животное. Распространяет по всему миру наркотики, рассылая их в запечатанных консервных банках с невинной надписью "Крабы". Его невозможно уничтожить. Одного убьют, другой явится на смену. Злодеям нет числа: тут и Аксель Борг, и Ольрик, и Зорг, и мистер Шок, и Растапопулос, и Септимус, и Аспиридес, и леди Икс. Ни один супергерой не в силах пресечь их разрушительную деятельность. Я, человек из будущего, свидетельствую, что они существуют на самом деле. К примеру, в 1995 году секта Аум-Сенрикё едва не уничтожила Токио, заложив в метро двести сорок килограммов взрывчатки, причем детонаторы должны были сработать от радиосигналов, отправленных с вертолетов.

– Что ты читаешь? – спросил отец.

– "Виконта де Бражелона".

– И тебе все понятно?

– Ну вроде...

– По-настоящему ты поймешь смысл этого романа, когда тебе перевалит за сорок. Он пронизан тоской по прошлому.

– По-моему, он про мушкетеров.

– В конце они все умрут.

– Не рассказывай, что там дальше!

– Толстяк Портос выбирался из осыпающегося подкопа. Внезапно он задумался, почему это при ходьбе ставит одну ногу впереди другой, остановился, и его задавило. Он погиб, как только задумался. Думать вредно, сынок.

– А я люблю придумывать всякое, так интересней.

– С годами ты поймешь, что выдумки ни к чему. Кстати, я тут побеседовал с аббатом Монженом. Он вызывал меня.

– Зачем? Отметки у меня ничего. Только вот география...

– Он сказал, что ты не играешь со сверстниками.

– Они все мяч гоняют, а мне это скучно.

— Еще он мне показал, какое сочинение ты написал на уроке развития речи. Вам задали описать домашнее животное. Твои товарищи писали про собак, вуалехвостов, а ты... — Отец достал из кармана листок и нацепил очки. — Так, читаем: "Вши — скверные твари. Они то облюбуют пушок младенца, то космы и бороду нищего. Забираются под одежду, размножаются с бешеной скоростью, ползают, шевелят лапками и всем скопом пьют нашу кровь. Отними у них жертву, посели их в безлюдную тундру, они сдохнут". Где ты умудрился это списать?

— Я не списывал!

— Но ритм, словарь, дерзость — совсем не детские!

— Я правда сам написал про вшей.

— Охотно верю, мой мальчик, но в нашем мире лучше не обнаруживать чрезмерные способности. Одаренных ненавидят.

— Папа, я такой же, как все.

— А твой учитель, господин Петито, отдал мне вот что. Сказал, что ты играл в эту штуку на уроке математики, и ему пришлось ее отобрать.

— Вовсе я в нее не играл.

— А что ты с ней делал?

— Я считал на ней.

— То есть как считал?

— Хочешь, покажу? Она здорово считает. Смотри, нажимаешь на кнопку, на экране появляется ноль...

— Откуда она у тебя?

— Ну... Мы с Авреном поменялись: он мне машинку, а я ему кучу вкладышей с Тентеном. Пошлешь сотню таких в конверте и получишь здоровскую книжку про самолеты с рисунками Эрже. Правда здоровскую, в магазине такую не купишь.

А по правде, не менялся я ни с каким болваном Авреном. Эта машинка из моего клада, я прячу его за каминной заслонкой. Сунул как-то руку в карман серых штанов, а там чудеса: машинка и еще яркая такая карточка с выпуклыми буковками, написано "виза", "американ экспресс", а в красном целлофановом карманчике две фотографии. Дядька патлатый, слегка на отца похож, и красивая веселая тетя с черными волосами. И они не черно-белые, не раскрашенные, как на афишах кадры из ковбойских фильмов, а цветные! Дядька с тетей незнакомые. Откуда они у меня взялись? Может, кто подсунул? Я их не выбрасываю, потому что это мои пиратские сокровища, и никто про них не знает.

Папа разрешил мне заниматься фехтованием. Теперь мы с Пакотом и Поластроном настоящие мушкетеры. Мы неразлучная троица. Рассказываем друг другу, кто что в журнале прочел, и выдумываем, что будет с Блэком и с Мортимером, ничего путного не выходит, но лучше болтать на перемене, чем гонять дурацкий мяч. В прошлый четверг после мессы к нам пришел настоящий миссионер с козлиной бородкой! Говорил, дикари поклоняются всяким идолам, приносят им человеческие жертвы и бьют себя здоровенными палками в кровь. Прямо жуть! И еще сказал, что католические святые и не такое терпели: их и на решетке жарили, и резали на куски, в общем, разделывали не хуже отбивных.

Чуть похолодало, Петито простудился, и нам прислали молодого, в широченном пиджаке с подкладными плечами, а сам сморчок, и личи-

ко с булавочную головку. Он нам все: "Деточки, деточки", — ну мы ему и показали "деточек". То Аврен выдернет подставку из-под учительского стола, и только сморчок поставит свой здоровенный портфель, стол падает. Смеху! То Маркизе насыплет ему в шляпу мела. Как он вымазался! Мы чуть с ума не сошли, улюлюкали, топали, колотили по партам. Монжен услышал, прибежал, разорался, весь класс посадил после уроков строчки писать.

В Париже три дня шел снег. По улицам рассыпали соль, а зачем, неизвестно. Машины не ездят, боятся; если появится какая-нибудь, то ползет еле-еле и фырчит. У нас в кладовке померзли овощи. Торговец принес с черного хода дрова и уголь. Натащил на подметках грязи, всю кухню изгваздал. А наша мадам Мартино не сробела, так на него набросилась! Мол, она целыми днями все моет, в доме ни соринки, а тут... Вечером ели суп с помидорами. Горячий, я весь рот обжег. Думал, чего бы мне попросить на Рождество. Скоро мы с мамой пойдем в магазин за подарками. А хорошо бы снег продержался до Пасхи, мы бы опять поехали в Альпы, я бы там съезжал на санках во-от с таких гор! Летом в Трувиль. Без каникул я бы совсем пропал, только о них и мечтаю. Аббат Монжен меня совсем доконал, ругается, грозит божьим гневом. Черт! Завтра у нас контрольная по географии. Я ничего не учил, попадутся притоки Гаронны, выше нуля не получу. И чего я раскис! Мне Пакот даст списать. Пакот у нас молодчина. Не жадина и не вредина, хотя учится лучше всех. Он тут у меня спрашивает: "Кем ты хочешь стать?" А я не знал, что ответить. Еще поглядим. Время есть.

Вено Тауфер

“Время когти точит”

Стихи

Перевод со словенского и вступление Григория Кружкова

Игрелюбец

Впервые с Вено Тауфером я встретился на переводческом “круглом столе” в Армении. Мы моментально установили поэтическое родство по именам любимых поэтов: Хопкинс, Уильям Йейтс, Уоллес Стивенс — все они есть в библиографии переводов Тауфера, да еще Элиот, Хьюз, Ларкин, Кавафис, Венцлова, — не говоря о поэтах сербских, боснийских и черногорских.

Но прошло еще два года, прежде чем я сам попробовал переводить стихи Вено Тауфера на русский. Для этого мне потребовалось — в промежутке — побывать в Словении и кое-что про нее понять. Но это не сразу созрело.

Географическая карта скажет, что Словения, лежащая между горами и морем, — единственный вход с Востока в Северную Италию, своего рода “горлышко бутылки”. Сюда в эпоху великого переселения народов принесло откуда-то из Закарпатья небольшое славянское племя, и здесь, конечно, его сразу бы смело ордами более многочисленных и воинственных народов — если бы не отроги Альп с их ущельями и укромными долинами, где словенцы научились скрываться и затаиваться.

Кельты, лангобарды, гунны, готы, авары и все другие народы, которые пытались закрепиться в этих местах, неизменно были сокрушены и истреблены следующей, еще более яростной волной пришельцев; сила ломит силу. Словенцы остались, потому что сумели сделаться незаметными, почти “невидимыми”. Они

© Veno Taufer, 1999, 2005
© Григорий Кружков. Перевод, вступление, 2007
Редакция благодарит Вено Тауфера за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его стихов на страницах журнала.
Фотография В. Тауфера Г. Кружкова

жили в землянках, едва возвышавшихся над землей, или в горных жилищах наподобие пещер и гротов. Никакой задиристости или соперничества — лишь стремление приспособиться и выжить: не буди лиха, пока лихо спит.

Не правда ли, это что-то нам напоминает? Уж не Хоббитанию ли с ее мирным народом — самым мирным во всем Средиземье? Любовь к тишине и уюту, отвращение ко всяким Великим Движениям, врожденный невредный индивидуализм, моя нора — моя крепость. Как только я увидел в словенцах моих милых и любимых хоббитов, я полюбил их еще больше.

Мирный народ — но когда в апреле 1941 года возникла угроза уничтожения страны и культуры, словенцы создали Освободительный фронт и четыре года сражались в горах с фашистами. Это сейчас, перечитывая Эдварда Коцбека (которого сам переводил когда-то), я слышу в его стихах не столько героику, сколько простодушное удивление Бильбо: "Откуда у меня в руках меч? Как я попал в эту чертову заварушку?"

Домоседы, крестьяне... но еще в Средние века сотни словенцев учились в европейских университетах — сначала в Падуе, до которой двести километров, а потом в Вене, до которой чуть больше. История Венского университета насчитывает сорок словенских ректоров. Между прочим, личный врач царя Петра Первого был словенец.

Самая середка Европы. Налево пойдешь — в Венецию попадешь, направо — к венграм, прямо, через перевал, — к немцам угодишь. Еще в старые времена, читая словенскую поэзию, я понял: в этом котелке среди гор сварилась добрая похлебка. Даже за годы идеологического присмотра она не протухла.

Вено Тауфер из тех, кто заново заваривал кашу в 1960-х годах. Нонконформист, он с самого начала не соблюдал осторожность. Об этом говорят и названия его книг: "Свинцовые звезды" (1957), "Пленник свободы" (1963). Его поэзия была модернистской, иногда экспериментальной; но на самом деле он никогда не порывал с традицией, он только искал способ "переоценки уцененных слов" (название его программного эссе о поэзии).

Мне было приятно переводить Тауфера еще и потому, что в его поэтической походке чувствуется та южнославянская (она же западнославянская) "развалочка", которая в русском стихе была надолго придавлена суровой маршировкой силлаботоники. Недаром Пушкин с таким энтузиазмом переводил "Песни западных славян" — думается, не только ради их экзотического *местного колорита*, но и ради освежающей, как родниковая вода, музыки.

Конечно, от Тауфера не приходится ждать того балладного, "гайдуцкого", героизма, которым пленялись Мериме и Пушкин, зато есть героизм экзистенциальный, всечеловеческий ("Письмо в бутылке"), и есть мягкая улыбка, оттеняющая драму ("Орфей").

Отношение к смеху в европейской культуре неоднозначно. Древнерусские монахи писали о скоморохах с их "душегубными песнями" как о "безумных игрелюбцах". Но постепенно идея игры проникла и в христианство. Великий английский поэт-католик Джерард Мэнли Хопкинс писал о Христе, который "играет в тысячах разных мест"; Осип Мандельштам в статье "Скрябин и христианство" утверждал, что, поскольку мир уже искуплен, художнику остается одно — "радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа". Вено Тауфер словно откликается на слова Мандельштама:

с сыном играет отец
сваливая со своих плеч
эту крестную муку

Игровое начало — родимое пятно, которое изначально присуще поэзии Тауфера. Порой — беспечное скоморошье веселье, но чаще — трагическая радость существования в этом мире, где любовь играет с огнем и плоть — с душой, побеждая смертную скуку небытия.

Орфей

По весне поет он под черешней белой
поет ангельски жалостно бесовски прелестно
угощенье в садике еще не созрело
женщинам и детям слушать интересно

каркают вороны видно предвкушают
да и у Орфея ноты вверх ногами
слюнки слюнки текут музыке мешают
дети в рот пихают ягоды обеими руками

его сердце коршун черный
он сидит на носе словно на утесе
смертный пот над бровью взмахом крыльев сушит

его сердце коршун черный
одним глазом смотрит на дальние тучи
а другим на близкие лакомые очи

Следы на плетне

Бог не в боге
он дорога к богу
плющ курчавый по стене ползущий

речь не слово
судорога горла
вздох глубокий из нутра идущий

день не утро
и не вечер
мрак слепивший вместе наши тени

жизнь не смерть
и не изнанка смерти
а тугое их переплетенье

на плетне дырявом
дня и ночи
видишь — время когти точит

На краю бухты

Воздух играет с камнем
луч с оконным стеклом
храм обходя по кругу

ветер играет с волной
небо само с собой
плавно скользя над лугом

плоть играет с душой
Бах с умиранием свеч
и отголосками звука

с сыном играет отец
сваливая со своих плеч
эту крестную муку

море играет с ладьей
за каменистой грядой
перед входом в бухту

ты играешь с огнем
с ослепленным лицом
я ловлю твою руку

смерть играет со мной
словно с малым дитем
в свою смертную скуку

Письмо в бутылке

— Вперед!
Шарль Бодлер *Плавание*

Я бы хотел увидеть горы на другом берегу.
Но другого берега нет.
Грегор Стриша
Космос с обратной стороны

I

Возвращайся летчик
Возвращайся к берегу родному
Горизонт все дальше с каждой ночью
Все труднее путь к аэродрому

Может там на этих звездах
Ты еще найдешь свой скудный воздух
Раздирая кашлем горло
Там где арку радуга простерла

Постарайся развернуться
С каждой ночью все трудней лететь обратным курсом
Не пугайся если снизу тянет дымом
Горьким едким и неистребимым

II

Возвращайся летчик
Возвращайся к берегу родному
Горизонт все дальше с каждой ночью
Все труднее путь к аэродрому

Может еще брызнут соком пряным
Сестры-облака над океаном
Может брат-огонь размечет искры
Над трухлявым деревом дуплистым

Постарайся развернуться
С каждой ночью все трудней лететь обратным курсом
Не пугайся если там внизу руины
Жизнь сгоревшая до сердцевины

III

Возвращайся летчик
Возвращайся к берегу родному
Горизонт все дальше с каждой ночью
Все труднее путь к аэродрому

Может быть увидишь ты морские
Зыбких пастбищ кольца колдовские
Острова сирен где в волнах тонут
Лунных царств бесценные короны

Постарайся развернуться
С каждой ночью все трудней лететь обратным курсом
Не пугайся если вдруг русалка брызнет
На тебя водою смерти или жизни

IV

Возвращайся летчик
Возвращайся к берегу родному
Горизонт все дальше с каждой ночью
Все труднее путь к аэродрому

Может грунт еще удержит корни
Чтоб листве умыться ветром горним
Вечностью обвеять напоследок
Лоб горящий от колючих веток

Постарайся развернуться
С каждой ночью все трудней лететь обратным курсом
Не пугайся если там внизу пучины
Пота мглы немереной кручины

V

Возвращайся летчик
Возвращайся к берегу родному
Горизонт все дальше с каждой ночью
Все труднее путь к аэродрому

Может ты найдешь страну другую
Вглядываясь в темноту слепую
Может быть в ушах еще удержишь
Дикой чайки крик над побережьем

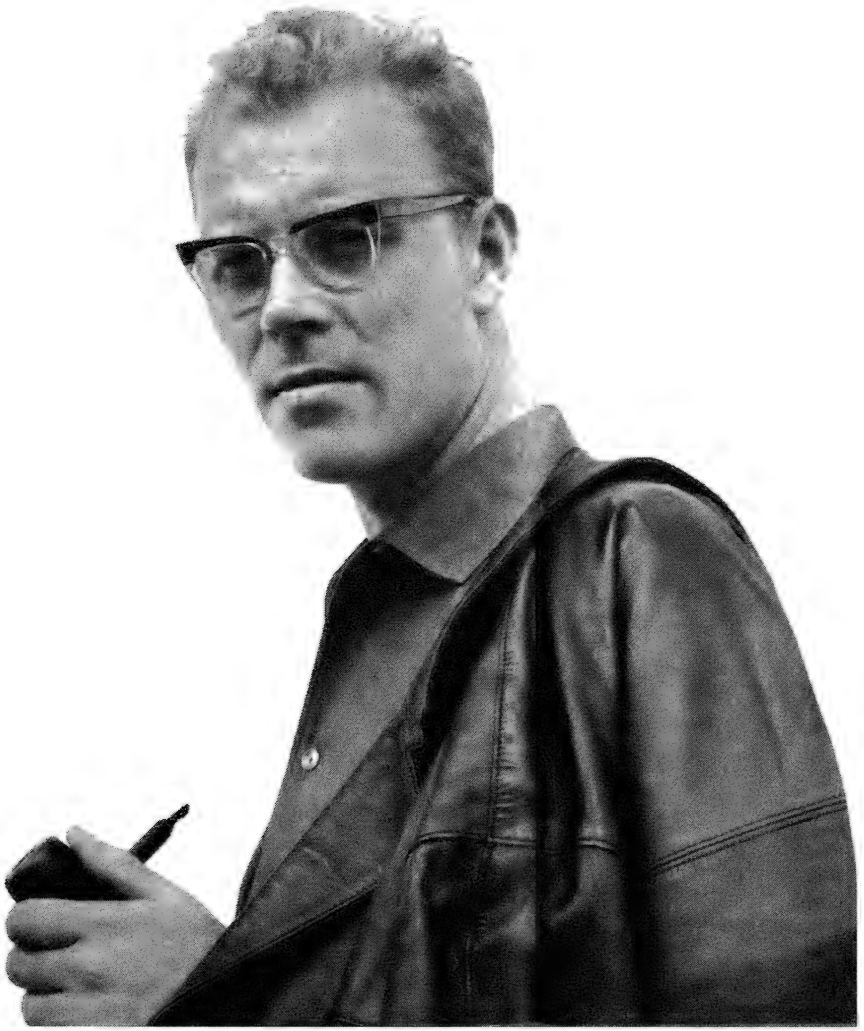
Постарайся развернуться
С каждой ночью все трудней лететь обратным курсом
Даже и металл берет остуда
Звездный прах летит из ниоткуда

Уве Йонсон

Две точки зрения

Повесть

Перевод с немецкого С. Фридлянд
Вступление Екатерины Скляровой



© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1965
© Наследники Софьи Львовны Фридлянд. Перевод, 2006
© Екатерина Склярова. Вступление, 2007

"Поперек путей"

"Но Якоб всегда ходил поперек путей". Так звучит знаменитая первая фраза романа "Догадки насчет Якоба", изданного в ФРГ в 1959 году. До публикации этой книги Йонсон жил в Мекленбурге. В ГДР. После — поменял страну проживания. В процитированной фразе выражено его несогласие с официальной версией Истории.

Я процитировала начало главы об Уве Йонсоне из книги известного книжного обозревателя Фолькера Вайдермана (широко обсуждаемой сейчас в Германии) "Световые годы. Краткая история немецкой литературы с 1945 года до сего дня" (2006)[1]. Автор книги отмечает, что для писателя Йонсона (1934—1984) всегда были характерны "интерес к большой Истории и к малым историям, одновременно очень точное и поэтичное изображение действительности". То, что автор сумел осуществить в своем романе "Дни года" (1970—1983) — соединение американской повседневности 1967—1968 года с постепенно воссоздаваемой в памяти эмигрантов (и в результате все более приближающейся к сегодняшнему дню) картиной исторического прошлого Германии, — Вайдерман, литературный критик, отнюдь не щедрый на похвалы и восторги, называет "фантастическим" достижением.

В Германии проза Йонсона давно считается классической, существует даже литературная премия его имени — наряду с премиями Альфреда Дёблина, Георга Бюхнера и другими. В России, к большому сожалению, он пока практически не известен. До перестройки публиковать произведения человека, уехавшего из ГДР на Запад (он жил в ФРГ, потом какое-то время в США, в последние годы — в городке Шеернесс, в Великобритании, где и закончил свою жизнь в полном одиночестве: тело его обнаружили лишь через три недели после смерти), было невозможно; после перестройки, видимо, не находилось желающих издавать и переводить эту трудную, виртуозно написанную, но внешне неброскую, не обещающую коммерческого успеха прозу.

И все-таки в 2003 году, в специальном "немецком" (сентябрьском) номере, "Иностранная литература" опубликовала несколько рассказов Уве Йонсона, а также избранные места из его переписки с Максом Фришем. Чуть позже переводчица этих материалов Софья Львовна Фридлянд предложила опубликовать в журнале повесть "Две точки зрения" (1965), которая, несмотря на свой небольшой объем, действительно достаточно полно показывает и круг проблем, которые волновали Уве Йонсона, и особенности его художественного метода.

В Германии и в Западной Европе давно вошло в привычку прибавлять к имени Уве Йонсона громкий титул "писатель обеих Германий". Йонсон действительно одним из первых проявил интерес к теме разделенного немецкого народа и даже причислил ее к самым животрепещущим в немецком послевоенном литературном процессе. В 1961 году, отвечая на вопросы журналиста о трудностях и задачах своего творчества, он объяснял это так: "Разве можно перед лицом остального мира вообще говорить о Германии? Нам всем следовало бы помалкивать после 45-го. Лично я бы не смог говорить на эту тему. На нашей стране лежит такой несмываемый позор, что нечего и думать о прощении. Единственное, пожалуй, что могло бы оправдать разговор о Берлине, это наш раскол, наша граница, наше отдаление друг от друга. По той простой причине, что, как мне кажется, гра-

1. Volker Weidermann. Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute. – Koln: Kiepenheuer & Witsch, 2006.

ница между двумя немецкими государствами позволяет сравнить два известных на сегодня способа жизнеустройства и ощутить острую необходимость выбора между ними. Вот это могло бы заинтересовать остальной мир! Вот это дало бы нам право сказать: мы тоже существуем, мы тоже заслуживаем внимания!"

Именно близкое соседство двух противоположных друг другу образов жизни, двух культур, и неизбежная проблема выбора, с которой сталкивается человек, живущий на границе между ними (на стыке двух миров), составляет содержание первых трех произведений Уве Йонсона: романов "Догадки насчет Якоба" (1959), "Третья книга про Ахима" (1961) и повести "Две точки зрения" (1965). Для Йонсона как писателя не менее остро стоял и вопрос о возможностях познания этой противоречивой реальности — как запечатлеть ее в литературном произведении, в слове, без потерь и искажений? С одной стороны, Йонсон достаточно скептически смотрел на познавательные способности литературы вообще, с другой — сам был дотошным и проницательным исследователем немецкой действительности, но при этом ему удавалось оставаться беспристрастным, наблюдать за жизнью как бы со стороны и с холодной головой, сохранять независимость.

Независимость была свойственна Йонсону и как личности, и как художнику слова. Какое-то время его пытались втиснуть в рамки того или иного художественного течения, приписать то к одной, то к другой политической или литературной группе: называли и "модернистом", и "социалистом", и "декадентом", и экспериментирующим "формалистом", и "троянским конем" из ГДР, и восточнонемецким диссидентом. После долгих мучений решили остановиться на формуле "сложный писатель", которая за ним и закрепилась. Эта формула акцентирует внимание прежде всего на формальном своеобразии его прозы. Частые упреки в искусственной усложненности писатель отклонял, указывая на противоречивость и многомерность того реального мира, который ему приходится воссоздавать. Уже первые его книги приводили в недоумение читателей и критиков своей разнородной художественной структурой: всеведущий повествователь заменен в них несколькими рассказчиками (они же и герои произведения), то есть история преломляется в сознании нескольких персонажей; вместо того чтобы обозревать происходящее "сверху", читатель как бы сам оказывается среди действующих лиц. По ходу чтения он постоянно наталкивается на загадки, в прояснении которых может полагаться только на себя, на свое внимание и умение сопоставлять разные версии.

Повесть "Две точки зрения", по мнению критиков и литературоведов, написана — по сравнению с романами — в более простой, почти традиционной манере. Эта кажущаяся простота, между прочим, оборачивается многими трудностями при попытке ее адекватно перевести.

Как для естествоиспытателя основой работы являются эмпирические данные, так и для "исследователя от литературы" Йонсона исходным материалом были его собственные впечатления и жизненный опыт, а также впечатления и опыт близких ему людей. Он и сам не раз подчеркивал свою "любовь к конкретному". Так, у истоков повести "Две точки зрения" стояло реальное событие: побег Элизабет Шмидт, будущей жены Йонсона, из ГДР — вскоре после возведения Берлинской стены, в 1961 году. На эту автобиографическую основу указывает и посвящение в начале книги: С. и Б. — супруги Соня и Берт Рихтер, члены нелегальной студенческой группы в Западном Берлине, помогавшей вызволять из-за Стены тех, кто желал покинуть ГДР. Способ, каким героиня повести совершает бегство из ГДР, в точности повторяет тот, которым воспользовалась в свое время невеста Йонсона. Однако на этом автобиографические параллели заканчиваются. Повесть *суммиру-*

em опыт писателя и наблюдения, сделанные им в 60-х — первой половине 70-х годов, она, в определенном смысле, представляет собой итог размышлений Йонсона о политическом и духовном расколе Германии — точнее, о том воздействии, которое оказало на современников возведение Берлинской стены.

Как и в предыдущих романах Йонсона, в повести рассказчик приступает к распутыванию некоей истории уже после того, как наступила ее развязка. Если в "Догадках насчет Якоба" главную задачу автора составляло выяснение причин загадочной смерти героя, а в "Третьей книге про Ахима" он хотел разобраться в том, что же помешало западногерманскому журналисту создать биографию восточнонемецкого спортсмена, то в "Двух точках зрения" его интересуют зарождение и угасание любви между молодым человеком из западногерманской провинции и девушкой из Восточного Берлина. Однако история любви составляет только первый — событийный — план.

Ключ к более глубокому пониманию повести — в ее названии ("Zwei ansichten", букв. "Два взгляда"). Сам Йонсон пояснил свое намерение так: "В названии слово 'взгляд' (Ansicht) употреблено в его старом значении: vue, prospekt — вид, перспектива (панорама); тут подразумевается и просто разница во мнениях, разность точек зрения". Нам предлагается не только история любви, но и два разных видения мира, две точки зрения на него, а вместе с ними — и два среза действительности, по сути, несовместимые.

Донести их до читателя доверено непричастному к событиям рассказчику, который на протяжении десяти глав поочередно меняет угол зрения и изображает события то с позиции господина Б., то с позиции фройляйн Д. Персонажи же лишены собственного голоса: на месте ожидаемых внутренних монологов или диалогов — несобственно-прямая речь, вплетенная в общую ткань повествования. Инициалы, под которыми значатся действующие лица, скорее всего свидетельствуют о том, что персонажи эти — некое обобщение. В западногерманской критике преобладает версия, согласно которой "Б." и "Д." (в немецком оригинале B. и D.) суть начальные буквы аббревиатур ФРГ (BRD) и ГДР (DDR), такая интерпретация придает героям книги статус типичных представителей государств, гражданами которых они являются. Вероятно, эта версия недалека от истины — сам писатель никогда не подтверждал, но и не опровергал ее.

Только в конце повествования рассказчик выходит из тени и говорит, что вся история была записана им со слов Д. То есть речь вроде бы идет о вполне реальных событиях, произошедших в Германии осенью 1961 года. Однако затем рассказчик упоминает и обещание, взятое с него Д.: "Но все, что вы напишите, должно быть выдуманным! — Оно и есть выдуманное". Так автор дает понять, что преследовал несколько иную цель, чем простой пересказ действительно имевших место событий, что речь идет не только о судьбе двух конкретных людей. "Две точки зрения" — повесть об отчуждении между восточными и западными немцами в целом, о разделяющих их препятствиях, преодолеть которые гораздо труднее, чем перейти границу (или разрушить Берлинскую стену).

Необычная для Йонсона "простота" художественной манеры повести, которую отмечали критики, с лихвой компенсируется способом организации художественного текста. В "Двух почках зрения" абсолютно отсутствуют прямые авторские оценки, пояснения, комментарии. Читателю предлагаются факты, детали, подробности — словом, "эмпирические данные". Художественное пространство повести обладает повышенной плотностью, мы словно рассматриваем мир в увеличительное стекло и видим мелочи, обычно ускользающие от взгляда. Для прозы Йонсона, и для этой повести в частности, характерно обилие однородных членов предложения, сложносочиненных конструкций, как будто происходит

нанизывание все новых и новых подробностей на нить повествования. Такая организация текста требует от читателя предельного внимания к каждому слову: чуть зазевался — и пропустил какую-то важную для понимания всей истории подробность.

Другая особенность этой (и вообще йонсоновской) прозы — внезапные, никак не подготовленные переходы от одного временного пласта к другому. Поэтому читателю часто приходится возвращаться назад, к уже прочитанному, и пытаться заново осмыслить тот или иной эпизод.

В связи с этим вспоминается известное замечание Юрия Лотмана: бывают книги, которые требуют многократного прочтения, в них "точка конца одновременно является пунктом повторного ретроспективного взгляда на сюжет".

Посвящается С. и Б.

1

Некто Б., молодой человек, однажды получил сразу много денег и купил спортивный автомобиль.

Он и раньше зарабатывал достаточно своими фотоснимками, которые в родном гольштейнском городке продавал местному отделению окружной газеты. Но тем не менее по-прежнему жил в меблирашке над залом городского кинотеатра, а ездил на машине старой модели, которой стукнуло уже десять лет, — теперь такие выпускались по пять тысяч штук ежедневно.

Потом ему удалось вторично продать фотографии, сделанные за последние два года: их напечатали в виде альбома, который "отцы города" при случае охотно дарили туристам, курортникам, отмечающим юбилей супружеским парам, покидающим свой пост бургомистрам, промышленным воротилам и так далее. Когда разошелся двухтысячный тираж, Б. понял, что может позволить себе купить новую машину, хотя и не последней модели.

К сожалению, эта выгодная для Б. сделка состоялась лишь потому, что он согласился не включать в альбом некоторые снимки, без прикрас показывавшие, как на самом деле живется в городе престарелым и нищим. После, бреясь по утрам, Б. еще долго поворачивал голову так, чтобы не встречаться глазами с собственным отражением в зеркале. Но когда запас визитных карточек у него иссяк, он решил использовать часть своих сбережений для подготовки нового альбома.

Он усердно припадал на колено, всячески изгибался, до боли напрягая поясницу, даже, если надо, ложился на живот и на спину, садился на корточки, поднимал камеру над головой — и все щелкал, щелкал фотоаппаратом. Старался заработать побольше.

А тут вдруг один иностранный спортивный автомобиль заблудился в лабиринте перегороженных — из-за летнего ремонта дорожных покрытий — улиц и перед самым шлюзом упал в воду. Молодой г-н Б., пока фотографировал, как спасают машину, разговорился с ее владельцем. Тот был бы рад и за меньшую, чем ему предложили, сумму избавиться от

злосчастной машины и покинуть негостеприимный город. Б. показал ему выписку из банковского счета, выторговал скидку, соответствующую цене неизбежного ремонта, и в конце концов, выложив свои сбережения за последние пять лет, стал хозяином мокрого красного "понтона", выуженного подъемным краном из грязной воды. Суеверным Б. себя не считал.

Чтобы привести машину в порядок, пришлось ограничить свои расходы и в ближайшие месяцы, но зато другой такой красавицы не было во всей округе. К тому же знакомые стали поговаривать об умении Б. вести деловые переговоры, и он, воспользовавшись этим, при первом же удобном случае повысил цену на свои фотографии. Теперь он мог безо всяких сожалений подарить старую колымагу подружке, с которой расстался в прошлом январе из-за другой девушки.

В первую ночь, когда во дворе кинотеатра воцарилась его новая, отремонтированная и чистая машина, Б. не сомкнул глаз. Дело было в июле. Каждый третий день он мыл машину, протирал кожаные сиденья, до блеска надраивал лакированные части. Даже в самые сухие, пыльные дни его прыгучее сокровище выглядело так, словно стоит за стеклом витрины. Он был благодарен мальчишкам, которые, разинув рты, толпились вокруг, и в награду катал их по Рыночной площади.

Он, правда, ощущал некоторую неловкость, когда ездил в своей машине, чтобы заснять церемонию закладки первого камня, или пожар в овине, или дорожное происшествие, да и владельцу газеты не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто в редакции зашибают бешеные деньги. Б. же казалось, что с такой машиной легче обзавестись подружкой, и одну девушку он едва не спросил, что́ думает об этом она. Хотел спросить, но забыл из-за рева мотора на трехполосной улице, по которой он проезжал каждый вечер, полагая, что для мотора это полезно.

С машиной он, можно сказать, не расставался, как другие — с наручными часами, без нее он теперь просто не мог существовать. Мягкое щелканье дверных замков, эмблема престижной фабрики в виде колеса со спицами, привычный вид яркого красного пятна в сером провале двора стали неотъемлемой частью его жизни. Порой он не мог удержаться и подходил к окну, просто чтобы взглянуть на машину. В августе 1961-го ему исполнилось двадцать пять.

Но, увы, в том же августе машина у него пропала. Он приехал на несколько дней в Западный Берлин и, когда на второе утро, даже не помывшись толком, подошел к окну, перегнулся над подоконником — потный, голый до пояса, полноватый — и посмотрел на улицу, парковочная площадка перед отелем, еще освещенная жиденьким светом неоновых трубок, была пуста. Только на грязном асфальте поблескивала капля машинного масла. И тут, в чужом городе, полном грузовиков и светофоров, широких улиц и спешащих по ним людей, в трепетном свете раннего утра, его охватило чувство огромной утраты.

2

Медицинская сестра Д. успела лишь недолго проработать в одной из крупных клиник Восточного Берлина, когда руководство предложило ей место в общежитии для сотрудников. Зеленоватый свет, проникав-

ший из сада, затемнял лицо сидевшего за столом, спиной к окну, мужчины, предложение поселиться в комнате на двоих было поощрением, но стоявшая перед начальником Д. молчала.

Она мешкала с ответом, чтобы выиграть время, но тут увидела, как кадровик внимательно всматривается в ее лицо и в фотографию на анкете, и начала говорить, намеренно подстраиваясь под собеседника, — как могла бы говорить светловолосая, неиспорченная, заслуживающая доверия молоденькая девушка. Вся эта сцена напомнила ей школьные годы.

Предложение она отклонила. Изобразила из себя скромницу, сослалась на привязанность к родным, из-за которой готова каждый день тратить два часа на дорогу из Потсдама и обратно, сказала, что уступает эту честь и предложенное место сестрам, работающим в больнице дольше нее. Она едва удержалась, чтобы не сделать книксен.

Ее спросили:

— Пока поезд идет через Западный Берлин, вы никогда не выходите на остановке? Ну, любопытства ради? Или по другой причине?

Этот вопрос лишил ее прежней уверенности. Ей не хотелось перебираться в общежитие только из-за того, что кто-то из ее коллег освободил место, эмигрировав в Западный Берлин. Она не нуждалась в поощрениях за послушание и старательность — качества, которые ценили старшие сестры. Вид на жительство в Восточном Берлине она надеялась получить другим путем. Жизнь в сестринском флигеле ее не устраивала — там тебя в любой момент могли вызвать на сверхурочную работу или на какое-нибудь собрание. Кроме того, она не хотела, чтобы вахтер видел всех приходивших к ней приятелей.

Она улыбнулась сияющей улыбкой и ответила, на этот раз более "взрослым" тоном:

— Да нет, давно уже не выхожу.

Правда, из-за смущения стиснула руки. И злилась на себя за этот нелепый жест еще долго после того, как разговор закончился и ее отпустили в отделение.

Мать ее думала, что она снимает комнату вместе с одной из подруг, и расспросами не докучала. Мать жила одна — дети давно разлетелись, — и была глубоко разочарована тем, что ее дочь не уехала из Восточногерманского государства, отказавшего ей — дочери — в праве на обучение в старших классах и на получение высшего медицинского образования. Дочка наверняка могла бы добиться большего, чем просто быть медсестрой. Но именно с нею мать иногда переругивалась на кухне, братьям же, когда те играли в скат, просто надоедала нескончаемыми вопросами по поводу их самочувствия или дырявого белья, а потом сама же бегала для них за пивом. Д. редко ездила к матери в Потсдам.

Она тайком сняла комнату в Восточном Берлине, на северной окраине города, у одной хромой вдовы. Обходилось это, конечно, дороже, чем проживание в общежитии при клинике. Но зато неприглядная серая комната с захватанной пальцами мебелью означала для нее первую попытку наконец-то пожить самостоятельно — после школы и родительского дома.

Вдобавок ей нужен был адрес, по которому она могла бы получать письма из Западной Германии, от молодого человека, с которым в январе у нее завязались отношения: любовь не любовь, связь не связь, не-

дельное знакомство — подходящее слово не приходило в голову. В конце той недели она нарочно задержала своего приятеля до полуночи, не дала ему уехать в Западный Берлин: чтобы посмотреть, сильно ли он боится неприятностей из-за просроченного пропуска. О неприятностях он, конечно, упомянул, но при этом сказал что-то — нелепое — про свою к ней любовь. Ей, помимо прочего, хотелось тогда посмотреть, способна ли она первой сделать решающий шаг. В следующий раз молодой человек объявился лишь в марте, она его уже не ждала.

После разговора насчет сестринского общежития Д. на работе нарочно стала демонстрировать равнодушие к служебным обязанностям и даже непокорность — и все ради того, чтобы ее личная переписка не контролировалась больничной администрацией, чтобы по вечерам она могла оставаться одна в темной, выходящей на двор комнате, пусть даже летний воздух в тех местах, где еще сохранялись с войны обгоревшие руины, казался каким-то затхлым. Она иногда ходила на танцы, но больше любила в свободное время просто сидеть дома, потому что уставала и потому что у нее было ощущение, что ей о многом надо подумать. Скоро ей исполнится двадцать один год.

Каждый раз, заперев за собой дверь комнаты, о существовании которой никто не знал, она испытывала нечто похожее на гордость. У нее ведь было что защищать, и кое-что в этом плане ей уже удалось.

3

Приехав в Западный Берлин на дорогой спортивной машине, турист Б. ощущал себя совсем по-другому, чем в прежние свои приезды, — и даже не горбился теперь за баранкой. Он полагал, что по праву занимает место в зажатом между рядами домов потоке машин, сражающихся за свободное пространство; он лихо тормозил перед пешеходами, уже не боялся запутаться в незнакомых районах. Зайдя в пивную, не оставлял ключ зажигания в кармане брюк, а сразу выкладывал на стол, на обозрение всем желающим; потом, снова выйдя на улицу, радовался тому, что возле его экзотичной машины собралась кучка зевак, с удивлением разглядывающих нездешний номер. Он со спокойной самоуверенностью садился в кабину, бросая на них через плечо равнодушный взгляд. Ему казалось, что он надежно защищен от прохожих, сколь ни наивны были такие мысли применительно к столичным жителям; а вечером, уже возле отеля, он с удовольствием смотрел через автомобильное стекло на ярко освещенную улицу, рассчитывая в скором времени получше узнать этот город, который так ему нравился. На второй день своего пребывания в Берлине Б., хорошо отдохнувший ночью, проснулся с намерением задержаться здесь дольше, чем планировалось. Пропаже машины он поначалу не придал особого значения, списав ее на нравы большого города, но за завтраком кусок уже не лез ему в горло. На вторую половину дня у него была назначена встреча на углу одной из восточноберлинских улиц, и теперь он ломал себе голову над тем, как добраться туда без машины. Он чувствовал спазмы в желудке, в горле саднило, перед глазами расползалась черная муть. Ощущение утраты угнетало его.

На стоянке перед отелем он убедился, что его красное сокровище кто-то искусно вывел через узкий проход между другими машинами.

Б. вспомнил о противоугонном устройстве, которое якобы гарантировало защиту, — и от одной этой мысли чуть было не зарыдал в голос. Он вышел на проезжую часть и остановился лицом к своему окну и ко входу в отель, уже начиная понимать, как сумели похитить его собственность. Когда проезжавшее мимо такси сбросило скорость, Б. поднял руку, сел, спросил у водителя, где здесь ближайшая фирма проката, и достал сигарету. Водителя очень привлекала возможность заполучить интересного собеседника. Об этом нетрудно было догадаться по взглядам, которые он время от времени бросал на Б., и по руке, расслабленно лежавшей на пустом переднем сиденье. Угрюмый молодой человек с закушенной нижней губой особой симпатии не вызывал, и потому водитель не повез его сразу в ту прокатную фирму, где выбор был получше. Не предупредил он пассажира и о том, что все фирмы в тот день закрывались рано: пусть себе курит и сам выкручивается, раз даже не предложил сигарету. Когда же Б. наконец снизошел до вопросов и попытался завязать разговор, времени было без малого двенадцать. Счетчик показывал сумму, которой, как с раздражением подумал Б., хватило бы, чтобы заполнить горючим бак собственного — утраченного — автомобиля. Но даже и в этой ситуации Б. предпочел винить во всем западноберлинские обстоятельства, а не задуматься над своей непрактичностью, из-за которой в конце концов был вынужден взять напрокат первое, что ему предложили: какую-то разболтанную колымагу, да еще сроком до конца недели. К тому времени, когда сделка была оформлена и он уже снова стоял на улице, перед старомодной витриной, закругленной сверху, его шерстяная рубашка насквозь пропиталась пóтом, а влажные пальцы оставляли пятна на карте города.

Таксист, не ожидавший от неприветливого пассажира столь щедрых чаевых, удивленно посмотрел ему вслед, поверх бумажника. А сам Б. решил пропустить кружечку пива — прямо на тротуаре перед пивным киоском, — чтобы хоть как-то оттянуть предстоящую встречу. Он с неудовольствием наморщил лоб, когда девушка, на которую он в задумчивости уставился, вдруг подсела к нему и начала горячо убеждать, что они уже встречались. Не ее брови над черными очками и не губы, а только движение руки, заправившей за ухо прядь волос, заставило его вспомнить давнюю пьяную ночь и кабинку лифта, в котором он ездил с этой девушкой вверх-вниз, зажав ее в угол, и не глядя нажимал кнопки. Он заказал ей что-то и назвал по имени.

Они договорились вместе поужинать. Она пообещала, поскольку лучше здесь ориентировалась, сперва проводить его к одному из контрольных пунктов. Но она видела здешние улицы только из окна автобуса, да и то не все, а потому они долго блуждали на машине по жаре; в неподвижном горячем воздухе не было ни единого дуновения ветерка. Когда же они наконец отыскали контрольный пункт, оказалось, что он предназначен исключительно для иностранцев. Перед другим, южным контрольным пунктом — для западных немцев — скопилось такое количество машин, что Б. не решился выстаивать эту очередь. На пути к третьему, северному контрольному пункту он уже почти не разговаривал с девушкой, почти не разжимал губ и только пытался сообразить, в каком месяце он познакомился с ней, а в каком — с Д. (или, может, с обеими — в одном и том же). Он часто представлял себе, как в Восточном Берлине Д. из-за новой машины сперва не узнает его, двинется по тротуару, а

он будет медленно ехать рядом, заглядывая ей в лицо. И вот теперь он сидит в этом разболтанном драндулете, не способном произвести впечатление даже на девушку из Восточного Берлина. Между тем другая девушка, с ним рядом, заметила, что он бросает рассеянные взгляды на ее выглядывающее из-под юбки голое колено, заметила и движения его кадыка над несвежим воротничком рубашки. После долгого молчания она спросила, с кем же он договорился встретиться, и поскольку он был уже почти у цели, он так прямо и сказал ей: "Хочу повидаться с подружкой". Возле какой-то пивной, уже у самой границы, он, перегнувшись через колени девушки, распахнул дверцу и даже не глянул вслед недавней спутнице.

Он медленно ехал по железнодорожному мосту, стараясь привести в порядок свои мысли. Первые восточногерманские патрульные стояли посередине, перегораживая пустой рельсовый путь. Они пропустили его ко второй контрольной цепи. Но там его отослали назад, поскольку взятая напрокат машина не значилась в реестре западногерманских машин. Никаких объяснений пограничники слушать не хотели, понуро стояли и в ответ на все просьбы лишь указывали пальцем, где ему развернуться. Из-за усталого вида солдат, терпеливо и безучастно исполнявших свою работу, Б. даже не рассердился на них, а, скорее, растерялся: все они, казалось, знали что-то такое, что положено было бы знать и ему. Именно по этой причине он не стал спрашивать совета у патрульных на западноберлинской стороне, а поехал обратно по пустой улице, почти ничего не видя из-за слепящего солнца, из-за случившегося с ним несчастья.

Давешняя девушка, которая дожидалась под навесом возле пивной и встретила его дружелюбным взглядом, тем не менее не забыла про "подружку" в Восточном Берлине и не сказала Б., что он мог бы попасть в другую часть города, воспользовавшись электричкой или перейдя этот самый мост по пешеходной дорожке. Правда, пешком он бы все равно не пошел. Да и поздно было — на свидание он опоздал. Тем не менее ощущение вины мучило их обоих, разговор не клеился, и в конце концов Б. просто попросил эту куклу вернуть в пункт проката взятую им машину. О совместном ужине речи больше не было, все их знакомство завершилось застывшей улыбкой Б., довольного уже тем, что дело обошлось без скандала.

По дороге в отель Б. ни о чем не спрашивал шофера, так как не хотел, чтобы его приняли за невежду-провинциала. Шофер разглядывал своего пассажира в зеркальце, когда начал делать первый объезд, и, включая блинкер, совершенно упустил из виду, что будет еще и второй. Длинные послеполуденные тени на шоссе, многорядное движение немного успокоили Б. Он окликнул стоявшего у края тротуара полицейского и спросил, как проще всего попасть в Восточный Берлин. Полицейский задумался, осклабился, поглядел на свои ботинки, сдвинул фуражку на затылок... — возможно, он сам здесь плохо ориентировался и таким способом давал это понять. Но Б. подумал, что представителю власти заданный вопрос показался подозрительным.

В холле отеля он попросил разрешения воспользоваться телефоном. И стал обзванивать полицейские участки, чтобы сделать заявление об угоне машины, которую описывал — с излишней горячностью — как чрезвычайно ценную. Потом попытался набрать один восточнобер-

линский номер, но уже после первых цифр услышал сигнал "занято". Разозлившись, он стукнул кулаком по телефонному аппарату. Хозяйка, стоявшая возле полочек для корреспонденции, подняла на него глаза.

— Жарко сегодня, — сказала она, словно извиняясь.

Б. поспешно втянул в легкие воздух, но как быть дальше, не знал. Ему захотелось поскорее покинуть этот город. Он уплатил по счету и, сутулясь, вышел на улицу под чужое клонившееся к закату солнце.

До позднего вечера он ждал в аэропорту свободного места на какой-нибудь гамбургский рейс. О том, чтоб вернуться на машине, он и думать не мог — когда он ехал сюда, восточногерманские пограничники через каждые пятьдесят метров останавливали его и заглядывали в бардачок, не объясняя, чего им от него надо; возможно, эти три солдата — они были моложе его — просто хотели поразвлечься, но так или иначе вторично подвергаться унизительному досмотру он не желал. Хотя воздушных перелетов побаивался. На сорок пять минут — столько длился полет до Гамбурга — он впервые в жизни поднялся над землей, и все происходящее казалось ему не вполне реальным. Он уже не понимал, почему так поспешно сорвался с места. Денег ему хватило бы и для более длительного пребывания в Берлине, у него там остались дела — например, он так и не повидался с Д. Уехал он просто под влиянием настроения. Он не помнил, чтобы когда-нибудь поступал столь же необдуманно — разве что в детстве. Он нервничал, думая обо всем этом, и, не доверяя себе, старался следить за логикой своих рассуждений.

Когда пассажиры уже покидали самолет, Б. вдруг увидел себя как бы со стороны — увидел такого Б., какого раньше не знал: этот самый Б. перед посадкой упорно, до посинения, отказывался предъявить полицейскому свои документы. А потом вдруг повысил голос и стал городить какую-то чушь. Мол, насколько ему известно, нет такого закона, который запрещал бы гражданам Западной Германии передвигаться по собственной стране без документов. В ответ на сделанное ему замечание он заговорил еще громче, раскричался, ударил кулаком по столу — и в конце концов полицейский, пожав плечами, пропустил его. Его окружила толпа людей, которым уже неоднократно доводилось предъявлять документы, и хотя из очереди в его адрес прозвучало немало возмущенных возгласов, в памяти у него запечатлелось лишь множество немых лиц. Позже он с неприятным чувством вспоминал, что после той безобразной сцены без тени стыда прошествовал к самолету — бодрый и, можно сказать, вполне довольный собой.

В Гамбург он уже много лет ездил только на машине и потому теперь плохо соображал, как добраться до дому. Светящаяся башня автовокзала напомнила ему о неудачном визите в западноберлинскую автопрокатную фирму, и сколько-то времени он в нерешительности стоял посреди заполненной людьми привокзальной площади, между двумя зазывавшими покупателей продавцами газет. Домой он попал лишь за полночь: ехал с несколькими пересадками, потому что не хотел никого ни о чем спрашивать и выбирал не самые удобные маршруты. В полутемном вагоне электрички он плохо воспринимал окружающее, пребывал в состоянии апатии, напоминавшем сонное забытье. Вместе с ним ехали дети, возвращавшиеся с каникул, туристы выходного дня, старики, наведывавшиеся в город за покупками, — он их не замечал. В его сознании возник образ девушки, с которой он собирался встретиться в Восточ-

ном Берлине. Ее лицо то стояло перед ним неподвижно, то исчезало, словно он перелистывал страницы фотоальбома, а после снова возвращался к его началу: лицо расплывалось на крупнозернистом фоне, как будто негатив снимка был не вполне качественным. Добравшись до дома и поднявшись по чугунной лестнице, Б. еще помешкал перед темной дверью, обернувшись, бросил взгляд на освещенные коньки крыш вдоль Хауптштрассе, на скомканные ветром облака, и ему в голову пришла абсурдная мысль, что, если он забудет о своих неприятностях, они просто исчезнут и все будет как прежде. Наутро он удивился, что ночью вообще смог заснуть.

Сразу же, в первой половине дня, он отправился в аптеку на Рыночной площади и спросил, не возьмут ли его опять на работу в фотоотдел. Хозяин был не прочь снова обзавестись помощником, но, поскольку Б. уже однажды подвел его, уйдя на вольные хлеба, поставил ему условие: не только фотографировать, но и стоять за прилавком. Б. эта воспитательная мера не понравилась, но выбора у него не было: он нуждался в дополнительном заработке. Кроме того, в свое время они с хозяином вроде находили общий язык. В первые дни Б., конечно, привыкал ко всему этому с трудом: проявлять метр за метром любительские пленки, без конца видеть голых или одетых людей на пляжных фотографиях — в висках у него стучало при мысли, что именно такой работой придется зарабатывать деньги на новую машину. Его раздражало и зависимое положение — ведь он уже превратил половину комнатки над кинотеатром в собственное фотоателье. Теперь же, чтобы подготовить фоторепортаж для газеты, он долго бродил по городу, а за город выезжал только вместе с полицейскими, или со знакомыми, или на автобусе — и все не мог забыть то ощущение, которое испытывал, когда утраченная ныне машина вжимала его в спинку сиденья. Его знакомые — во время таких поездок, или когда он завтракал в кафе при кинотеатре и заводил разговор с официанткой, или когда стоял за прилавком в аптеке — не замечали в нем никаких перемен. Он и в самом деле старался казаться уравновешенным, услужливым, внимательным — но лишь потому, что нуждался в дружелюбном слове, улыбке, утешении, подтверждении того, что жизнь его якобы вошла в привычную колею.

Ему удалось пристроить в газете — без предварительного заказа — одну из своих фотографий Стены, разделившей Берлин на две части. Когда снимок напечатали, разглядеть на нем можно было только составленную из больших квадратов плоскость, а внизу — деревянные столбы и колючую проволоку; Б., собственно, имел в виду совсем не это. Если бы он сам мог выбрать что-то из своих обширных запасов, то предпочел бы тот снимок, на котором видна поверхность одного-единственного камня, обрамленная швами с искрошившимся строительным раствором и запечатленная с такой четкостью, что у всякого, кто ее рассматривал, в кончиках пальцев возникал зуд. Но Б. не решился предлагать этот снимок в редакции: опасался, что ему придется объяснять, в чем тут дело, а кроме того, не хотел, чтобы потом, за его спиной, над ним потешались. Гонорар, пусть и небольшой, полученный за другой снимок, вызвал у него ощущение неловкости, и он, к удивлению кассира, сразу же внес эти деньги на свой банковский счет.

В городе были люди, которые знали Б. еще со школьной поры, или со времени его службы в армии, или с того времени, когда он только на-

чинал сотрудничать с местной газетой; они привыкли быть более или менее в курсе его дел, но теперь, если спрашивали у него, куда подевалась эта экстравагантная машина, получали только короткие, скупые ответы. Мол, он отдал ее приятелю и все никак не соберется забрать... Ложь его тяготила, она могла выйти наружу; но ему не хватало духу рассказывать о несработавшем противоугонном устройстве и о зияющей пустоте на стоянке перед отелем, не хотелось даже думать об этом. В постигшей его неудаче ему виделось что-то постыдное. Казалось, он проявил незрелость, несостоятельность, попав в большой город, полный опасностей, о чем предупреждали его школьные учебники и газеты, — и Б. все больше стыдился, что не выдержал этого испытания. Проходя как-то мимо столиков, выставленных перед погребком ратуши, он заметил своих знакомых, которые тихо посмеивались, а потом разразились напугавшим его общим хохотом. На самом деле их смех относился не к нему. Но они удивились, что Долговязый — со взмокшим от пота лбом, не по погоде вырядившийся в куртку без воротничка — не поздоровался, когда поравнялся с ними; он и вообще в последнее время изменился, давно не показывался на людях с подружками... Служащий страховой компании тут же сообщил приятелям, что молодой г-н Б. даже не удосужился, когда ставил машину на учет, застраховать ее от угона, и теперь все заговорили об этой странной истории, вроде бы случившейся с Б. где-то в другом городе. Их забавляло, что он так невовремя подарил старую машину бывшей подружке. Владелец аптеки, хотя и сочувствовал Б., поддержал веселившуюся компанию, заказав всем еще по кружке пива и как бы невзначай заметив, что такому молодому человеку невредно немножко походить пешком — если не будет задаваться, глядишь, его и шнапсом угостят.

Город, словно птичье гнездо, мирно лежал у подножья островерхой церкви. Но ни тысячекратно виденные старинные фронтоны на Хауптштрассе, ни мощенная булыжником Рыночная площадь, ни запах типографской краски во дворе редакции, ни даже воспоминание о том, как много лет назад он умудрился переспать с одной девушкой в заросшем крапивой саду, — ничто из этих привычных впечатлений больше не доставляло Б. удовольствия, не утешало его. Расходившиеся от города дороги нежились в тени деревьев, как в прежние добрые времена; по вечерам, как и прошлым летом, возвращались автобусы с людьми, ездившими купаться на побережье, но Б. уже не радовало, как обычно в летнее время, что он никуда не уехал, а остался дома. Окраинные улицы города незаметно переходили в тропинки и, петляя между садовыми участками, убегали в поля, где искали уединения влюбленные парочки; у моря, ночью, фары припаркованных машин мигали в такт сотрясавшимся кабинам, и случайный прохожий старался побыстрее пройти мимо. Б. и в самом деле был одинок, но теперь привык думать, что одинок по чьей-то вине. Он чувствовал себя так, будто ему нанесли оскорбление, заперев его девушку в Восточном Берлине, у него имелись личные основания для ненависти ко всякого рода запретным зонам, минным полям, патрулям, заграждениям, ослепительному свету прожекторов, колючей проволоке, Стене, предупреждениям о возможности выстрела, об уголовной ответственности за попытку перехода границы. Такого рода неприятностей у него в жизни еще не было. Конечно, он всегда сочувствовал Д., старался заботиться о ней; даже принимал ее

сторону, если дело доходило до споров с ее родственниками. Но теперь он впервые по-настоящему тревожился за нее. Разговоры с одноклассниками, а отчасти и фильмы настроили его на то, что признание в любви обязывает хранить верность — по крайней мере, до тех пор, пока любящие не разойдутся из-за какой-нибудь ссоры. Ссоры с Д. у него случались, но после он обычно писал ей глупые письма о том, как любит ее. Теперь же, когда Д. по воле своего государства оказалась в такой безвыходной ситуации, Б. пугало некое обязательство, которое он вроде бы взял на себя, даже не успев его толком обдумать.

Потому-то он и подавлял желание снова увидеться с Д. Чуждая ему власть, собственно, не лишила его возможности приехать к ней — он мог бы, потратив всего полдня на поездку через Восточную Германию, потом на пограничном контрольно-пропускном пункте получить разрешение на въезд в Восточный Берлин. Но ему не хотелось встречаться со своей подругой там, потому что вскоре им все равно пришлось бы расстаться, она даже не могла бы его проводить, и оттого в такой встрече ему мерещилось что-то, напоминающее визит к безнадежному больному. Не мог он себе позволить и неоправданный перерыв в работе, потому что надо было зарабатывать деньги — никаких утешительных известий о пропавшей машине он ведь так и не получил. В газетах между тем стали появляться первые сообщения о неудачных попытках бегства из Восточного Берлина, фотографии убитых; кое-кому, впрочем, посчастливилось прорваться, но никаких подробностей Б. не знал. Его мучило воспоминание о том, как в последний раз, уже перед самым возвращением на Запад, он обнял Д., хотя прежде только дотрагивался до ее плеча или пожимал руку, — он боялся, что она могла истолковать этот его порыв как обещание большего. Проявляя фотопленку в темной лаборатории, он думал о том, как бы встретиться с Д. где-нибудь в таком месте, которое было бы одинаково доступно для них обоих и не потребовало бы от него излишних расходов. Больше всего его устроил бы тот западноберлинский отель, где они когда-то уже назначали свидание. Окна отеля выходили во двор.

Не очень понимая, зачем он это делает, Б. все-таки попытался связаться с Д. Ее служебный телефон в Восточном Берлине отыскался на мартовской бензиновой карточке. После нескольких неудачных попыток Б. соединили с этим номером, но и потом ему долго не удавалось прорваться через коммутатор в отделение, где работала Д., — пока наконец равнодушный женский голос в трубке, словно внезапно проснувшись, не сообщил ему, что частные звонки из Западной Германии не принимаются. Повысив голос, Б. долго требовал объяснений, но не хотел просить, унижаться, потому что разговаривал из торгового помещения аптеки. Он не сразу вспомнил, что дверь распахнута на улицу, и не мог понять, давно ли ждет его подошедший к прилавку покупатель; положив трубку, он, как бы извиняясь, пожал плечами и посмотрел посетителю в лицо. Тот не возмущался — только был удивлен, что продавец, не удосужившийся даже застегнуть халат, в присутствии клиента так долго занимается личными делами. Б. извинился, в надежде услышать в ответ доброе слово, но покупатель уже с головой ушел в изучение ассортимента гребенок и решительно не желал утешать Б., измученного трехчасовым ожиданием так и не состоявшегося разговора. После работы Б. купил пластинку с песней, под которую любила танцевать Д., и

отнес ее на почту. Но спустя несколько дней он обнаружил уже отосланный пакет на коврике перед своей дверью: пакет был проштемпелеван, а внутрь вложен печатный текст: мол, власти того государства, где проживает Д., не разрешают пересылку пластинок, а посему — исключительно из любезности — возвращают бандероль отправителю. Б., не разворачивая, сунул пластинку в нижний ящик стола, туда, где у него хранились фотографии Д., рассматривать которые ему сейчас не хотелось. Теперь он каждый раз, когда разносили дневную почту, сбегал к почтовому ящику и, хотя уже с середины чугунной лестницы видел, что там ничего нет, все же спускался еще на три ступеньки, после чего так же быстро — опасаясь, что его могут увидеть, — возвращался к себе, будто забыл о каком-то безотлагательном деле, а потом, погрузившись в раздумья, долго сидел за обеденным столом, и голова у него клонилась от выпитого пива.

Он еще раз попытал счастья с восточноберлинским телефонным номером, но теперь все закончилось быстро: на почтамте у него просто не приняли заказ. Впоследствии он не понимал, как мог надеяться, что его соединят, или зачем просил близкого друга, чтобы тот предоставил ему свой телефон и свою квартиру с вечера до полуночи, словно он, Б., собирался проговорить с любимой целый вечер. Он изучил все восточногерманские инструкции насчет посылок, положил в пакет кое-какие мелочи, которых в Восточной Германии не водилось, не написал ни одного лишнего слова и даже в последний момент вытащил пару чулок, из-за которых, собственно, и вздумал отправить посылку. Точнее, не из-за них, а из-за той ямочки под коленкой у Д., которую он углядел, когда его подруга сидела, положив ногу на ногу. И все же он явно что-то упустил из виду, а в результате правительство страны, где жила Д., видимо, конфисковало посылку, потому что Д. в своем ответном письме ни единым словом ее не упомянула.

В этом письме она просила его больше ей не писать. Тон был серьезным, без каких-либо намеков на известные им одним обстоятельства, послание будто предназначалось для чужих глаз.

Б. обнаружил конверт утром, после завтрака, когда случайно с нижних ступенек глянул вверх на свою лестничную площадку, и сразу помчался на двор, а оттуда — на зады старого кладбища, чтобы никто не помешал ему прочесть письмо. На конверте стоял только его адрес, обратного адреса не было, но Б. надеялся, что узнает почерк Д., потому что однажды она записала ему свой телефонный номер. Уже с первого взгляда все сомнения рассеялись: его трудное имя было написано без ошибок, а внизу стояла ее подпись. Он не понимал, почему она требует прекращения переписки: с тех пор, как границу перекрыли, он и так не писал ей — не мог собраться с мыслями. Собор отбрасывал холодную тень. Туристы, которые осматривали местные памятники, отмеченные в их путеводителях звездочками, и то и дело сверялись с экспонометрами из-за мерцания горячего воздуха над знаменитыми крепостными стенами, с удивлением косились на молодого человека; он бежал вдоль могильных плит, но почему-то прочь от достопримечательностей, хотя фотокамера у него имелась. Перед самым почтамтом Б. остановил гамбургский автобус, уговорил водителя немножко подождать, в банке буквально вырвал деньги из рук кассира, помчался вслед за уже тронувшимся автобусом и на ходу успел-таки в него вскочить. Он не обращал

внимания ни на колосящиеся поля, покато спускавшиеся к морю, ни на отливающее каменным блеском небо, ни на запах спелого зерна, которым веяло с открытых грузовиков. А лишь беззвучно чертыхался по поводу узкого шоссе, где сейчас, в пору курортного оживления и сбора урожая, длинному автобусу приходилось то и дело замедлять ход, и ломал голову над одним намеком в письме из Восточного Берлина. Сообщения в газетах и те сведения, которые он когда-то получил на армейских занятиях по политграмоте, наводили на мысль, что из-за его писем Д. могла попасть под полицейский надзор или что она боялась каких-то других неприятностей, — но все равно Б. не понимал, куда и зачем он едет. От прикосновения вспотевших ладоней конверт начал расползаться у него в руках, следы карандаша на дешевой бумаге поблекли; на первой же остановке Б., ничего лучшего не придумав, купил в пляжном киоске, перед которым толпились полуголые курортники, прозрачную папку, вернулся в автобус и стал усердно засовывать помятый конверт в гладкую пластиковую оболочку; потом сидел, обратив невидящий взгляд к переливчатому неспокойному морю, прикусив губу, — так что ни одна из влезавших в автобус старшеклассниц в тесно облегающих платьицах даже и не подумала к нему подсесть, его соседкой оказалась старая крестьянка в силезском национальном костюме и черном платке. На коленях она держала картонную коробку с цыплятами, а девчонки, те протискивались к заднему сиденью; он часто оборачивался, но видел только белокурые лохмы, ничуть не напоминающие волосы Д. По дороге к аэропорту Б. силился придумать хоть какое-нибудь оправдание для своей неожиданной поездки — и все подгонял, подгонял таксиста. Под косыми струями дождя, бушевавшего над летным полем, уже перед самым самолетом, он вдруг замер на ходу, пораженный одной мыслью: Д., возможно, задумывала свое письмо, свои четырнадцать строчек, как знак прощания, отмены взаимных обязательств, — и люди стали наталкиваться на него, ведь он успел протиснуться в начало очереди. В пассажирском салоне, когда самолет начал взбираться по неровным воздушным ступеням, ему сделалось нехорошо, он лишь усилием воли принуждал себя оставаться на месте и растерянно оглядывался по сторонам. Страх, который он испытывал при каждом изменении звука работающего мотора, явственно давал ему понять, что полеты — не для него. Во время посадки он увидел желтый закат над разноцветными крышами, окутанные голубым туманом пчелиные соты домов и дальше — широкий простор за наклонной поверхностью крыла; предстоящая встреча с чужим городом тревожила его, а как расценивать письмо Д., он так и не понял.

В битком набитом зале прибытия он с трудом пробирался в толпе, расталкивая людей, радостно приветствовавших друг друга: они возвращались домой, он же здесь чувствовал себя лишним. Он стоял в телефонной кабинке и пытался подыскать для себя другой отель, не тот, из окна которого увидел однажды утром пустующее место на автомобильной стоянке. В здешних пригородах он не ориентировался, а потому просто водил пальцем по страницам справочной книги, от улицы к улице, думая только о том, чтобы случайно не выбрать слишком дорогое жилье. Перед стеклянной дверью уже выросла многоголовая очередь, безмолвно-укоряющие взгляды его пугали. Он освободил кабинку и снова пристроился в самый хвост; теперь его угнетала мысль, что спустя

лишь несколько дней он снова оказался в том самом городе, укравшем у него машину.

Где находился тот отель — в Шёнеберге, Вильмерсдорфе, Штеглице? В памяти у Б. все перепуталось. Ночь была светлой, и над каналами улиц поблескивали звездочки пыли. Время от времени воздух разрывали заходящие на посадку самолеты. Пустые автобусы быстро проносились мимо магазинов со светящимися названиями, влюбленные парочки, прильнув к витринам, восхищенно разглядывали выставленные за стеклом предметы. В угловом уличном кафе, под низкими желтыми фонарями, ужинали какие-то люди. Б. вдруг страстно захотелось оказаться сейчас в ратушном погребке родного города, откуда было рукой подать до его комнаты. Усталый и мрачный, он продвигался вперед, пока не подошел к одной из станций подземки, с расступившимися перед ней магазинчиками и торговыми павильонами. Тут, перед входом в пивную, толпилась молодежь, какая-то девушка обнимала за шею своего спутника — кончики ее пальцев скрывались под его воротничком, — и Б. вдруг сообразил, что точно так же, в обнимку, и сам ходил в прошлом марте со своей фройляйн Д. Воспоминания о ее голосе, ее ладонях на его плечах, об их близости так неожиданно нахлынули на него, что он почувствовал себя совершенно больным.

Потом, уже у стойки, он вновь и вновь вызывал все это в памяти, а его пальцы машинально выписывали круги по кожаной обивке. Хозяйка часто останавливалась напротив и, ополаскивая стаканы, разглядывала чужака. Она была немного старше его, казалась бодрой, несмотря на поздний час, и время от времени затевала разговор с соседями Б. по стойке, которые, видимо, наведывались сюда еще и ради ее глаз, ее волос, ее нарядов — ну а также, чтобы сыграть с ней разочек в кости, пока рассевшиеся вдоль стен картежники будут решать, кому платить за выпивку. Б. не умел выражать свои чувства словами, но часто оборачивался, чтобы посмотреть на нее, а один раз даже перехватил ее взгляд, который показался ему подбадривающим. Но тут она крикнула, обращаясь к нему: "Для вас надо бы соорудить особый пивопровод!", потому что в этой грошовой забегаловке он заказывал одну бутылку за другой, и ей уже надоело открывать холодильник. Б., хоть и обиделся, продолжал упорно сидеть на табурете, обводил заведение взглядом, который ничего больше не воспринимал, и так дождался полуночи, когда дверь закрыли, а оставшиеся гости начали танцевать. Тут-то Б. и подумал, что уже отыскал самое главное. Он определенно оказался здесь неслучайно — сюда стоило попасть хотя бы для того, чтобы спокойно, при ярком свете поразмышлять о своем, прийти к какому-то решению. Он, видимо, для того и приехал в этот город — чтобы негромко смеяться в ответ на чужие шутки. От него самого здесь требовалось немного — скажем, выложить спичечный коробок перед человеком, который напрасно ощупывает свои карманы. А его соседи, со своей стороны, подставили ему кожаный стаканчик, чтобы и он мог сыграть с ними в кости — выяснить, чья очередь опускать монету в музыкальный автомат. Б. нажал клавишу двойного взноса и принялся танцевать с хозяйкой, чья белокурая голова так приятно склонилась ему на грудь. А он тихо разговаривал с почти незнакомой девушкой, будто собирался вернуться сюда еще раз. И находил утешение в странной мысли, что, попав в это место, он приблизился к своей Д. "В

чисто пространственном смысле, понимаешь?" — теперь, когда он напился, это его вполне устраивало.

— Вы здесь по делу?

— Да, у меня угнали машину.

На другое утро он проснулся с чугунной головой, сидел над унылым завтраком в оклеенной аляповатыми итальянскими обоями комнате и тщетно пытался отыскать в памяти тот план, который созрел у него ночью. Удалось это, лишь когда он вышел на улицу. Д. рассказывала ему, где она обычно бывает по воскресеньям. Он знал, в какой части города живут ее друзья, видел даже фотографию их дома. В самую жару, в полдень, он поехал на электричке в Восточный Берлин, через пустую полосу отчуждения. Выдержал процедуру проверки документов, стараясь — как ему посоветовали в отеле — не привлекать к себе внимания. На вопросы отвечал вежливо, иногда даже улыбался, полагая, что так он выглядит моложе и производит лучшее впечатление. Он хотел хотя бы издали посмотреть на Д., чтобы сама она его не видела, а потом — потом будет видно.

Он пересел на трамвай, доехал до нужного района. Выйдя на остановке, разложил на коленях план города и попытался сориентироваться в переплетении безлюдных улиц, застроенных одинаковыми многоэтажками. Пока он добрался до озера, окруженного домиками на одну семью, ботинки его покрылись пылью. Д., помнится, говорила о смотровой вышке, и, найдя эту вышку, он позволил себе расслабиться — выпить в кофейне большую кружку пива. Он был доволен собой. Поднявшись наверх, бросал монетки в прорезь подзорной трубы до тех пор, пока, как ему показалось, не узнал фронтоны некоторых домов, которые помнил по фотографиям. Д. тогда держала эти фотографии веером, как карты, прядь ее волос упала ему на висок. В черном костюме и белой рубашке — среди пестро одетых отдыхающих — Б. расхаживал вдоль перил смотровой площадки, пока снова не освободилась подзорная труба. Увидев яхты и по-летнему запыленную каемку леса на другом берегу озера, он подумал, что не так уж все плохо, что все как-нибудь образуется... Женщина, продававшая на пляже цветные открытки, долго смотрела вслед странному долговязому парню, который, явно чем-то взбудораженный, большими шагами удалялся от нее.

Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Память, похоже, подвела Б., он даже усомнился в своей профессиональной пригодности. Целых два часа брел он вдоль домов, разболелись ноги, не желавшие заново привыкать к продолжительным пешим прогулкам. Остроконечные черепичные фронтоны не походили на те, что он видел на фотоснимках, в оградах из штакетника так и не мелькнула нужная калитка. Кусты, обманщики, только издали казались кустами из его воспоминаний, и нигде не было видно трехстворчатого окна, на фоне которого сидела бы в шезлонге Д., подавшись вперед и обхватив руками колени — как на той фотографии, которую она ему однажды показала, а потом, уходя, унесла с собой. Словом, Б. так и не нашел свою подругу.

(Несколько раз он проходил мимо стоящего посреди песчаной площадки смутно знакомого дома с плоской крышей и закрытыми ставнями — но теперь здесь, как видно, никто не жил.)

Встречались они с Д. всего несколько раз, знал он ее не намного лучше, чем прочих девушек, с которыми ему доводилось ложиться в по-

стель за последние пять лет; с теми подругами он тоже говорил о жизни, о том, какая страна им больше нравится, — как и с Д.; он и знал про нее практически только то, что сохранила зрительная память: разрозненные картинки, контрасты света и тени, — скажем, утреннее солнце, проникающее в комнату из-под нижнего края занавески, или согнутая в локте рука спящей, или заснеженная лесная дорога со следами маленьких ножек, — но лицо ее вспоминал не без некоторого усилия, да и то редко.

Вечером, сидя в самолете — последний рейс на Гамбург, — он совершенно замучил стюардессу, то и дело гоняя ее за напитками к холодильнику. Он неторопливо потягивал маленькими глотками маслянистую жидкость, вполголоса ругая г-на Б., которому совсем не следовало во все это ввязываться. Со скрещенными на груди руками, из которых он не выпускал рюмку, Б. — объективно — чувствовал себя неплохо, но сам себе представлялся отяжелевшим, несчастным. Он уже созрел для того, чтобы сдаться.

4

На самом деле Д. — без сестринского халата, с сумочкой под мышкой — по пути через Западный Берлин по-прежнему часто выходила из электрички, а потом на восточном контрольно-пропускном пункте называла потсдамский адрес своей матери, чтобы создалось впечатление, будто она ездила навещать родственников. В северном пригороде Западного Берлина, застроенном богатыми особняками, она и вправду навещала одну престарелую родственницу, с которой старшие члены семьи давно разорвали отношения, так что старушка теперь допускала к себе только "детей"; к слову сказать, эта родственница, единственная из всей семьи, сумела обеспечить себе приличный уровень жизни и солидную пенсию; сгорбленная, опираясь на палку, она медленно ковыляла по заставленной черной мебелью квартире, показывала фотографии давно умерших людей, угощала собственноручно сваренным кофе, жаловалась, как все изменилось по сравнению с 1917 годом, а провожая своих молодых гостей, обычно совала им свернутую трубочкой банкноту, как дают деньги малышам, чтобы они купили себе сладостей; Д. в таких случаях не пыталась объяснить, что ей как-никак пошел двадцать второй год, — чтобы не затягивать визит, а еще потому, что курс восточной марки так и не превысил 22 западных пфеннигов. Выйдя на улицу, Д. подолгу стояла перед магазинчиком, который после войны обосновался на нижнем этаже этого красивого здания, изучала цены на косметику и продукты, обдумывала, сможет ли спрятать покупки под одеждой; в итоге в карманах у нее оставалась какая-то мелочь — ровно столько, чтобы хватило на возвращение в центр, — а к неприятному ощущению, что она никогда не сможет отблагодарить старушку, прибавлялся страх перед обыском при пересечении границы: ведь в ее стране все западные товары облагались пошлиной. Сойдя с электрички в Западном Берлине, Д. каждый раз незаметным движением доставала из туфли рецепты и записки, которые ее коллеги-врачи молча выкладывали на сестринский столик, и покупала западные препараты в аптеках, стараясь не заходить в одну и ту же; все это она делала не без страха, пото-

му что такого рода контрабанду восточногерманские власти запрещали, причем очень строго, что лишь способствовало отставанию отечественной медицины. Д. сходила с электрички, чтобы увидеть те фильмы, за просмотр которых гражданам Восточной Германии разрешалось не платить западные марки; а еще — просто чтобы прогуляться по улицам, завороженно разглядывая богатые витрины; часто ее смущало сходство фасадов здешних и восточноберлинских домов — она не понимала, откуда, если существует внешнее сходство, взялись столь существенные различия в уровне жизни. Однажды она сошла с электрички вместе с молодым человеком, западным немцем, и осталась у него ночевать. Но на работе она никогда не признавалась в том, что выходила на западноберлинских станциях. Она не имела привычки лгать просто так — больше, чем того требуют обстоятельства. Однако, учитывая эти обстоятельства, перестала даже пытаться объяснять свои действия на языке, понятном для государства. Она давно научилась — перед людьми, представляющими государственную власть, которых она знала в лицо или опознавала по манере говорить и задавать вопросы, знакам различия, форменной одежде, — выдавать себя не за ту, кем была на самом деле. Она лгала, когда ее спрашивали, ездит ли она в Западный Берлин, потому что не понимала, по какому праву ей такие поездки запретили. Две половины Берлина всегда составляли в ее глазах единое целое, обе по праву принадлежали ей, ее злило, что Б. в Западном Берлине приходилось платить за нее своими деньгами, хотя это был ее родной город, злило и то, что Б. избегал поездок в Восточный Берлин, будто не считал этот город своим, немецким. (Однажды они даже поссорились по этому поводу.)

Из-за изменения служебного расписания получилось так, что в начале августа у нее оказалось несколько свободных дней подряд: с вечера субботы до ближайшей — через одну — ночной смены; ее приятельницы уговорились съездить в Западный Берлин, она же, поскольку не любила совместные поездки, решила навестить мать в Потсдаме. Правда, по дороге она чуть не передумала и не вышла в Западном Берлине. Она знала одну квартиру в доме неподалеку от железнодорожной ветки, где чуть ли не каждую субботу принимали гостей. Именно там в прошлом январе незнакомый молодой человек среди ночи вышел вслед за ней на балкон и попросил объяснить, в какой части города они находятся; но толком не слушал, только украдкой поглядывал на Д., а потом, хоть и не без труда, наконец высказал ей то, что хотел (фасады, на которые они смотрели, к тому времени посветлели)... День был нерабочим; унылый вид пустых запыленных тротуаров все-таки заставил Д. еще раз передумать и не выходить в Западном Берлине. Кроме того, она получила письмо от Б. и хотела прочитать его не спеша, желательно где-нибудь на пляже; еще в вагоне она запустила руку в сумочку, ощупала конверт, но подавила в себе желание немедленно прочесть письмо, так как боялась привлечь внимание соседей. На последней восточноберлинской станции пограничники вывели столько пассажиров, что вагон почти опустел. Только когда поезд остановился в Западном Берлине, она увидела, как из него выходят пассажиры с подозрительно тяжелыми сумками, с переброшенными через руку пальто; они потянулись по перрону к выходу, неуверенно оглядываясь по сторонам, и Д., глядя им вслед, сочувственно, но не без злорадства подумала: погодите, худшее у вас впереди. Те-

перь больше тысячи человек ежедневно выбрасывали свои восточногерманские паспорта, за неделю таких перебежчиков набиралось на целую деревню, за месяц — на маленький городок, и сейчас Д. чувствовала, как страх перед чужбиной стискивает ей горло, будто уже сегодня ей предстояло разделить их судьбу.

Правда, ей-то обе части города — по ту и по другую сторону железнодорожного моста — были одинаково хорошо знакомы, в ее памяти сохранились и послевоенные руины, и наскоро сооруженные временные жилища, и, наконец, новостройки вокруг западноберлинского центра; она бы спокойно прошла по зажатой между высокими домами улице, над которой сейчас проносился громыхающий поезд; ей были привычны и этот вокзал, и коричневый брандмауэр возле железнодорожных путей — здесь она уже столько раз задавала себе вопрос, как это люди могут жить среди непрерывного шума поездов. Она знала все маршруты берлинского транспорта, ясно представляла себе расположение частей города, могла без робости говорить с западными немцами. Ни чрезмерно богатый ассортимент товаров, ни образ жизни в здешних краях не казались ей чем-то таким уж особенным, но как эта общественная система функционирует, она себе не представляла. Политические и экономические сведения о зоне обращения западной марки она получала не в этой зоне, а в совершенно другой. На профсоюзные собрания она, как правило, приходила вымотанная после рабочего дня, да вдобавок с трудом понимала язык, на котором там предсказывали скорый конец свободного рынка; когда она оказывалась в Западном Берлине, ей было жалко тратить западные марки на газеты, а в выброшенных газетах, которые она подбирала, она прежде всего искала сообщения о своем государстве — те, что противоречили информации, доступной дома. Когда она сталкивалась с такими выражениями, как "концентрация капитала" или "списание долгов", у нее начинала кружиться голова, потому что она ушла из школы после десятого класса, а потом узнавала о мире за пределами ГДР в основном на сестринских курсах, от учителей-агитаторов, которые и свою-то страну знали плохо, хотя из года в год ездили по ней с лекциями; о сельской местности они судили главным образом по пивнушкам и по старшеклассницам, которых тискали в темных школьных коридорах. Тем не менее, в спорах со своим западногерманским другом Д. вела себя так, словно свято верит в некую модель мирового устройства: она упрямо отстаивала раз высказанную точку зрения — хотя потом, вспоминая эти разговоры, испытывала чувство неловкости, как дети, когда они знают, что говорили неправду, и иногда ей мучительно хотелось, чтобы Б. оказался рядом и чтобы можно было взглядом попросить у него прощения... Подняв глаза, она заметила, что все оставшиеся в вагоне пассажиры с недоумением смотрят на нее; потом одна женщина подсела к ней — поезд уже приближался к первой запретной для жителей Западного Берлина станции. Женщина эта очень удивилась, когда вошел восточногерманский полицейский и обе они предъявили ему одинаковые паспорта. Д., хотя покупала себе одежду и обувь в Западном Берлине, подумала, что были и другие причины, почему эта женщина сочла ее иностранкой, и ей захотелось взглянуть соседке в глаза. Однако женщина тем временем ввязалась в спор с пограничником, который требовал, чтобы она предъявила содержимое своей сумки. И лишь когда пограничник пригрозил, что высадит ее, женщина приня-

лась извлекать из сумки свои пожитки, продолжая ворчать на докучливого контролера, покуда тот не протянул примиряюще: "Да будет вам... Все равно эта лафа скоро кончится". Д. запахнула плащ, сдвинула щиколотки, потом, спохватясь, нагнулась за упавшей гребенкой женщины. "А ведь он прав", — сказала та, видимо, чтобы прервать затянувшееся молчание. Д. кивнула. Когда пограничник оборвал разглагольствования женщины, ей тоже вдруг сделалось как-то не по себе.

А о письме Б. она вспомнила, уже возвращаясь с пляжа. Она сидела на палубе прогулочного пароходика, задержавшегося, чтобы пропустить вперед паром. Сидела в окружении большой группы школьников, которые развлекались, бросая хлебные крошки чайкам; обгоревшая и усталая после плаванья, она медленно разбирала буквы, написанные на листке, который насквозь просвечивался солнцем. Б. предлагал ей встретиться через несколько дней, на углу одной улицы в Восточном Берлине: он надеялся, что Д. уже забыла об их ссоре, и спрашивал, не согласится ли она съездить с ним ненадолго в ФРГ. Д. тихо засмеялась и даже тряхнула головой, удивляясь столь серьезному тону. Она не стала класть письмо в сетку, потому что там теперь лежал мокрый купальник и чернила могли расплыться. Потом ее внимание отвлекли возвращавшиеся с экскурсии ребята: они засыпали ее вопросами — сколько сейчас времени, и что это за запруда на озере, и как называются такие леса, — и сами тоже рассказывали про свой палаточный лагерь, потому что эта красивая женщина разговаривала с ними на равных, как со взрослыми. Вечером на кухне Д. мысленно сравнивала Б. со своими братьями, тоже приехавшими навестить мать. Интересно, а он стал бы играть в карты на покрытом клеенкой кухонном столе, с ними — рабочим и строителем-монтажником? Как фотограф он точно не нашел бы себе в здешних краях работу. Она представляла себе широкую, прямую спину Б. рядом с угловатыми фигурами братьев, не без сожаления вспоминая станцию, на которой так и не вышла. Игра в скат не клеилась из-за ее рассеянности, она то и дело забывала, какие у них козыри, вообще играла как новичок, и потому, когда ее в этом упрекнули, без спора уступила место младшему брату, школьнику, который с напускным равнодушием наблюдал за игрой, а сам только и мечтал сразиться со взрослыми — людьми, привычными, в отличие от него, к серьезной работе. В конце концов Д. заснула под мирные разговоры братьев — возле открытого окна, на пересечении двух световых пространств, создаваемых кухонной лампой и уличным фонарем.

Наутро восточногерманское радио сообщило, что граница с Западным Берлином перекрыта, а радиостанции запретной теперь части города прокомментировали данное сообщение так: Западный Берлин отныне будет недоступен для рядовых жителей Восточной Германии, независимо от того, с какой целью те хотели бы приехать — за покупками ли, ради встречи с друзьями, посещения кинотеатра или чтобы попасть в лагерь для беженцев, а оттуда, воздушным путем, в свободный мир, в новую жизнь. Д. тут же помчалась на вокзал. Электрички не ходили. Стоя на длинном мосту и прислушиваясь к шуршащему в камышах ветру, она как-то забыла, что хотела поплакать, и подумала, что все правильно, так и надо тем, кто, подобно ей, слишком долго верил родному государству. О характере этого государства она, по сути, ничего не знала, кроме названия — "демократическая республика"; исполнителей го-

сударственной власти видела только на трибунах или театральных балконах, но не тогда, когда они занимались своим непосредственным делом. Ее государство, объясняя гражданам, в чем состоят его преимущества, пользовалось аргументами от противного — ссылалось на недостатки предшествующего режима. Оно возникло после окончания минувшей войны, а Д. в ту пору было четыре с половиной года, иными словами, ей приходилось полагаться на те сведения, которые она получала от людей намного старше ее. Долгое время государство оставалось в ее глазах изобретением "взрослых" — чиновников и учителей, от которых она оборонялась, стараясь поскорей повзрослеть, получая хорошие отметки, добросовестно выполняя школьные задания. На большее, чем рутинная работа для государства, она не была готова, особенно после того, как уличила его во лжи, а также из-за своего равнодушия к политике, ну и наконец потому, что вторая половина дня у нее была свободна от занятий, братья — младше нее, а ровесники так и рвались в лес, чтобы приставать там к девчонкам. Позднее Д. не допустили к обучению в старших классах и, соответственно, к высшему образованию, потому что отец ее, давно умерший, когда-то имел высокий армейский чин и государство считало ее дочерью военного преступника. И тогда в ней проснулась строптивость по отношению к учителям, столь рьяно защищавшим государственные интересы; она теперь поддразнивала веривших им одноклассников разговорами о более веселой музыке, которую транслировали по западногерманскому радио, о более модной одежде в витринах западноберлинских магазинов, о том, что плата за школьное обучение отменена в ГДР только на бумаге — в тексте конституции. И все-таки государству она пока по-прежнему верила — ведь оно было непостижимым и вездесущим, было таким и тогда, когда она еще не научилась думать. Когда же она начала о чем-то задумываться, ее больше всего заботили занятия на сестринских курсах, возможность ухода из семьи, она невольно — без особых эмоций — сравнивала, как живут в той и другой частях Германии. При этой государственной власти она как-никак ощущала себя живущей в родной стране, дома, с надеждой смотрела в будущее и верила в свое право выбрать, если она того пожелает, другую страну. Когда же ее заперли, она почувствовала себя обманутой, разочарованной; испытала нечто подобное тому чувству, какое возникает, когда тебя оскорбят, а на оскорбление невозможно ответить, и от возмущения, которое рвется наружу, перехватывает горло, становится трудно дышать.

Ночью ее старший брат поехал обратно в Восточный Берлин, к своей семье (Д. ладила с невесткой, любила свою племянницу, но в то утро она не могла мыслить законченными фразами, и в голове у нее вертелись какие-то отрывочные слова: "Семья. Военные тяготы. Американцы. Вчерашний день"). Старший брат прежде делил с ней обязанность приглядывать за другими братьями, помогать матери. Потом он женился, и Д. привыкла справляться со всем одна. Но в то утро ей было особенно тяжело без него, потому что мысль о своей ответственности за близких ее пугала, отвлекала от безобидных воспоминаний о дне, проведенном на пляже, — дне, который она истратила попусту, уверенная, что это обычный "мирный" день, а не канун того воскресенья, когда ее государство в полной мере проявит свою бесчеловечность. В таком странном состоянии — плохо соображая, что делает, — она оставалась

на кухне, мыла посуду, готовила жаркое и ждала, когда же, наконец, братья явятся к столу. Младший прошлым вечером хотел доказать свою невосприимчивость к алкоголю, а теперь жаловался на головную боль; но Д. ни разу не обернулась, даже когда протянула руку к радиоприемнику на буфете, бормотавшему едва слышно, чтобы усилить звук и послушать репортаж с места стихийной демонстрации. Ей даже не захотелось обернуться и посмотреть, как реагируют братья, потому что тогда пришлось бы показать им свое лицо. Потом, за мытьем посуды, она вполуха слушала наивные соображения среднего, утверждавшего, что в Западный Берлин можно попасть по воде, или на мотоцикле, прорвав колючую проволоку; а ведь он время от времени замолкал (и она могла бы ответить: "Ты забыл про сторожевые катера?"; или: "Проволока особо крепкая, ее не прорвешь"), кусал кулак, о чем-то задумывался... После она корила себя за то, что не обратила должного внимания на его молчание — или, скажем, не удивилась, когда он уронил голову на руки. Окно было открыто, и радиопередатчики отрезанного от остального мира города кричали так же громко, как летом 1953-го — но в том году она вообще не понимала, что происходит. Ссора возникла, когда вернулась из церкви их мать: после проповеди пастора о наступлении тяжелых времен она чувствовала себя совершенно раздавленной и вдруг, под влиянием сентиментального порыва, заплакала и попыталась броситься дочери на шею. Но Д. так и оставила ее стоять в дверях, несмотря на удивленные взгляды, которыми обменялись братья, молчала, пока шмыгавшая носом старуха, причитая, выдвигала ящик за ящиком — искала семейные документы. За обедом младшего сурово просветили насчет "преимуществ" этого государства, о которых он вчера еще рассуждал на уроке в школе, и хотя вырастила мальчишку Д., она даже и не подумала за него вступиться. А уж когда он замахнулся на среднего, она именно ему отвесила оплеуху — и выгнала из-за стола, чтобы поостыл. Как старшая в доме, она не позволяла себе никаких проявлений слабости.

По дороге к вокзалу у нее заболели скулы, и она шла, наклонив голову. Сейчас ей был очень нужен старший брат. По лицам прохожих она пыталась угадывать их настроение, словно это могло принести ей хоть какую-нибудь пользу. Бессознательно уклоняясь от встреч с патрулями, она позволила толпе увлечь ее к платформе, от которой отходили поезда дальнего следования. Двухэтажные поезда должны были теперь описывать большую дугу вокруг Западного Берлина, а значит, шли до Восточного вокзала на два часа дольше, останавливаясь часто и надолго. Были эти поезда сверх меры набиты людьми и дышали жаром. Рядом с Д. стояли двое пьяных и простодушно обсуждали, спит ли их начальник с девочками из канцелярии или нет. Всем окружающим они предлагали отхлебнуть из своей фляги, но никто не хотел. Д. прислушивалась к их болтовне, но не уловила ни единого слова ни про этот чертов объезд, ни про военные грузовики, ждавшие чего-то перед шлагбаумами, у всех на виду. Никто не предлагал ей сесть, никто не смотрел на ее грудь, никто — в лицо. Клонившееся к закату солнце над красными черепичными крышами, тихие зеленые сады казались картинками из другого времени. Восточный вокзал тоже был забит народом, по радио непрерывно передавались какие-то сообщения. Вдоль стен и переходов стояли люди в форме, глядели обычным гражданам не в лицо, а ниже или выше, всего же охотнее поворачивались к ним спиной. На головных вагонах по-

ездов таблички с обозначением "Западный Берлин" были заменены на другие, написанные от руки. Д. даже и не попыталась подойти поближе к границе. Сколько бы доводов она ни приводила раньше, доказывая знакомым и себе, что город невозможно разделить на две половины, первое же сообщение о блокаде убедило ее в том, что случилось именно это.

Перед началом смены она хотела заглянуть домой, и ей пришлось битый час добираться пешком до своей комнаты. Улицы выглядели не по-воскресному, из окон не доносилась музыка, на балконах никто не сидел. Гуляющие, которых было больше, чем обычно, явно дожидались каких-то событий, о которых уже ходили слухи, дожидались, как ждут не то фейерверка, не то грозы. Один раз Д. столкнулась с группой молодых людей в белых рубашках и девушек в пестрых платьях, они неторопливо шли куда-то по прохладной утренней улице; Д. в растерянности приоткрыла рот, увидев свое отражение в солнечных очках на чьем-то безмолвном, неподвижном лице, — и быстро отвернулась У нее возникло ощущение, будто с этим человеком она уже когда-то встречалась, но она не могла сообразить, кого он ей напомнил.

В садике пивной, что на углу, никого не было, зато внутри было шумно и накурено из-за множества подвыпивших посетителей, так что ей не захотелось протискиваться к стойке, чтобы спросить, не звонил ли старший брат. Ее квартира — пустая. На подоконнике — забытая чашка. Мгновение ей казалось, будто она видит не одну, а две чашки, а заодно и Б., который сидит на жестком стуле, руку закинул за голову, повернулся к окну, словно чего-то ждет. Вздох — и оконный проем опустел. Полчаса она, стоя в дверях, дожидалась шагов на лестнице, но люди проходили мимо и никто не нажимал на звонок.

Когда в девять вечера она прошла по палатам, пациенты еще не спали. Она шепотом говорила им, который час, и выключала свет. Но у одной из дверей ее окликнула пожилая пациентка, которая пробыла в этой больнице столько же времени, сколько и она сама. Д. иногда присаживалась к ней на кровать. Пациентка сразу спросила у нее, что же теперь будет. А она даже не нашла в себе сил, чтобы ответить: все как-нибудь да уладится. Когда она вышла в коридор, ей стало немного стыдно, но тут же она подумала, что поступила правильно. В больнице существовал неписаный закон: по возможности отвлекать пациентов от тяжелых мыслей. К тому же Д. сама пока еще ничего толком не видела; она боялась, что, если выразит свой страх в словах, случившееся станет еще реальнее, еще хуже. Когда она дежурила ночью, ей обычно удавалось немного посидеть — отдохнуть, а еще попить кофе в сестринской комнате, но в ту ночь ей ничего такого не хотелось, а потому она испытывала благодарность к больным, которые чаще обычного вызывали ее звонком и просили то дать им какого-нибудь снотворного, то взбить подушку, то вызвать врача — хотя на сей раз помимо своих тридцати коек она должна была обслуживать и койки фрау С., почему-то не вышедшей на работу. Так что у Д. не было возможности поразмышлять о происходящем. Свет в коридоре, в сочетании с желтизной линолеума и более насыщенным по цвету дверным лаком, напоминал о том же времени суток вчерашнего дня. Несколько раз начальница смены выглядывала из своего кабинета, но Д. по-прежнему оставалась без напарницы, и ближе к полуночи начальница подсела к ней на кухне, где они пили чай. "Вам еще не-

долго быть вспомогательной сестрой", — как бы между прочим, обронила начальница, но Д. под каким-то предлогом встала из-за стола, чтобы не продолжать разговор. Лаборантка, неожиданно возникшая в дверях, может, и восприняла эти слова всего лишь как похвалу за добровольное дежурство, но Д. боялась сплетен, не хотела, чтобы в лаборатории о ней судачили, а кроме того, ей правда пора было возвращаться в отделение.

Тем не менее доброжелательное настроение начальницы сохранялось до самого утра, и, когда Д. позвонили в отделение по междугороднему телефону, начальница, едва та начала говорить, тактично вышла из комнаты. Мать, звонившая из Потсдама, сперва долго объясняла, что ей пришлось всю ночь дожидаться на почте, подробно рассказывала, как вели себя почтовые служащие, жаловалась на утренние холода и на неблагодарность родных детей — и только потом сообщила, наконец, что младшенький после громкой ссоры ушел из дому, а его школьный дневник пропал неизвестно куда. Больше Д. ничего от нее не узнала, поскольку в последние дни было ограничено время междугородных разговоров и телефонистки обрывали связь прямо на полуслове. А Д. так устала, что не смогла даже толком осмыслить тревожную новость.

В метро она сидела напротив пассажира, который громко, словно у себя дома, зачитывал из утренней газеты информацию о перекрытии границы — собственно, только заголовки, из которых он выделял голосом такие слова, как "мир" и тому подобное, сопровождая их презрительным покашливанием. Был это невзрачный, пузатенький старичок с одутловатым лицом, в застиранном рабочем костюме отечественного производства; может, он и ворчал-то просто потому, что не выспался. Д. не сразу обратила на него внимание: его заслоняла фигура другого пассажира; впрочем, еще вчера на поведение старичка никто не прореагировал бы. Мерцание желтоватого утреннего света за оконными стеклами, в промежутках между домами, и ритмичное покачивание вагона убаюкали Д., она очнулась лишь когда трое (трое ли?) молодых мужчин в приличных костюмах, с партийными значками (которые еще вчера не казались столь заметными, как сегодня), сдернули старичка с места, подтащили к дверям и, встав рядом, угрожающе зашипели: они, мол, знают всю подноготную таких, как он, типов, так что нечего ему удивляться — пусть пеняет на себя. Поезд тем временем грохоча нырнул в туннель, но, поскольку все пассажиры как по команде смолкли, Д. показалось, будто она отчетливо расслышала слова: "Исправительный лагерь". Отведенные в сторону взгляды остальных пассажиров и газета, которой прикрылся сосед старичка, напугали Д. Делая вид, что не замечает происходящего, она встала со своего места и подошла поближе к трем теперь повысившим голос охранникам, чтобы не выпускать старика из поля зрения. А старик держался очень спокойно, хотя один из трех уперся рукой в стену и рука эта почти касалась его виска; старик не проронил ни словечка, пока ему объясняли, что в голове у него полно всякого "дерьма". Глаза его под толстыми валиками бровей были закрыты, и он, как слепой, пытался по звукам определить расстояние до ближайшей станции. Там троица и вытолкнула его на перрон. Оглянувшись, один из охранников перехватил откровенно заинтересованный взгляд Д., тут же сам смерил ее взглядом с головы до ног, и у нее не хватило храбрости выйти за ними. Да это была и не ее остановка. Она по-

смотрела вслед старичку, который — хоть и не горбясь, но бессильно свесив руки — продвигался к выходу с перрона. Неожиданно для себя она пожалела, что ничем не смогла ему помочь и даже не узнала, кто он такой. Она вышла на нужной станции, и опять угол дома с зашторенными окнами лестничных площадок, этим символом обывательского уюта, показался ей картинкой из далекого прошлого. Зайдя в телефонную будку, она на долю секунды поддалась безумию — страху, что телефонная связь прервана во всем городе.

Начальство строительного предприятия, на котором работал ее старший брат, запретило дежурному на коммутаторе сообщать посторонним, где сегодня работает тот или иной человек. Д. добилась, чтобы ее соединили с будкой вахтера: откуда-то сзади волнами накатывал шум — грохот грузовиков и выкрики людей; пришлось повторить свое имя и вступить в перебранку, но в конце концов ей сказали, как найти бригаду монтажников. К полудню она добралась до первого армейского заграждения, перед самой границей. И поняла: чтобы дойти до третьего, понадобится еще час; но тут она сообразила, что, к счастью, не сняла после смены сестринский халат, и дальше уже проходила мимо сторожевых постов, будто направлялась куда-то по вызову, — быстро, если солдаты не заводили с ней лишних разговоров, а они были хоть и одного с ней возраста, но все из деревни... Дойдя до броневика, Д. растерялась — из-за отсутствия хоть какого-нибудь прохода, позволяющего обогнуть машину. Гражданских лиц нигде не было видно, разве что вверху, за узкими окнами рабочих помещений. Дорога бежала дальше между поросшими травой развалинами, а на самом дальнем ее повороте подъемный кран разгружал из кузова грузовика бетонные столбы. Вплоть до того места, до последней заградительной цепи и строительных рабочих, никаких препятствий уже не было. Д. сумела убедительно объяснить какому-то офицеру, что там, впереди, монтирует прожектора ее брат. Она держалась непринужденно, хотя из-за жары едва передвигала ноги, а от голода и слабости ей все время хотелось к чему-нибудь прислониться. Офицер прочел ее удостоверение до последней странички, потом еще раз — от последней до первой, сунул его в нагрудный карман и отошел в сторону, освобождая путь. Побежать ей даже в голову не пришло — она опасалась наткнуться на перемещавшихся с места на место рабочих. Западная зона, наверное, начиналась всего шагах в десяти. Мысли о младшем брате заставили Д. замедлить шаг. (Она еще никогда не пользовалась этой дорогой, чтобы попасть в Западный Берлин.) Но оказалось, что послали ее сюда зря: никаких столбов здесь не устанавливали. Теперь она не могла понять, с какой стати офицер вообще ее пропустил. Из-за своей нерешительности она позволила солдатам вовлечь ее в разговор и вместе с ними наблюдала за работой каменщиков. Заграждение перед ней доходило до уровня глаз, на середине насыпи было не намного ниже, дальше тротуар еще не успели перегородить. "Как вы только не боитесь!" — воскликнула Д., обращаясь к этим парням с пулеметами, и неопределенно кивнула в сторону дороги. Они в ответ рассмеялись. Они поняли ее так: как вы не боитесь находиться возле самой границы. Им уже рассказывали про каких-то "врагов", судя по этим рассказам, не слишком опасных. А она подразумевала совсем другое: вы же теперь никогда не сможете без стыда смотреть в глаза людям, — и потому, когда они стали заигрывать с ней, приглашать на танцы или даже де-

лать неприличные предложения, была так ошарашена, что повернула назад, прежде чем сообразила, что́ им ответить. Офицер, вернув ей удостоверение, посмотрел на нее странным взглядом, смысла которого она не поняла.

Д. потом еще несколько раз подходила к заграждениям, но уже не так близко. Брата своего она не нашла, нашла только рабочих из его бригады, в тот день тоже его не видевших. Она даже не знала, зачем он ей так срочно понадобился, она просто хотела с ним повидаться. На Восточном вокзале, уже купив билет до Потсдама, она услышала, что Восточный Берлин закрыт для въезда, и задумалась о расписании своих смен. Добравшись наконец до квартиры брата, которого весь день не могла найти, она долго и напрасно звонила в дверь. Она слишком устала, чтобы искать для всего случившегося разумное объяснение, и вдруг почувствовала себя человеком, преследуемым полицией, — персонажем одного фильма о нацистском терроре, вот так же стоявшим на лестничной площадке. Ее ноги в сандалиях посерели от городской пыли. Она заснула прямо на ступеньках, прислонив голову к исцарапанной стене, а разбудили ее голоса детей, обсуждавших, что она здесь делает. Тут была и ее трехлетняя племянница, с глазами в точности как у брата, девочка уже достаточно большая, чтобы одной играть на улице, но недостаточно — чтобы толком объяснить, куда подевались ее родители. Д. немного поговорила с детьми (все так же сидя на лестнице), чтобы племянница забыла — и не рассказала родителям — о ее первых встревоженных вопросах, но на работу не опоздала, вовремя прошла через высокие жестяные ворота своей больницы.

Благодаря уже распространившимся среди населения слухам Д. получила более надежную информацию о своем новом положении, чем та, что содержалась в газетах родного государства. Еще действеннее, чем голос западноберлинского диктора, молчаливый обмен взглядами в сестринской комнате впечатывал в ее сознание недавние перемены: где именно улицы были разорваны, перегорожены Стеной и колючей проволокой, охранялись солдатами с собаками. Граница отчасти ушла под землю: те станции метро, что имели выход в западную часть города, были закрыты. Электричку теперь пропускали на Запад только по двум линиям, и даже платформы на этих линиях для обычных людей стали "заграницей". Перед пропастью, разделившей два города, раскинулась устрашающая сеть патрулей и контрольных пунктов, действовал комендантский час. Над крышами, в затянутом плотными облаками небе, западные самолеты набирали высоту и по северному воздушному коридору уходили в сторону Западной Германии — из пределов досягаемости.

Создание замкнутого кольца вокруг Западного Берлина, небывалое сосредоточение войск во всем Восточном Берлине и его окрестностях требовало дополнительных транспортных средств, которые можно было взять только в городских автопарках, все это приводило к дезорганизации городской транспортной системы, а потому грузовики со свежими овощами и мясом с большим опозданием добирались до пищеблока больницы, мешали друг другу на въезде и выезде, задерживались дольше обычного. Кухня не справлялась с такими сложностями, в результате нарушался весь рабочий цикл в отделениях, зависали лифты, задыхалась от перегрузки телефонная сеть. Беспокойство, царившее в коридорах, перекинулось и на больных: сигналы вызова вспыхивали непрерывно.

Врачи и сестры, уехавшие на воскресенье в западную часть города, так и не вернулись; почтальоны с телеграммами от них бродили, сбитые с толку, по коридорам больничного здания. В тех отделениях, которые прежде почти целиком зависели от западных медикаментов (доставлявшихся в сумочках, карманах, кошельках больничных сотрудников), врачам теперь приходилось радикально менять все назначения, причем под свою ответственность, без согласования с начальством, потому что профессора тоже куда-то исчезли. Сестры должны были отрабатывать дополнительные полусмены в других, не своих отделениях. Когда Д. не могла от усталости добраться до дома, она засыпала на первой попавшейся незанятой койке. А про младшего брата она так ничего и не узнала.

В эти первые дни она сделала ряд любопытных наблюдений, касавшихся, как она это называла про себя, сестринской солидарности. Какие бы неосторожные разговоры ни велись в коридорах, начальство об их содержании ничего не знало. Более того: сестры решительно не желали оставлять друг друга наедине с профсоюзными функционерами, которые, вместо того чтобы проводить регулярные собрания, предпочитали разъяснять сложившееся положение в ходе приватных бесед — но прежде чем они успевали хотя бы подступиться к теме, вспыхивали сигнальные лампочки и очередная жертва на законных основаниях уклонялась от необходимости отвечать на заданный ей вопрос. Фрау С., которая в общении с Д. раньше всегда подчеркивала, что она — старшая сестра, вернулась из Западного Берлина утром после установления блокады и сразу начала рассуждать про свои семейные обстоятельства: с тем чтобы Д. поняла, куда та клонит. Каждый вечер одна из сестер — по очереди — всеми правдами и неправдами отвлекала начальницу, чтобы та не вздумала заглянуть в общежитие и остальные сестры могли спокойно слушать информационные сообщения по западному телевидению: узнавать, например, где установлены заграждения, к которым не следует приближаться. Общая атмосфера была вполне доверительная. Спустя неделю, хотя тон государственных газет не свидетельствовал о каких-либо изменениях к лучшему, жизнь больничного городка вернулась в прежнюю колею.

Однажды утром у молодого г-на Б. хватило дурости, чтобы позвонить Д. в отделение. Вызывая Д. к телефону, ей сказали, что звонят из Западной Германии, но замечаний делать не стали, да и девушки в канцелярии обошлись без комментариев. Но Д. все-таки опасалась, что начальство начнет теперь за ней приглядывать. "Вот дурень", — сказала она. Фрау С. выжидательно на нее посмотрела. Д. готова была прикусить себе язык: она сама невольно призналась в подозрительной связи.

Около шести утра сестры открывают двери в палаты, просят больных подняться с кроватей, раздвигают шторы, помогают умыться самым беспомощным, поправляют постельное белье. Потом нужно вовремя выкатить из лифта тележки с завтраком, раздать пациентам их порции, не забыв о диетологических предписаниях. Измерить температуру, пересчитать таблетки, простерилизовать шприцы, сделать инъекции. Потом — врачебный обход и внесение в книгу новых назначений. Подготовка пациентов к операциям и, наконец, пятиминутка у заведующей отделением: обсуждение плана дальнейшей работы, замеченных недо-

статков и промахов. Поскольку пациенты по тому, как обращается с ними сестра, судят о своем состоянии, сестрам полагается демонстрировать одинаково ровное, обнадеживающее отношение ко всем.

Д. забылась только один-единственный раз, когда в день посещений случайно услышала, что́ говорил одному из пациентов его гость. Отец больного рассказывал небрежным, не привлекающим внимания тоном что-то про морги в Восточном Берлине, переполненные телами самоубийц.

— Между прочим, — завершил он свою речь, — это лишь те, кому попытка удалась.

— Прошу вас не волновать больного, — сказала Д. и добавила еще что-то про дурацкую болтовню.

Ей был уже привычен характерный "сестринский" тон, тон человека, крепко стоящего на ногах, который обращается к лежачему, эти решительные и бойкие реплики, бросаемые мимоходом. Посетитель, который сидел перед постелью, сгорбившись и положив руки на колени, приподнял голову и смерил спокойным взглядом молоденькую медсестру, показавшуюся ему не слишком умной. Д. уже стояла у выхода в коридор, положив ладонь на дверную ручку, она удивлялась, что старый работяга не догадывается, как тяжело болен его сын. Но она нисколько не сомневалась в правдивости слуха о моргах и уже представляла себе, что у них в отделении ее реакцию могут истолковать неправильно — решат, что Д., видимо, одна из тех, кто готов защищать государство от "клеветников".

На самом деле она всего лишь хотела сказать: "Перестаньте ломать комедию, вы ведь и раньше про это знали. Жаловаться имеют право только такие, как я, те, кто воспринимал государство как строгого, но справедливого учителя, — оно же теперь дало понять, что было и остается нашим хозяином. И вот хозяин, когда счел нужным, окружил свои владения забором... А от вашего хныканья меня тошнит".

Но когда истекло время посещений, Д. все-таки попыталась перехватить этого человека, серьезно поговорить с ним. Она постаралась придать своему лицу подобающее выражение, найти внушающий доверие тон. Однако он прошел мимо, даже не посмотрев в ее сторону. Когда она разносила ужин, его сын, полноватый парень с пороком сердца, обратил к ней свое ясное лицо и маленькие глазки, по-детски выпятив губы.

А чуть позже, увидев сквозь проволочную сетку, как ее западноберлинская подруга поднимается в лифте к ней на этаж, она поспешно отступила назад и не сразу решилась шагнуть навстречу, потому что заранее знала, что́ последует дальше: подруга, спрятавшись между шкафами, запустит руку в просвет между блузкой и юбкой и достанет фальшивый паспорт. Д. разглядывала снимок в паспорте и не понимала, о чем ей шепчет приятельница. Лицо у нее, у Д., было немного шире, чем на фотографии, волосы не такие пепельно-серые, и в университете она никогда не училась. Шла уже вторая половина дня: расплывчатый свет, струи дождя, бегущие по застекленным стенам, платформа, где людям, имевшим подобные удостоверения, предстояло пройти мимо контролеров, у которых определенно не возникнет желания перевести взгляд с фотокарточки на лицо пассажира. Напоследок она, Д., еще увидит Шпрее,

текущую под мостом, возможно, увидит лодку, чаек над Шиффбауэрдамм, а следующая остановка будет уже в Западном Берлине.

Она отказалась взять паспорт. Она еще не привела в порядок свои дела, не разобралась в своих отношениях с Б., не позаботилась о младшем брате. Но вслух она только сказала, что не может уйти из больницы до конца смены. Такое поведение означало разрыв с подругой, которая не сочла причину уважительной и с досадой поехала обратно, к пограничному контролю, — поехала не без опасения, что там ее вздумают обыскать и обнаружат у нее второй паспорт. Но Д. отказалась ехать с ней вовсе не потому, что испытывала страх.

5

Небо над маленьким городком, на горизонте соприкасавшееся с ним, так что они сливались в нерасторжимое и привычное единство, было светлым, незамутненным, сулило сияющий сентябрь, осень, туман, дождь и снег, упорядоченное и привычное продолжение жизни. Вот только молодой г-н Б. никак не мог разобраться со своими привычками: он вроде бы и не думал о них, но они его тяготили. Он не пропускал благоприятное для работы время: фотографировал начало учебного года, принятие присяги новобранцами на ночной Рыночной площади. Его посылали снимать рыбаков, вернувшихся с богатым уловом, но самому ему никаких удачных идей в голову не приходило: непонятно почему он чувствовал себя слишком усталым, чтобы подыскивать выигрышные сюжеты, он в самом деле устал, его продукция не очень хорошо продавалась, и все чаще в местной газете вместо предложенных им снимков печатали фотографии инцидентов на границах Западного Берлина. В свободные минуты, когда делать было нечего, в ходе переговоров с издателями, а то и просто за стиркой рубашек он вдруг ощущал себя совершенно опустошенным; он легко мирился с отказами, можно сказать, сам на них нарывался; он задерживался дольше обычного в редакции и сидел там на корзине для бумаг, забирался в полупустые кинозалы на дневные сеансы, охотно выпивал за компанию — и порой вздрагивал от испуга при мысли, как мало он прилагает усилий, чтобы накопить денег на новую машину. Ему казалось, что боль от утраты его ярко-красного сокровища подернулась слоем пыли — но никуда не исчезла. Когда ему повезло и он случайно узнал о навязанных бургомистру изменениях в плане общинного землепользования, то даже такая ценная информация не пробудила в нем предприимчивости, хотя могла бы вывести его на верную дорогу. Мыслей о Д. он избегал, не говорил о ней с друзьями, даже на той вечеринке, которая напомнила ему злополучные школьные времена, потому что он пришел туда один, без девушки, безнадежно смотрел на ноги танцующих и в конце концов напился так, что испортил все снимки, ради которых его, собственно, и пригласили — как фотографа, известного тем, что он никогда не болтает лишнего. На другое утро Б. уже плохо помнил, что делал накануне, но понимал, что своими намеками чуть было не навлек на себя зависть других — слишком много он о себе возомнил, оттого что сумел переспать с девушкой из бывшей столицы. Ему, конечно, хотелось поговорить о ее восточногерманском происхождении — в этаком романтическом духе, а упоминание ее про-

фессии наверняка пробудило бы в каждом слушателе расхожие представления о богатом опыте медсестер во всем, что касается плотских утех. Ну и, наконец, даже рассказ о разлуке с ней сделал бы его в глазах окружающих достойным сочувственного уважения. Но ведь потом они непременно спросили бы, какие шаги он предпринял, чтобы ее вызволить, а ответить на это ему пока было нечего. Его самого больше всего устраивала версия вынужденного отказа от связи с девушкой, отказа, который он толковал в положительном смысле — как приращение жизненного опыта; однажды он видел, как такой полудобровольный отказ преобразил легкомысленного актера в благороднейшее существо. Правда, актер этот, не любивший одиночества, потом постоянно смущал новых поклонников девушки, от которой он отказался, своим неизменно опечаленным видом и своей манерой вести себя с ней как добрый старый друг... Б. не мог отказать себе в одном маленьком удовольствии: в любых разговорах, будь то с покупателями в аптеке, в редакции, за городом, куда он ездил, чтобы пофотографировать на природе, или в пивном погребке при ратуше, он к месту и не к месту упоминал о своих частых поездках в Берлин и не возражал, когда ему приписывали доскональное знание тамошней жизни, — а при случае даже рассказывал разные любопытные истории, выдавая за собственный опыт то, что прочитал в окружной газете. Хотя на самом деле выразить свои впечатления от пребывания в этом чужом городе ему теперь было не легче, чем уловить подлинный смысл еженедельной кинохроники.

Своей болтовней о Стене Б. не заинтересовал горожан: они не считали себя виновными в самоизоляции государства, которое западные журналисты и раньше всегда изображали как непригодное для жизни, богом забытое место; но, поскольку Б. приобрел репутацию знатока Берлина, именно на его голову навязался некий крестьянский сын, который, разыскивая Б., проехал на тракторе по всей Хауптштрассе и наконец обнаружил его в аптеке. Парню было от силы девятнадцать, и с безграничной доверчивостью он попросил старшего, то есть самого Б., когда он в следующий раз поедет в Восточный Берлин, прихватить с собой письмецо для его девушки. Услышав такую просьбу, Б., хоть и неприятно удивленный, был польщен той открытостью, с какой молодой человек, опустив глаза, дрогнувшим голосом сказал, что разлуку с любимой просто не вынесет. Б. дал себя уговорить, умолчал о том, что и у него имеются личные причины для поездки, потом, под предлогом, что ему нужно подумать, попросил парня сколько-то времени погулять, хотя в деревне как раз собирали урожай и каждый час промедления был чреват нахлобучкой от отца — потому-то он и не мог уехать на целый день из дому. Во второй половине дня, в проходе между ларьками, Б. наконец принял из рук молодого человека билет на самолет и смятый, тонкий конверт, весь в пятнах. Он вызвал новый поток благодарностей, заявив, что располагает для поездки только одним днем — воскресеньем. Поскольку Б. опасался болтливости сотрудниц туристического бюро, ему пришлось самому — за довольно большие деньги — связаться по телефону с Гамбургским аэропортом и попросить, чтобы дату вылета перенесли на день раньше; правда, он тут же пожалел о связанных с этим расходах. Субботним утром, в самом раннем поезде, он чувствовал себя невыспавшимся, проклинал всю затею, и сидевшая на стене муха раздражала его не меньше, чем вид переполненной автострады или ли-

ца соседей по вагону, у которых никто машину не угонял. В аэропорту он старался изобразить из себя человека, чуть ли не каждый день проделывающего подобные туры, но его окружали пассажиры, для которых дальние поездки действительно были повседневной реальностью, а световые табло с перечнем куда более дорогих зарубежных рейсов внушали ему страх. Рывок при взлете, от которого сотрясся весь корпус четырехмоторного самолета, вызвал у него приступ тошноты.

По сути, он считал авиаполеты не столько слишком дорогим, сколько чересчур аристократичным способом передвижения. Он не мог позволить себе бездеятельность и, наклонившись вперед, неотрывно смотрел в иллюминатор — загораживая его и мешая своему соседу, не успевшему занять место у окна. И чем дольше разглядывал Б. затененные в этот ранний утренний час поля, которые под крылом самолета то и дело меняли свои очертания, тем больше пугался расстояния, отделявшего его от земли. В горле стоял комок, Б. не хотелось видеть в этом проявление страха, но ему все-таки пришлось откинуть голову на спинку сиденья и притвориться, будто он заснул. Надолго его не хватило: облачная пелена разорвалась, и вид этой засасывающей дыры немедленно вызвал у него желудочный спазм. Лампы дневного света в грохочущем туалете заливали его лицо мертвенной белизной. Он теперь стоял над раковиной, мучась позывами к рвоте, и с отвращением разглядывал себя в зеркале. Когда он вернулся, сосед, перегнувшись через пустое сиденье, смотрел в окно. Б. предложил поменяться местами. Пожилой господин, еще не забывший, как невежливо вел себя Б. в начале полета, тут же с кислым выражением лица переместился в кресло возле иллюминатора, словно оно было его законной собственностью. Закрыв глаза, Б. изобразил крайнюю степень усталости. Когда колеса — не вполне синхронно — покатились по посадочной полосе, его напугало звяканье кухонной утвари, показавшееся просто чудовищным.

Б. не мог понять, откуда у него эта слабость, в такси он односложно отвечал на расспросы водителя, непременно желавшего знать, как ему летелось. Воздух между огромными корпусами домов успел нагреться; через зазоры, оставшиеся после бомбежек, в машину вливался белый дневной свет. Б. видел людей на тротуарах и на пешеходных зебрах (когда такси приостанавливалось), он даже мог рассмотреть отдельные части города, и стыд за собственную глупую болтовню про Берлин и берлинцев заставлял его втягивать голову в плечи. То, что он намеревался предпринять в этом городе, вдруг представилось ему куда более опасным, чем он предполагал; из-за того, что не выспался, он чувствовал себя неуверенно. На одной боковой улочке он заметил, как машина, ехавшая перед их такси, вдруг притормозила, девушка, сидевшая рядом с шофером, выставила в окно сумочку и поменяла ее на такую же, которую протянул ей человек в белом халате, затем исчезнувший так же быстро, как и сама машина. Шофер ни слова не проронил по поводу этого странного происшествия, которое, случись оно в городке, где жил Б., послужило бы поводом для множества пересудов. Б. дал шоферу слишком большие чаевые, но тот лишь равнодушно кивнул и указал на площадку перед пограничным переходом, о существовании которой Б. забыл. Уже поставив ногу на белую разделительную полосу, он вдруг захотел повернуть назад, но побоялся привлечь внимание западноберлинского полицейского, стоявшего у него за спиной. Еще не успев все

продумать, он очутился лицом к лицу с полицейским из Восточного Берлина. Бросив взгляд на его фотографию в паспорте, полицейский посмотрел ему в глаза и равнодушно отвернулся; потом Б. беспокойно ерзал на садового типа скамье в зале ожидания, то и дело поглядывая на дверь, и каждый раз вздрагивал, заслышав покашливание в радиорупоре. Ему не хотелось вступать в конфликт с Восточногерманским государством — пусть даже из-за письма, спрятанного в двойной манжете; хуже того — Б. уже столько раз мысленно вскрывал конверт и читал написанное, что теперь, когда он предельно устал, это воображаемое действие как бы обрело реальность и казалось уже совершённым. В полудреме Б. пытался сообразить, как будет извиняться перед получательницей письма, и тут вдруг в рупор выкрикнули его номер. Очнулся он с твердой уверенностью, что письма не вскрывал, а о других возможных неприятностях старался не думать.

Дорогу он выучил наизусть, адрес тоже, так что в вагоне городской электрички не должен был ни у кого спрашивать, где ему сделать пересадку. И тем не менее ему казалось, что в нем опознают западного немца, хотя никто с ним не заговаривал; поэтому у входной двери он встал так, чтобы загородить табличку со списком жильцов и кнопку, которую нажимает. Улица была почти пустынна, дверной замок не открылся. Б. охотно плюнул бы на всю затею, но, вздохнув, стал нажимать для очистки совести кнопки верхних этажей, пока не ввел в заблуждение кого-то из жильцов — и тогда замок на входе щелкнул. Он поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь, на которой стояло имя, названное крестьянским сыном. Но из-за двери не доносилось ни малейшего звука; услышав, как этажом выше в замке поворачивается ключ, Б. сбежал вниз по лестнице и, нажав кнопку, выскочил из подъезда. Он уже было впал в ярость из-за невыполненного хозяевами квартиры уговора, но тут ему пришло в голову, что речь у них шла о воскресенье, а вовсе не о субботе, и что он приехал на день раньше, потому что у него самого были в Западном Берлине кое-какие дела. Он поболтался перед витринами магазинов, даже пообедал, чтобы пограничникам не показался подозрительным столь краткий визит, и пребывал в самом мрачном расположении духа: ему было жаль попусту тратить время в Восточном Берлине — хотелось поскорей приступить к выполнению своего плана в западной части города. Дело в том, что, недовольный бездеятельностью западноберлинской полиции, он решил попытаться самостоятельно разыскать украденную машину.

Ему даже в голову не пришло заглянуть в больницу, где работала Д. Однажды они поссорились из-за того, что Д. обозвала его политическим недоумком, а в последнем своем письме она написала, что в субботу перед началом блокады проезжала через Западный Берлин, но не вышла из электрички, — и он, со своей стороны, счел это политической глупостью. Теперь он всерьез думал, что ей следует попросить у него прощения.

Во второй половине дня, вернувшись в Западный Берлин, Б. не сумел отыскать ни одной телефонной книги, где абоненты были бы сгруппированы не по алфавиту, а по профессиям; он же хотел найти людей, которые торгуют подержанными автомобилями. В тот день уже одного вида длинной очереди, одного грубого ответа хватало, чтобы заставить его отойти в сторону, отступить. Найдя в газетах несколько подходящих

объявлений, он наудачу — вернее, на неудачу — отправился по указанным в этих объявлениях адресам, к югу от центра. Он, возбужденный, подолгу ждал на остановках, слишком поздно догадывался, что на втором этаже автобуса можно посмотреть план маршрута, потом снова неуклюже спускался вниз, один раз даже побежал вдогонку за трамваем, и от всей этой беготни и стояния среди девушек в застиранных платьях его порой охватывало тягостное, утомительное чувство, которое он определял словом "одиночество". Потом, потея в очередном автобусе и глядя на бегущие навстречу огни каналов-улиц, на заманчивый уют расположившихся под деревьями пивных, он окончательно пал духом. Один раз он даже уступил настойчивости какого-то таксиста, который вновь и вновь сигналил у него за спиной, и сел в машину, преисполненный жалости к самому себе. Город обезлюдел, его — Б. — здесь никто не ждал, и все пустыри, где выставлялись на продажу подержанные автомобили, были закрыты; сколько он ни вглядывался сквозь проволочную ограду, он не нашел ни своей машины, ни даже похожей на нее. В одном месте в решетке обнаружился лаз, Б. пробрался внутрь, притворился, будто прогуливается и на ходу пересчитывает машины. Но тут, неожиданно для себя, он столкнулся в углу участка с голым до пояса человеком, который, нависнув над складками собственного живота, мыл ноги. Не поднимая глаз, человек с невозмутимым спокойствием обратился к запыленным башмакам Б. "Привет", — сказал он, очевидно, предполагая, что непрошеный визитер просто повторит это слово. Б. торопливо пробормотал путаные извинения, заключив их вопросом: нет ли здесь машины такого-то типа. Полуголый комфортно сидел на стуле в густой тени брандмауэра, возвышавшегося над площадкой с автомобилями; он пошевелил ступнями под подпрыгивавшим в его руке шлангом, потом выплеснул воду из детской ванночки как раз в сторону чужака, потянулся, откинулся на спинку стула и наконец, выдержав паузу, ответил: "Да такие и не нужны никому".

Б. понял, что допустил ошибку, когда возомнил себя, несмотря на свою неискушенность в житейских делах, знатоком Берлина.

Как бы то ни было, он долго брел без определенного плана по какому-то кварталу, где деревья дотягивались до третьего, а то и до четвертого этажа, где шум установленных на газонах поливальных машин напоминал шепелявую человеческую речь, где люди на балконах и верандах неспешно попивали кофе, и у людей этих, похоже, все было в порядке, где даже детские крики, собачий лай казались более приглушенными, чем в других местах. Густая листва образовывала длинный тенистый туннель над поблескивающим асфальтом, немногие прохожие, попадавшиеся Б., неторопливо прогуливались, семейные парочки толкали перед собой детские коляски и оглядывали фасады, надеясь обнаружить пустые окна сдающихся в аренду квартир. Квартал закончился, большая улица с многорядным движением пересекала площадь. Увидев столики на тротуаре перед пивной, Б. почувствовал, что никуда больше идти не хочет. Кто-то поставил перед ним кружку, но Б. глядел только на автобусы, машины, трамваи, которые с грохотом высаживали людей, возвращавшихся с городских пляжей. Воздух время от времени содрогался от рева заходящих на посадку самолетов, и тогда Б. ловил себя на мысли, что эти крылатые машины метят именно в него. Небо окрасилось в яркие цвета заката. Когда же эти цвета поблекли, вытесненные

неоновым циферблатом часов над магазином оптических приборов, лампами жилых помещений и подсветкой витрин, Б. прошел в зал пивной, чтобы оттуда по телефону заказать для себя гостиничный номер на ночь, но задержался у стойки — потому что хозяйка поздоровалась с ним, как здороваются с постоянными посетителями. Он смущенно откликнулся на ее приветствие. В этой пивной ему почему-то уже не хотелось думать о Д. Когда он садился на табурет перед стойкой, снаружи два американских солдата, уходя, прихватили с собой пустую пивную кружку — вроде тех, что предлагались тут же, на тротуаре, в качестве сувениров.

К тому времени, когда тьма подступила к озаренной желтым светом пещере — пивной, — все табуреты перед стойкой были заняты. Не обращая внимания на шум, к которому примешивались выкрики игроков в скат и шепот влюбленных парочек, под вентилятором тихо сидела пожилая женщина, сложив руки за табличкой "стол заказан" и опустив голову, — казалось, будто она спит. Б. то и дело переводил взгляд от круглого стола, за которым собрались завсегдатаи, к пожилой женщине и потом опять к стойке, но ни разу не заметил, чтобы эта женщина шелохнулась. После столь бездарно проведенного дня он был недоволен собой, глядел куда-то в пространство, чтобы ни с кем не встретиться взглядом, и большими глотками пил пиво, поэтому хозяйка заведения с интересом посмотрела ему вслед, когда он, обогнув табуреты, направился к телефону, висевшему сбоку от стойки. Свободного гостиничного номера не нашлось. Б. встревожился и, чтобы не думать о неприятном, попросил хозяйку выпить с ним за его счет. Она прервала разговор с четырьмя другими посетителями, подмигнула им, подошла к Б., присела напротив него (на низкий шкафчик), открыла бутылку минеральной воды и, глядя ему в глаза, подняла стакан. Говорила она медленно и устало, спросила, понравилось ли ему пиво, объяснила нехватку гостиничных номеров большим притоком туристов, которые после возведения Стены буквально наводнили город, — но как только кто-то из завсегдатаев выкрикнул очередной заказ, снова оставила Б. в полном одиночестве. Он чувствовал себя отвергнутым, слушая, как она, нацеживая пиво и разливая его по кружкам, обменивается добродушно-бранчливыми репликами с игроками в скат. Те несколько минут не отпускали ее от своего стола, один даже попытался усадить к себе на колени, а когда она ударила его по руке, другой — сзади — развязал ей фартук; но потом хозяйка все-таки подсела за их столик, и Б. показалось, что там завязался серьезный разговор. Она что-то говорила, а остальные слушали, глядя прямо перед собой, кто с усмешкой, кто задумчиво, но все — очень внимательно. Среди этих не первой молодости господ она выглядела как школьница. Между тем один из соседей Б., тоже сидевший, опершись локтями о стойку, тоном старшего обратился к нему: "Эй, толстый..." Б. объяснил себе такую фамильярность тем, что он, чужак, попытался увести у них из-под носа хозяйку, и хотел было загладить свою вину, поставив всем по кружке пива. Но замешкался, соображая, хватит ли у него наличности, и в итоге они сами предложили ему с ними выпить. Тут-то Б. и узнал в человеке, первым заговорившем с ним, торговца подержанными автомобилями, которому он днем невольно помешал домыть ноги. Теперь человек этот был в костюме свободного покроя, и живот его уже не так бросался в глаза. На висках торговца автомобилями, между редкими

прядями волос, блестели капельки пота. Невнятно выговаривая слова и повторяя одно и то же по нескольку раз, он поддразнивал Б., рассказывая своим приятелям, как вот этот самый тип с дурацким лицом давеча приперся к нему на участок. Б. не понравилось, что новый знакомый так развязно ведет себя с ним, владельцем — пусть даже бывшим — дорогой машины; он не понимал подобных шуток, хотя и изобразил смущенную улыбку. А тот никак не мог вдоволь насмеяться над наивной надеждой чужака, что угнанная у него машина спустя две недели все еще будет находиться на острове Западный Берлин, словно ей на роду написано закончить свое существование именно там. "Но что же мне тогда делать?" — спросил Б. так беспомощно, что в разговор вмешались и другие. Они стали давать ему разные советы, они не отвергли его предложения угостить их пивом. Они научили его игре "Чикаго". Хозяйка за стойкой курила, поглядывала в их сторону, но в разговоре участия не принимала. Ближе к полуночи Б. несколько раз терял ее из виду. Он заметил, не придав этому особого значения, что всякий раз, когда звонил телефон-автомат, ей хватало трех шагов, чтобы от своей стойки подойти к автомату. Б. видел ее неотчетливо, она прижимала трубку к светлым волосам, задумчиво опускала глаза, а перед тем, как положить трубку, что-то коротко отвечала жестким, хрипловатым голосом, но расслышать, что она говорит, ему мешала собственная пьяная болтовня.

Что было потом, Б. не помнил — проснулся он в мансарде, узкой и с пятнами плесени на стенах, под чердачным оконцем, сквозь которое врывался яркий свет. Вдруг все затряслось и загудело, мимо оконца скользнула тень самолета, затемнив крохотное помещение. Б. испугался, у него даже сердце замерло.

Высунувшись из окна, он увидел внизу красную и черную черепицу, а напротив — остроконечные крыши и верхушки деревьев. Опершись на подоконник, он наблюдал, как с Запада приближается очередной самолет и пролетает чуть ли не над его головой. Б. даже мог различить дверцу пилотной рубки. Самому ему предстояло лететь вечером. Самолет обрушил рев своих моторов в колодец двора и, уменьшаясь в размерах, скрылся за коньками крыш. А ему, Б., лететь не хотелось. Все еще плохо соображая, куда попал, он попытался отыскать выход в узком длинном коридоре с неоштукатуренными кирпичными стенами. Забредя в помещение, приспособленное под прачечную, он нашел запыленный водопроводный кран и плеснул себе в лицо воды. Потом, поплутав под переплетающимися трубами и тусклыми от грязи лампочками, он наконец обнаружил узкую лестницу, спустился по ней, но даже и на прохладном, затененном заднем дворе не почувствовал, что по-настоящему проснулся. Он двигался наугад, как слепой, пока не увидел табличку с названием улицы, местоположение которой смог определить по карте — после чего нерешительно направился к ближайшей станции городской железной дороги. Улица выглядела по-летнему, судя по освещению, было утро. Какой-то человек прогуливал двух собачек, Б. равнодушно посмотрел поверх его головы. Ему навстречу шли дети с тяжелыми воскресными газетами в руках, Б. ускорил шаг. У ларька он тихо сказал продавщице, что хочет горячую сардельку, и, встав в сторонке, поел. Невыспавшийся, в несвежей рубашке, он чувствовал себя очень неуверенно. Соседи же по вагону, напротив, были вполне бодрыми, пахли ароматным мылом, с удовольствием смотрели в окно, словно ехали на загород-

ную прогулку. Б. вышел в тамбур, стал обшаривать карманы в поисках чужого письма. И снова с горечью подумал, что теперь, дабы не нарушать обещания, должен предпринять нечто противное законам государства, с которым не желает иметь никаких общих дел, даже вполне законных. Он не видел возможности уклониться от данного ему поручения. Когда он ждал на контрольном пункте своей очереди, похмельная боль в голове заставила его прикрыть глаза, и позже на все вопросы он отвечал как придется, не думая. Перед самой границей он еще пошатался по ближайшим окрестностям, нашел какую-то раннюю забегаловку и выпил рюмку шнапса. Мысль о ближайшем вечере, когда он сможет, наконец, покинуть этот чужой город, утешала его. По дороге он не вынимал руку из брючного кармана, потому что именно там теперь лежало письмо. Он казался себе мужественным и порядочным человеком. Ему польстило, что на этот раз так быстро распахнулась дверь, что ему так любезно предложили войти, так настойчиво убеждали присесть, хотя он еще ничего не успел сказать, только пожелал хозяйке доброго утра. Он растерянно глядел на дверь, за которой скрылась пожилая женщина, едва письмо оказалось у нее в руках. Прислушивался с полуоткрытым ртом, различал стук дверей в прихожей, приглушенные женские голоса и один мужской, недовольный. В этой сиявшей чистотой комнате, обставленной старой коричнево-красной мебелью, ему пришлось долго ждать, он уже было встревожился из-за того, что вокруг становится все тише, и тут его испугали шаги: какая-то женщина пересекла улицу и направилась к дому, где находился он. Б., чтобы хоть чем-то занять себя, ковырял в зубах, когда молоденькая, очень маленького роста девушка вошла в комнату и явно смутилась, увидев у окна долговязого незнакомца, который как будто смотрел на нее с обидой — на самом деле так только казалось из-за его отвисшей нижней губы и складочки посреди массивного подбородка. Девушка, запинаясь, поздоровалась, потом взглянула на письмо, которое держала в руке, и попыталась улыбнуться, но улыбка так плохо сочеталась со следами недавних слез у нее на лице, что Б. это даже позабавило.

— Могу я вам кое в чем признаться?

— Конечно, само собой, — отвечал Б. (и что-то еще в том же роде).

Искушение принять на себя роль "покровителя", "помощника" было слишком велико; уже из одного тщеславия Б. охотно оказал бы любезность этой девушке — так помогают соседке по купе положить чемодан в багажную сетку; но в глубине души его ужасала мысль, что она может истолковать его поведение как обещание серьезной поддержки: тогда пришлось бы помогать ей и в сопротивлении Восточногерманскому государству, которое представлялось ему таким могущественным по сравнению с ним самим; поэтому невнимательно и с несколько дурацким выражением лица слушал он ее рассказ о том, как она, школьница-старшеклассница, во время туристической поездки в Западную Германию познакомилась с сыном зажиточного сельского хозяина — просто на проселочной дороге, близ Балтийского моря, — как она хотела бы теперь, в своем государстве, изучать сельскохозяйственные дисциплины, чтобы потом приносить пользу совсем другой стране; сколь многого она вообще хотела бы — хотела бы, несмотря на блокаду и даже если не получится с дальнейшим образованием, жить только этой надеждой на счастье с любимым, но не может, не может себя заставить жить одной

надеждой, и у нее подгибаются колени от страха, неизъяснимого страха, "вы понимаете, хоть вы-то меня понимаете", – и Б. смущенно кивал в ответ, чувствуя себя неловко, отчасти и потому, что сидел на жестком стуле. Он разглядывал узоры вязаной скатерти и наслаждался ролью доверенного лица, про себя удивляясь тому, как заблестевшие от слез глаза, подвижные губы, прижатые к вискам дрожащие руки, смуглое личико в обрамлении коротких растрепанных волос складываются в очень выразительную картину; в середине ее рассказа он вдруг спросил: "А можно я вас сфотографирую?", не имея никаких задних мыслей и желая только одного – унести с собой кусочек этой чужой жизни; а девушка растерялась, поняла его неправильно и стала благодарить за обещание передать ее фотографию жениху, от которого сама же фактически отказалась, – благодарила так горячо, что Б. едва удержался, чтобы ее не обнять. Прощаясь, он постарался придать себе вид одного из тех политически активных западных немцев, которые всегда готовы прийти на помощь жителям ГДР, – но, по сути, испытывал облегчение от того, что его помощь не понадобилась. Уже в самолете он вновь и вновь прокручивал в голове эту сцену, с каждым разом все более довольный собой (потому что, хотя и не без грусти, сознавал, что вел себя как порядочный человек), – пока неожиданный нырок самолета не заставил его броситься к туалету; рвотные спазмы одолевали его почти до самого Гамбурга, всю оставшуюся часть дня он уже ничего не чувствовал, не замечал потемневшие к вечеру холмы за окнами автобуса и лишь с горечью думал, что не сделал ничего, что хотел.

Еще в Берлине он позвонил из аэропорта по западноберлинскому номеру, который дала ему эта старшеклассница, и, услышав в трубке женский голос, сказал: "Алло. Та девушка – ну, у которой спустилась петля на чулке – к сожалению, не может воспользоваться вашим предложением. Просто потому, что боится". Ему что-то односложно ответили, и связь сразу прервалась, но на мгновение Б. почудилось, будто он узнал голос на другом конце провода, узнал и шорохи на заднем плане – впрочем, все это он позабыл, пока шел к самолету, напоминавшему, если глядеть снизу, чудовищных размеров сигару, с крыльями, которые, казалось, не помогали полету, а наоборот, неминуемо должны были заставить неуклюжую машину упасть.

Городок встретил Б. всеми внешними приметами родины, Б. хотел как можно скорее забыть Берлин, из-за которого теперь чувствовал себя тут чужаком – еще в большей мере, чем перед своей последней поездкой. Небо пока оставалось светлым, по ночам в привычном сентябрьском тумане на принадлежавших городу лугах паслась скотина, среди яркой листвы терялся зеленый огонек единственного здешнего светофора, знакомые места ничего не утратили за время отсутствия Б., утратил что-то он сам – что-то не поддающееся определению вызывало у него постоянное ощущение стыда. Это "что-то" было неосмысленными впечатлениями от поездки в Берлин; в мыслях Б. называл свой отказ от любимой "реалистическим шагом", поскольку все равно не мог ей помочь в борьбе против ее государства, и со временем он все больше убеждался в правильности такого довода, уже почти дозрел до того, чтобы, не смущаясь, проговорить его вслух. Между тем из-за пассивности Б. денег у него заметно поубавилось, да и газета теперь не принимала сделанные им фотографии Берлинской стены, опасаясь, что подписчики и

рекламодатели сочтут сообщения о далеком Берлине скучными, перейдут на газеты, выходящие в главном городе их земли или в Гамбурге, а эти газеты уже и без того потеснили местное издание в витринах киосков и на прилавках обоих имевшихся здесь магазинов писчебумажных товаров. Мало того что молодого г-на Б. безмерно утомляла однообразная работа в аптеке, его вдобавок напугало письмо с требованием явиться в центральное полицейское управление их земли (в другой город). То, что письмо было на типографском бланке, означало, что это официальная повестка, и потому, увидев свое имя, аккуратно впечатанное на машинке, Б. так разволновался, что решил предварительно выяснить, в чем дело, в полицейском отделении своего городка, но за полчаса, бестолково проведенных у разделительного барьера, в препирательствах с дежурным, он узнал только то, что центральное управление зачем-то затребовало его характеристику. Хотя сам Б. еще не воспользовался секретными документами, касавшимися изменений в плане общинного землепользования, кто-то другой, возможно, попытался продать эту информацию — да так неумело, что заодно с ним и Б., как сотрудника газеты, заподозрили в попытке шантажа; а потому Б. счел за лучшее сжечь все хранившиеся у него фотокопии — в жестянке из-под мармелада, поскольку газовой плиты в его комнате не было. После этого он долго не мог спать иначе как при открытых окнах, а одежда его насквозь пропиталась запахом гари. Все еще не избавившись от тревоги, Б. в указанный день поехал — его согласился подвезти шофер редакции — в главный город их земли, с горечью думая, что, если бы он воспользовался собственной дорогой машиной, уже одно это избавило бы его от всяких подозрений. Дело кончилось тем, что в полицейском управлении, похожем на обыкновенное бюро, двое служащих сообщили ему: его машину угнал молодой человек из маленького южнонемецкого городка — он хотел вызволить свою невесту из восточной части Берлина, на большой скорости промчавшись с ней под пограничным шлагбаумом, — его попытка не удалась, а украденная машина в результате расплющилась, что один из полицейских для наглядности и изобразил, стиснув ладони. Полицейские разъяснили Б. его юридические права, дали адрес родителей вора, который теперь отбывал наказание в одной из восточнонемецких тюрем, и направили в справочное бюро, где Б., как они сказали, мог получить дальнейшую информацию. На эту удочку Б. тотчас поймался. "Справочное бюро" занимало виллу, расположенную над узким заливом, и походило на обычное частное владение. Секретарша открыла перед Б. дубовую дверь, как могла бы открыть горничная, мебель между высокими, в человеческий рост, окнами подходила скорее для частной квартиры, чем для официального учреждения, Б. принял приветливый пожилой господин — он сидел за письменным столом, и его легко было представить листающим школьную тетрадку внука, а не перебирающим обтрепанные учетные карточки. В разговоре этот господин держался как старший друг, уговорил смутившегося Б. выпить коньяку со льдом, но про пропавшую машину ничего толком не знал и даже ошибся относительно ее цвета. Куда больше его интересовала пивная в Западном Берлине, он рассказал Б. много новых подробностей о ее завсегдатаях и о том, кому она раньше принадлежала, — чтобы и тот, в свою очередь, рассказал хоть что-то новое; под конец приветливый господин помянул — в туманном контексте — "свободу" и "граждан-

ские чувства". Б., после выпитого коньяка плохо следивший за нитью разговора, сперва просто отвечал невпопад, но когда алкоголь послал в его мозг мягкую теплую волну, стал так вдохновенно от всего отпираться, что чуть было не вздумал отрицать сам факт посещения пивной. Он лгал без определенных намерений, только потому, что боялся утратить благосклонность красивой хозяйки, потому что вспоминал, как, танцуя, обнимал ее за плечи и один раз даже коснулся подбородком ее груди, — да он и вправду не знал ничего про "черноволосого болезненного вида студента", который якобы звонит туда каждый вечер по телефону. Человек, задававший вопросы, изъяснялся многословно, старался соблюдать внешние приличия: он, мол, не спрашивает, зачем Б. в прошлое воскресенье звонил в пивную, потому что раньше уже упоминал этот звонок, как выяснилось, ошибочно приписав его Б., и теперь покорнейше просит прощения за свою ошибку, ведь ошибиться может и статистическое бюро — на слове "статистическое" он сделал ударение; и подлил Б. еще коньяку, но явно чувствовал себя не в своей тарелке и, хотя вертел в руках очки, даже не заметил прилипшую к роговой оправе каплю крема; все это продолжалось до тех пор, пока Б. не допил наконец свою рюмку, после чего с пьяным добродушием отклонил изъявления благодарности "за оказанное содействие". Б. был возмущен такого рода вмешательством в дела, которые считал сугубо личными, и только позже не без удовольствия осознал, что морочил голову представителю тайных служб. Понял он это вечером, на балконе у одного из редакторов газеты, которого и знал-то не особенно хорошо — просто однажды маршруты их деловых поездок пересеклись, они спьяну перешли на "ты" и обменялись парой дружелюбных слов во время ночного мочеиспускания над гостиничной клумбой; Б., собственно, собирался только попросить, чтобы редактор помог ему пристроить сделанные в Берлине снимки, но вдумчивые советы собеседника и холодный шнапс привели его в столь размягченное состояние духа, что захотелось рассказать всю грустную историю о пропаже автомобиля; к тому же его настроила на меланхолический лад жена редактора, которая время от времени выходила на кухню, но большей частью молча сидела на балконном стуле, прямая, сложив руки на коленях, и бросала на гостя заботливые взгляды, которые тот воспринимал как выражение симпатии и сочувствия. Световой колодец между темными фасадами домов, резкие порывы ветра, ощущение благополучия этой семейной пары внушили Б. веру в собственные силы, которой у него уже давно не было, и теперь, получив от новых друзей подтверждение своей правоты, он той же ночью, перехватив у них денег взаймы, отправился в Гамбург и оттуда — в Вюртемберг. В полудреме ему вспоминались ночи, проведенные с разными женщинами; но по-настоящему он не спал, в голове стучало от чудовищной смеси алкогольных напитков, так что в нужный город он прибыл, не чувствуя ничего, кроме злости по отношению к людям, которые не сумели научить своего сына не воровать, — и вот теперь ему, законному владельцу украденной машины, приходится трястись на жестких сиденьях ночных поездов, голова его полна заранее подготовленных фраз, но, по сути, он совсем не уверен в успехе своей затеи. Квартал вилл, расположенный на склоне холма и огороженный высокими кирпичными стенами, в другое время его бы обескуражил, однако в тот день богатые частные особняки, красивые газоны, ухоженные садовые участки, на-

против, настроили Б. против людей, у которых уже теперь было все то, на что сам он не мог рассчитывать даже в будущем. Но горничная заговорила с ним как с торговым агентом, антикварная мебель в прихожей, определенно унаследованная от предков, отвлекла его внимание, и в результате он довольно-таки любезно поздоровался с хозяйкой дома, хотя та заставила его долго ждать, после чего появилась в утреннем пеньюаре и с обмотанной платком головой: на вид ей было лет сорок, возле темных проницательных глаз уже заметно выделялись морщинки. Не успел Б. упомянуть об угоне своей машины, безуспешно пытаясь собрать воедино остатки былой злости, как хозяйка пустилась в любезную болтовню, умудрившись заказать завтрак, позвонить в город мужу и уговорить посетителя пройти в гостиную, прежде чем тот сумел вставить хоть слово и объяснить, что никакими сведениями о ее сыне не располагает. Затем воссоединившаяся супружеская чета окружила Б. таким вниманием и заботой, что он не смог придумать ничего лучшего, кроме нелепой ссылки на какое-то дело, которое якобы привело его в здешние края — а потом, мол, случайно проходя мимо их дома, он решил заодно заглянуть и к ним. Неподдельное беспокойство обоих супругов за сына, слезы на внезапно будто окаменевшем лице женщины окончательно лишили Б. присутствия духа, необходимого для того, чтобы заговорить о столь банальных вещах, как стоимость украденного спортивного автомобиля; ему даже было приятно, что благодаря своему — пусть и поверхностному — знанию Берлина, а также восточнонемецкой карательной системы он может немного утешить господина вдвое старше него, который явно не привык никого ни о чем просить, а вот теперь оказался в роли просителя. Б. боялся, как бы хозяева не догадались о его подлинных мотивах. Спокойный и ровный тон в отношениях между супругами, их умение приспосабливаться друг к другу напомнили ему о несчастливой семейной жизни его родителей, и он малодушно позволил этим людям втянуть себя в разговор об их семье, их сыне. Дело дошло до того, что ему даже показали комнату этого молодого человека. В какие-то моменты Б. четко осознавал свою ситуацию: вспоминал о двух дорогих машинах, которые заметил во дворе, мысленно подсчитывал, сколько стоит дом с видом на солнечную, застроенную красивыми особняками долину, возмущался тем, что живший в таком благоденствии молодой бездельник, который мог купить себе хоть триста спортивных автомобилей, достаточно низких, чтобы проехать под восточнонемецким шлагбаумом, предпочел отнять у другого человека принадлежавшую тому — одну-единственную — машину; однако ему пришлось принять навязанную хозяевами роль — обезоруженный, он был вынужден слушать трогательную историю о любовном романе их "мальчика" и какой-то девушки из Восточного Берлина, о которой сами они не знали ничего, кроме ее имени. Когда Б. спросили, сколько же времени он пользовался своей машиной, он, уже ни на что не рассчитывая, солгал в ответ: "Недель пять от силы", не посвятив их, конечно, в подробности покупки. Вскоре дали о себе знать последствия вчерашней выпивки, усталость помогла ему изобразить равнодушие, очень хотелось поскорее уйти отсюда, он неуклюже отклонил и приглашение к обеду, и просьбу просто еще немного поговорить с ними, ощущение неудачи было настолько глубоким, что Б. даже отказался от предложения супругов возместить ему дорожные расходы — правда, он понимал, что такой отказ

повысит его реноме в глазах хозяев дома. Только на улице он уразумел, что этот сыночек богатых родителей отнял у него что-то невосполнимое: теперь он, Б., уже никогда не сможет ездить на своем любимом автомобиле по территории ГДР, ибо восточногерманская полиция наверняка заподозрит владельца помятой машины в том, что он недавно содействовал неудавшейся попытке бегства. Короче, теперь он поехать в Берлин не мог. Разве что полететь. С горя он напился, и в Целле дорожная полиция сняла его с поезда в почти бессознательном состоянии, потому что в вагоне-ресторане Б. никак не хотел освободить занимаемое им место, когда официанты накрывали столы к ужину. Вняв его настоятельным просьбам, полицейские спустя два часа все-таки посадили его в другой поезд: теперь ведь он вел себя прилично, покачивался едва заметно и больше не порывался рассказывать любому встречному какую-то невнятицу о полетах на самолете.

До половины следующего дня Б. провалялся у себя в комнате, где давно уже не было порядка, а после возвращения хозяина — в полубессознательном состоянии — воцарился совершеннейший хаос. Б. злился из-за того, что бездельничает, но боялся, что, попытайся он встать, у него закружится голова; ему не хотелось смотреть в глаза другим людям, не хотелось ни о чем вспоминать. Под вечер дурнота перешла в неодолимую, свинцовую усталость, он уже обдумывал возможные судебные меры против родителей угонщика — такие, что не повредят его репутации в родном городке; жалость к себе и различные пустые фантазии мало-помалу усыпили его. Неожиданные посетители, которым он после долгих звонков открыл, наконец, дверь, опрокинули все его планы, ибо он устыдился своей неубранной комнаты, а кроме того, после некоторых усилий опознал в гостях ту супружескую пару, в чьей западногерманской квартире когда-то познакомился с Д., — так что опять обнаружилось, что он все еще не покончил с историей, о которой больше не желал думать. Какое-то время Б. соображал, не захлопнуть ли стальную дверь прямо перед носом у незваных гостей, и был изумлен, когда они восприняли его извинения как предлог, чтобы самим заняться уборкой квартиры; они вообще обращались с ним бережно, как с больным, а между делом рассказывали о своем отпуске, который провели неподалеку отсюда, словом, вели себя как свои люди, его ровесники, хотя оба были намного старше. Б. гулял с ними, показывал им город, но о подлинной цели их приезда узнал лишь за ужином, в погребке при ратуше, когда муж, смущенно взглянув на него поверх рюмки со шнапсом, трагическим тоном произнес: "Эх, ты, бедолага!", и Б. вскинул голову так неосторожно, что его беззащитный взгляд встретился с многозначительным взглядом женщины. Глядя прямо перед собой, он позволил им с удовольствием разглагольствовать на щекотливые темы, потому что первый же глоток шнапса болью отозвался в его желудке и еще потому, что воспоминания супругов о вечеринке, на которой он познакомился с Д., наполнили его блаженным чувством тяжести. В минувшем январе Б. ездил со школьниками в Берлин, поскольку рекомендованную Министерством образования экскурсию в тот раз решили запечатлеть на фотоснимках — по случаю предстоящего юбилея школы; взрослых, которые руководили поездкой, однажды вечером пригласили к себе в мансарду эти самые супруги, сейчас наперебой вспоминавшие, как была одета и как вела себя Д. на той давно канувшей в прошлое вечеринке.

В их мансардной квартире имелся балкон, выходивший на север и нависавший над убогими блочными домами. Скорее всего потому, что стеснялся других гостей, Б. проследовал туда, чтобы побыть вдвоем с девушкой, которая не показалась ему такой самонадеянной, как остальные. "Можно я вас сфотографирую?" — спросил он после нескольких минут неловкого разговора. Но она, не смущаясь, ответила: "Зачем?" После чего, почти без единого слова, выслушала его сбивчивые объяснения — насчет необычного строения ее лица, его профессионального интереса и прочего. В конце концов Б., почти уже не рисуясь, стал рассказывать ее темному профилю о любимой профессии, в надежде своими скромными успехами произвести впечатление на эту столичную девушку; когда же он узнал, что она — гражданка ГДР, его уверенность в себе настолько окрепла, что он осмелился пригласить ее на танец (к тому времени хозяин квартиры был так же пьян, как и теперь, после двух рюмок двойного шнапса). Д. тогда разговорилась с Б., танцуя с ним, показала ему несколько новых па, а когда танцевала с другими, как бы случайно бросала взгляды в его сторону; она каждый раз выходила вслед за ним на балкон и даже согласилась вскоре снова с ним встретиться, но по дороге к электричке, в пробиравшем до костей ночном холоде, он допустил непростительную тактическую ошибку — сказал ей то, что думал на самом деле, чем ни с кем не делился: он, мол, мечтает достичь в своей профессии таких высот, чтобы его фотографии обладали выразительностью сновидений. В ту ночь Д., помнится, оттолкнула его, когда он попытался расстегнуть ей пальто, хотя и не отвела взволнованного взгляда от его лица; а уже через несколько дней затянула возвращение домой до полуночи, и ему пришлось выбирать — остаться ли у нее, рискуя навлечь на себя неприятности из-за истекшего пропуска, или не провожать девушку, с которой он вовсе не собирался так скоро ложиться в постель; может быть, необдуманное признание относительно того, о чем он мечтает, признание честное, но о котором он тотчас пожалел, а также страх перед восточногерманскими пограничниками заставили его тогда вести себя так, будто он серьезно влюблен в эту девушку, — иначе теперь гости не выражали бы деликатными намеками сочувствие по поводу его разлуки с любимой. Опершись о край стола, потому что голова его гудела от шнапса, Б. какое-то время изображал из себя страдальца — тем более охотно, что другие ему подыгрывали; но когда он заметил, как путается язык у мужа, как растерянно поглядывает на него — Б. — жена, он стал заказывать себе меньше выпивки; он не мешал своему знакомому поносить коммунистов, но сам тем временем обменивался меланхоличными взглядами с его женой. "Необходимо что-то предпринять! Вот только сумеем ли мы!" — восклицал гость, уже давно потерявший из виду и жену, и Б.: теперь он жаловался на судьбу нынешнего поколения ухмылявшейся кельнерше, и в отель его пришлось вести, держа под руки, а по лестнице чуть ли не нести на руках — в номере же он в полном забытьи рухнул поперек кровати. Б. за руку потянул женщину от края двухспального ложа к его изножью, а оттуда — на пыльный коврик, где и заставил ее раздеться, после чего познакомил с самой одухотворенной частью своего естества: задыхаясь, прижимая сомкнутые губы к ее губам и нимало не заботясь о том, пытается ли она притвориться спящей или до бесчувствия пьяной. С постели доносилось невнятное бормотание супруга. Б. было непросто терпеть все это, а потом

еще с плохо скрытой досадой выдерживать прощальные объятия и любовные признания женщины, уже на скрипучих половицах в коридоре, — тогда как теперь он с куда большим удовольствием посидел бы в одиночестве за кружкой пива, чтобы упорядочить впечатления вечера: путаные воспоминания о Д., планы мести угонщику машины, мягкие телодвижения нежданной гостьи, ее грациозная шея. Ему хотелось собрать эти мучительные фрагменты в одно — более или менее терпимое — ощущение. На следующее утро муж пришел извиняться за свой пьяный дебош, и Б. несколько секунд соображал что к чему, прежде чем опустил глаза и пробормотал что-то вроде: "Да бросьте...", хотя вчерашние насмешливые взгляды посетителей в погребке ему и впрямь были крайне неприятны и в данную минуту он ни о чем другом думать не мог.

На чеке, присланном ему по почте спустя несколько дней, была обозначена именно та сумма, которая требовалась для приобретения новой машины той же марки, что угнанная. Теперь молодой г-н Б. мог с чистым сердцем подвести черту под этой историей.

6

Уже в сентябре Д. осталась без своей комнаты.

И эту беду навлек на нее отнюдь не молодой г-н Б., когда, не думая о последствиях, пытался к ней дозвониться: из-за его раскатистого нижненемецкого говора на другом конце провода даже не поняли, какое им называют имя, и сестра, дежурившая в тот день на телефоне, просто положила трубку. Другой, роковой звонок был откуда-то из Баварии, говорил более молодой, высокий голос, и дежурила тогда телефонистка, не придававшая особого значения служебным инструкциям. Она попыталась найти Д. в отделении, но не сумела, а в последующие дни присматривалась к медсестре, поскольку ее заинтересовала эта "любовная история"; однако Д. каждый раз проходила мимо регистратуры, глядя прямо перед собой, с пустым, неподвижным лицом, — пока не потеряла комнату. А уж когда потеряла, то тем более старалась прошмыгнуть через приемный покой совсем незаметно, не поднимая глаз, едва слышно пробормотав сквозь выпяченные губы "Доброе утро" или "Добрый вечер". Вот тут-то по отделению и прошел слух о том, что Д. звонил молодой человек из Западной Германии, который очень расстроился, когда понял, что поговорить им не удастся. Д. действительно была в те дни очень подавленной, но совсем не из-за несостоявшегося разговора с "молодым человеком", а из-за комнаты.

Как-то утром Д. застала у себя двух полицейских, один был в форме, другой в штатском, один — примерно того же возраста, что она, другой выглядел ровесником ее матери; и оба начали расспрашивать ее про младшего брата — самого младшего в семье, самого уязвимого, выжившего лишь благодаря ее, Д., стараниям. Человек в штатском хотел знать, что ей известно о брате, а другой, в форме, записывал ее слова в толстую тетрадь. Д. же, наоборот, хотела узнать у них то, чего сама она о брате не знала, сколько-то времени ушло на такого рода препирательства, потом непрошеные посетители начали прохаживаться по комнате, выдвигали ящики, вынюхивали что-то в шкафах, а Д. позволила себе какую-то резкую фразу по поводу незаконного вторжения — потом-то

она объясняла свою грубость беспокойством за исчезнувшего мальчика, но полицейским до ее переживаний дела не было. Под конец эта "куколка" расплакалась, чем испортила им все удовольствие. Дальнейшие вопросы она уже почти не воспринимала: оцепенев от усталости и благодатных слез, сидела, ссутулившись, на жестком стуле, зажав ладони между коленями, и тихо плакала, вспоминая, как выглядел когда-то малыш, умещавшийся в большую сумку для покупок: за одну ручку эту сумку нес старший брат, за другую — мать, а часто и пятилетняя Д. В один из последних дней войны они брели по разрушенному Берлину, источавшему запахи запустения, мимо бог весть почему уцелевших богатых кварталов, мимо руин, вдоль железнодорожных путей — брели весь день, пока не добрались до Потсдама, до спортзала, отведенного для лишившихся крова берлинцев, и тут Д. осталась одна с плаксивым младенцем, не желавшим глотать непривычную ему похлебку из общего котла. В тот раз мать и старший брат ушли договариваться с начальством, потом мать ходила на работу, брат — в школу, они воровали уголь, добывали продукты по деревням или на берлинском черном рынке. Мать каждый день отправлялась на работу, старший брат — неизвестно куда, а ее, Д., оставляли с самым младшим, которого она кормила, учила ходить, говорить, пить из чашки, а часто и выживать на одной мороженой картошке и репе; позже она проверяла его домашние задания, ругала за грязные ногти, объясняла, как пользоваться презервативами; пыталась защищать мальчика от распустехи-матери, даже когда он учился в старших классах, выслушивала его мнения о социалистическом государстве, и этот мальчишка начинал что-то соображать, когда сестра смахивала у него челку со лба, поглядывая на него искоса, как в свое время на старшего; все это она делала не из одного лишь инстинкта семейственности, а потому, что просто не поняла отца, когда тот в своей зимней шинели высунулся из битком набитого солдатского вагона и закричал им всем: "Берегите малыша!", — всем, а не только ей; тогда, в предчувствии долгой разлуки, она никого, кроме отца, не замечала, полагала, будто отец обращается только к ней; но и потом, повзрослев, хранила верность этому почти забытому лицу, неотчетливому воспоминанию об отцовском голосе, хотя давно уже осознала, что по всем человеческим законам, и тем более по законам военного времени, он до самой своей смерти в Ноймарке был и оставался преступником и заслуживал лишь презрения, — но она-то не могла его презирать, и все ее чувства к отцу претворялись в заботу о младшем брате, пока и тот не пропал, не сбежал, не исчез без единого слова, и не потому, что отправился служить на границу, как она боялась, а, напротив, потому, что самовольно пересек эту самую границу, ушел из их страны в края, немыслимо далекие, где его уже нельзя было опекать и где он не нуждался в опеке; он пересек границу в каком-то месте, название которого в его письме к сестре было заштриховано — она не знала даже, пробрался ли он ночью через ограждение, вскарабкался ли на стену, преодолел ли минные поля или ему пришлось плыть, то и дело ныряя под воду; главное, он удрал от нее, освободился, так что и она теперь получила свободу, могла забыть о нем, могла смутно надеяться на какие-то благоприятные изменения в своей личной жизни; и эта последняя мысль осушила наконец ее слезы. Человек в форме передал ей братнино письмо, уже проверенное цензурой, уже как бы не имевшее к ней прямого касательства, а второй взял с нее

обещание, что в следующий раз, когда кто-нибудь из ее близких исчезнет, она непременно известит полицию. Визит закончился проверкой документов, тут-то и обнаружилось, что Д. заняла эту комнату самовольно, не имея на руках ордера, выданного жилищным отделом. Гражданин, покинувший свое государство, теряет право оспаривать принимаемые против него меры, какими бы строгими они ни были, поэтому полицейских чиновников возмутил наивный вопрос Д., имеется ли у них официальное разрешение на обыск, и они наказали ее за дерзость припиской от руки, обязывающей освободить жилплощадь не в конце месяца, а на две недели раньше. Теперь Д. пришлось самой просить кадровика на работе, чтобы ее поселили в сестринском флигеле, и просить долго, хотя свободных мест там было более чем достаточно. Во время переезда она почти оглохла от ярости и стыда, стесняясь, что ее вещей не хватило даже, чтобы заполнить трехколесную тачку, хотя в чемодан и сумки они не поместились; только в такси старший брат, электрик, отвлек Д. от горьких мыслей, напомнив про жалобы ее квартирной хозяйки: та, мол, не знала никаких забот с такой "положительной" фройляйн, а теперь боится, что новый квартирант — мужчина — будет возвращаться домой в подпитии, капризничать по поводу завтрака и докучать просьбами о починке белья. Потом уже Д. припомнила неспешные разговоры в коридоре, незастеленную постель, ждавшую ее по вечерам, нагретый к ее приходу чайник на плите — но и кривую улыбочку хозяйки наутро после того, как Б. оставался переночевать; сама того не замечая, она специально выискивала себе дела в том районе, только чтобы пройти мимо знакомого прохода между домами, взглянуть на выходящее во двор окно, которое теперь всегда оставалось закрытым и неузнаваемо изменилось, потому что на раме с другой стороны висела мужская сорочка (а прежде казалось таким привычным, было знаком возвращения домой, пусть одиночества — но у себя дома)...

Д. позволила своим чувствам прорваться наружу в одном письме, адресованном молодому г-ну Б., западному немцу. Вообще же она оборвала переписку с этим человеком, так как боялась вспоминать, как им обоим было хорошо еще в марте. Она упомянула, что проезжала через Западный Берлин как раз накануне сооружения Стены, чтобы ее друг понял — пусть даже это не имело никакого смысла, — как много она потеряла.

Сидя за круглым столом в общежитии для медицинских сестер, Д. — хотя ее раздражал бубнящий телевизор, отвлекали обрывки чужих разговоров — думала о том, что́ ей написать одной семейной паре, своим друзьям. Правда, сама она не решилась бы назвать себя их другом. Началось все в прошлом году: незнакомая молодая женщина, пациентка, задавала много вопросов, на которые Д. не хотелось отвечать, потому что пациентка эта была гораздо образованнее, читала книги на иностранных языках, и ее невинные подначки Д. истолковывала как пренебрежение к ней, медсестре, а удивительную готовность сразу со всем соглашаться — как насмешку. Если Д. нужно было что-то сказать, она останавливалась в изножье кровати и сжимала руками перекладину спинки; вообще же она испытывала облегчение, когда удавалось пройти мимо этой больной, не обменявшись с ней ни единым словом. Д. казалось, будто все интеллектуалы — как ее сослуживцы-врачи — смотрят на нее сверху вниз. А когда с ней заговаривали врачи, лицо ее застыва-

ло и смотреть им в глаза она не могла. Поэтому она очень удивилась, когда вскоре после выписки эта пациентка прислала ей открытку с приглашением в гости. Открытка пришла именно на ее имя, а не к кому-то из врачей, так часто без особой надобности задерживавшихся возле кровати больной. Д. надела самое нарядное платье. Она думала, что попадет в обычную квартиру, и смутилась, когда подошла к просторному садовому участку с домом на одну семью. Впрочем, к ее визиту специально не готовились: хозяйка занималась починкой вещей, муж, примерно одного с ней возраста, сидел тут же у стола; когда вошла гостья, он лениво приподнялся, после чего снова сел и устремил неподвижный взгляд на стакан, из которого что-то пил маленькими глотками, как пьют лекарство. Д. с трудом поддерживала ни к чему не обязывающий разговор. Хозяйка сказала, что родилась не в Берлине, а в Штральзунде, это такой город на балтийском побережье, и обучалась в нескольких северонемецких университетах. После переезда в Берлин ей долго казалось, что здешние полицейские, продавщицы и соседи говорят неправильно. Прожив здесь целый год, она так до сих пор и не привыкла к здешним порядкам... Череп у этой женщины был почти круглой формы, но лицо, обрамленное черными волосами, — узкое, глазные впадины — неглубокие, уголки рта непрерывно двигались, словно она вот-вот рассмеется, хотя рассказывает как будто про свои неприятности; а когда она внезапно поднимала голову и бросала на Д. быстрый взгляд, та от гордости и удовольствия каждый раз откидывалась на спинку кресла. Деревянный дом, где обосновались супруги, был взят в аренду у государства, мебель вполне могла бы красоваться в витрине модного магазина, причем западного, а не восточного, в гостиной они ничего не стали менять, словно не рассчитывали остаться здесь надолго, — но Д. поддалась обаянию этого теплого островка посреди зимнего городского пейзажа, светового конуса над столом, заваленным приготовленными для починки вещами, атмосферы взаимной терпимости и налаженного домашнего быта. Незаметно для себя она начала рассказывать о своей матери, которая вот уже много лет мечтает вернуться в Берлин — причем непременно в тот квартал, где они жили, пока он не был разрушен; вспоминала Д. и резную дверь их дома, игру в классики на массивных плитах тротуара, единственное дерево на запущенном заднем дворе; и хотя она только и могла сказать: "Мне это нравится", или: "Не знаю, как бы я в другом месте...", она не сомневалась, что здесь ее поняли. Лицо мужа она помнила плохо, даже теперь, когда прошло столько времени после их первого знакомства: знала только, что у него толстые щеки и глаза-щелочки, некрасиво увеличенные стеклами очков; а еще ломкий, высокий голос и дыхание, которое выдает предрасположенность к астме. В тот раз он молчал, даже не пошутил, когда женщины заговорили о выкройках и адресах западноберлинских магазинов, — вальяжно сидел в кресле, уставившись на свой стакан, как будто искал там что-то, чего другие не видели; и у Д., когда он вдруг начал расспрашивать ее о работе, опять напряглась спина, она передвинула у себя на коленях нелепую сумочку, потому что привыкла, что новые знакомые только просят у нее советов по поводу своих недугов, чем разговор обычно и ограничивается. Однако на сей раз хозяин дома, внимательно выслушав ее рассказ, как ведутся истории болезней, сказал, что куда удобнее было бы заносить данные в ЭВМ, и, раздосадованный, перейдя на саксонский диалект, начал со-

поставлять общее состояние восточногерманского общества с достигнутым в нем уровнем информационной оснащенности, заговорил о переписях населения, которые проводил еще библейский Ирод, и создал из всего этого совершенно невообразимую теорию — вздорную, но забавлявшую Д., которая, как ни странно, понимала логику своего собеседника, хотя и не разделяла его надежды на возможность улучшения нынешней ситуации. Возражать ему она не посмела и домой ушла в полном смятении: ей еще никогда не доводилось переживать что-либо подобное при первом знакомстве. Д. полагала, что оттолкнула этих людей своей необразованностью и глупостью, но они пригласили ее и во второй, и в третий раз, приглашали и тогда, когда у них были другие — похожие на них — гости, которые обсуждали перспективы на будущее и общие теории государственности, то и дело пересыпая свою речь словечком "дерьмо"; Д. каталась с супругами на яхте, выезжала на загородные прогулки, перешла с обоими на "ты", приняла их предложение погостить у них несколько дней, все еще не до конца веря в их дружбу. Ей казалось, будто ее принимают здесь по недоразумению, и это вскоре обнаружится. При первой возможности она уходила на кухню, чтобы намазывать бутерброды, открывать бутылки, мыть посуду и таким образом уклоняться от разговоров, ибо новые друзья интересовались ее взглядами на ту или иную проблему, а она стыдилась своих немудреных ответов. Ей казалось странным, что она может иметь что-то общее с государственным служащим, который работает не руками, а головой, то есть отсиживает рабочее время в кабинете, ничем не занимаясь — потому что от обыкновенной работы его освобождают дорогостоящие механизмы, — и одержим идеей, что при самых малых переменах в системе руководства, осуществленных благодаря одному лишь техническому прогрессу, в их стране будет достигнут качественно иной уровень жизни. Книжные стеллажи, разбросанные повсюду стопки журналов, рукописи и диаграммы внушали Д. робость; она не могла преодолеть своего отвращения к алкоголю, которым этот человек неустанно накачивался, что, как ни странно, не сказывалось ни на его умственных способностях, ни на внешнем виде; она не до конца понимала какие-то простые вещи, связанные с жизнью этих людей; ей нравилось, что, прощаясь, супруги обнимают ее — пусть и немного нарочито, словно актеры на сцене, — но все равно она себя чувствовала с ними не очень уверенно. Своим западноберлинским друзьям, чете педагогов, она не хотела демонстрировать этих знакомых — а этим не говорила о тех. Одна пара непременно сочла бы другую просто смешной: одной показалась бы нелепой вера в будущее Восточногерманского государства, другой — незнание элементарных общественных законов, склонность под воздействием алкоголя громко и плаксиво жаловаться на бессмысленность жизни, выражая свои путаные мысли заплетающимся языком... Потом Д. познакомилась с Б. Его она тоже не приглашала к своим восточноберлинским знакомым, да и тем не рассказывала про него, хотя по-прежнему часто в свободные дни сидела на террасе красивого деревянного дома, по мере сил участвуя в неторопливых, ироничных разговорах. Она даже как-то показала Б. фотографии этого дома, но о живущих там друзьях умолчала. Так продолжалось примерно года полтора, до последнего лета, когда супруги отправились в научное турне по Западной Европе. Оттуда они прислали Д. письмо, в котором, во всех подробностях,

но посредством намеков — расспрашивали ее о жизни за Стеной — словно не могли для себя решить, стоит ли им возвращаться. Этого Д. понять не могла. Она видела, конечно, что их дом — в том числе в ванной и на кухне — заполнен вещами, привезенными из Западного Берлина: супруги умывались только западным мылом, писали только на западногерманской бумаге... Но ведь, с другой стороны, они всегда говорили, что жизнь на Западе лишена какой бы то ни было перспективы. Д. казалось, будто ее бросили в беде, поскольку до сих пор она безоговорочно верила в искренность их высказываний на эту тему. Она попыталась сочинить письмо с язвительным советом вернуться в ту действительность, на которую — по их же словам — они сделали ставку; но тут же с грустью подумала, что теряет самых близких друзей — теперь ей не стоило труда мысленно произнести эти слова. Она сидела в гостиной сестринского флигеля, перед мерцающим экраном телевизора, по которому транслировали выступления западногерманских политиков. Устало откинув голову на спинку кресла и машинально следя за сменой этих никак не влияющих на ее жизнь кадров, она обдумывала ответ своим друзьям. Чтобы не оставаться в одиночестве, она отправилась с другими девушками на прогулку, которая завершилась в какой-то чужой квартире горькими пьяными разговорами; и лица собравшихся там людей, и их голоса Д. забыла сразу же, не успев заснуть. На другой день в обеденный перерыв она раздобыла открытку с портретом главы Восточногерманского государства. И написала в Амстердам: "Мне плохо", и еще: "Дрянная погода, видно, установилась надолго", — написала без всяких эмоций, трезво, словно смотрела на себя со стороны. У почтового ящика она попыталась представить лица друзей, которых — после такого письма — никогда больше не увидит, попыталась вспомнить о проведенном с ними без толку растраченном времени, однако это не помешало ей все-таки бросить открытку в ящик.

Она затылком чувствовала какое-то странное ощущение, такое же, как когда ее выгнали из школы и она в последний раз спускалась по прохладной — дело было в мае — мраморной лестнице старого гимназического здания, будто для нее прямо сейчас должны были начаться каникулы. Это воспоминание, неуловимое, как полузабытый запах, таило в себе что-то очень для нее существенное — одно из неразложимых на составные части впечатлений детства? — но и оно не могло ничего изменить.

Та осень — когда Д. позже оглядывалась назад — казалась "слепым", беспамятным временем, хотя Д. уже несколько недель работала в платном отделении, а потому была не особенно загружена и могла бы подумать о том, что с нею происходит. Сама она не добивалась, чтобы ее сюда перевели. Считалось, что работать здесь лучше, но здешние пациенты были более требовательными, ежедневное общение с заведующим утомляло Д., сюда не доходили слухи, распространявшиеся по другим отделениям, а здешний приемный покой, хотя выглядел солидно, был словно наглухо отделен стеклянной стеной от остальных помещений больницы. Место досталось ей случайно: работавшая здесь сестра внезапно исчезла — внезапно по крайней мере для Д., которая осознала это не сразу. Переселившись в сестринский флигель, Д. начала ездить по городу на довольно большие расстояния, а иногда и ходить пешком, будто у нее имелись какие-то планы, какие-то намерения. На самом деле

она не знала, чего хочет. В голубой черепичной крыше, под которой обитали сестры, были прорезаны полукруглые мансардные окна, оттуда Д. могла смотреть на север, на стену вокруг больничного участка, на голубоватые квадраты огородов, на уже затянутую туманной дымкой застроенную деревенскими домами улицу и лес вокруг квартала особняков, давшего имя всему пригороду. Часто она отворачивалась от окна, спускалась по лестнице похожего на соты строения по покрытым грязным линолеумом выщербленным бетонным ступенькам: выйдя через заднее крыльцо, шла вдоль обрамленного изгородями шоссе до автобусной остановки, и всякий раз ее поражала разница — в освещении, запахах, шумах — между больницей и уличной жизнью, внешним миром. Она вроде бы выходила погулять, чтобы собраться с мыслями, но цветовые оттенки железнодорожного моста, и товары, выставленные в витринах, и клубы пара над каналами улиц, и внешние различия между пешеходами вовлекали ее в водоворот полуосознанных воспоминаний, смутных ощущений, восприятия — на элементарном уровне — красок и звуков, которые, можно сказать, оглушали ее. Светлое пальто и руки, засунутые в карманы, придавали ей решительный вид; неплотно сжатые губы, гордая посадка головы — из-за всего этого прохожим, встречавшимся с Д. взглядом, она не казалась рассеянной, скорее, наоборот, целеустремленной. Между тем ехала ли она на трамвае, поднималась ли, увлекаемая потоком пассажиров, на платформу городской электрички или приглядывалась к своему отражению в мутном оконном стекле автобуса, ее не покидало ощущение, будто все это — только подражание тому периоду ее жизни, когда она жила более активно, когда действительно целеустремленно спешила из одной части города в другую, чтобы, например, забрать туфли из починки или любимое платье из химчистки, чтобы купить вино и пластинки с новыми записями: ради того момента, когда время наконец замедлит свой бег, шаги на лестнице станут слышнее и уже можно будет догадаться, что приближающийся мужчина — не кто иной, как Б., когда он, с пакетами под мышкой, наклонится к дверному звонку, и тогда она прижмет к виску светлые волосы, словно защищаясь от подступающей боли и даже не пытаясь делать вид, будто поправляет прическу; кроме того, ее нынешние бесцельные разъезды и праздные прогулки отчасти объясняются (так полагала она) неутолимым любопытством к городу, в котором она живет, — Д. словно хотела по внешним приметам распознать происходящие в нем внутренние изменения; вот так же и в школьные годы она уходила из дому, в город, чтобы отсрочить выполнение домашних заданий, уходила в поисках новых впечатлений, разговоров, интересных фильмов и вообще чтобы "сменить обстановку" — еще задолго до того, как поняла, что "менять обстановку" стало для нее привычкой. Так и теперь она просто пыталась уклониться от неприятных мыслей, удержаться от которых не могла, — спасаясь бегством, чтобы не принимать решения: она как бы вычеркивала что-то в своем сознании и переключалась на другое — первое, что ей попадалось. Так, она часто звонила у двери старшего брата, будто бы затем, чтобы помочь его жене по хозяйству, но эта не особенно усердная помощь обычно соединялась с ни к чему не обязывающими разговорами о работе, о семейных делах, о новых покупках; Д. больше нравилось, когда взрослых дома не было — брат на очередной стройке делал электропроводку, жена его тоже где-то подрабатывала продавщи-

цей, чтобы поскорее скопить деньги на телевизор или автомобиль; Д. приводила с улицы их дочку, снимала с ее шеи ключ и, войдя в квартиру, начинала как заправская уборщица пылесосить в обеих комнатах, или занималась мытьем посуды, или даже мыла себе голову, если, случайно дотронувшись до виска, не погружалась сразу в воспоминания, а только отмечала для себя, что волосы стали жирными. Ей достаточно было увидеть невесткину корзинку для рукоделья, чтобы ожили прежние мечты о собственном доме, а стоило бросить взгляд на вечернюю улицу, на светящиеся глубоко внизу, на углу, витрины булочной и продуктовой лавки, как в сознании всплывала картинка: западноберлинская улица, по которой Д. идет под моросящим дождем, одна, или со школьными приятелями, или с Б., вдоль освещенного фасада, в как будто бы вырезанном из ночного неба скошенном треугольнике теплого света, — потом она вместе с племянницей гуляла вокруг квартала, пока не находила какого-нибудь соседского ребенка постарше, который соглашался до прихода родителей присмотреть за малышкой. Но навещать племянницу слишком часто Д. не могла, иначе невестка вообразила бы, что ее укоряют за нерадивость в хозяйстве, да и вообще в их кругах не особенно поощрялась так называемая взаимовыручка. Как-то раз, увидев витрину с пластинками, Д. вспомнила ритуал посещения концертов и очень скоро уже стояла перед дверью одной своей сослуживицы, которая не только всегда участвовала в рождественских мероприятиях евангелической общины, то есть вместе с другими сестрами пела в больничных коридорах, но и когда в больницу приезжали с концертом настоящие артисты сидела в первых рядах, нарядно одетая, с потемневшими от возбуждения карими глазами, — в такие моменты она казалась немного смешной, но вообще была девушка надежная, отзывчивая, знакомая Д. еще со времен их совместной практики в церковной больнице и вполне достойная того, чтобы нанести ей визит, пусть и не имеющий особого смысла. Эта девушка подошла к двери лишь после второго звонка и распахнула ее с таким выражением лица, которое Д. наверняка истолковала бы как испуг и досаду, если бы не думала исключительно о том, как бы поправдоподобнее притвориться, что она заглянула к приятельнице просто "по дороге", на минутку; Д. жизнерадостно произнесла: "Привет", даже не заметив, с какой поспешностью подруга втянула ее за руку в переднюю и потом снова заперла входную дверь. Голова подруги была обмотана китайским полотенцем, из-под которого ей на плечи, на комбинацию капала вода; подруга, похоже, еще не успела домыть голову, и Д., хотя никто ее не просил, прошла за ней в ванную комнату. Ванная была небольшая — из тех, что строились в эпоху грюндерства[1]; позже от нее еще отрезали кусок, чтобы выкроить каморку для кухарки, так что она уменьшилась вдвое, освещалась и проветривалась через узкую форточку, которую приходилось открывать и закрывать с помощью специальной железной палки. В этот закуток проникал со двора серый дневной свет, слабая лампочка прибавляла немного блеклой желтизны, отчего, в общем, не становилось светлее, но Д. быстро наловчилась менять температуру воды в кранах, ополаскивать из гибкого шланга волосы приятельницы, придерживая ладонью ее лоб, чтобы защитить глаза

1. То есть в 1871–1873 гг., в период быстрого экономического подъема после создания Германской империи и окончания Франко-прусской войны. (*Прим. ред.*)

от мыльной воды, как они в свое время делали, помогая друг другу, в школе медсестер. Изменившийся цвет волос подруги она заметила, лишь когда та выпрямилась и стала причесываться под лампочкой, с закрытыми глазами, потому что струйки воды, словно слезы, все еще стекали по размякшему лицу. Д. с присущей ей иногда бесцеремонностью сразу схватила бутылочку с заграничной краской для волос, посмотрела на этикетку и уже собралась было открыть рот, но тут ей пришлось догонять полуголую подругу — та, выскочив в коридор, прошмыгнула мимо дверей других квартиросъемщиков в свою комнату, которая почему-то оказалась — средь бела дня — отгороженной от улицы темной шторой. Д. помогла приятельнице высушить волосы феном, приняла у нее из рук трусики и бюстгальтер, подала ей другие, заранее приготовленные, — чересчур тесные для такого плотного тела и уж больно нарядные: черные, с модной отделкой; но попутно она поучающим тоном толковала про какую-то парикмахерскую, где подругу покрасили бы куда профессиональнее, где бы никогда не порекомендовали темную краску девушке с рыжеватым оттенком волос и бледной веснушчатой кожей; подруга же, стоя перед зеркалом и наморщив лоб, сперва что-то лениво возражала по поводу моды и вкуса, потом обернулась, смерила Д. недовольным взглядом и сказала чуть ли не с сожалением: "Ах, знала бы ты..."; Д. обиженно извинилась, что лезет не в свое дело, и спросила, не лучше ли ей уйти. Но подруга удержала ее, и Д. помогла ей надеть праздничный костюм, а потом еще успокоила эту дуреху — опустившуюся на колени, чтобы Д. могла получше все рассмотреть, — насчет того, что волосы у нее прокрасились до самых корней; потом Д. спустилась по лестнице и долго ждала замешкавшуюся подругу в подъезде, подозревая уже, что та задумала кого-то разыграть. Расстались они на перроне подземки, и лицо той, другой, казалось до того бледным, удивительного цвета волосы были так замысловато зачесаны кверху и уложены вокруг головы — ничем не напоминая привычный простоватый пучок, закрепленный шпильками, — а пальто и сумочка смотрелись настолько экстравагантно, что, когда подъехала электричка, Д. показалось, будто она, Д., машет вслед чужой женщине. Переодетая и изменившая свою внешность подруга сумела, как выяснилось впоследствии, бежать через границу, миновав пограничный контроль, а перед тем бросила в почтовый ящик письмо, адресованное больничной администрации, с заявлением об уходе: поступок, уместный в любом случае — и если попытка побега удастся, и если она закончится арестом с последующим обвинительным приговором. Эта подруга работала в платном отделении (куда и перевели Д. спустя три дня после той памятной встречи), из Западного Берлина она прислала открытку с сообщением о своей помолвке — начальнику отдела кадров, а не Д., чтобы ту не заподозрили в пособничестве, поэтому на ближайшем профсоюзном собрании Д. могла, ничего не опасаясь, выступить седьмой по счету и произнести то, что от нее требовалось: она, мол, решительно не понимает такого поведения и не одобряет его.

"Клиент вызывает, клиент вызывает!" — кричали в "первом классе", когда в очередной раз звенел звонок и на старомодном ящике, что висел над дверью сестринской комнаты, откидывалась дощечка с указанием номера палаты. Выражение "первый класс" употреблялось намеренно, дабы пациенты ценили, что их курирует главный врач больницы, и

не задумывались о весьма среднем качестве бытового обслуживания; в официальных бумагах это отделение обозначалось просто "1б", оно представляло собой обычный коридор с палатами, в которых после войны долго еще стояло по четыре или пять коек, но потом число мест сократили до одного-двух. Отделения "1а" не существовало вовсе, поскольку раньше оно располагалось в другом крыле здания, сильно пострадавшем в результате бомбежки, и в итоге это обозначение — "1а" — в буквальном смысле лишилось всякого основания. Пациенты "первого класса", которых было немного, страдали от обычных, широко распространенных недугов, и Д. пришлось лишь немного расширить свои медицинские познания, запомнив особенности таких болезней, как, скажем, склероз коронарных сосудов, малокровие, рак, классические нарушения кровообращения; правда, здешние клиенты, избалованные ее предшественницей, терпеливой, как все сестры-христианки, ожидали, что и новенькая, более молодая сестра обеспечит им обслуживание, как в хорошем отеле, и будет потакать их капризам; однако вскоре они убедились, что имеют дело со строгой, можно даже сказать, несокрушимой особой, которая, не злоупотребляя резким тоном, а часто даже с приветливой улыбкой, выполняет все необходимые процедуры, не пускает в палаты продавщицу газет, сама приносит письма и печатные издания, умеет даже с пожилыми больными вести себя так, словно превосходит их годами, по-матерински снисходительно относясь, например, к их желанию выпить поутру холодного пивка; а уж после того, как два государственных чиновника, словно школьники, позволили застукать себя на месте преступления, когда курили в палате, и Д. в наказание начала обслуживать их строго по правилам, не задерживаясь ни на одну лишнюю минуту, авторитет ее окончательно утвердился, и даже оба пострадавших приятеля не скрывали своего интереса к ней, обсуждали ее фигуру, ее строгий характер, шансы договориться о свидании после выписки — независимо от того, давно ли их навещали женщины или не далее как вчера; все теперь единодушно сходились во мнении, что Д. — не по годам серьезная и ответственная девушка. Старшая сестра, у которой хватало дел в других отделениях, ограничилась тем, что дала самые необходимые указания, не заботясь, как Д. будет налаживать контакты с больными; спустя неделю она уже спокойно оставляла Д. одну, и все во время дежурства новой сестры вели себя до того тихо, что даже из дальнего конца коридора можно было услышать шорох бумаги или звяканье стаканов за двойными металлическими дверями палат. На дворе стоял поздний сентябрь, воздух казался пьяняще свежим, кухонные запахи из подвала — ощутимыми даже на верхних этажах, краски — более яркими, чем всегда, а выцветшая ограда больничного участка, пожухлая листва и халаты прогуливающихся по парку больных сливались в живописную, мирную картину. Во второй половине дня Д. иногда сидела у окна, положив руку на теплый подоконник, и курила, ни о чем не думая. Здесь, на новом месте, ей даже помогали сестры-практикантки, которые побаивались ее, считая более "пробивной", чем она была на самом деле; здесь, в отличие от других отделений, она могла уйти с работы в ту самую минуту, когда ее смена заканчивалась; но со временем Д. начала немного задерживаться, чтобы дождаться профессора. Ей каждый раз хотелось кое-что у него спросить. Его кукольное лицо, расплывшееся с возрастом, но сохранявшее еще детское выражение, ей не особенно нрави-

лось, она находила смешным и то, как широкий, с ладонь, брючный ремень делит его короткое тело на два тугих полушария; Д. и сама себе не нравилась, когда помогала профессору натянуть пальто на вечно сгорбленные плечи. И тем не менее уже одно появление этого человека доставляло ей какое-то меланхоличное удовольствие, наполняло ее предчувствием радости: может, все дело было в подобострастной свите профессора, сопровождавшей его после утренних лекций, или в том, с каким отсутствующим (из-за внутренней собранности) видом он останавливался у постелей больных, или же в том, что часто он казался подавленным, ходил с опущенной головой, лишь слегка приподнимая ее, чтобы метнуть хмурый взгляд из-под густых бровей. Однако, когда перед обедом он выпивал в сестринской комнате стакан джина с морковным соком, рядом с ним неизменно оказывалась старшая сестра, и он лишь изредка, почти незаметно, взглядывал на других стоявших вокруг женщин. Предшественницу Д. он не упоминал. Но и в Д. не узнавал ту сестру, которая перед закрытием границы привозила ему из другой части Берлина нужные медикаменты. Теперь он расспрашивал Д. о поведении больных, дотошно и раздраженно, как на экзамене. Уже через несколько дней после своего перевода сюда Д., издали завидев фигуру профессора, готова была истолковать его брошенный вскользь взгляд как обращенное лично к ней приветствие — но ведь он даже не замедлял шага. Она с удовольствием спросила бы его, что он думает о ее предшественнице, пожертвовавшей рабочим местом ради любовной связи. Она хотела бы, чтобы он спросил что-нибудь о ней самой, как спрашивал о состоянии пациентов. Она была до смешного ему предана — она чувствовала, что может ему доверять.

В период, о котором идет речь, она, сама того не замечая, все больше и больше отдавалась во власть эмоций, хотя раньше профессиональные навыки и знания предохраняли ее от жалости к больным. Теперь же у нее часто в критических ситуациях сжималось горло, а если она пыталась набрать в легкие побольше воздуха, чтобы взять себя в руки, на глазах выступали слезы. У нее в отделении лежал один почечный больной, молодой человек, который после многих госпитализаций, проигнорировав строжайшие запреты врачей, устроил себе "пивной загул", после чего для него уже не оставалось иного пути, кроме как на больничную койку, застеленную казенными простынями, оттуда — на операционный стол и, наконец, в одноместную палату для умирающих. Газеты интересовали этого молодого больного куда меньше, чем можно было ожидать, судя по общественному положению его отца; он почти не двигался, несмотря на все уговоры, и не нажимал кнопку вызова, даже если нужно было поправить подушки; он пребывал в каком-то оцепенении, с каждым днем словно съеживался, уменьшаясь в размерах, становился все более вялым, так что все, даже не обладая специальными медицинскими знаниями, понимали: жить ему осталось недолго; только мать его еще на что-то надеялась, выискивала малейшие признаки улучшения и хотела, чтобы Д. с ней соглашалась; противоречить ей не имело смысла, если человек глуп, тут уж ничего не попишешь, и Д. действительно старалась ее успокоить, когда эта женщина приходила еще до обеда в своем нелепом, по-зимнему темном пальто и, присев на одно из жестких плетеных кресел вестибюля, дожидалась под портретами главы государства и его заместителя, когда наконец ее пустят в палату сы-

на; женщина поворачивала добродушно-растерянное лицо и провожала глазами (сквозь мутные стекла очков) каждый белый халат, попадавший в поле ее зрения, — но почему-то не появилась в больнице именно в то утро, когда ее тридцатилетнее дитятко в третий раз легло на операционный стол и там испустило дух. Д. с необъяснимой настойчивостью добивалась и добилась-таки того, чтобы до прихода родителей покойного оставили в знакомой им палате, но сама спряталась куда-то, когда мать выходила оттуда — со спокойным, чуть ли не удивленным лицом, как рассказывали другие сестры. ("Сами-то мы ревмя ревели".) Жалость побуждала Д. обращаться ласково, почти как с родной сестрой, и с другой больной, примерно одного с ней возраста, актрисой, которая через несколько дней после разделения города была доставлена к ним с диагнозом "алкогольное отравление" и которую утихомиривали посредством лекарства, не отключавшего только самые необходимые связи между нервными окончаниями и мозгом, так что она постоянно пребывала в состоянии сонного отупения. Когда дозу уменьшали, больная, несмотря на свое оцепенение, испытывала безудержную тягу к алкоголю, и от возбуждения, которое было неосознанной формой страха, могла в любой момент забиться в судорогах; в таких случаях Д. поспешно вскакивала с края кровати, а лишенное сознания тело больной дергалось, лицо искажалось настолько, что одним своим видом причиняло боль, заставляло чувствовать сострадание, — затем судорожные движения становились еще более резкими, как у марионетки, и, наконец, руки и ноги замирали в самых немыслимых положениях. ("Я словно участвовала в борцовском поединке!" — говорила актриса, придя в себя.) В палату к ней Д. каждый раз заходила, волнуясь, чего с ней не случалось со времен обучения на сестринских курсах, но — одновременно — и с каким-то странным любопытством к этой больной, без всякой зависти удивляясь ее стройности (в те годы очень ценившейся), которую еще больше подчеркивала грубая больничная сорочка. Д. постепенно привыкла разговаривать с лежавшей без сознания девушкой, когда перестилала ей постель или переодевала ее, утирала пот с лица; и всегда убирала со лба черную челку, хотя больная специально стриглась "под пони", — так что она очень легко перешла на дружеский тон, когда та начала смотреть вокруг осмысленным взглядом, пусть еще и не отвечая на вопросы. Д. хотелось разобраться и в ее болезни, которую врачи, когда заходили в палату, определяли лишь в самых общих чертах как "вегетодистонию"; она попыталась понять что-то по выписываемым лекарствам и их характеристикам в фармакологических справочниках — и вскоре даже лучше, чем сама больная, представляла себе, что та ощущает сильные, но трудно локализуемые толчки в затылке, что у нее во рту неприятный металлический привкус, что она может закричать в голос от малейшего шума; а ведь Д. в этой больнице общего профиля прежде не приходилось сталкиваться с нарушениями вестибулярного аппарата, неукротимой рвотой и затрудненным дыханием. Каждый раз в начале фазы расслабления, которая обычно без всякого перехода следовала за фазой повышенного возбуждения и беспокойных ночей, пациентке прописывали более простое лекарство, которое не отключало ее сознание полностью, а только притупляло восприятие, и вот в один из таких спокойных периодов она слабым голосом заговорила с Д., да так, словно бы и раньше понимала больше, чем можно было подумать, судя по ее редким кивкам или отри-

цательному покачиванию головой. Она спрашивала, как выйти отсюда. Потом, видимо, захотела отблагодарить Д. за полученные разъяснения и выдвинула ящик тумбочки — так резко, что он вместе со всем содержимым полетел на пол. Испугавшись, больная умолкла, но вскоре снова возобновила свои невнятные расспросы. Она, кажется, полагала, будто ее держат взаперти, в каком-то заведении наподобие тюрьмы. И, хоть и не доверяла сдержанным объяснениям Д., время от времени все-таки задавала ей вопросы, пугающе внезапные, сопровождая их хитрым взглядом, который придавал ее лицу ребячливое выражение; но постепенно она все же осознала, что находится в больнице, стала требовать вина и сигарет, причем таких сортов, которые продавались лишь в западной, отрезанной части города, никаких возражений слушать не желала, пыталась даже подольститься к Д., опять-таки как ребенок, — обнимала ее и притягивала к себе, возбужденная, даже не отдавая себе отчета в том, что ее бормотание понять невозможно. Потом вдруг раздраженно отворачивалась, ее изящное личико как бы каменело, и до следующего дня все попытки заговорить с ней ни к чему не приводили. Ее никто не навещал, как будто в этой палате она нарочно пряталась от остального мира; правда, регулярно — дважды в неделю — Д. вызывали в приемный покой, к телефону, и в трубке звучал голос мужчины, который кратко справлялся о самочувствии больной, но, похоже, особо за нее не тревожился. Покой и курс лечения, рассчитанный на снятие повышенной возбудимости, мало-помалу делали свое дело, и вскоре пациентка уже смотрела осмысленно, когда к ней обращались по имени, которое написала на табличке в изножье ее кровати еще предшественница Д.; но чем больше воспоминаний всплывало в сознании больной, чем дальше могла она углубиться в свое прошлое, тем более подавленной и сентиментальной становилась, хотя ее расположение к Д. не убывало, она даже настаивала на том, чтобы Д. присутствовала при ее безумных, совершенно безудержных отрывочных монологах, из которых лишь постепенно сложился связный рассказ — об одной улице в Западном Берлине, и доме, и комнате, и мужчине с таким-то именем; каждый раз все сводилось к тому, что Д. должна доставить туда вызубренное наизусть послание, в какие-то дни оно состояло из сплошных ругательств, к каким прибегают восточногерманские журналисты, в другие — из страстных объяснений в любви; но, главное, больная не верила, что государственная граница перекрыта, она винила в своей изоляции больницу и придумывала дичайшие ухищрения, чтобы обмануть вахтера, которого, очень может быть, принимала за тюремного надзирателя. Д. не мешала ей выплакаться, а на следующий день всегда старалась утешить, смеялась над ее угрозами покончить с собой и в разговорах с другими сестрами постоянно принимала сторону этой девушки. Других возмущало, что актриса, которая на государственной киностудии часто снималась в фильмах, изображавших Западную Германию и Западный Берлин в весьма неприглядном свете, теперь ломает комедию и вытворяет бог весть что из-за разлуки с каким-то западноберлинским ухажером; припоминали ей и "дурные деньги", которые она, видно, получала за свое актерство, коль скоро теперь может оплачивать (на протяжении целых пяти недель) ежедневные визиты главврача и, сверх того, лежать в отдельной палате, — им не нравилось, что "эта цаца" ведет себя так, будто она единственная, кому пришлось разлучиться с человеком, без которо-

го ей и жизнь не в жизнь. Д., если при ней велись такого рода разговоры, иногда кивала головой, вставляла "да" или "нет", но по большей части отмалчивалась, а когда пациентку выписывали, успокоила ее, подтвердив, что та все время лечения находилась в полузабытьи и не проронила ни слова. Актриса вновь и вновь переспрашивала ее, на самом ли деле так оно и было, пока шофер не распахнул наконец дверцу машины. Д. жалела эту девушку, понимая, что она неминуемо снова начнет пить, попадет в другую больницу, и тогда ей будет еще труднее выкарабкаться; раньше Д. никогда не была такой жалостливой. Она немного стыдилась своих теперешних — слишком острых — реакций на болезни и неприятности других людей. И при этом удивлялась собственной уравновешенности, тому, что после пресловутого августа способна оставаться в ладу с собой. Все это происходило в начале октября.

Она стала получать из Мюнхена весточки от младшего брата, но он посылал ей только цветные открытки, на которых было достаточно места для фотографий достопримечательностей, но слишком мало — для его полудетских закорючек, так что толком объяснить, как у него дела, он не мог, а лишь заверял ее в том, что чувствует себя отлично (будто кто-нибудь в этом сомневался). Он, правда, написал, что хотел бы учиться дальше, а не довольствоваться местом подсобного строительного рабочего. Д. не нашлась, что на это ответить, и переслала открытки, которые, как ей показалось, выражали растерянность, матери — в Потсдам. Тем не менее она отправила брату по почте — как он просил — свидетельство о рождении, подклеив его к обложке альбома с фотографиями восточноберлинского зоопарка, что по закону считалось пособничеством при побеге и влекло за собой уголовное наказание; уже из одного этого мальчик должен был бы понять, что́ он натворил, поддавшись своему эгоизму и разочарованию в родном государстве. О жизни среднего брата Д. знала только по слухам: он вроде бы продал мотоцикл, его часто видели пьяным, он иногда появлялся на людях с новой девушкой; ни домой, матери, ни сестре и брату он больше не писал, с тех пор как переселился в строительные бараки, да и на письмо Д. тоже не ответил. А со старшим Д. и вовсе разошлась. Никакой ссоры между ними не было — просто обмен репликами перед бормочущим телевизором, за который брат уже сумел выплатить первые взносы. Д. спросила про ребенка, потому что днем не нашла его на улице. Оказалось, девочку — ее племянницу, ее крестницу — теперь на весь день запихивали в детский сад, под портреты главы государства; малышка хвасталась, как много там игрушек, и уже выучила наизусть стишки, в которых "счастье родной страны" рифмовалось с "приходом весны". Д. только и сказала: "Особой надобности в этом не было. Там и без твоей дочки тесно". Но брат неожиданно ответил, что считает свою — тихую и непроезжую — улочку опасной, что девочка благодаря усилиям воспитательниц стала послушнее; а потом, увлекшись западногерманской игрой-угадайкой, которую транслировали по телевизору, даже не заметил, как сестра поднялась и прошла у него за спиной на кухню, будто бы чтобы помочь невестке вымыть посуду. Потом Д., стоя в дверях ванной, наблюдала, как девочку купают и переодевают на ночь. Она хоть и обиделась на брата, все же была бы рада, если бы он с ней заговорил. Но этого не случилось. И с того самого дня она чувствовала себя изгнанной из братниной семьи, с этого освещаемого по вечерам уютного островка, надежно защи-

щенного наличием сберегательной книжки и расписок о вовремя внесенных платежах, привычным распорядком выходных и праздничных дней, обоснованными надеждами на мирное обывательское житье; Д. не осмеливалась рассказать здесь, для чего некоторые женщины перекрашивают себе волосы в неподходящий цвет, стеснялась заходить в детский сад, вообще все реже к ним заглядывала. Она не знала, как распорядиться свободным временем, казалась себе одинокой, никому не нужной, порой подумывала, не съездить ли на выходные в Потсдам, к матери, но из-за своей нерешительности так и не собралась, а ко дню рождения старушки, злясь на собственную сентиментальность, за неслыханные деньги купила ей кожаную сумочку, какие, по ее мнению, носили в тридцатые годы.

Она все еще ломала себе голову, пытаясь истолковать молчание молодого г-на Б., западного немца. Она не могла поверить, будто он не пишет ей только потому, что один раз она намекнула на свое нежелание получать от него письма. Из Западного Берлина пришла, правда, открытка, исписанная печатными буквами, но ведь Д. знала только обычный, "письменный" почерк своего друга, к тому же многие буквы расплылись от сырости, расшифровать их она не сумела, догадалась только, что ее поздравляют с днем рождения, до которого еще было далеко, а фото западноберлинского аэропорта на оборотной стороне ни о чем ей не говорило. Она решила в конце концов, что открытка написана каким-то человеком, с которым она случайно познакомилась. Она готова была рассердиться на Б., который в августе с такой самоуверенностью назначил ей встречу, как будто она могла в любую минуту оставить больных. В тот день, несмотря на множество спешных дел, она все время представляла себе, как Б. подъезжает к упомянутому им перекрестку на какой-то дешевой машине и битых полчаса — а может, и три четверти часа — не сводит глаз с тротуара, прежде чем тронуться, наконец, в сторону контрольно-пропускного пункта на мосту (как этот пункт выглядит, она уже плохо помнила). Она не исключала, что он вполне искренне писал ей о своих чувствах, беглое упоминание Западной Германии в следующей фразе могло содержать многообещающий намек, и обижать Б. ей совсем не хотелось. Она чувствовала себя виноватой. В обычное время такое недоразумение легко бы уладилось; но сейчас, пока он молчал, ей не хотелось писать ему про то платье, которое он однажды похвалил: что она ни разу больше его не надела, оно так и висит на плечиках на дверце шкафа; и еще — она жалеет, что в тот день не пришла на перекресток, она бы охотно оказалась там на десять минут раньше, чем он просил.

Иногда в сумерках, в меркнущем свете, который теперь с каждым днем все раньше вытеснялся темными громадами домов или полосами тумана, она готова была, не раздумывая, перейти границу, лишь бы кто-нибудь согласился взять ее с собой, — просто чтобы унять тоску, ни на что особенно не надеясь.

К слову сказать, в тот период какой-то западный немец регулярно пересекал границу на своей машине и в багажнике провозил через пограничный пост людей, которые могли заплатить ему западной валютой; если же человек, с которым у него был уговор, не появлялся к назначенному сроку, он иногда выбирал по своему вкусу молоденьких

девушек, заговаривал с ними, приглашал махнуть на ту сторону — и ничего с них за это не брал.

7

До холодов еще было далеко, но молодому г-ну Б. не сиделось в родном городе, он еле-еле выдержал до конца лета. Однажды утром, в туманном свете фонарей по дороге к скорому поезду на Гамбург, Б. глядел на тесно сгрудившиеся, с отсыревшей штукатуркой дома так, словно прощался с ними надолго. Ему наскучило изо дня в день вышагивать по мощенной булыжником площади, потом — по суженным ступеньками крылечек тротуарам, на которых едва могли разойтись два человека, потом, наконец, — по заасфальтированной прошлым летом улице к аптеке, а во второй половине дня тем же маршрутом, только в обратном направлении, следовать к газетному киоску и затем к гостинице "Почта", где он обедал по абонементным талонам. Узкие, покрашенные в несколько слоев фронтоны домов, сельского вида ставни на окнах, припаркованные машины — все это он знал, как свои пять пальцев, знал, постоянно видел, но будто не замечал. По вечерам автобусы вереницами подъезжали к ратуше, горожане выглядывали из окон, выходили из закусочных, покидали свои магазины и, словно на театральное зрелище, глазели на возвращавшихся домой рабочих, на учениц профессиональных училищ и на приехавших из деревень покупателей. Темы для разговоров в городе задавала телеантенна, венчавшая дом бургомистра — самое высокое здание на Рыночной площади, пока во время войны не построили еще более высокую башню для сирены воздушной тревоги. Б. всякий раз читал вывески зубных врачей, останавливался перед газетным киоском, перед афишей кинотеатра — в надежде если не на развлечение, то хоть на какое-нибудь происшествие; бесцельно размышлял о разменных автоматах в здании земельного банка, где приезжие крестьяне в базарные дни разменивали крупные купюры; он вновь и вновь фотографировал ратушу с ее латунными оконными переплетами, как задний план для регулярно повторяющегося в День бундесвера события — выезда колонны артиллерийских орудий, полевых кухонь и танков-амфибий, за которыми обычно следовала ленивая демонстрация горожан с флагами навсегда утраченных восточных областей; кроме того, Б. все еще фотографировал от случая к случаю маленькие лавочки с выставленными в витринах образцами вышедшей из моды одежды или новейшего личного оружия — такие снимки ему заказывали в рекламных целях; но дело было не только в скуке. Б. жил в этом городе уже почти восемь лет, с тех пор как его мать вторично вышла замуж, а отцу пришлось поменять единственный отель в приморской деревеньке на деревенскую лавку далеко в глуши; первые три четверти года Б., поскольку еще учился в школе, оставался на пансионе у одной старушки, на тех же правах, что и другие дети, сыновья предпринимателей, домовладельцев, чиновников, — пока от родителей вовремя поступали деньги на его обучение; а после ему пришлось работать в аптеке, и он стал очень ценным человеком для своих бывших одноклассников, потому что им позарез нужно было то достать противозачаточные средства, то срочно проявить фотопленку, которую ему, как своему человеку, они могли передать, даже не заходя в магазин. Нахо-

дясь на военной службе, когда давали отпуск, Б. тоже приезжал сюда, хотя старушка к тому времени уже умерла и он не мог долго сохранять за собой прежнюю полуподвальную комнатку на Канальштрассе, заставленную мебелью из поддельного красного дерева; сразу после демобилизации ему очень кстати подвернулось место внештатного фоторепортера здешней газеты, и, переоборудовав складское помещение над кинотеатром в фотоателье, он вскоре понял, что вошел в круг местных старожилов (домовладельцев и предпринимателей) и что вообще уже связан с этим городом благодаря множеству знакомств и честно заработанной репутации. Отныне он мог посещать заседания общинного совета, а заместитель бургомистра в пивной даже приглашал его к своему столику; еще только обучаясь ремеслу фотографа, Б. наловчился делать красивые фотографии девочек-конфирманток[1] за домашним пианино, и семейных торжеств, и покойников в гробу — тех, кого никто не удосужился заснять при жизни. Теперь Б. знал своих земляков по их покупкам в аптеке, по их любительским пленкам — знал так, словно прочитал их дневники; но и они, в свою очередь, хотели узнать о нем как можно больше, и в последнее время он скрепя сердце избегал посещений ратуши, уклонялся от всяких разговоров, поскольку опасался, что авторитет его сильно упал после позорной утраты кричаще-яркой машины, само приобретение которой, по мнению горожан, уже свидетельствовало о недопустимом легкомыслии. Ему казалось, его теперь меньше уважают, потому что он вынужден опять стоять за прилавком, и хотя в городе уже поговаривали, будто денежки к нему рекой текут, его раздражало, что он не принадлежит к числу тех, кто заинтересован в сохранении тайны банковских вкладов. С ним никогда не случалось, чтобы торговцы подкарауливали его у дверей своих лавок, чтобы, перехватив его на обратном пути из банка, ему предлагали ткань для костюма, или машину, или охотничье ружье по льготной цене; когда он видел, что кто-то около полудня проезжает на автомобиле со своей девушкой через Рыночную площадь и по Хауптштрассе, таким образом как бы заявляя всем о предстоящей помолвке, его охватывала тоска, потому что он вспоминал свою подругу, которую весной катал на старой машине, а осенью пригласил съездить в казино на той же машине, по глупости ей подаренной, — в надежде, что она разрешит ему порулить, а потом он запустит руки ей под юбку. Кончилось это плохо: она, возмутившись, среди ночи высадила его на пустынном шоссе, далеко от города; он боялся, что об этом прознают его приятели; и уж совсем невыносимо было вспоминать, как потом он пытался компенсировать свою неудачу, начав ухаживать за Д., в надежде добиться от нее сострадания, а может, даже переспать с ней, до чего у него с той, первой, девушкой так и не дошло. Разумеется, ему ничего не стоило завести новый роман, без всяких гражданских формальностей, но дело в том, что молодой г-н Б. относился к таким вещам чересчур серьезно, а кроме того, ему мешала некая тень в подсознании, смущающее воспоминание о Д. и об обещании любить ее, которое он не решался нарушить — из-за, быть может, ложного ощущения, что бросил свою подругу в беде; и чем яростнее доказывал он себе, что не виноват в их разры-

1. То есть девочек, только что прошедших публичный акт конфирмации, который в протестантизме символизирует достижение церковного совершеннолетия (14—16 лет). (*Прим. перев.*)

ве, тем более недостойной представлялась ему собственная позиция, хотя как будто бы не было никаких конкретных фактов, подтверждающих его вину. На одной из улиц, отходивших от Рыночной площади, он както увидел отреставрированный, словно музейный экспонат, фахверковый дом, без гардин на окнах, и заглянул с тротуара в голые комнаты, где неимущие старики просиживали свои дни на жестких послевоенных стульях; город, конечно, выделял средства на содержание таких людей, но ровно столько, чтобы им, никому не нужным, только и оставалось, что бездвижно сидеть. Молодой г-н Б. не мог придумать разумного повода для отъезда из родного города, он просто чувствовал, что издергался и хочет сбежать отсюда, что здесь его ничто не держит, тогда как с Берлином у него связаны кое-какие планы.

И он полетел в Западный Берлин, на почти пустом самолете, это было в начале октября. Все еще несколько скованный из-за нового темного костюма, он со смущенной ухмылкой попытался завоевать расположение стюардессы, но та не угадала по его полноватому лицу, что он хочет с ней познакомиться, и когда он, еще до обеда, попросил рюмку шнапса, восприняла это как докучное требование, а вовсе не как подтверждение его принадлежности к хорошему обществу. Удовольствие (к которому Б. силился себя принудить) от "элегантной атмосферы полета" скоро окончательно испарилось из-за какого-то пальто, брошенного поверх чужой сумки и словно бы специально приготовленного на случай опасности; потом Б. испугался резкого перехода от чересполосицы мелких пахотных участков к просторным полям — при пересечении восточногерманской границы; это ощущение исчезло, когда голос из громкоговорителя попросил пассажиров пристегнуть ремни, но тут Б. испугался, что его свобода ограничена этим узким сиденьем, что, случись сейчас катастрофа, он и шевельнуться не сможет. "We are crossing the border into East Germany"[1], — небрежно сообщил голос из кабины пилота, и слово *into*, "в пределы", неожиданно навело Б. на мысль, что речь идет об опасной операции — вторжении на территорию ГДР. Небольшое (поскольку был выходной день) число пассажиров как будто бы подтверждало рискованность такого путешествия, и снова Б. стало не по себе: он подумал о чужом городе, куда летят только те, кому не очень хорошо дома. Выпитая рюмка шнапса не помогла ему справиться с последствиями вчерашнего злоупотребления пивом: каждый раз, когда ветер встряхивал самолет, Б. чувствовал позыв к рвоте; потом он к своему ужасу вспомнил, что власти ГДР недавно протестовали против воздушного сообщения между капиталистическими странами и Западным Берлином, ходили даже слухи о вынужденных посадках западных самолетов на территории ГДР. Открывшаяся теперь панорама Берлина связывалась в сознании Б. с его восточнонемецкой подругой, думать о которой он не хотел; газохранилища, улицы, парки и жилые кварталы тоже грозили близостью Д., ведь это был ее город, и Б. уже чуть ли не проклинал свою поездку, ибо не мог отогнать воспоминания, не мог ни подняться, ни даже шевельнуться, ни как-нибудь отвлечься — пристегнутый, накрепко привязанный к креслу. Когда самолет, целый и невредимый, пошел на посадку, двигаясь по узкому воздушному коридору между домами, а потом над кладбищем, Б. испы-

1. "Мы пересекаем границу и попадаем в пределы Восточной Германии" (*англ.*).

тал глубокое облегчение, и если бы самолет, приобретший теперь скорость автомашины, подкатил к зданию аэровокзала, все было бы хорошо. А так пришлось добираться до места выдачи багажа пешком, и Б. замешкался по пути — его проблемы никого здесь не интересовали.

Багаж он, конечно, в конце концов получил. Согласно квитанции из Вюртемберга, у него на счету оставалось ровно столько денег, чтобы в случае надобности купить на них обычную — немецкую — спортивную машину. В карманах-то у него денег было навалом и чемодан битком набит, поскольку на сей раз Б. собирался побыть в Западном Берлине подольше. Но началось все не очень удачно. Правда, отелей теперь стало больше и в них хватало мест для множества иностранцев, желавших посетить оперный театр или поглазеть на границу, которая разделила город, так что и Б. без всяких проблем заказал себе номер на одну ночь; однако вечером, когда он заглянул в знакомую пивную на Генриеттенплац, хозяйка не уделила ему никакого внимания, хотя он бойко, как завсегдатай, заказал себе поллитра. Это, похоже, не произвело на нее должного впечатления. Проходя мимо, она пододвинула ему тяжелую кружку и принялась вытирать стойку, потом вытряхивала и ополаскивала пепельницы, принимала заказы — и все это время, как заведенная, поддерживала перемежаемый всякими прибаутками разговор с господами постарше, сидевшими за круглым столом у задней стенки; а те, со своей стороны, чтобы польстить ей, расхваливали ее пуловер; когда же у нее наконец появилось время, чтобы передохнуть, она остановилась на другом конце стойки, закурила, устремив неподвижный взгляд в пространство, утерла вспотевший лоб, потом сняла трубку с телефона-автомата, который успел звякнуть всего два раза, и приложила к уху. Пока она разговаривала, взгляд ее скользнул по Б., не задержавшись на нем. Только позже, когда возле раковины уже не оставалось места для грязных кружек, она один раз очутилась совсем близко, но даже глаз на него не подняла, хотя он попытался ей что-то сказать насчет пресловутой виллы над заливом и как его там допрашивали по поводу этой самой пивной. Говорил он очень тихо и от нее ожидал такого же доверительного тона, но она ответила в полный голос, нимало не заботясь о том, что их могут услышать посетители, сидевшие рядом с Б. на высоких табуретах; впрочем, никто даже не глянул в их сторону, сам же Б. от смущения втянул голову в плечи. "Госбезопасность! Вы что же, подловить меня надеетесь? — отвечала хозяйка, поставила кружки в моечную машину, между щетками, потом начала попарно вынимать их и, переворачивая, ставить на оцинкованный стол. — Лучше бы уголовниками занимались! — злобно сказала она, подняла наконец голову, вытерла руки, уперлась кулаками в бока, строго взглянула в растерянные глаза Б. и выдала все, что думает по поводу забегаловок своего квартала: — У них даже пиво со столов воруют и шантрапа всякая на полу валяется, а полиция знай себе ловит рыбку в мутной воде", — после чего стала объяснять Б., как туда попасть, пока он не понял, что его просто выставляют за дверь. Его только смутило, что она вроде подмигнула (или у нее дернулось веко?), и лицо ее на секунду прояснилось, а рукой она отгородилась от остальных посетителей, словно пряча от них свою улыбку; но потом он все-таки решил, что жест этот был случайным и свидетельствовал лишь о ее усталости. Б. тут же пустился в извинения, но не успел договорить и первой фразы, как хозяйка уже двинулась прочь, держа в

каждой руке по три кружки, покачивая головой и бормоча что-то вроде: "Бывают же дураки!" Б. так и остался в своем углу, тупо смотрел, заливаясь краской, на пивную пену, но все еще не отказался от намерения спросить, нельзя ли ему переночевать в той мансарде, где он провел ночь в прошлый раз (до самого утра даже не догадываясь, где находится). Именно там ему хотелось бы жить. Но сейчас он был явно не в форме, воображал, будто другие смотрят на него с презрением, чувствовал себя исключенным из компании игроков в кости, сидевших рядом; лишь заказывая третью кружку пива, Б. отважился наконец задать свой вопрос — и запутался, потому что решительно не помнил, как в тот раз оказались в мансарде он сам и его фотоаппарат. "Понятия не имею, — отрезала хозяйка, однако остановилась и внимательно на него посмотрела. — Мне очень жаль, — добавила она и поставила его кружку в моечную машину; щетки долго вертелись, она задумчиво наблюдала, потом приподняла голову, быстро взглянула на Б. из-под насупленных светлых бровей, вдруг безо всякого перехода спросила: — Вам нравится наше пиво?" — и вернулась за стойку, прежде чем Б. отыскал подходящий ответ. Спустя семь минут она уже разливала пиво, которым он пожелал угостить остальных, посетители по цепочке передавали кружки друг другу, пока последний не поставил кружку и перед Б., со словами "Прошу вас!" (даже подложив под нее, как заправский кельнер, войлочный кружок). Молодой г-н Б. еще колебался — не истолковать ли все это как попытку его обидеть; однако уходить сейчас ему не хотелось, ему нужно было обдумать свое неудачное путешествие, он собирался и дальше сидеть в углу, поглядывая на хозяйку за стойкой; а она между тем снова подошла к телефону, смотрела в пол, прижимая трубку к щеке и опустив веки, словно старалась получше запомнить услышанное, и закончила разговор четырьмя словами, которые Б., наблюдавшему за ней из своего угла, показались нежными, потому что она кивнула как послушный ребенок, улыбнулась даже, прежде чем повернула голову и обеими руками отвела с висков рыжеватые пряди: задумчивая, но с неуловимой улыбкой в уголках губ. Взглянув в ее узкое, открытое лицо, Б. испугался так, что у него даже в голове зашумело. Когда она вернулась за стойку, окинула взглядом гостей и снова принялась за работу, Б. уже не мог бы сказать, что́ именно его поразило. Было как раз то время, когда возвращающиеся из кино парочки заходят в такого рода заведения, чтобы напоследок пропустить по рюмке. Б. долго не отводил взгляда от столиков напротив, он бы охотно подсел к любой из девушек, чтобы тихонько разговаривать с ней, наклоняясь вперед, дотрагиваться до нее — лишь бы не оставаться больше в одиночестве. Б. понравилась одна, ей как раз помогали снять пальто, ее сдвинутые лопатки словно благодарили ухажера, а приподнявшиеся грудки приветствовали других гостей — Б. с удовольствием перехватил взгляд ее раскосых глаз. Еще он увидел поссорившихся влюбленных: девушка неподвижно сидела, откинувшись на спинку стула, уже в пальто, уже собираясь уйти, а ее спутник что-то тихо и торопливо ей говорил, смущенно оглядывался по сторонам и за те четверть часа, что они провели здесь, успел заказать уже вторую бутылку шампанского. Молодой г-н Б. заметил упрямое выражение застывшего, очень бледного лица девушки. Он попросил еще кружку пива, попытался, уже ни на что не надеясь, заглянуть в себя, а рядом некий бородач и его подружка с неровной стрижкой соревновались, возводя башни из

пивных подставок: у обоих были сосредоточенные лица, они не хихикали, даже не качали ногой, все башни рушились, пока самая высокая, четырехъярусная — та, которую соорудила девушка, — не простояла все-таки, прежде чем развалиться, несколько секунд. На другой день Б. уже не помнил, что угостил каждого из башнестроителей кружкой пива и рюмкой шнапса в придачу, после чего больше не глядел в их сторону. Ночью ему снились шея хозяйки и трогательная, исчезающая за ухом голубая жилка, а вот как он добрался до кровати в своем гостиничном номере, Б. начисто забыл. Забыл он, впрочем, и кое-что другое.

В тот вечер он попросил у хозяйки почтовый конверт и бумагу и что-то написал Д. — почерком, который после сильного подпития стал неуверенным, как у старика. Потом заклеил конверт, снабдил его адресом и, покидая заведение, оставил лежать на стойке.

В поисках комнаты, когда он ходил по объявлениям, торопился, ездил в городском транспорте, спускался в подземные переходы, Б. поначалу вел себя как новичок, который еще только учится плавать: слишком поспешно отказывался от безнадежных, как ему сгоряча казалось, маршрутов, позволял, чтобы другие пассажиры оттесняли его на переполненных автобусных остановках, потом на какое-то время прерывал свои блуждания и, чтобы утешиться, накачивался пивом, но на проезжающие мимо такси все равно не глядел, хотел самостоятельно освоиться с этим городом — и в конце концов впечатления о центральных кварталах, улицах, перекрестках, станциях подземки в самом деле сложились у него в голове в некое подобие упрощенного городского плана (но еще долго он не отваживался выйти из пансиона, где жил, не имея при себе настоящего, типографски отпечатанного плана города). Он мотался, как письмоносец, вверх и вниз по ступенькам, его скромный вид не производил должного впечатления на хозяев, поскольку комнатой он собирался пользоваться не только ночью, но и весь день, а их это не устраивало. Так продолжалось до тех пор, пока за пределами южного кольца Б. не наткнулся на пенсионера, который, похоронив жену, впервые надумал сдавать свою жилплощадь и разрешил-таки рослому, стеснительному молодому человеку расположиться в той оклеенной бурыми обоями, темной от балконной зелени комнате, где умирала его супруга. Б., пребывавший в самом что ни на есть мрачном расположении духа — потому что за время поисков растратил почти все свои сбережения и потому что хозяин заломил за непривлекательную, запущенную комнату чуть ли не вдвое больше, чем можно было ожидать, практически столько, сколько Б. платил за свою мастерскую, а особенно потому, что эти, скорее всего неоправданные, расходы у него в городе наверняка расценили бы как свидетельство отсутствия деловой хватки, — все-таки отправился туда, где намеревался работать, на границу с Восточным Берлином, и начал фотографировать; снимал он в основном "технические детали": заграждения, стены из бетонных блоков, сложенные в штабеля бетонные плиты, колючую проволоку, замурованные окна в домах на границе, постовых на трехъярусных вышках, собак в пограничной полосе, а также проволочные сетки на крышах домов, прожекторы, амбразуры — ведь больше всего ему хотелось показать, как причудливо выглядит разделенный надвое город; и он трудился не покладая рук в своей темной — что оказалось кстати — комнате, за занавешенной балконной дверью, не жалел ни дорогой пленки, ни фотобумаги, успевал,

как ни болела спина, до полуночи съездить в Южный аэропорт — прежде чем улетит самолет с ночной почтой для Западной Германии; но потом тщетно искал свои снимки в центральной газете их земли, подозревал, что его обманывают, хотя никакой формальной договоренности, закрепленной совместной выпивкой, у него с главным редактором не было. В конце концов, благодаря дорогим междугородним разговорам и грошовым западноберлинским газетенкам, он разобрался, какие фоторепортажи нынче в моде: эффектные инциденты, снимки "с напряжением", "с настроением" — короче, он положился на естественный ход событий, искал в прессе сообщения о такого рода инцидентах; один раз ему даже повезло: он видел, как по другую сторону ограждения бульдозеры и саперы начали сносить жилые дома, чтобы освободить поле обстрела, но Б. выбрал в качестве объекта для съемки не мебельные фургоны, которые вывозили скарб эвакуированных из запретной зоны, а обыкновенную ручную тележку, на которой потная усталая старуха везла свои корзины, ведра, кухонную утварь по разрытой гусеницами земле. Это он смог хорошо продать; людей же, которые, стоя среди руин, на принесенной с собой стремянке, махали своей родне из Восточного Берлина, — тех нет, такого добра в газетах и без него хватало, а вот двух мальчуганов, вооруженных игрушечными пистолетами, которые играли в беженца и гэдээровского пограничника, у него тоже охотно взяли. Он и в паузах, когда снимать было нечего, не терял времени — все что-то высматривал, следил за передвижениями восточногерманских солдат, разговаривал с другими фотографами, которые неподалеку от него тоже ждали дальнейшего развития событий. Вскоре все они стали относиться к Б. по-хорошему, потому что однажды он уже одолжил кому-то из них фотопленку, потому что охотно ходил с ними в пивную и мог отблагодарить за угощение, угостив — в свою очередь — других, потому что без стеснения отвечал на их вопросы, говорил раскатисто и тягуче, ведь ему обычно трудно давалось только первое слово, а потом он преодолевал свою робость; и они делились с ним информацией, не скупились на советы, благодаря чему он однажды добрался до третьего пограничного пункта — американского, именуемого, как принято у военных, по третьей букве алфавита, "Чарли", — в тот день, когда на западноберлинской стороне появились советские танки со звездой и дошли вплоть до белой черты, которая на этой, тогда еще доступной для проезда дороге обозначала границу; из стоявшего на возвышении дома, жильцы которого сдавали фотографам места у окон, Б. смог сфотографировать узкие трубы над границей, перед ними — шеренгу готовых к бою солдат, а дальше — те самые советские танки; в другой раз ему довелось увидеть одного из перебежчиков, подстреленного, в приграничном канале: перебежчик этот был мертв, уже когда падал с крыши, и Б. фотографировал не желавшую расходиться толпу, солдат на сторожевых катерах, которые обшаривали канал в поисках утопленника, проломленную в результате падения крышу — все эти снимки он потом успешно продал, — а еще то облако слезоточивого газа, из-за которого стайка фоторепортеров поспешила убраться прочь. Часто у него возникало ощущение, будто он не живет в реальности, а играет роль в каком-то фильме. Он представлялся себе персонажем одной из тех кинолент, которые обычно смотрел по нескольку раз: грабители банков, влюбленные, сыщики существовали там как бы в ускоренном времени, действовали, а не вла-

чили тоскливое существование, мир в их восприятии был черно-белым, контрастным; теперь и Б. тоже, подобно этим героям, словно во сне мотался из конца в конец города, оглушенный быстро сменяющимися событиями, и порой замечал, что еще никогда не был так жаден до жизни, не воспринимал ее так отчетливо: подобное чувство посещало его, например, на верхних этажах автобусов, которые со слоновьей неуклюжестью двигались в четырехрядном потоке машин, или в полумраке подземных туннелей, где ослепляли проносящиеся мимо огни, или по ночам, когда под небом с кривым ножом месяца, напоминающим иллюстрацию к турецкой сказке, высились застывшие громады домов, а над ними надстраивался купол зловонных испарений (ибо город до сих пор обогревался восточногерманскими угольными брикетами), или на стадионе, когда пробитый свечкой футбольный мяч застывал в воздухе, прежде чем упасть, и стена восхищенного рева болельщиков рассыпалась на осколки отдельных выкриков, словно кричала стая гигантских скворцов, — одним словом, когда он оказывался среди людей; но и в таких ситуациях его порой охватывал пронзительный страх — страх, что сейчас он очнется от сна и эта новая чудесная жизнь кончится. Б. полагал, что город наконец-то принял его, — с тех пор, как он больше не запутывался в маршрутах подземки и мог при случае подсказать дорогу даже местному жителю; он ощущал себя чуть ли не коренным берлинцем, когда употреблял одну из бытовавших здесь фразочек, к примеру: "Эта котлета не побывала у булочника" (имея в виду, что она из чистого мяса), или: "Этой дамочке я бы охотно вставил"; он даже положил себе за правило не пользоваться городской электричкой, находившейся в ведении восточногерманских властей: ведь настоящие западные берлинцы были против того, чтобы их западная валюта — пусть даже в таком мизерном размере — перетекала к восточным немцам; и еще он теперь тщательно следил за своим внешним видом, чего уже давно за собой не замечал: в темном костюме и темном плаще, свежей рубашке и до блеска начищенных ботинках, с зонтиком в одной руке, фотоаппаратом в другой, он спешил по улицам, протискивался в первые ряды зрителей — и все снимал, снимал. Б. теперь фотографировал не только на границе: по оживленным торговым улицам, вокруг столиков перед жарко натопленными кафе, в потоках пешеходов на перекрестках, в танцзалах, универмагах, театральных фойе, даже в Зале конгрессов — повсюду шнырял он со своим широкоугольным объективом, щелкал затвором, вел себя, чтобы его "не отшили", с нарочитой развязностью, добирался и до кварталов новой застройки, даже "коллекционировал старую архитектуру", хотя здесь, в центре, припаркованные автомашины почти всегда заслоняли нижние части зданий и тем портили всю картину; а еще он фотографировал самолеты над городом, вновь и вновь самолеты, которые сперва скользили горизонтально, потом на крутом вираже с ревом и грохотом прорывались вверх, поспешно освобождая место для следующих, а те показывались в промежутках между руинами, проносились над коньками крыш, выполняли классические фигуры высшего пилотажа вокруг телебашни, высотных домов, над городскими магистралями; Б. задирал голову даже тогда, когда самолет только маленьким черным пятнышком мелькал в разрыве туч или подобно гигантскому глазастому насекомому отыскивал щупальцами-лучами дорогу сквозь ночь, и снимать тут определенно было нечего; или, наоборот, испуган-

но втягивал голову в плечи, когда реактивные самолеты советской авиации, незримые, вне всякого расписания, преодолевали звуковой барьер в небе над Берлином, сотрясая землю громоподобным толчком; была у него и серия снимков одной знаменитости, запечатлевшая, как этот человек, расслабленно лежа под белой простыней — пока его гримировали для выступления перед телекамерой — в ответ на расспросы студентов нудно объяснял, почему считает их вопросы "неправильными"; в ту пору молодой г-н Б. все еще надеялся, что сможет кому-нибудь продать целый альбом фотоснимков из Западного Берлина. Ему казалось, он уже разгадал загадку успеха. Еще со школьных времен и втайне от других он верил, будто львиную долю всех денежных доходов присваивают немногие посвященные (те, что имеют доступ к важной информации), и вот теперь возомнил, что уже допущен в этот таинственный круг — с тех пор, как стал получать премии за свои снимки побегов и несчастных случаев, премии, по его мнению, незаслуженно высокие, случайные; они возместили ему понесенные в Берлине расходы, он уже мог откладывать на свой банковский счет чуть ли не половину подобных поступлений, пускался иногда в загул, позволял себе время от времени поездку на такси, уже не опасался, что придется так экономить, как в самом начале его пребывания здесь; словом, у него, можно сказать, впервые в жизни завелись деньги. Ну, денег-то, положим, было не так уж много, не бог весть сколько: ведь хотя ему и платили сразу несколько северонемецких газет, но лишь потому, что запрашивал он до смешного мало, меньше, чем все эти агентства, а подняться — в смысле гонораров — на уровень иллюстрированных еженедельников он не мог; его заработки не шли ни в какое сравнение с гонорарами тех фотографов, которые продавали не только снимок, но в придачу к нему свое уже известное имя, свой персональный стиль; этой осенью многие из них богатели, сделав всего несколько удачных фотографий Берлина — зато таких, которые потом обошли весь мир; по сравнению с доходами одного фотографа, специализировавшегося на "архитектуре", гонорары Б. и упоминания не стоили; тот, другой фотограф снимал дома, мебель, антиквариат по заказу состоятельных граждан, которые, прежде чем покинуть Берлин, хотели обзавестись нотариально заверенными фотографиями принадлежащего им имущества — чтобы потом потребовать у западногерманских властей возмещения убытков, если, не дай бог, имущество их пропадет вместе с самим городом. А молодой г-н Б. мог отложить на свой банковский счет не так уж много, но уже подумывал, не купить ли один из тех симпатичных домиков в его родном городке, что прятались за живыми изгородями вдоль дороги к пляжу; ему уже виделись и следы автомобильных шин на гравии подъездной дорожки, и качели под полотняным тентом посреди газона — такого рода картинки, похожие на кадры фотопленки, он охотно прокручивал в своем сознании.

В ту пивную неподалеку от центра, которая называлась так же, как ближайшая станция подземки, Б. наведывался раз или два в неделю, и хозяйка порой как будто припоминала его, во всяком случае, когда он заказывал поллитра "пльзенского", она говорила: "Браво! За это полагается скидка"; когда же наливала ему первую за вечер кружку, искоса посматривала на него темным взглядом и гортанно — кажется, добродушно — смеялась. Он, пусть и с опозданием, отвечал ей улыбкой, но улыбка сразу исчезала с его лица, когда хозяйка возвращалась к посетителям на

другом конце стойки; и тем не менее он всегда засиживался до полуночи. Правда, после памятного Б. вечера здесь больше не танцевали, однако сама царившая в заведении мирная, почти семейная атмосфера ему нравилась: посетители, убивающие время за игрой в скат, откровенные разговоры о минувшем дне, всякие побасенки, которыми кто-нибудь из гостей, подойдя к стойке, потчевал хозяйку; она охотно слушала, иногда вставляя какую-нибудь забавную фразу: "Тут-то упитанная белая мышь и грит ему...", или: "Как значицца в протоколе...", или, подводя итог: "Знаем-знаем, на северной трибуне завсегда сидят граждане второго сорта..."; она и сама отлично умела рассказывать, однажды даже изобразила в лицах свой диалог с каким-то наклюкавшимся господином — широко ухмыльнулась, войдя в его роль, потом, уже от своего имени, строго сказала: "А ну, выползай отсюда, неча передо мной выжучиваться!", ошарашенно выпучила глаза, как упомянутый господин, и, мгновенно опять став самой собой, пошевелила пальцами рук, изображая ползущее насекомое, после чего пояснила непонятливому пьянчуге: "Покиньте заведение! Мы закрываемся"; последние слова она произнесла серьезно, но тут же присоединилась к довольному хохоту присутствующих; Б., хоть и не вполне уловил, о чем речь, напряженно вслушивался, смотрел на профиль хозяйки и мечтал, чтобы все это она рассказывала лично ему. Он уже не находил ничего вульгарного в том, как она шуганула случайно забредшую сюда парочку, которая, заказав одну бутылку колы, потом часами обжималась в темном углу (его рука — у нее под юбкой, ее — в его брючном кармане): "Все замечательно, но не пора ли вам отдохнуть?" Молодой г-н Б. считал, что здесь так и принято — называть вещи своими именами; правда, сам он не решался, когда приходил сюда, употреблять недавно подхваченные берлинские словечки; порой ему казалось, будто эта пивная, где по вечерам ведутся миролюбивые обстоятельные беседы, гораздо лучше выражает сущность Берлина, чем выражают ее сделанные им днем фотографии. Он привязался к хозяйке, своей ровеснице, постоянно наблюдал за ней, хоть и чувствовал, что она им пренебрегает, что ему не удается произвести на нее впечатления; прежде "идеальной" ему представлялась такая женщина, которой он мог бы восхищаться как неземным существом, вместе с тем ощущая свое превосходство над ней в практических, земных делах, — однако эта молодая самоуверенная особа и в смысле практицизма ничем ему не уступала. Он понял, что хозяйка пивной даже во многом превосходит его, когда убедился, что она может говорить и на литературном немецком, когда увидел, что двое студентов у противоположного конца стойки общаются с ней на равных — ведь как бы он ни злился на всех студентов из-за того, что в будущем им гарантировано высокое жалованье, с какой бы охотой ни "гонял", пока служил в армии, всех этих "студентиков и гимназистов", он чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии людей, которых считал интеллектуалами. Всякий раз, когда он заказывал пиво, когда хозяйка подходила, чтобы забрать его кружку, когда останавливалась против него у кассы, он делал вид, будто смотрит на музыкальный автомат, или выглядывает через наполовину занавешенное окно на ночную улицу, или просто углубился в свои мысли и не замечает ничего вокруг; но когда у девушки выдавалась свободная минутка и она в нескольких шагах от него, прислонившись к стойке, курила, машинально дотрагиваясь пальцами до нижней губы, он бездумно и неотрывно смо-

трел на нее, готовый в любой момент отвести глаза, вслепую нащупывал рюмку со шнапсом, осушал большими глотками и представлял себе, что видит профиль Д., ее белую шею с трогательной голубой жилкой, нежную мочку уха — хотя волосы у Д. были намного светлее и не подстрижены, как у хозяйки пивной, "лесенкой"; однако стоило этой, другой, сделать резкое движение, и Б. поспешно отворачивался, чувствуя себя так, будто очнулся после опасного беспамятства. Один раз он и впрямь упал, шмякнулся на пол, успев схватиться правой рукой за край стойки, тогда как выброшенная вперед левая увлекла его тело в пустое пространство между двумя табуретами. Пшеничная водка застряла в горле, Б. ощутил позыв к рвоте и тяжесть на сердце, в глазах у него помутилось, минуту — так ему показалось — он валялся без сознания на грязном линолеуме, под ногами у чужих людей, и только потом опять начал различать предметы; на самом же деле его беспамятство длилось ровно столько времени, сколько потребовалось девушке, сидевшей в трех шагах от него, чтобы, шевельнув плечом, сдвинуть руку обнимавшего ее кавалера — больше Б. ничего не запомнил, большего он, падая, и не мог бы заметить. Заговорил он сразу, как только решил, что уже способен говорить. Он не хотел, чтобы люди подумали, будто он "перебрал", потому что тогда ему пришлось бы с позором покинуть пивную, не хотел также, чтобы его сочли больным, ибо на сострадание здесь рассчитывать не приходилось; он попытался встать на колени прежде, чем сосед в кожаной куртке догадается ему помочь, — и встал на удивление быстро, сжимая в руке отломившуюся ножку табурета, каковую и предъявил обступившим его завсегдатаям пивной. Темную полоску на поверхности слома легко было принять за старую трещину, так что хозяйка велела унести поврежденный табурет, а ему, Б., указала на другой. "Что?" — вскричал он, не успев сесть. "Что вы подумали, — все еще оглушенный, допытывался он у хозяйки, — когда я грохнулся?" Ибо он по-прежнему путал ее с той, другой, преувеличенная жалость к себе и влечение к этой женщине настолько ослепили его, что он надеялся увидеть на лице той, к кому обратился, хотя бы отражение испытанного им самим ужаса. После ему пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить хозяйку забыть о его нелепом вопросе. В тот вечер он специально посидел еще сколько-то времени, стараясь выглядеть трезвым и совершенно бодрым, потом дней десять избегал пивной, а когда наконец снова ступил на ее порог, смущенно огляделся, стараясь уловить реакцию посетителей. Но никто не обратил на него особого внимания, хозяйка же, словно ничего не случилось, налила ему первую кружку пива бесплатно. "За ваш давешний испуг", — сказала она лаконично и кивнула без всякой насмешки, когда он в ответ приподнял свою кружку. Было это в ноябре, тогда он уже иногда приводил с собой девушек.

Часто он удивлялся тому, что легко и, можно сказать, естественно "изменяет", как он сам это называл, своей любимой. Это даже немного пугало его. В последнее время — с тех пор, как он побывал в Западном Берлине, — Д. постоянно и реально присутствовала в его сознании, можно сказать, неустанно докучала ему воспоминаниями. С детских лет у него сохранилась привычка измерять неизвестные расстояния, сравнивая их с длиной пути от отцовской приморской деревеньки до того маленького города, куда сам он переселился, а теперь, где бы он ни сходил с поезда — в поисках ли объектов для съемки или просто чтобы за-

глянуть в пивную, — он всегда мысленно подсчитывал расстояние оттуда до комнаты Д. в изолированном Восточном Берлине, ориентируясь на время, которое требовалось, чтобы добраться от его нынешнего дома до моря, и получалось, что Д. находится всего в часе пешего хода от него, или в полутора часах, или, самое большее, в двух с половиной — то есть она была очень близко, и эта близость угнетала, порождала ощущение вины, печалила, но в то же время и согревала его сердце. Иногда вечером посреди улицы ему вдруг чудилось, будто он видит приближающийся силуэт Д. на фоне освещенной витрины, но потом на девушку, принятую им за другую, падал свет с противоположного тротуара и оказывалось, что она не имеет ни малейшего сходства с той, другой, одна мысль о которой заставила его вздрогнуть; он видел, что обманулся — и цвет волос, и походка, и профиль были не те, — но само разочарование как будто бы помогало ему живо представить утраченную подругу, хотя на самом деле в памяти у него сохранились лишь мелкие, ускользающие детали: брови, худая рука, резко очерченное колено; он не мог, сколько ни старался, соединить все это в единый образ, вместо подлинной Д. рисовал себе какое-то хрупкое, очень юное, испуганное существо и предавался меланхолическому смакованию своей утраты, даже ставил это себе в заслугу, полагая долгом чести хранить верность возлюбленной — под верностью он подразумевал половое воздержание. Заметив рядом с собой — возле стойки бара, или за соседним столиком, или на танцплощадке — какую-нибудь девушку, достаточно симпатичную, чтобы не зазорно было завести такую подружку, он обращал к ней свое светлое, добродушное, открытое лицо и спрашивал что-нибудь вроде: "Вы не подскажете, где можно купить гамбургскую газету?", или: "Вам здесь тоже скучно?", уже после того, как трюк с вопросом, можно ли ее сфотографировать, вызывал на ее лице улыбку; но ему нелегко давался переход от такого рода вступительных фраз к более близкому знакомству, хотя он простодушно думал, что в постигшем его незаслуженном несчастье имеет право на некоторое утешение: оттого что он не осмеливался продумать эту мысль до конца, иллюстрированные еженедельники приучили его преувеличивать значение внутренней жизни, и он старался "не раскрываться" на людях, производить впечатление просто рассеянного молодого человека с хорошими манерами, предпочитал, например, чтобы окружающие ничего не знали о его профессии, которую считал хоть и интересной, но не поддающейся четкому определению, хотел, чтобы другие только замечали, как равнодушно достает он из бумажника очередную купюру, как роняет свысока какую-нибудь реплику о посетителях за соседним столиком, о Западном Берлине вообще; о себе он не говорил ни слова, зато, садясь с очередной подружкой в такси, не прочь был высказать, что он думает о тех, кому все в жизни достается легко, в том числе и собственные машины; но при всем желании почувствовать близость другого человека, обрести защиту в женских объятьях, бежать в плотскую любовь он никогда не мог полностью забыть о себе, вырваться из своего замкнутого мирка: ему казалось, что за ним наблюдают, что за ним наблюдает со стороны другой г-н Б., который фотографирует первого в тот момент, когда первый обнимается с девушкой у подъезда или, уже в комнате, раздевает ее, — фотографирует в свете уличного фонаря, на фоне по-ночному серой стены; первый Б. как бы видел угловатые силуэты, прерванное в испуге движение этой пароч-

ки, сфотографированное тем, другим г-ном Б., каким он хотел бы быть, — одетым в траурно-темный костюм, с меланхолическим выражением лица, как и подобает человеку, потерпевшему крушение в любви; и лишь изредка, глубокой ночью, когда Б. лежал с закрытыми глазами, чувствуя рядом чье-то дыхание, успокоенный близостью другого тела, он мог рассказать в общих чертах, чем зарабатывает себе на жизнь, или на вопрос о родителях простодушно ответить: "Понимаешь... когда отцы постоянно дают советы... а сыновья знай себе барабанят пальцами по столу... в общем, однажды утром я очутился на улице"; но после он все равно стеснялся выйти со своей гостьей в коридор, чтобы показать ей, где ванная; ему казалось, что он ведет себя современно, если весь вечер молчит, а потом уходит под каким-то предлогом, не договорившись о новой встрече, — правда, через несколько дней он сам начинал звонить девушке, подолгу поджидал ее у подъезда, неловко и горячо обнимал в студенческих общежитиях или наемных комнатках, осыпал чрезмерно дорогими подарками; когда же танцевать было лень, а говорить — не о чем, он иногда приводил своих подруг в пивную возле станции подземки, где мог рассказывать что-то о других посетителях, изображать из себя завсегдатая заведения и угадывать по лицу хозяйки, понравилась ли той его новая знакомая. Хозяйка спускалась со своего капитанского мостика, небрежно подавала ему руку и тотчас поворачивалась к его спутнице: называла свое имя, затем, нисколько не смущаясь, весело спрашивала, где можно купить такой красивый пуловер или юбку и за какую цену; вскоре разговор переключался на другие темы: откуда девушка родом, в какой части города живет — и молодой г-н Б. чувствовал, что он здесь лишний, хотя с удовольствием поучаствовал бы в этом простодушном доверительном разговоре, если бы выпивка прибавила ему уверенности в себе. Но когда он приходил один, хозяйка почти не обращала на него внимания, смотрела своими большими глазами куда-то поверх его головы. Молодой г-н Б. часто падал духом, воспринимая это как знак неодобрения, он и хозяину своей комнатки не нашел что ответить, когда тот в сумрачной передней вдруг воздвигся перед ним, толстый и грозный, но, вопреки ожиданиям, не попросил освободить занимаемую площадь, не начал кричать, а, напротив, озабоченно и тихо сказал: "Вы, г-н Б., живете бобылем, поверьте, ни к чему хорошему это не приведет..." Ему хватало забот с самим собой: кусая губы и морща лоб, укорять воображаемого г-на Б. за то, что тот не соответствует собственным идеальным представлениям о г-не Б., который не должен был бы позволять себе терять время, предаваясь бесплодным мечтам. И тем не менее трясся ли он в автобусе, шел ли по тротуару, сидел ли в темном пивном погребке, любая девушка по-прежнему притягивала его взгляд, он мог подолгу смотреть на белое колено под откинувшейся полой пальто, на складки живота, грудь, затылок, губы — и почти каждый раз испытывал искушение заговорить с этой красоткой, пригласить ее куда-нибудь, чтобы, пока он с ней, не чувствовать себя одиноким, как-то отвлечься.

Он был на взводе, и пустячное неприятное впечатление — скажем, сквозняк на платформе подземки, счетчик такси, который подозрительно быстро нагонял цену, застрявшая при перемотке фотопленка, чужая спортивная машина, показавшаяся такой нарядной в сырых вечерних сумерках, озаренных праздничными огнями витрин, — выводило его из себя, он впадал в ярость от самого обычного рекламного объ-

явления, в котором говорилось, как могли бы употребить тот или иной товар беззаботные, не знающие никаких тревог молодожены, которые живут в окружении самых что ни на есть модных предметов; он чувствовал себя ущемленным в правах, преданным, обманутым неопределенным множеством людей, которых мысленно называл "они" или "эти", иногда имея в виду западногерманских политиков, в свое время обещавших не допустить изоляции Д., иногда — политиков ГДР, явно желавших сохранить для себя рабочую единицу под именем Д., а иногда и саму Д., которая внушила ему мысль, что на западной стороне у нее, кроме него, нет никакой опоры, а теперь бросила его, обремененного такой ужасной ответственностью, просто потому, что не решилась преодолеть водную преграду или Стену и колючую проволоку, как, между прочим, за последнее время сделали тысячи восточных немцев. Порой ему даже хотелось подраться, заехать кулаком в чью-то физиономию, но в том подавленном и рассеянном состоянии, в котором Б. находился, он вряд ли мог спровоцировать кого-то на драку — все смотрели на него с равнодушием и легким презрением. Его доходы за последнее время заметно поубавились, и не только потому, что стало труднее находить заказчиков: в своем теперешнем плачевном состоянии он не хотел ограничивать себя еще и во "внешней" жизни, посещал кафе, которые были ему не по карману, обзавелся дорогостоящими привычками, все быстрее съедавшими бумажные купюры и мелочь из его портмоне, — он словно пытался дорогими поездками на такси, покупками приятных, но ненужных вещей заставить себя забыть о том, что его недавно приобретенное новейшее фотооборудование целыми днями лежит без применения, что он не в силах найти сюжет для съемок, который заинтересовал бы редакции газет. Он, конечно, старался наводить экономию и нередко довольствовался забегаловкой возле станции городской железной дороги, поблизости от его дома, где покупателям предлагались горячие сардельки и очень скудный выбор спиртных напитков; хозяйка в белом халате, когда у нее просили пива, озабоченно задавала только один вопрос: "Совсем холодного или не очень?"; но Б. радовала даже малая толика дружелюбия, он обычно заказывал еще бутылку пива и порцию шнапса, — уж больно не хотелось возвращаться из этой теплой, пусть грязной, но зато гостеприимной халупы на продуваемую всеми ветрами улицу. Улица, на которой он жил, — в сущности, длинный коридор между жилыми пятиэтажками, перекрытый железнодорожными мостами и упирающийся в перекресток с оживленным движением, — только в первые недели казалась ему интересной, доступной для постижения, достойной того, чтобы быть запечатленной на фотопленке; он уже давно отказался от мысли сделать еще один фотоальбом, по Западному Берлину, его более удачливые коллеги заполонили рынок подобной продукцией. В декабре Б. уже решил, что пора покинуть этот город, снова купить машину и с оставшимися деньгами начать все по новой в родном Гольштейне, именно там, где он один раз уже признал свое поражение. Но прежде ему хотелось все-таки попытаться предпринять что-нибудь для Д., чтобы потом не в чем было себя упрекнуть, и хотя он не верил, что побеги через подземные туннели — некоторые такие побеги, как раз в то время, на севере города, удались, — будут повторяться и впредь, он проформы ради начал обходить пивные возле восточногерманской границы в поисках людей, которые, по слухам, занимались подобного ро-

да делами; в результате его жизненный опыт существенно расширился: после сдержанного обмена репликами, иногда длившегося часами, он выкладывал три сотенных бумажки за очередной сомнительный адрес и, еще не успев дойти до двери, затылком чувствовал ухмылки остающихся, адресованные ему — рослому увальню, напрасно пытавшемуся своими обстоятельными вопросами и повадками киношного шулера произвести впечатление человека, которого так просто не обдуришь. Но однажды полученный им адрес, как ни странно, оказался правильным. Еловая, вся в трещинах, дверь, глазок которой молодой г-н Б. нерешительно созерцал, неожиданно распахнулась, и появившийся на пороге страдающий одышкой, почти совершенно лысый мужчина долго слушал его смущенные объяснения, барабаня пальцами по груди, выпятив губы, задумчиво поглядывая на посетителя и время от времени кивая в знак понимания; наконец он впустил Б. в квартиру, прикрыл за ним дверь, с внутренней стороны обитую жестью, и спокойно, хотя и не особенно дружелюбно, сказал: "Видите ли, сейчас я ничем таким не занимаюсь". В комнате, заставленной дорогой мягкой мебелью первых послевоенных лет, он предложил гостю место напротив окна, так что лицо самого хозяина оставалось в тени, и Б. еще не успел сообразить, с чего начать разговор, как тот уже произнес, добродушно и с любопытством, нараспев:

— Ну-с? Я вас слушаю...

— Я только хотел спросить... как это бывает... когда кого-нибудь хотят вызволить... — пролепетал Б., плотнее запахивая пальто и наклоняясь вперед, хотя он и так сидел на самом краешке стула.

Его собеседник, напротив, удобно подложив под спину подушки, потягивал пиво из высокого бокала, украшенного гербами и золотой каймой.

— А почему, — перебил он, — почему?! Почему вам вдруг понадобилось кого-то вызволять?

Он повторял свой вопрос все более резко, поскольку посетитель не желал ни в чем признаваться, не говорил ни о родственных отношениях, ни, например, о беременности своей девушки или о предстоящей помолвке, а только бестолково лепетал: "Просто так... дружеская связь..."; дело кончилось тем, что хозяин сунул руки в карманы, тоже нагнулся вперед, словно изготовился к прыжку, и проронил угрожающе: "Я понял! Вы — представитель прессы!"; но Б. с таким испугом отверг это предположение, что его собеседник снова расслабился. Он сложил руки под подбородком и принялся поучающим тоном рассуждать о нестабильности экономического положения в стране, о риске, на который он идет, и о связанных с такой операцией расходах — да так гладко, будто считывал текст с ладони. Потом сморщился, словно от попытки прикинуть в уме эти расходы у него разболелась голова, и назвал сумму, которая составляла примерно половину стоимости приличной машины, упомянув, что исключительно по причине своей уступчивости запросил намного меньше, чем следовало. Б. попытался было сбить цену, подготовить себе путь к отступлению, но собеседник уже сдернул его, схватив за руку, со стула и потащил по коридору к входной двери, по дороге осыпая ругательствами всяких там "говнюков, филеров и проходимцев"; при этом он, как ни странно, совсем не запыхался и успел смерить Б. оценивающим взглядом, прежде чем оставил его одного на

пустой лестничной площадке, пахнущей мылом и мастикой. Ключ в замке повернулся так тихо, что расслышать звук не было никакой возможности. "Но почему?!" — еще раз воскликнул, прежде чем затворить дверь, хозяин, возмущенный бестолковыми увертками Б.; и вдруг, резко наклонившись вперед и прищелкнув пальцами, выпалил: "Любовь! Любовь, верно?" Молодой г-н Б. сразу сгорбился, втянул голову в плечи и пробормотал: "Ну... в общем-то да..."

Он, по сути, не верил, что кому-то — отсюда, с Запада — можно помочь перебраться через границу. И общественное мнение, и армейские занятия по политграмоте, и те журналы, книжки про шпионов, фильмы, которые ему попадались, только укрепляли его во мнении, что восточногерманские власти действуют безошибочно и безупречно — во всем, что касается розыска преступников, контроля, воздвижения преград, — так что он считал чистой случайностью, если какой-нибудь подземный туннель полицейские обнаруживали лишь после его удачного использования, если кому-то удавалось бежать и при этом остаться невредимым; даже в романах багополучный побег казался ему неправдоподобным, если действие разворачивалось в одной из коммунистических стран, и дальше читать уже не хотелось — тогда как аналогичный эпизод побега из западной тюрьмы нисколько не уменьшал его интереса к последующему развитию сюжета, хотя сама техника побега обычно описывалась ничуть не более убедительно. Поиском людей, которые сделали своим ремеслом нелегальную переправку через границу восточных немцев, Б. занимался вполсилы и на успех особенно не рассчитывал: необходимость преступить восточногерманские законы его пугала, нарушение же законов ФРГ казалось чем-то некрасивым, сомнительным для порядочного человека. Более всего его устроило бы, если бы существовала некая официальная инстанция, которая помогала бы гражданам своей страны воссоединяться с родными и близкими, оказавшимися на изолированной территории. А искал он, по сути, наилучший на сегодняшний день способ обмануть пограничный контроль — какой-нибудь неслыханный трюк, безотказно действующий, еще ни разу не примененный на практике; но если бы даже такой трюк отыскался, если бы кто-то действительно мог им воспользоваться — надеяться, что повезет именно ему, Б., было все равно что рассчитывать на главный выигрыш в лотерее или искать иголку в стоге сена. Так, по крайней мере, ему это представлялось. Когда поздним вечером в одно из предрождественских воскресений он пришел в пивную, с которой несколько недель назад началось его житье в Берлине, он думал, что явился сюда в последний раз, что здесь он и признает свое поражение — ведь в этом светлом, приветливом погребке он чувствовал себя дома гораздо в большей мере, чем в той комнате, которую снимал, именно здесь он нашел общий язык с чужим для него городом, а нынче впервые хотел напиться не для того, чтобы забыть о неприятностях, но чтобы до конца осознать: он как мужчина оказался несостоятельным, он даже не выполнил своего обязательства перед Д., не говоря уже о том, что без толку промотал кучу денег.

— Мне половинку, — сказал он, взгромоздившись на табурет возле выходящего на улицу окна, но тут его напугала крупная овчарка, которая вдруг высунула нос из-за оцинкованной стойки, потом оперлась лапами о ее край и долго разглядывала Б., после чего опять соскользнула

вниз, с таким выражением на морде, словно хотела запомнить увиденное. Б. еще никогда не встречал здесь эту собаку и потому не сразу уловил, что хозяйка ему что-то говорит.

— Могли бы и ответить на мое "Здрасьте"! — сказала хозяйка.

Другие посетители, сидевшие за стойкой, как по команде взглянули на него, но не неприязненно, а с веселым недоумением, один даже подмигнул, словно давая понять, что Б. решительно не о чем беспокоиться; Б. внятно произнес: "Добрый день, госпожа хозяйка!", но та лишь небрежно кивнула, сама же с подносами в обеих руках двинулась к столикам, выстроившимся вдоль стены; потом, уже вернувшись и наливая пиво для Б., она еще раз заговорила с ним: "Ну как? Понравилась вам моя собака?" — и будто бы случайно подошла ближе, так, что соседи даже не повернули голов, не заинтересовались тем, что происходит в углу. "А как вас, между прочим, зовут? — спросила хозяйка тихо и, нетерпеливо прервав витиеватую фразу Б., поторопила: — Так как же?"

Б. наконец назвал фамилию. Хозяйка задумалась, будто мысленно повторяла ее по буквам, она стояла, прикрыв глаза и пальцем теребя губу, — она, похоже, силилась что-то вспомнить. Потом неожиданно повернулась к кассе, выдвинула ящик, достала оттуда запечатанный конверт и протянула Б., даже помахала письмом у него перед носом — тот еще сомневался, брать ли. Б. узнал свою фамилию, напечатанную на машинке, но не обнаружил адреса отправителя и растерянно выдавил из себя: "Ну... положим", удивленный настолько, что так и остался стоять с раскрытым ртом. "Что-что?" — недовольно переспросила хозяйка. "Я только хотел бы знать..." — промямлил Б., и она в ответ: "Я тоже!", а сама уже двинулась прочь от него, уже говорила как ни в чем не бывало, обычным громким голосом: "Что я вам, почта?" и: "Чего только не приходится делать ради своих клиентов!", так что, когда она подошла к другим посетителям, те уже были вовлечены в разговор. Б. тотчас понял, что совершил ошибку, и, прежде чем разорвать конверт, отхлебнул пива; не успев сглотнуть, он уже выудил двумя пальцами листок бумаги и узнал почерк Д. Тут он с такой поспешностью опустил тяжелую кружку, что она едва не угодила мимо столешницы. "Я не сразу поверила тому, что ты написал, ты уж, пожалуйста, не сердись, — прочел он. — Что ж, помоги мне перебраться через границу, теперь я к этому готова. Но только постарайся найти такое место, где не стреляют. Не сердись на меня за мой страх". Он поднес кружку к губам, откинул голову и начал пить большими, мучительными глотками, прикрыв глаза и держа письмо в безвольно повисшей руке. Кто-то рядом уважительно засмеялся, когда он выпил пиво до дна, не оставив даже ошметков пены; кто-то — кажется, хозяйка — сухо обронил: "Собаку, между прочим, зовут Генриетта", но он даже глаз не поднял. В слове "стреляют" Д. сделала ошибку, на другом слове — "ты" — острый карандаш, зацепившись за грубоволокнистую бумагу, выдрал крошечный треугольник. Судя по дате, письмо было написано три недели назад. Марку на конверт — кстати, лучшего качества, чем сама бумага, — явно наклеили в Западном Берлине, там же и проштемпелевали письмо. Хозяйка стояла рядом и тотчас подхватила кружку, которую Б. с грохотом опустил на стойку. "Что-нибудь случилось?" — спросила она. Но Б. оставил вопрос без ответа, только мотнул головой, заказал большую рюмку шнапса и стал путанно объяснять, какого именно. "Да что с вами?" — сурово переспросила хозяйка. Б. повто-

рил название марки, саму женщину он словно бы и не видел. Он видел только письмо, которое теперь никак нельзя было игнорировать, — это невыполнимое требование, неопровержимое, невыносимое доказательство его, Б., вины. Д. просила помощи, а он оказался неспособен ей помочь; у других это получалось, и потому оправдания ему не было. Он схватил рюмку, одним махом опорожнил ее и, уже пустую, поставил на стойку, убежденный, что выпил двойную порцию, хотя хозяйка подала ему одинарную; он попросил повторить и, как ни в чем ни бывало, опять выпил одинарную; он смутно чувствовал на себе озабоченный и заинтересованный взгляд хозяйки, и вместе с тем ему чудилось, будто он видит себя со стороны, как если бы смотрел фильм о некоем Б., персонаже довольно непривлекательном. Прошло какое-то время, прежде чем он смог опять воспринимать слова, видеть игроков в скат за столиком в углу, замечать, что они заглядывают в карты друг другу, — однако теперь все это существовало где-то очень далеко от него. За окном, на ночной площади, возле освещенного бело-голубыми огнями входа в подземку, лежали груды упакованных елок — для других через несколько дней должны были начаться рождественские праздники. Вдруг Б. заметил, что у самого его локтя стоит — и, видимо, уже долго — Отто по прозвищу Истопник, стоит в низко надвинутой на лоб мокрой кепке и заказывает "махотку", что вообще-то запрещено полицией, почему ему и наливают пиво в бокал для сока и он сам опрокидывает туда "стопарик"; Отто нимало не беспокоился, зная, что все забегаловки на его долгом пути, по которому он движется, опрокидывая рюмку за рюмкой, каждый вечер шаркающими шагами, сперва по одной стороне улицы, а после, с еще большей осторожностью, в обратном направлении по другой, — еще открыты. Подле него облокотились о стойку господа постарше, которые, кажется, вот только что сидели, развалясь как у себя дома, в уголке для любителей ската, а теперь, уже в пальто, выпивают "по последней" и дружно опускают кружки на стол возле мойки; Б. подумал, что уж им-то точно не приходится жить на пределе своих возможностей, что от них никто не требует ничего такого, на что они в принципе не способны. Лампочки на стенах успели тем временем погаснуть, светлое нутро музыкального автомата тоже померкло, и теперь Б. сидел один-одинешенек под узким световым конусом, будто выпиливаемым из полутьмы гудящей неоновой лампой; но даже этот крошечный освещенный островок он, Б., должен был покинуть. Хозяйка маячила у него за спиной, возле вентилятора, одной рукой, словно выпроваживая надоедливого гостя, придерживала портьеру, другой уже нажимала на ручку двери и, словно уговаривая заупрямившегося ребенка, повторяла: "Мы закрываемся, закрываемся", — но Б., не трогаясь с места, бубнил, что просит принести ему последнюю "половинку"; в результате хозяйка со вздохом вернулась за стойку, еще раз отвернула пивной кран, а пока клиент пил, принялась за мытье посуды, и Б. опять мог смотреть на ее голую руку, которая ставила кружки в моечную машину и поворачивалась вместе с ними, — Б. видел все с преувеличенной четкостью, будто во сне, окончанию которого он изо всех сил противился, как бывает незадолго до пробуждения. Вот и посторонний звук он услышал... Звук был ничуть не громче, чем шорох звукоснимателя, попавшего в бороздку поставленной на проигрыватель пластинки, потом щелкнул замок входной двери, потом — опять-таки будто во сне — Б. увидел, как упала в ра-

ковину пивная кружка, как собака странно замедленными прыжками рванула к двери, как хозяйка на ходу сорвала с себя фартук и обе они, выскочив на улицу и пробежав вдоль витрины, исчезли из поля его зрения; в неожиданно наступившей тишине, прерываемой только лепетом крана над мойкой, Б. наконец очнулся от своего оцепенения.

— Видели? — спросила запыхавшаяся хозяйка, вокруг которой, повизгивая, крутилась собака, явно выпрашивая прощения за неудачную охоту. — Да чего вы сидите как неживой?

— Украли ключ, — с готовностью отозвался Б., но хозяйка только махнула рукой, подняла с пола фартук и устало вернулась за стойку. — Глянули бы на улицу, — обронила она, и Б. послушно вышел в холодную ветреную ночь, увидел через приоткрытую дверь телефонной будки, как какая-то девушка снимает трубку, но, поскольку внимание его в тот момент отвлекла собака, он не стал вслушиваться в чужой разговор, а просто бездумно стоял у края тротуара и глядел на серую пустую улицу, ничего, впрочем, не замечая, кроме стремительного черного ветра, до боли в висках замораживавшего пот у него на лбу. Когда хозяйка кликнула его обратно, он заметил, что с ней творится что-то странное. Она, например, схватила чистый стакан вместо того, чтобы заново наполнить кружку Б., попыталась удалить лужицу с пола с помощью каплеуловителя, предназначенного для сушки бокалов, а потом, выпрямившись со вздохом и смахнув со лба волосы, так и осталась стоять, позабыв про своего последнего посетителя. Но когда Б. предложил, что составит ей компанию до прихода вызванного ею слесаря, она сразу встрепенулась, прищурив глаза, смерила его оценивающим взглядом, потом пожала плечами и кивнула с тихой усмешкой, отложив в сторону фартук, который собиралась надеть. Молодой г-н Б. был настолько увлечен своей новой ролью ее покровителя, настолько рад разрешению остаться, что вернул ей едва пригубленное пиво и, когда она сказала, что он клюет носом, попросил кофе. В ту ночь он произносил слова, не задумываясь, — свободно, радостно, даже, можно сказать, шутливо; его настолько ободрило ее дружелюбие, настолько утешила возможность находиться с ней рядом в полумраке, что у него не осталось иных желаний, кроме одного: чтобы эта молодая женщина так вот и стояла — вечно — напротив него, опершись локтями о стойку бара, чтобы терпеливо и внимательно его слушала, пусть даже бросая взгляд в сторону телефона-автомата в те мгновения, когда он, Б., на нее не смотрел. Он даже не догадывался, что у него что-то выспрашивают. Она попросила еще раз рассказать о допросе, которому его подвергли в особняке у залива, и он воспринял ее беззвучный смех как простодушную похвалу его хитрости, не заметив сдвинутых бровей, придававших ее лицу выражение серьезной сосредоточенности. Потом она выслушала его историю об угоне машины, неодобрительно качнула головой именно в тот момент, когда он и ждал от нее какой-нибудь неодобрительной реплики в адрес вора, вот только он пропустил мимо ушей, как она прищелкивает языком, будто поддразнивает ребенка, выказывая преувеличенное сочувствие. Когда же она засмеялась в голос и потом продолжала хихикать, прикрыв рот ладонью (а плечи у нее еще долго ходили ходуном), он вдруг сказал: "Я бы с удовольствием вас сфотографировал". Он рассказал ей про снимок, которым особенно гордился, — тот, где дети возле Стены играют в восточногерманского полицейского и человека, пытающегося убежать из

страны. Он рассказал ей о родном городке, о том, как служил в бундесвере, о своем страхе перед самолетами. И еще он сказал: "У меня есть девушка на Востоке, я должен помочь ей оттуда выбраться, вы не посоветуете мне что-нибудь?.." Он мог бы продолжать разговор до самого утра, осчастливленный тем доверием, которое ему оказывают, если бы через пару часов в пивную не заявились два молодых человека, примерно его возраста; обратившись к нему со словами: "Эй, малыш!", они вывели его на улицу и усадили в такси, приговаривая все те фразы, которыми принято утихомиривать пьяниц. Когда, уже после полудня, он наконец проснулся, память его из-за головной боли была вялой и блеклой, как трава, пробившаяся из-под камней, и он не мог сообразить, действительно ли хозяйка накануне говорила ему: "Я поспрашиваю, да только боюсь, дрова уже прогорели", и еще: "Да не хочу я читать ваше дурацкое письмо!", и: "Значит, послезавтра в полдень"; а потом хозяйка за спинами своих дружков вроде бы молча кивнула ему, суля поддержку, теперь он в это не верил — и только в среду, когда уже собирался положить в чемодан свой темный костюм, вдруг обнаружил в нагрудном кармане счет из пивной, за прошлую субботу. Через все числа шла волнистая закорючка, а под итоговой чертой незнакомым, но явно женским почерком было приписано: "Среда, 14.00, постучать, не опаздывать". Он уже сообщил хозяину квартиры, что освобождает комнату, и заказал билет на трехчасовой гамбургский рейс, ему не хотелось откладывать отъезд из-за столь ничтожной надежды, а вспоминая, что́ он в тот вечер мог наболтать, он и вообще стыдился показаться на глаза этой женщине. Тем не менее по дороге к Южному аэропорту он велел таксисту остановиться перед пивной. Дверь с узорной чугунной решеткой была заперта, навесной замок сверкал новизной. Чувствуя в глубине души облегчение, Б. вернулся к такси, но, еще не успев сесть, услышал, что его окликают по имени, и, обернувшись, с недоумением увидал молодую женщину, которая приближалась к нему с двумя полными сетками в руках; узнал он ее только благодаря собаке, остановившейся одновременно с ней.

— Привет! — выпалила, сияя, женщина, потом вытянула из-под рукава ремешок наручных часов и до тех пор держала перед собой сетку, пока Б. не догадался у нее эту сетку забрать, дав ей тем самым возможность подать ему руку.

— Гляньте, чего я купила! — радостно сказала хозяйка пивной. — Сегодня у нас будет на обед рыба! И я не опоздала!

Выглядела она бодро, лицо посвежело от холода. Ее дыхание изящными облачками уплывало в воздух. Она назвала обещанный адрес. Б. недоверчиво посмотрел на нее через окно такси. У него в голове не укладывалось, что хозяйка и вправду может помочь Д. перебраться через границу — эта чужая женщина, казавшаяся такой хрупкой в своем синем суконном пальтишке... Держа в одной руке обе сетки с мясом и рыбой, она другой рукой отперла замок, потом, уже стоя на пороге, обернулась и кивнула ему.

— Так что, шеф, — спросил водитель такси, — едем на Генриеттенштрассе?

— Да-да, — обреченно подтвердил Б., подчиняясь воле хозяйки пивной.

Нужный ему дом на Генриеттенштрассе ничем не выделялся среди прочих домов. Пять этажей, выцветшая штукатурка, когда-то охряного

цвета, таблички с фамилиями жильцов (в основном врачей) на железной решетчатой калитке, высокий портал, за ним — десять широких мраморных ступеней, потом — узкая, покрытая ковровой дорожкой деревянная лестница, красно-коричневые лакированные двери, блестящие латунные таблички с фамилиями и обозначениями профессий, характерных для среднего сословия, лестничные площадки с камышовыми стульями и пепельницами на подоконниках: все эти приметы убеждали молодого г-на Б. в том, что ему опять дали неправильный адрес. Этот бюргерский дом представлялся ему удобным прикрытием для жуликов, а потому он изумился и насторожился, когда на четвертом этаже ему открыл дверь тощий молодой человек, одетый как для парадного выхода, в черно-белое, — и исключительно вежливо поздоровался, назвав его по имени. Через кривоколенный коридор, в котором висело на стенах много разных пальто, этот молодой человек провел Б. в комнату, обставленную как служебный кабинет: там были старые канцелярские шкафы, стол с пишущей машинкой и только два стула возле высокого, с дугообразным верхом окна; усевшись за стол, хозяин снял очки и испытующе посмотрел на Б., после чего снова водрузил их себе на нос, словно на что-то решился. Стекла очков блеснули. Молодой человек говорил на берлинском диалекте, да так быстро, с такими специфическими оборотами, что Б. не сразу понимал, о чем, собственно, его спрашивают. Двумя пальцами отстукивая на машинке ответы Б., молодой человек низко наклонялся над клавишами, как неуклюжий подросток.

— Ей двадцать один год, — отвечал Б.

...Рост метр семьдесят, но кажется выше.

...Волосы белокурые, скорее даже пепельные.

...Глаза серо-зеленые, да, серо-зеленые...

Молодой человек терпеливо ждал, пока Б. справится со своей неуверенностью, а когда печатал ответ, еще раз повторил вслух: "Серо-зеленые" — будто диктовал это слово самому себе.

— Никаких иностранных языков она не знает. Хотя нет: знает русский.

...По профессии она медсестра.

— Повторите еще раз фамилию по буквам, — попросил, явно удивившись, молодой человек и потом озадаченно кивал после каждой буквы. — Адрес! — выпалил он. Но прежде чем Б. успел произнести название улицы, собеседник его прервал: — Она живет в северной части города, в общежитии больничного городка! Мы ее знаем! У нее еще комнату отобрали. Это ведь та самая девушка, которая, если ей страшно, всякий раз успокаивает себя фразой: "Социализм обязательно победит!" Передразнив ее испуганный и вместе с тем заносчивый тон, он тихо рассмеялся и качнул головой.

— Я уже давно с ней не виделся, — неуверенно промямлил Б., но, к его удивлению, молодой человек сам попробовал извиниться.

— Знаете, иногда ляпнешь, чего не хотел... — сказал он. — Но теперь-то все так и так переменится.

Он стал заполнять анкету дальше, иногда короткими репликами выражая свое удивление. "Потрясная барышня!" — говорил, например, он; или: "Уж эта наверняка все основательно продумала!" И продолжал стучать по клавиатуре двумя пальцами. Вытащив лист из машинки, он неожиданно переменил тон и деловито спросил, какую сумму может пред-

ложить Б. Тот лишь недоуменно поднял глаза. Молодой человек пояснил:

– Это стоит денег. Дорожные издержки, знаете ли... У вас сколько есть?

Б. назвал сумму, составлявшую примерно десятую часть стоимости приличной машины. Когда же его собеседник нахмурил лоб и нерешительно пригладил волосы на затылке, он повысил свое предложение до одной пятой, надеясь, что сумел убедить молодого человека в его – Б. – бедности. Однако тот даже и не взглянул на него.

– Когда соберете, сколько мы договорились, положите в конверт и бросьте в мой почтовый ящик, – уточнил он. После чего принялся излагать всякие конспиративные правила, но потом поднял глаза, и, видимо, обескураженное лицо Б. показалось ему исполненным отчаяния, поэтому, уже на лестничной клетке, он легонько тронул гостя за плечо и сказал: – Не переживайте, даже если не наберете денег. Эту девушку мы хорошо знаем. Я ее зарегистрировал под номером четыреста пятьдесят, можно сказать, юбилейным. Устроим ей подарочную поездку.

Все это он проговорил таким тоном, словно хотел утешить Б. А в дверях подмигнул и махнул рукой.

– Стало быть, сразу после Нового года, – весело подвел он итог.

Молодой г-н Б. стоял на лестнице, словно оглушенный, ничего не видя, как иногда случалось, когда он выходил из кинозала на дневной свет. Он пробыл здесь всего четверть часа, но это время представлялось ему выключенным из обычной жизни. Оказавшись на улице, он бездумно смотрел на двух ребятишек, растиравших друг другу щеки снегом, пока таксист, распахнув перед ним дверцу, не сказал:

– Молодой человек, мой счетчик съедает ваши деньги.

Б. попросил, чтобы его отвезли к тому дому, где он снимал комнату (от которой уже отказался), и уговорил старика-хозяина возобновить расторгнутый договор; ему, правда, пришлось пообещать, что молодых посетительниц он будет выпроваживать не позднее десяти вечера. Но теперь это нисколько его не волновало. Как протекали первые дни после возвращения, он почти не заметил: простуженный, с затуманенной головой, лежал в постели, оглушал себя грогом, есть ему совершенно не хотелось. Появляться в пивной возле станции подземки человек из странной квартиры ему категорически запретил; в канун Рождества, как и было уговорено, Б. позвонил туда. Но прежде чем он успел произнести свое имя, хозяйка его перебила:

– Я все знаю. Осталось ждать две недели.

Одновременно с ее голосом он слышал гул разговоров и музыку из радиоприемника, который, как он помнил, помещался на полке с бутылками и фетровыми подставками для кружек. Вечером того же дня хозяин квартиры в знак особого расположения пригласил Б. к себе в комнату и подарил ему галстук; Б. рассматривал альбом с фотографиями покойной жены старика – и не знал, что сказать. Он часто думал о той квартире, в которой так опрометчиво оставил свои пятьсот марок. Под ее окнами проходила городская железная дорога, и где-то неподалеку громыхание колес превращалось в другой, певучий и протяжный звук. Хозяину странной квартиры – щегольски одетому молодому человеку – Б. тогда действительно поверил. Его поразило, что на внутренней стороне двери, помимо обычного замка, были еще два специаль-

ных, задвижка и дверная цепочка, все пыльное, но покрытое лаком, нанесенным месяца четыре назад. Из других комнат доносились голоса. Паркетный пол был серым и таким истертым, словно сюда приходило множество людей — гораздо больше, чем четыреста пятьдесят. Когда, уже после Нового года, Б. еще раз позвонил в пивную, хозяйка сказала: "У вашей девушки все в порядке. Ждите ее на той неделе". Б. не мог понять, почему ему помогают, — сам-то он никому не помогал. В тот раз ему задали вопрос насчет фотографий для паспорта, и он понял, что Д. приедет с фальшивыми документами; в газетах ему доводилось читать о людях, которых задерживали с поддельными паспортами. Неделю спустя он снова позвонил в пивную. Хозяйка ответила: "У нас возникла одна техническая заминка; подождите до послезавтра". Несколько дней Б., как прежде, бродил по городу, главным образом вдоль границы: фотографировал проволочные заграждения, плакаты, восхваляющие политику восточногерманских властей, сторожевые вышки посреди заснеженного пустого пространства, смотровые щели, в одной из которых блеснули стекла направленного на него бинокля. В еженедельном выпуске кинохроники он видел толстостенный туннель, где оставались зазоры не больше чем в ладонь шириной, когда проносились желтые электрички, доставлявшие почту в Восточный Берлин. Ему казалось, побег невозможен. Но хозяйка говорила: "Дело на мази. Она велела вам кланяться". Целыми днями Б. бегал из одной киношки в другую, его отвлекали от тревожных мыслей истории о людях, которые мастерски вскрывали сейфы, или обнимались, или бросали лассо, или раздевались догола. Когда однажды срок побега Д. в очередной раз отложили, а ему, Б., уже было невтерпеж, хозяйка резко оборвала его жалобы. "Слушай, толстяк! Ты бы лучше не мешался под ногами, когда мать вытаскивает из воды ребенка!" — бросила она раздраженно, даже с угрозой, как ему померещилось. А в следующий раз сказала: "Твоя девушка спрашивала о тебе. Мы ее успокоили: мол, ты ее любишь, ну и все в таком роде. Правильно?" — "Да", — выдавил из себя Б., смущенно и так тихо, что пришлось повторить. Но временами он гордился собой, потому что считал всю эту затею — с каждодневным соблюдением мер конспирации, с короткими разговорами по телефону — весьма романтичной. Еще он ставил себе в заслугу, что решился рискнуть пятьюстами марками: сумма казалась ему громадной — именно столько он однажды проиграл в казино. Теперь по утрам он уже не проходил — стоически — мимо заманчиво освещенных пивных, а заглядывал в них: в одну — выпить рюмку шнапса, в следующую — пивка; и остатки денег таяли на глазах. Правда, авиабилет, лежавший в кармане брюк, действовал на него успокаивающе: Б. знал, что в любой момент может покинуть город.

— Все произойдет завтра, — сказала, наконец, хозяйка, — вашей девушке повезло с погодой.

Б. сперва не поверил — ведь он до сих пор считал, что убежать невозможно. Остаток дня он провел, печатая фотографии Д., — в максимальном формате, который допускали его ванночки. Молодая особа, запечатленная на уже готовых снимках, вопросительно и беззаботно смотрела куда-то в сторону, явно не испытывая мрачных предчувствий. Б. упорно доказывал себе, что, если дело закончится арестом, виновата будет она, а не он: ведь она по своей воле пошла на риск.

— Она, наверное, что-то не так сделала, — сказала хозяйка, когда Б. уже был уверен, что Д. сейчас в Западном Берлине.

Он стоял на площадке перед пивной, видел освещенную вывеску, подвижные тени за наполовину зашторенными окнами. Он не испугался, только ощутил необыкновенную сосредоточенность, как будто все, что он сейчас видит вокруг — мельтешение пешеходов на фоне освещенных витрин, грязный снег, громоздкие автобусы, оберегающее темное небо надо всем этим, — навсегда останется для него незабвенным моментом истины.

— И что теперь? — спросил он, сам удивляясь любопытству, прозвучавшему в его голосе. Ему почудилось, что хозяйка тихо рассмеялась, но смех ее словно доносился из-за перегородки.

— Теперь она сделает все как надо. Завтра узнаем новости.

Всю ночь Б. просидел в барах. А с утра стал кататься в поездах подземки, вдоль и поперек по всему городу, чтобы хоть как-нибудь убить время, пока не наступит момент, когда можно будет позвонить. Сейчас он бы с удовольствием съездил в Восточный Берлин, но не хотел рисковать.

— Через двадцать три часа она будет здесь, — сказала хозяйка. — И тогда мы вместе позавтракаем: даю голову на отсечение, теперь все получится.

Во второй половине того же дня молодой г-н Б. вылетел в Гамбург, а там пересел на штутгартский рейс. После долгих телефонных переговоров автомобильная фабрика в Вюртемберге обещала продать ему вне очереди новую спортивную машину. Еще в Западном Берлине он купил себе пару карлсбадских перчаток, снизу кожаных, а сверху шерстяных — чтобы протирать запотевшие автомобильные стекла.

8

Впоследствии Д. удивлялась тому, что вообще сумела разобрать письмо Б.

Она устала. В октябре ее перевели из платного отделения в обычное, и она даже не пыталась протестовать. После этого она только раз видела своего профессора, когда после визита к больному он в сопровождении обычной свиты шел к лифту; Д. со свойственным ей упорством попыталась добиться от него ответа — в чем же она провинилась, какую допустила ошибку; старик, откинув голову, испытующе посмотрел на нее и ответил вежливо, но, как ей показалось, без участия: "Ошибку? Нет, никакой ошибки не было. Провинились! Да с чего вы взяли?" И тут вдруг, за спиной у старшей сестры, недоуменное выражение у него на лице сменилось насмешливым, глаза заговорщически подмигнули, губы, еще мгновенье назад поджатые, растянулись в улыбке, так что Д., обрадованная, улыбающаяся во весь рот, чуть ли не с реверансом схватила его руку и, прежде чем он успел опомниться, отступила назад со словами: "Большое вам спасибо за все". Хотя, по правде говоря, благодарить его было не за что, разве только за то, что он не догадывался о ее чувствах. Словно в растерянности, он пригладил короткие волосы, черные с проседью, снова повернулся к лифту и вторично нажал кнопку вызова, прежде чем заведующая отделением успела его

опередить, — а все потому, что та, застыв от негодования, взирала на свою подчиненную, дерзнувшую задать профессору подобный вопрос. Для Д. это был наивернейший способ испортить свою карьеру; она, видимо, не сделала должных выводов из истории с ее понижением — переводом в обычное отделение. На самом деле, не зная того, Д. стала жертвой интриги, которую затеяла старшая сестра, и многие сослуживицы с возмущением просвещали ее на сей счет, а потом качали головами, видя, что она не только не подала жалобу, когда ее место отдали другой, но, более того, в столовой по-прежнему подсаживается за столик к этой другой и разговаривает с ней точно так, как прежде. Прежде они дружили. Для зависти же у Д. не было сил. Она могла бы — хотя бы для виду — пригрозить, что уйдет, сказать, например, что ей предлагают выгодную и спокойную работу на промышленном предприятии; да только сейчас она даже перестала мечтать, что когда-нибудь станет старшей сестрой отделения, хотя уже очень давно носила шапочку штатной сестры, с жесткими складками сзади, которой поначалу по-детски гордилась. Времена, когда она строила какие-то планы, надеялась на профессиональный рост и оттого порой вела себя глупо, безвозвратно миновали. Она, можно сказать, привыкла делить комнату с чужим человеком, делить мансарду в общежитии с двадцатишестилетней сестрой из Магдебурга, хотя та то и дело похвалялась своей молодостью, оставляла в раковине чулки, частенько не застилала постель, а порой даже похрапывала во сне; но Д. безропотно прибирала за этой девицей, научилась насвистывать по ночам, пока не смолкал тихий храп, и без особых просьб освобождала комнату, когда соседка приводила втихаря своего молодого человека, — гуляла в парке либо смотрела телевизор в общей гостиной, а однажды даже присела на край кровати, когда, воротясь, застала обоих еще в постели, так что старшая сестра, вошедшая за ней следом, не нашла повода, чтобы поднять свисавшее до полу одеяло, за которым прятался затаивший дыхание кавалер; а еще Д. делала вид, будто внимательно слушает, когда затосковавшая — как это с ней регулярно случалось — соседка за рюмкой "Отборного" коньяка рассказывала ей что-то, или читала письма от своих родителей, которые прошлым летом, как раз перед тем, как власти закрыли границу, успели перебраться на Запад; но Д. никуда не ходила с этой девушкой — ни в кино, ни в кафе, ни на танцы; она не делала большего, чем принято в обычных товарищеских отношениях, по-настоящему подружиться с кем-нибудь ей не хотелось. Она почти никогда не покидала территорию больничного городка. Уж коли ты проработала четырнадцать часов, можешь остаться и до десяти утра, говорила она, ее даже считали "чокнутой", потому что она безропотно соглашалась на неприятную работу, непонятно почему мыла посуду за других, натирала пол мастикой — однообразные движения помогали ей отгонять тревожные мысли. В ту пору сестры, которые помоложе, объединились и стали устраивать ловушки для старшей сестры — прикрепляли нитки к дверцам шкафов, помечали конверты тонкими карандашными линиями, закрыв выдвижной ящик, оставляли торчащий наружу волос, — причем именно Д., задрав свой курносый носик, посоветовала сразу смутившейся пожилой сестре наконец-то пустить полицию по следу того человека, который, что уже точно доказано, периодически роется в их шкафах, обыскивает все ящики, читает письма, явно надеясь обнаружить какие-то ценные вещи; эта довольно безвкусная

проделка на время отвлекла Д., вообще же даже малейшего воспоминания о прошлом мае хватало, чтобы она почувствовала себя школьницей, которая прогуляла все занятия, но все равно хотела бы сдать экзамен. До самых дальних отделений дошел слух о том, как отчитала Д. пятерых пациентов, которые собрались у постели умирающей и жадно наблюдали за ее последними судорогами, а сестру не вызвали; один из провинившихся даже попросил о досрочной выписке, потому что не мог больше выносить презрение остальных больных: с этими выродками просто не разговаривали, разве что повторяли им те крепкие выражения, которыми от всего сердца наградила их Д.; в коридорах и в столовой с Д. теперь здоровались даже незнакомые сестры, более того, ей присудили премию за образцовую работу, вручили эту премию на торжественном собрании, посвященном очередной государственной годовщине. Премиальные деньги Д. одолжила старшему брату для каких-то покупок: сама она не знала, на что их потратить; пальто у нее, правда, поизносилось, но ведь она все равно не могла бы покрасоваться перед Б. в новом. Порой, когда она вспоминала, что в банке, куда ей переводили зарплату, на ее счету уже скопилась немалая сумма, мелькала мысль: "это на крайний случай"; продолжать такие рассуждения не хотелось. На день рождения сослуживцы подарили ей утюг с теплорегулятором и другие полезные вещи, которые могли бы пригодиться как приданое; с помощью брата она продала их на черном рынке и купила себе японский транзистор, умещавшийся в кармане фартука, — чтобы и во время дежурства слушать передачи западноберлинского радио. В ответ на рифмованное поздравление, которое зачитала одна из уборщиц, делая трогательные паузы после слов "будущее" и "счастье", Д. вздохнула и серьезно сказала, под общий смех: "Да ведь я уже старая". Будущее, которое когда-то представлялось ей бескрайним открытым миром и в котором непременно нашлось бы место для молодого г-на Б., теперь, как она думала, у нее отняли. Порой она даже не могла сразу вспомнить свои конкретные претензии к Восточногерманскому государству, хотя, судя по его же лозунгам, оно было в ответе решительно за все — значит, и за нехватку лекарств и перевязочных материалов, и за пуговицы, регулярно плавившиеся в прачечной, и за лишение свободы людей, которые всего-навсего рассказывали "порочащие власть" анекдоты; в такие моменты только возведение Стены (то есть изоляция от остального мира) вызывало у Д. холодную ярость, как во времена детства — нарушение слова. Но потом она опять обретала способность видеть детали случившегося несчастья и, как все вокруг, возмущалась, заметив на улице машину с западноберлинским номером, потому что для "деловых людей" власти делали исключение, как если бы ничего не произошло, ведь даже изоляция распространялась не на всех. Д. настолько привыкла к своей постоянной меланхолии, что сама себе удивилась, когда однажды беззаботно рассмеялась — только потому, что один из пациентов с преувеличенной галантностью поднял и понес за ней, как шлейф, свисавший вниз пояс пальто. Она засыпала сразу, и ей ничего не снилось, но по утрам у нее болела спина; она не могла сосредоточиться ни на чем, кроме того, что относилось непосредственно к ее служебным обязанностям, и иногда умолкала на полуслове — поддерживать видимость взаимопонимания ей казалось излишним. К Первому мая она довела себя до такого состояния, которое было несовместимым с настроением

большинства людей. Теперь она каждый час выкуривала по сигарете, хотя раньше ее возмущало, что братья — все вместе — расходуют пачку сигарет за день; она никак не могла взять себя в руки. У нее регулярно бывали боли в нижней части живота — она старалась не обращать на них внимание. Часто по ночам она просыпалась и обнаруживала, что рука ее зажата в промежности. Она завидовала соседке по комнате, которая, поссорившись в очередной раз со своим другом, натягивала одеяло на голову и тихо всхлипывала, пока не уснет: эта, по крайней мере, не утратила способности плакать.

Письмо доставила какая-то девушка из Западного Берлина, Д. совершенно не была к этому готова. Она не могла отделаться от мысли, что гостья — примерно ее роста, но постарше и с более круглым лицом — это новая возлюбленная молодого г-на Б., которую тот прислал, чтобы осторожно открыть своей прежней подруге правду. Ей казалось, будто она знает посетительницу уже давно, Д. шла к ней через вестибюль, равнодушно улыбаясь, с нелепой надеждой, что та сразу обратится к ней на "ты". Посетительница поднялась со стула, сделала два шага навстречу, и, поздоровавшись, они пошли рядом, обмениваясь короткими репликами о дождливой погоде, так что пациенты в махровых халатах, которые вместе с людьми, пришедшими их навестить, сидели на скамейках вдоль стен, наверняка подумали, что медсестра Д. встретилась со своей давней знакомой или родственницей. Но у самой Д. было такое ощущение, будто ее вот-вот ударят по затылку, будто она не идет, а ее тащат на поводке. Гостья остановилась перед одним из зарешеченных окон, выходивших во двор, и попыталась глянуть вниз, хотя часть стекла была замазана белой краской. Письмо лежало на подоконнике возле ее руки, Д. тоже положила руку на подоконник и незаметно сунула конверт себе в карман. Она ждала объяснений.

— Отродясь не бывала в больнице! — сказала гостья, невесть чем воодушевленная, потом с любопытством огляделась по сторонам и потерла мясистый нос. Когда она откинула вымокший под дождем капюшон, Д. увидела густые золотистые локоны, красиво уложенные, и ей захотелось спросить, что это за прическа. Посетительница, конечно, со своими западногерманскими документами могла пересекать границу, когда ей заблагорассудится, а сейчас она, одним движением руки высвободив пуговицы из петель, распахнула плащ и глубоко вздохнула — ей было жарко.

— Ладно! — бросила она, когда уже снова шла по вестибюлю, на ходу заглядывая в раскрытые двери канцелярии и кухни. — А теперь скажите, чего у вас не хватает.

Д. даже и не сообразила, что ответить. Уж очень ей понравилось платье гости. Оно было из тонкой ткани, на которую сверху нанесли черный слой лака, с пояском шириной в палец и пуговками до самого низу. Д. с удовольствием бы примерила платье, просто чтобы посмотреть, к лицу ли оно ей.

— Ну, скажем, снотворных, таблеток от головной боли, антибиотиков? — перечисляла та, словно составляла список необходимых покупок.

— Да, и еще лейкопластыря, марли, ромашкового чая, — как бы против воли продолжила Д.

— Нет, подумать только! — воскликнула ее собеседница. — Ромашкового чая им не хватает! Какая гнусная ложь!

При этом она бросила на Д. такой лукавый взгляд, что та невольно расхохоталась. С другого конца коридора, наверное, это выглядело так, будто обе они дружно смеются над какой-то шуткой. Но гостья уже собралась уходить. На вопрос, как дела у Б., она только пожала плечами, словно понятия не имела, кто он такой. Она тронула Д. за плечо, кивнула ей, а возле двери на лестницу еще и помахала рукой, но Д. показалось, будто все эти жесты рассчитаны на других.

— Ну, сестричка, всего тебе хорошего, — сказала западная немка на прощанье; и тут вдруг Д. увидела в ней своего двойника: девушку примерно такого же роста, в оливково-зеленом плаще, которая обеими руками натягивает на голову капюшон и быстро удаляется прочь, цокая сапожками. Д. с горьким чувством утраты смотрела ей вслед, губы беззвучно произнесли "До свидания", но сама она этого не заметила.

С письмом в кармане она направилась к ближайшему туалету, заперлась там. Порвала конверт. Письмо, написанное на грубой мятой бумаге, начиналось с описания ее, Д., внешности. И опять повторялась нелепая фраза о любви. "Приезжай!" — прочитала она. Разобрать покосившиеся буквы было трудно. Хотя почерк Б. она узнала. Когда шаги по кафельным плиткам с той стороны двери приблизились, Д. со страху скомкала письмо и конверт.

Но воспоминания она уже не могла отогнать. Правда, воспоминания эти были ненадежными — хрупкими и в трещинках, как покрывшиеся тонким льдом лужи, как состояние полусна, которое вот-вот кончится. Зато они сопровождали ее повсюду. Желтые двухэтажные автобусы, которые, проезжая вдоль больничной ограды, задевали ветки окаймлявших шоссе деревьев, для нее были автобусами, в которых она ездила с Б., а значит, и теми днями, когда она показывала ему Западный Берлин, потому что и там встречались такие же автобусы, пусть и с западным мотором под днищем, а не, как на Востоке, тупорылые, с массивными носами-радиаторами и значком для полиции "во лбу", рядом с номером маршрута. Желтые вагоны подземки грохотали в открытом туннеле, а она, помнится, объясняла Б.: "Смотри, теперь мы проезжаем сквозь дом". С насыпи по-прежнему доносился перестук колес электрички, дорожные щиты, почтовые ящики ничуть не изменились, и уже само присутствие шумного города вокруг больничного городка напоминало Д. об ушедшем времени: в ее сознании всплывали, как кинокадры, целые сцены с движущимися фигурами, прикосновениями, голосами. Стоило ей увидеть какой-нибудь парк или, скажем, затененную деревьями улицу, чтобы тут же вообразить на этой улице и себя рядом с молодым г-ном Б., который бросает ей яблоко, а она бросает яблоко обратно, ему, и он неловко ловит. Когда-то продавщица фруктового ларька подарила им это яблоко, потому что они сказали, что хотят только одно. В другой раз посреди одной восточноберлинской площади, на которую устремлялись потоки машин, они с Б. ждали вместе с другими пешеходами, когда зажжется зеленый свет. Б. пошутил по поводу мачт, поддерживающих трамвайные провода: они, мол, словно непомерно высокий забор ограждают маленькую цветочную клумбу. "Тебе просто не нравится, что у нас так много машин", — заподозрила Д. И Б. ухмыльнулся, словно его поймали с поличным. Но потом Д. сама сказала, чтобы загладить нелов-

кость: “Мне они тоже кажутся уродливыми, эти мачты”. И они заговорили о новых технических методах, позволяющих устанавливать протяженные линии электропередачи. Когда они шли рядом, ему всегда хотелось обнять ее за плечи, а ей было неудобно, приходилось подстраиваться под его широкие шаги. Часто, как и в последнем письме, он говорил что-то о ее тоненьких руках, длинных пальцах; однажды, проснувшись, она удивилась тому, что Б. — видимо, во сне — положил ее ладонь себе на глаза. Его голос она забыла; себя она слышала — как она произносит то, что сказала когда-то, а вот из всего, что говорил он, запомнила только общий смысл, уже без интонации, как если бы его тогдашние слова теперь повторяла ее память, а не сам Б. Встречались они по большей части в Западном Берлине: *одна* — без Б. — она могла вернуться туда в воспоминаниях: опять сидеть в изумлении, с босыми ногами, среди многочисленных обувных коробок, опять показывать пальцем на странные товары в битком набитой витрине продуктовой лавки, опять стоять под все тем же июньским ветром возле газетного киоска, поражающего обилием печатных изданий, и читать соблазнительные заголовки — правда, так, как если бы она, притаившись в паре шагов оттуда, наблюдала за собой со стороны; но как только она представляла себя рядом с Б., внешние приметы Запада блекли, она различала только цвета фасадов, формы автомашин, пролеты под железнодорожными мостами по эту сторону границы, ближайшие окрестности дома, где находилась потерянная ею комната, и все это — в холодном, промозглом свете последних осенних дней; еще она могла иногда вообразить, будто ведет Б., который держится очень скованно, по коридорам своей больницы и объясняет ему, где какое отделение, — на самом деле он никогда не заходил за ней на работу, только однажды сказал без особого энтузиазма: “Когда-нибудь ты мне это покажешь”. От повторений воспоминания как бы выцветали, живые и подвижные образы превращались в сухие словесные гирлянды: “...и тогда музыканты во втором ряду все как один поднялись, Б. от удовольствия хлопнул себя по колену, и потом в антракте мы с ним ели сосиски, а когда вышли на улицу, было уже темно”. Раньше Д. умела оттянуть пробуждение, превратить состояние полудремы в произвольно удлиняемую цепочку снов, но теперь сразу и окончательно просыпалась от глуховатого голоса западноберлинского диктора — того самого, которого она слушала шесть часов назад, накрывшись одеялом и прижав транзистор к уху, — и уже не могла хотя бы на пять минут вернуться в свой сон; расплывчатый силуэт Б., стоящего за стеклянной дверью, без всяких переходов сменялся в ее сознании фотографически четкими образами траншей, пограничников на фоне колючей проволоки, минных полей, представляющих собой расчищенные граблями участки, — обо всем этом говорил голос радиокомментатора, пока она, смирившись с неизбежным, не открывала глаза и, потянувшись к будильнику, не отключала его, иногда задолго до того, как надо было вставать. Ей такая жизнь не казалась невыносимой. Просто иногда приходилось как бы раздваиваться. Одна Д. стягивала одеяло с плеч Б., трясла спящего, возмущенно шептала: “Как ты мог написать, чтобы я приехала, как ты себе это представляешь?!” — и потом вздрагивала от приближающихся шагов, прежде чем успевала уразуметь смысл письма; другая тем временем расстилала жесткую простыню под пациенткой, которую приподнимала вторая се-

стра, и пугалась судороги, сотрясавшей тело больной, как только рука сестры ослабевала.

Разговор об отсутствующих медикаментах Д. сочла обычным проявлением вежливости, попыткой заполнить возникшую в разговоре паузу, но она хотела бы еще раз увидеть ту западногерманскую девушку, чтобы, по крайней мере, спросить у нее, что это за заведение в Западном Берлине, адрес которого был написан незнакомым почерком на оборотной стороне письма от Б. Когда дней через десять Д. вызвали к главному входу, она напрасно искала глазами заношенный плащик с капюшоном. На деревянной скамье перед окошком справочного бюро сидел удивительно серьезный молодой человек, зажав между коленями длинный зонтик и одной рукой придерживая большую коробку конфет; спина у него была очень прямая. Когда же он встал и обратился к Д., выяснилось, что она выше его на полголовы.

— Я, знаете ли, проходил мимо... — степенно сообщил он, нимало не обескураженный насмешливым взглядом Д. После чего столь же церемонно продолжил: — Надеюсь, я вам не помешал...

И через секунду уже шагал на своих коротких ногах от справочного бюро к лестнице, выбрав направление безошибочно, словно знал здесь все ходы и выходы. За дверью он обеими руками протянул Д. конфеты, не забыв отвесить едва заметный поклон, тут же снова забрал коробку, открыл крышку, приподнял лоток с первым слоем сладостей, и тогда Д. увидела маленькие синие тюбики.

— А, так вы, значит, от той девушки в зеленом... — начала она, но гость сразу перебил:

— Как ее зовут, я, право, тоже не знаю.

Потом вдруг заинтересованно поднял глаза. Круглая голова его была чересчур массивной для узких плеч.

— А что, у нее самой не нашлось времени зайти? — осторожно спросила Д. Молодой человек показался ей очень щепетильным, обидчивым, и она могла ждать от него самой невероятной реакции.

— Не нашлось, — мрачно подтвердил ее собеседник. — У нее неприятности, — добавил он будничным тоном, оглянулся по сторонам, как турист, и, взяв Д. за локоть, отвел в сторону, когда двери грузового лифта распахнулись и навстречу им вышел санитар с пустыми носилками.

— Да вы ведь ее и не знали... — протянул молодой человек, и Д. не сразу сообразила, что речь идет об аресте той девушки. Она послушно кивнула, словно соглашаясь с учителем.

— А сюда она приходила просто... — начал он, словно намекая на что-то, и оставил фразу незаконченной, как если бы ждал, что Д. сама ее завершит.

— Она... — начала Д. и сглотнула: — Она меня расспрашивала про одного пациента... его имени я уже не помню... он, как выяснилось, лежал не у нас.

И добавила уже громче:

— Мое имя она, наверное, узнала в справочной!

Коротышка задумчиво наклонил голову, выпятил губы, как бы проверяя сказанное на вкус, и наконец одобрительно посмотрел на Д.

— А меня вы видели только на улице, я за вами бегаю, дарю цветы, конфеты... — и он недоуменно качнул головой, не понимая такого упорства безнадежно влюбленных.

Д. невольно улыбнулась. Этот серьезный и вместе с тем комичный тон, это невозмутимое выражение лица молодой человек сохранял до конца своего визита, а потом опять сделал что-то совсем не так, как надо бы, как она от него ждала: он приподнял шляпу — в первый раз — когда прощался. Затем сказал то, с чего обычно начинают: "Передайте всем вашим привет от нас". И поклонился, уже стоя в дверях. Д. вернулась к себе в отделение, еще не успев успокоиться. Лоток с конфетами так и лежал на столе, рядом с коробкой, полной аккуратно упакованных ампул и лекарств, когда фрау С., старшая сестра, протиснулась в комнату, уже задрав подбородок и открыв рот для выговора.

— Вы разгуливаете в рабочее время, как... — начала она.

И остановилась возле стола, схватила одну конфетку, машинально стала ее жевать.

— А что тут такого? — возразила Д., умышленно не выказывая признаков раскаяния.

Но начальница ничего не ответила, она уже разгружала коробку, по одному доставала лекарства и, изумленная, прочитывала вслух их названия. Нашлась там и пачка ромашкового чая. Энергичная девушка со светлыми волосами, в черно-лаковом платье, ничего не забыла. Когда в тот день она задумчиво потирала нос, вид у нее был очень довольный. Д. не оборачивалась. Она стояла в углу перед смешным зеркальцем, наполовину прикрытая шкафом, и, зажав во рту шпильки, поправляла медицинскую шапочку. Отражение ее трепетало в затененном стекле. Она видела себя неотчетливо. Ей пришло в голову, что с этим удивительным посланцем она могла бы передать весточку для Б. А потом — что свое письмо могла бы отправить и раньше, сунув в карман той девушки, которую теперь арестовали.

Но ответ у нее еще не был продуман. Ей понадобилось несколько недель, чтобы написать какие-то три предложения: она хотела расставить все слова так, чтобы Б. понял их абсолютно точно, и потому времени не жалела. Она сочиняла свое письмо, ведя бесконечные диалоги с воображаемым Б., уже не очень похожим на настоящего. Он ей казался рослым и сильным мужчиной, наделенным всеми теми качествами, которые она обобщала словами "рассудительный, терпеливый, верный"; он был замкнутым, иногда чересчур серьезным, но ей ничего не стоило, по-детски скорчив гримасу, вызвать улыбку на его лице. Эту улыбку она представляла себе так же ясно, как если бы видела ее в действительности. Улыбка ей очень нравилась. А вот о том, что у Б. светлые волосы, она знала только "на словах" — они не стали для нее зрительным образом; она, по правде говоря, не была готова слепо положиться во всем на своего друга, даже чувствовала по отношению к нему некоторую отчужденность, но объясняла это их разлукой. Она очень ценила, что он, хотя и был западным немцем, понял теперешнюю ситуацию и не пытался вступить с ней, Д., в прямой контакт, а письма посылал осторожно, чтобы никто не заподозрил Д. в чрезмерном интересе к Западу; раньше она не считала его способным на подобную чуткость. Ее восхищало, что Б., хотя и был тугодумом, все-таки нашел способ помочь ей и написал о ее предполагаемом приезде как о чем-то само собой разумеющемся; такого она от него точно не ждала. Ей казалось, она поступила нехорошо, не написав ему о своем согласии сразу: он мог подумать,что она не решается связать с ним свою судьбу. Она пыталась оправдаться перед невиди-

мым собеседником: тенью в своей памяти, которая иногда обретала более четкие контуры, и тогда Д. могла различить, например, взмах руки Б. или кивок, вопросительное выражение лица, отрицательное покачивание головы, — из-за чего ход ее мыслей вообще обрывался. Она снова и снова говорила Б. о своем недоверии к Западу, засевшем в ней еще со времени школьных политзанятий; говорила, какой смысл начинать новую жизнь в другой стране, если скоро там тоже все пойдет прахом — и там-то уж точно никому до тебя дела не будет; она упрямо пыталась отвечать себе фразами из письма Б., но ее настораживал легкомысленный тон этого послания, киношные заверения в любви, определенно здесь неуместные; она стояла в душевой кабинке, голая, перед запотевшей стеклянной перегородкой, с удивлением всматривалась в свое туманное отражение, наконец стянула с головы полотенце, так что пряди волос упали на глаза; и отвернулась от ноябрьски-серого зеркала, от своего отраженного лица, которым молодой г-н Б. восхищался столь неумеренно, будто иметь такое лицо — невесть какая заслуга; а на самом деле — лицо как лицо, удобная защитная маска в форме правильного овала, сужающегося внизу, под скулами; бледные тонкие губы, светлые брови, глаза, которые по контрасту с белой шапочкой и золотистыми волосами кажутся темно-синими... Глаза прищурились, она хотела предостеречь Б., она думала: ты навоображал обо мне бог знает что, на всю жизнь этого не хватит, такая любовь долго не продержится; и еще ее беспокоило, что накопленные ею профессиональные навыки могут оказаться недостаточными для работы в западногерманской больнице. В первой фразе письма она дала г-ну Б. понять, что для него еще не поздно отказаться от всей затеи, отказаться и от нее, Д. Она попыталась пересказать ему — с беспощадными подробностями — слухи о такого рода побегах; она долго думала, прежде чем нашла нужный тон, сосредоточенно-трезвый, и сумела высказать главное: ты вряд ли осознаешь всю серьезность своего предложения. Она напомнила ему об убитых и раненых: о тех, кого расстреляли из автоматов при попытке переплыть канал, или у проволочных заграждений, или возле Стены, о других, отравленных газом, когда они прятались в канализационных трубах; и еще она написала, что солдаты даже не увидят в ней живого человека — будут думать только о том, что она нарушила государственный запрет, будут озабочены чисто технической стороной выполнения очередного задания. Во второй фразе письма она поставила молодому г-ну Б. условие: она готова рисковать тем, что попадет в исправительно-трудовой лагерь или даже в тюрьму, но ставить на карту свою жизнь не желает. Она полагала, что условие это невыполнимо, и потому почувствовала облегчение: ведь она все объяснила, оправдала свой страх и освободилась от него. Над третьей фразой она особо не задумывалась: там не было ничего, кроме сдержанных выражений благодарности, общепринятых заключительных формул. Надписывая тот адрес, который был обозначен на оборотной стороне письма Б., она уже ничего не боялась; ей казалось, Б. даже при всем желании не сумеет поймать ее на слове. С письмом в кармане она ждала перед дверью ординаторской возможности поговорить с одним из тех немногих работавших у них западноберлинских врачей, которые каждый вечер, возвращаясь домой, пересекали границу. Д. уже некоторое время присматривалась к этому человеку, навела и кое-какие справки: одной из сестер он представлялся чересчур

общительным, легкомысленным, другая и еще один санитар охарактеризовали его медицинским выражением "б. д.", "без диагноза", — употребленное в таком контексте, оно означало, что человеку можно доверять, что с политической точки зрения он ничем себя не скомпрометировал. Д. стоило стольких усилий преодолеть свою застенчивость, что в итоге она очень неловко начала разговор с этим элегантным и энергичным господином; он сперва ничего не понял, положил руку ей на плечо и заглянул в лицо, но она все же задала свой вопрос: "Когда вы проходите через пограничный контроль... как это бывает?.."; тут он отпустил ее, обвел глазами коридор, по которому прогуливались больные, и уже не в том беззаботном тоне, в каком ответил на ее обращение, а с едва сдерживаемым раздражением несколько раз тихо и настойчиво повторил: "Нет-нет! Выкиньте это из головы!" Ему почудилось, будто его спрашивают, можно ли обойти таможенный досмотр, хотят попросить нелегально доставить что-то через границу, — не зная, как выкрутиться из неприятной ситуации, он с тоской поглядывал на дверь ординаторской и с явным облегчением протянул руку, когда Д. наконец достала из кармана свое письмо. Потом он опять приобнял Д. за плечи и они вместе пошли по коридору; несмотря на свои тридцать лет доктор теперь держался с ней по-приятельски, как ровесник, а на прощание даже громко сказал: "Ну, тогда вам нужно пройти обследование!", потому что в этот момент возле них оказалась уборщица с ведром. Медсестре Д. ее новый знакомый показался человеком себе на уме, не склонным заботиться о чужих интересах, а потому она не могла отделаться от подозрения, что письмо ее будет прочитано им, разорвано и еще сегодня сожжено где-нибудь на помойке вместе с другим мусором. В ближайшие дни Д. не ходила в то крыло здания, была уверена, что ее попытка передать письмо, а значит, и все дальнейшие планы кончились ничем, и потому испугалась, когда доктор из Западного Берлина вдруг появился в ее отделении, шаркающей походкой, не вынимая рук из карманов, прошел мимо сестринской комнаты, дверь в которую была открыта, и небрежно кивнул.

— Ну-с, барышня, все в порядке? — обратился он к ней, и другая сестра, пересчитывавшая вместе с Д. постельное белье, мечтательно бросила ему вслед:

— Какие красивые волосы! Темные и густые...

А потом очень обиделась на грубый ответ Д.:

— Уступаю его тебе! Не пропусти свое счастье!

Вот тогда-то Д. и начала испытывать страх.

Ощущение это оказалось совсем не таким, как она себе представляла. Оно не было ни внезапным, ни переменчивым, ни непосильным. Д. просто чувствовала, что стала болезненно — как никогда прежде — настороженной. Это тяготило ее, заставляло делать все медленнее, чем обычно, будто она очень устала. Ей везде мерещились скрытые намеки и ловушки: например, она испугалась, когда заведующая отделением, толстощекая дама с почти уже не просматривающейся талией, раздражавшая всех своей мнимой сердечностью и обращениями вроде "девочка моя", похвалила ее, сестру Д., за то, что она раздобыла западные лекарства, — и сразу, не переводя дыхания, предостерегла от излишней доверчивости к капиталистическому обществу, которое назвала "бесчеловечным"; Д., стиснув руки, покорно стояла перед столом начальницы,

молча слушала наставление, а сама пыталась вообразить задушевную беседу таких вот образованных дамочек — ну, например, в ресторане, где обычно обедают врачи.

— Я все поняла, фрау доктор, — сказала она наконец, не вполне уверенная, что сумела придать своему взгляду ту степень простодушия, какая в данной ситуации требовалась.

В другой раз ей не удалось уклониться от разговора со старшей сестрой, хотя по больнице ходили слухи, что эта противная старуха отнюдь не из праздного любопытства копается в вещах своих подчиненных; Д. старалась вести себя естественно, так, будто ей нечего скрывать, но у нее это получалось плохо, о чем бы ее ни спрашивали, она могла выдавить из себя только "да" или "нет". Она и сама не понимала, почему с недавних пор держит свой транзистор не в кухонном шкафу, но у себя в комнате, в ящике комода, — как вещь, которой не пользуются; из-за боязни привлечь к себе внимание тем, что слушает западные передачи, она не замечала презрительных взглядов других сестер, которые раньше слушали вместе с ней этот самый транзистор. Она понятия не имела, кто или что могло бы помочь ей соединиться с Б.; единственное, что приходило в голову, — нелепые приемы конспирации, которые она видела в шпионских фильмах о Второй мировой войне; над неожиданно громким приветствием, над смыслом какой-нибудь шутки, услышанной в столовой, она раздумывала часами — и в итоге, так ничего и не придумав, совсем падала духом; однажды ночью на лестничной клетке погас свет, когда ей оставалась подняться всего на одну ступеньку, она застыла — из-за нелепого страха, что в темноте кто-то подстерегает ее, — но потом все-таки переборола себя и, качнув головой, шагнула к красной кнопке выключателя. Раз в две недели в больницу наведывался кто-нибудь из западноберлинских студентов, с лекарствами в карманах брюк или в подкладке пиджака, но они неохотно тратили время на разговоры с Д., да она и не осмелилась бы задать волновавший ее вопрос насчет возможностей безопасного побега; с этими людьми она уже не чувствовала себя непринужденно — с тех пор, как один из них, здоровенный вестфалец, у которого было открытое детское лицо, спросил ее: "Ну а вы? У вас-то все в порядке?", и она ответила ему: "Да. Вполне" — от страха даже с некоторым высокомерием, как если бы говорила с провокатором; наверное, на нее обиделись, потому и не рассказывают ей о той светловолосой девушке в плаще с капюшоном. Когда радиостанции Западного Берлина сообщали о четырех, а то и пяти перебежчиках с Востока за один-единственный день, Д. охватывало такое нетерпение, она так осуждала себя за постыдный страх, что в мыслях уже бежала к проволочному заграждению, к приграничному каналу — но через несколько мгновений возвращалась к реальности. Однажды она решила напиться, и ее соседка по комнате очень обрадовалась, что вот сейчас посвятит Д. в тайные радости пьянства, но Д. уже после первой рюмки, после коньяка, не хотела ни о чем разговаривать, сидела, опустив плечи, и лишь вслушивалась в себя, следила за усиливавшимся ощущением дурноты в голове и желудке; к тому времени, когда прокуренная, чрезмерно натопленная мансарда наполнилась шумом девичьих голосов, Д. уже давно спала в кресле; правда, утром она обнаружила себя в постели, раздетой, но товарки заплели ей косички с белыми бантиками, и у нее даже не хватило сил рассердиться на них за эту шутку; она позволила соседке одеть

ее, так ей было плохо — от одного слова "шнапс" ее начинало трясти. Она проклинала себя за дурацкую надежду, что таким способом можно что-нибудь забыть — еще несколько дней после того вечера она была совершенно разбитой, до отвращения себе не нравилась. И втайне завидовала остальным — их беззаботным дурачествам, их веселому смеху. Никогда прежде Д. не чувствовала себя такой одинокой. Она, конечно, не сомневалась, что никто из подруг, даже узнав о планирующемся побеге, не донесет на нее, как того требует закон; но просить совета не хотела даже у старшего брата, и не только потому, что за "сообщничество" грозила тюрьма, — просто она понимала, что брат непременно начнет ее отговаривать; а те друзья, которые когда-то объясняли ей, что капиталистическое общество все-таки хуже социалистического, давно уже перестали присылать красочные открытки из Амстердама — теперь они жили в каком-то поселке на Майне, глубокомысленно рассуждали об "обществе всеобщего благоденствия", о трудностях приспособления к новым условиям и изощрялись в сомнительном остроумии, записывая некоторые слова не по правилам, а так, как они произносятся на саксонском диалекте, — короче, рассчитывать на этих людей не приходилось. Она осталась одна. Без единой родственной души. Поворачивая руку, она видела, какое у нее узкое запястье, видела голубые хрупкие вены, и ее охватывал страх. Порой, когда она утешала больных, пытаясь вселить в них надежду, ей чудилось, будто она обращается к самой себе. И все же она не думала, что такое ей не по силам. Ожидание она могла бы вынести. Силы и выдержки ей хватало. И одиночество вынесла бы. Хуже обстояло дело со снами.

Один из ее снов полнился водой. Д. плыла в воде, под водой могла двигать руками, но у нее не получалось высунуть руку из воды и снять медицинскую шапочку, которая в темноте светилась. Была ночь, и вода казалась тяжелой, маслянистой. Д. плыла, смещая угол, образованный двумя воображаемыми линиями, которые соединяли ее с одиноко торчащей из воды опорой разрушенного моста и с буровой вышкой. Буровая вышка на самом деле была вышкой сторожевой, и Д. знала, что должна нырнуть под воду, когда окажется точно посередине между нею и мостовой опорой. Перед тем как нырнуть, она увидела западный берег, поразивший ее своей обманчивой доступностью: засаженную деревьями улицу с красными домами, в свете раннего утра. Но одновременно она видела себя и стоящей на том берегу, у пароходного причала, рядом с машиной "скорой помощи"; на груди у нее болтался бинокль, и одета она была в какой-то удобный для таких авантюр костюм — наподобие спортивного. Она давала кому-то указания. Она говорила: "Ну и что, что сейчас декабрь? Нельзя, чтобы вода была холоднее восьми градусов. И потом, не забудьте, кто-то должен ждать беглянку на берегу, чтобы сразу растереть ее полотенцем, иначе воспаление легких ей обеспечено".

Действие другого сна разыгрывалось под землей. Под землей была станция подземки, но эта ветка предназначалась исключительно для служебного пользования, и билетов на нее не продавали. Д. добралась сюда от последней станции для обычных граждан — она спряталась за дверью вагона и не вышла вместе со всеми, а проехала в пустом вагоне дальше и теперь решительно шагала по платформе, пока не обнаружила серую дверь с двумя ручками. Ее огорчало, что она не взяла с собой

племянницу. За дверью начиналась другая, тайная сеть подземки, раскинувшаяся под всем Берлином. Ее, Д., задача сводилась к тому, чтобы идти и идти, не останавливаясь. Иногда приходилось подниматься по ступенькам внутри узкого вертикального колодца и потом одними плечами сдвигать в сторону решетчатую крышку люка — тогда ты опять попадал в горизонтальный коридор, пустой и чистый, и шел по нему дальше, до следующей решетки. Но важно было все время сохранять бдительность, чтобы не угодить в какую-нибудь комнату ожидания, где ты оказывался в самом конце длинной очереди. Под землей от тебя ничего особенного не требовалось — только идти. Ничего, если проходы сужаются, если дальше приходится пробираться ползком, главное — двигаться вперед. Вот только эти лестницы...

Еще один сон, посетивший Д. лишь однажды, состоял как бы из трех прозрачных слоев, один поверх другого. Она отвечала на вопросы, давала показания. Но все больше запутывалась. Кое-что говорила не так, как хотела бы, а ведь сто́ит в своих показаниях допустить хоть одно противоречие, и никто уже не будет учитывать смягчающих обстоятельств. "За дверью лежит *он*, убитый. Но убила его не я". Общежитие, похожая на амбар спальня, в конце прохода — маленькая дверь. Д. не может добиться, чтобы ее поняли. Внезапно картина меняется: держа на руках чужого ребенка, она пытается втолковать лежащим на кроватях людям, что вследствие произошедшей недавно трагедии обитатели верхнего этажа больницы теперь должны обслуживать себя сами. Но она говорит не на том языке, на каком надо, она ведь попала в чужую страну — не то в Венгрию, не то в Чехословакию; все пациенты здесь — подстреленные нарушители границы. А *он*, убитый, лежит в комнате, местоположение которой ей неизвестно. С помощью сыщика Д. находит на захламленном комоде — в коридоре — конверт с нужным ей указанием: третий этаж, середина. "Я сделал глупость, прости меня", — написано в письме. К чему ей теперь его просьба о прощении? Начальник принуждает ее толкнуть плечом дверь. Заглянув в комнату, она тут же зажмуривает глаза, она уже увидела то, что хотела. Но там лежит не Б., а ее младший брат, как она с самого начала и предчувствовала.

Один сон снился ей часто, но она всегда просыпалась, не досмотрев его до конца. Она лежит и вроде бы спит, на песчаной отмели, укрытая соломенной рогожей; ярко светит солнце, она забыла упрятать под рогожу правую руку, и рука эта вдруг чувствует на себе взгляды приближающихся пограничников. Д. лежит на спине, убежать она не может, а предательская рука онемела, так что ее и спрятать невозможно.

Прошло больше месяца, прежде чем Д., миновав вахтера, в последний раз вышла из больничного здания на улицу, но все это время ожидание не слишком тяготило ее. Она ничем не обнаружила своего страха, когда в конце декабря, в подвале общежития, между двумя партиями настольного тенниса ее окликнула и заговорила с ней, даже не отведя в сторону, одна из сестер-практиканток, которую она почти не знала; Д. наклонила голову, стараясь получше запомнить адрес на протянутой ей записке, от волнения она не доверяла своим глазам; однако потом, снова взяв ракетку, как ни странно, промахивалась не очень часто, парировала удары даже ловчее, чем раньше, и была предельно сосредоточенной, словно сражалась с настоящим врагом; играла наступательно, хотя подавала не она, радовалась каждому промаху партнерши и даже слегка

огорчилась, когда та, не выдержав жесткого темпа, раньше времени сдалась. Полученный адрес привел Д. к квартире едва знакомого ей врача-ассистента, расположенной в центре города, на одном из верхних этажей облицованного серой кафельной плиткой дома; Д. вспомнила, как однажды вроде бы видела на лацкане этого человека партийный значок, — и решила, что попала в ловушку тайной полиции; сколько-то времени она простояла без всяких мыслей у окна лестничной площадки, глядя вниз на сырую и темную зимнюю улицу, на теплый свет подошедшего к остановке трамвая, на расплывчатое мерцание новогодней елочки между вспышками светофора — жизнь шла своим чередом, и ей, Д., не хотелось принимать никаких решений, которые могли бы нарушить эту привычную повседневность. В самой квартире, в низкой, заставленной дешевой мебелью комнате, она чувствовала только смущение, ведь она пришла домой к одному из тех, кому на работе подчинялась; украдкой она бросила взгляд на пиджак — без всякого партийного значка, — перекинутый через спинку кресла-качалки, в которой сидел коренастый, склонный к полноте молодой человек, время от времени, словно желая успокоить Д., поглядывавший на нее ласковыми карими глазами и едва заметно улыбавшийся. В комнате была и другая посетительница, которая в данный момент высказывала свои соображения о политике Западногерманского государства — с возмущением, будто речь шла об уголовных преступниках. Эта посетительница, приехавшая, по ее словам, из Мюнхена, говорила с таким же берлинским выговором, как и сама Д., пересыпая свою речь неподражаемыми здешними словечками, даже как-то подчеркнуто выставляла их напоказ, и это не нравилось Д.: она чувствовала, что западная немка, которая по возрасту была старше, смотрит на нее оценивающе, как мог бы смотреть врач; манера поведения этой женщины, свидетельствующая о хорошем воспитании и вместе с тем будничная, не согласовывалась в сознании Д. с готовностью подвергать себя опасности ради нее, Д., — незнакомого человека; Д. ощутила разочарование, даже немного обиделась, когда незнакомка, как бы между прочим, назначила ей новую встречу и тут же вернулась к прерванному рассказу о недостатках какого-то западногерманского отеля, отчего Д. почувствовала себя так, будто от нее хотят поскорее отделаться.

— А вы всерьез решились? — спросила вдруг та чужая женщина тоном, который показался Д. насмешливым и который она поняла как сомнение в твердости принятого ею решения, так что потом сама удивлялась, вспоминая, с какой горячностью, даже доверчивостью откликнулась на вопрос:

— Да, конечно.

Вообще-то вести себя с западными людьми естественно она не умела — ни с этой женщиной, у которой был такой пристальный (от близорукости) взгляд, ни со студентами, иногда заходившими к ней на работу, не могла и все тут, хотя они-то общались с ней на равных или как старшие братья; все равно она их не понимала, сколько бы ни встречалась с ними в квартирах, разбросанных по всему городу, или на рождественской ярмарке, а однажды даже в пивной дачного поселка; она долго пыталась обнаружить в них те приметы, которые, как ей казалось, характерны именно для западного человека, принимала гладкий, без морщин, лоб за признак душевной черствости, неизменно шутливый

тон — за свидетельство их равнодушия к политике; но когда она ждала очередного посланца на переполненном перроне городской железной дороги, она часто не могла заранее угадать, кто из пассажиров обратится к ней со словами "сестра такая-то", а одного человека, который, окликнув ее, еще и приподнял шляпу, она поначалу приняла за бывшего пациента, случайно узнавшего когда-то ухаживавшую за ним медсестру. Даже собственная благодарность к этим добровольным помощникам смущала ее. Она стыдилась того, что столь многие ради нее рискуют навлечь на себя обвинение в "торговле людьми" (так в законах ее страны называлось пособничество при нелегальном переходе через границу, каравшееся многолетним тюремным заключением), и полагала, что ничем их помощь не заслужила. Ей было трудно понять, почему они ей помогают, а спросить об этом прямо она не решалась. Однажды, разговорившись с одним курьером в ожидании электрички, она сказала: "А вот наше медицинское обслуживание, уж признайтесь, после объединения Германии вам придется полностью перенять"; и потом долго вспоминала, как невесело рассмеялся этот еще совсем молодой человек с неловкими движениями подростка, повторив ее слова об объединении страны, с каким смущенно-вежливым видом подтвердил наконец ее правоту — но без внутренней убежденности, словно речь шла о каких-то пустяках, не имеющих практического значения. Доверяет ли она этим людям, никто не интересовался. Д. как-то спросила у них про свою бывшую коллегу — ту девушку, которая, перекрасив волосы, осмелилась пройти на пограничную станцию подземки; спросила, собственно, только потому, что хотела узнать поподробнее о такой возможности побега, и тут выяснилось, что те же люди в свое время передали ее подруге тюбик с краской, обеспечили провожатого; Д. попросила передать беглянке привет. Ей нетрудно было представить себя на месте этой тихой девушки, опускавшей глаза еще чаще, чем сама Д. А вот вести себя, как та западная немка, носившая поверх дорогого блестящего платья, подаренного родителями, старенький плащ, она бы никогда не смогла. Послушно выполняя данные ей указания, Д. поехала трамваем на окраину города, а оттуда, по длинной лесной дороге через какую-то глушь, в один поселок, где, кажется, единственными новыми постройками были трамвайная остановка из прозрачного пластика и газетный киоск, резко выделявшиеся среди обычных для этой лесистой местности особняков прошлого века; там, в старомодной аптеке, она сфотографировалась, что ее и просили сделать; спрятав уже готовый снимок для паспорта в портмоне, вернулась на трамвае обратно в центр; по пути смотрела из окна залитого белым светом вагона на рельсы, убегающие в сырые сумерки, на влажно поблескивающую вдали, на территории Западного Берлина, красную рекламную строчку — и малодушно думала: этот номер с паспортным снимком ни за что не пройдет. Но потом, когда трамвай проезжал мимо безлюдных улиц-обрубков, упиравшихся в границу, и Д. видела тяжелые армейские грузовики возле переднего ряда бетонных заграждений, а еще позже — у того вокзала в центре, с которого западные немцы и вообще иностранцы возвращаются в Западный Берлин, в голове у нее мелькали задиристые слова: ну же, помощнички, докажите мне, что вы правы! На самом деле разговаривать в таком тоне с курьерами она никогда не отважилась бы; общаясь с ними, всегда придерживалась строго официального языка, вела себя

очень сдержанно, старалась, насколько возможно, только отвечать на вопросы, проявляя должное уважение к своим образованным собеседникам; но зато мысленно могла говорить с ними как со школьными приятелями, как с друзьями, — весело и бездумно. Под Рождество и даже в новогоднюю ночь она с готовностью согласилась подменить своих сослуживиц, которые хотели провести праздничный вечер в семье; и в результате заработала по крайней мере один свободный день, правда, разбитый на части, потому что четкое соблюдение рабочего расписания до сих пор оставалось несбыточной мечтой профсоюза, повторяемым через каждые полгода обещанием — никогда не выполнявшимся, из-за чего сбежало довольно много сестер (а новым еще много чему надо было учиться); Д. хотела позаботиться обо всем заранее, чтобы, когда она соберется уходить, больные — ее подопечные — не оказались брошенными на произвол судьбы. На Рождество она специально уклонилась от общего празднования, боясь заразиться сентиментальным настроением, и ей было смешно наблюдать, как шесть сестер-практиканток, исполнявших в больнице праздничные песнопения, останавливаются в дверях каждой палаты, на мгновение застывая, словно на фотоснимке; утром первого января, когда мать позвонила из Потсдама и проникновенно — ведь она была верующей — поздравила дочь, Д. сглотнула застрявший в горле комок, прежде чем ответила: "И тебе — счастливого Нового года..." Это пожелание казалось таким банальным и вместе с тем — для нее, Д., — неосуществимым. Часто, когда на контрольно-пропускном пункте полицейский просил Д. предъявить документы, ей было трудно отвести взгляд: она с любопытством разглядывала людей в униформе, как будто хотела прочитать по их лицам, на что они способны. Она всегда соглашалась выполнять поручения западноберлинских студентов, ездила в Бранденбург, куда они со своими заграничными паспортами попасть не могли; и не потому, что надеялась таким образом отблагодарить их за организацию ее собственного побега, назначенного на конец января, — просто сама мысль о том, что ей доверяют подобные дела, вселяла мужество. Как-то раз, с чужим письмом, запрятанным в туфле, она отправилась в деревню, расположенную к северу от Восточного Берлина; когда ей надоело дожидаться ответа в плохо отапливаемом привокзальном кафе, она пошла по подмерзшей тропинке вдоль плотины в редкий сосновый бор и уже в сумерках долго бродила между окоченевшими стволами, а потом побежала по темному снегу назад, к лоскутному ковру из светлых прямоугольников — окошек крестьянских домов, — перемежающихся с чернотой неба; она до костей продрогла от ветра, ей было холодно и из-за тоски по стране, которую она вскоре собиралась покинуть. В другой раз ее попросили передать деньги семье одного рабочего, угодившего в тюрьму за неосторожное замечание по поводу Стены; жена рабочего никак не хотела ее отпускать, чуть ли не силой усадила за кухонный стол и заставила выпить кофе, от просьбы передать приветы родственникам сразу же перешла к этому заурядному, даже не остроумному высказыванию, из-за которого их семья потеряла половину доходов, повторила его без гнева, без удивления, не обращая внимания на своих детей, явно ждавших одобрительной усмешки посетительницы; уже сидя в автобусе, Д. все еще была до такой степени возмущена услышанной историей, так сильно хотела вырваться наконец из этой страны, что даже контролер сказал что-то подбадри-

вающее ей — девушке с ничего не видящим серьезным лицом (но отвлечь ее от грустных мыслей не смог и с досадой отвернулся). Тем не менее во время длительных трамвайных поездок и ожиданий в кафе Д. жадно вслушивалась в разговоры случайных соседей и попутчиков, в их слишком торопливую, ни на что не похожую колоритную речь; однажды она долго стояла перед надземным входом на станцию и наблюдала за двумя пожилыми кассиршами, которые сидели друг против друга, каждая в своей будке, и неспешно, с удовольствием беседовали, нимало не заботясь о застопорившемся потоке пассажиров. Д. не желала расставаться с этим городом, она боялась, что перестанет понимать его жителей. Ощущение предстоящей разлуки и само по себе было тягостным, но еще больше Д. мучалась от неопределенности, смешанной с тошнотворным страхом, потому что ее попытка перейти границу могла закончиться очень плохо. Д. выбрала один из выходных, чтобы навестить среднего брата; от вокзала в маленьком городке она долго шла по продуваемому ветром шоссе, через этакую песчаную пустыню с редкими молодыми деревцами, сплошь исчерченную следами шин; потом блуждала среди огромных цехов, пока заводские охранники не перехватили ее возле административных бараков и не отвели по бетонированному — как в городе — шоссе через тщательно прибранную территорию нефтеперегонного завода к жилым домам, когда-то преобразованным в общежития для рабочих; вахтер не хотел пускать женщину в мужской блок, но она как-то прошмыгнула мимо него, отыскала на одной из дверей имя брата и потом в этой комнате на три койки обнаружила спящего чужого человека, которого ей так и не удалось разбудить; на обратном пути она видела, как навстречу ее автобусу едут машины из города — грохочущие светлые ящики, битком набитые людьми, среди которых мог быть и ее брат; прежде чем уехать, она еще потолкалась в увешанных бумажными гирляндами и заполненных сигаретным дымом кафе, где имелись площадки для танцев, но брата так и не нашла. Сочинять записку ему ей не захотелось.

Поезда, ходившие на Потсдам, назывались "Sputnik", в честь первого советского спутника: потому что описывали круг вокруг Западного Берлина, как космический корабль вокруг Земли. Матери Д. заранее послала телеграмму о своем приезде и все же была удивлена, увидев, что стол для ужина накрыт не на кухне, а — по-праздничному — в гостиной; Д. изо всех сил пыталась делать вид, будто приехала просто так, без особого повода: рассказывала о работе, о сослуживцах, намеренно преувеличивала нелепые черты их характеров, но так и не сумела преодолеть дурное настроение матери, которая уговаривала ее хорошенько поесть, а сама непрестанно жаловалась на детей, совсем ее — мать — забросивших; Д. чувствовала себя неловко под этим придирчивым взглядом и наконец, не вытерпев, спросила:

— Да в чем дело-то? Может, у меня пятно на носу?

— В положении ты, вот что! — с возмущением выпалила мать, и разубедить ее Д. не смогла, та упорно стояла на своем:

— Ты так изменилась! Дурой меня считаешь, что ли?

Д. попыталась было обратить все в шутку, но мать в тот вечер шуток не понимала, сперва она миролюбиво предложила дочке устроиться на ночь в гостиной, но потом всерьез рассердилась, когда Д. опять начала ей возражать. Словом, вечер был испорчен, Д. не могла выдавить из се-

бя ни единого разумного слова, устав от перебранки и страдая от молчания уверенной в своей правоте матери, она — тоже молча — немного посидела, глядя, как та латает одежду, и рано легла спать. На самом деле Д. хотела бы еще раз услышать рассказ о смерти отца, она охотно попросила бы у матери прощения за то, как все четверо детей — сразу после войны — с бездумной жестокостью не позволили ей вторично выйти замуж. Д. была бы рада просто еще раз обнять эту ожесточившуюся, изработавшуюся старую женщину, но, проснувшись поутру и услышав стук входной двери, решила, что ей это привиделось во сне — как мать, уже в пальто, наклонилась к ней и шепнула в самое ухо: "Если будет что-то не так, непременно приезжай!" В кухне за стеклами буфета красовались открытки от младшенького, из Мюнхена, картинкой наружу. Матери предстоял переезд на новую квартиру, поскольку одному человеку не полагалось занимать две комнаты. Д. еще хватило времени сходить на кладбище, где между надгробиями родственников была и плита отца. Она попыталась стереть с искусственного мрамора засохшие дождевые капли, но, не имея при себе ничего кроме носового платка, сумела только очистить имя, а дата смерти так и осталась покрытой грязью. Словно ослепшая от горького чувства утраты, Д. побрела обратно к вокзалу, не замечая, что прохожие смотрят на ее пальто, на влажную землю, прилипшую к нему, когда она, Д., опускалась на колени. Встретившись в следующий раз с курьером из Западного Берлина, Д. спросила, нет ли у него весточки от Б., и хотя курьер, тот самый, нескладный, похожий на ребенка вестфалец секунду-другую в растерянности обдумывал ответ, а потом с неестественной поспешностью сказал: "Он просил передать, что вы можете на него положиться", она без малейших колебаний поверила. Ей было трудно представить себе, как Б. произносит эти слова. К старшему брату она больше не ездила, хотела отложить встречу с ним на самый конец, но тут — раньше, чем она ожидала, — пришло решающее известие из Западного Берлина, так неожиданно, что Д. едва удалось найти себе подмену на ближайшее утро. Заявление с просьбой предоставить ей трехдневный отпуск она оставила в папке для писем, у вахтера: чтобы поговорить со старшей сестрой лично, пришлось бы придумывать какую-то причину, а лгать ей не хотелось, тем более напоследок.

Курьер со странным смущением, упомянул, как бы между прочим, некую пивную, где еще в декабре видел молодого г-на Б. с какой-то девушкой; Д. едва сдержалась, чтобы не перебить его, когда он стал — непонятно для чего — описывать ей это заведение, а потом и вовсе потерял нить своего путаного рассказа. Его слова только портили сложившийся у нее на удивление цельный образ: г-н Б., который из вечера в вечер неколебимо сидит в этой самой пивнушке, чуть наклонившись вперед и неспешно беседуя с соседями по столику, — надежный, молчаливый, весь исполненный ожидания. "А как он был одет?" — только и спросила она.

Она отработала еще три часа, только потом пошла собираться. На кровати лежало белье, купленное за большие деньги, белье не хуже западнонемецкого, а фабричные этикетки Д. отрезала, раздергала на ниточки, сожгла. Дороже всего обошлась темно-синяя ткань для нового костюма, не сказать чтобы этот грубый материал так уж ей понравился, но других — импортных — не было; в швейном кооперативе, полистав разложенные на столике западные журналы мод, Д. выбрала для себя

один французский фасон; правда, закройщица считала, что ей, такой стройной девушке, свободный жакет не пойдет, но для самой Д. важна была только новизна модели. На голову она наденет черный платок, хотя он не очень подходит к светлому пальто с погончиками. Д. повесила свои наряды в шкаф и прибралась в комнате. Потом, уже одевшись, достала зеркальце, в последний раз подошла к окну. Заглянула себе в глаза. И — спустилась по черной лестнице к подворотне, пересекла улицу, добралась до трамвайной остановки, не оглядываясь, думая только о том, что надо двигаться, а не тянуть время. Страх был теперь лишь прозрачной, вспыхивающей в сознании картинкой — вот сейчас какой-нибудь пассажир в вагоне или на станции заговорит с ней, побежит вслед, крикнет: "Пройдемте!" Квартира, адрес которой ей дали, помещалась в рабочем поселке, построенном еще в двадцатые годы, в доме с маленькими окошками, украшенном примитивной лепниной; около полудня Д. уже стояла перед нужной дверью на верхнем этаже. Женщина примерно такого же возраста, как ее мать, в сером кухонном фартуке, прикрывавшем большой живот, провела ее на кухню, объяснила, что в квартире живут еще и другие жильцы, показала, где выход на чердак. Туалет она обозначила словом "удобства". Чтобы Д., не дай бог, не подумала ничего плохого. Волосы женщины, тусклые и бесцветные, были до того тонкими, что никакой гребень не мог бы их удержать. И на этом скуластом, с крупными чертами сером лице выделялись удивительно нежные губы, покрытые тонкими трещинками, как у ребенка, больного стенокардией. В передней висела форменная куртка кондукторши городского трамвая. Женщина наполовину приоткрыла дверь в спальню: Д. увидела на кровати молодого человека, который курил, подложив одну руку под голову, и кивнул гостье, нисколько не удивившись, — Д. тоже ему кивнула. Он был одним из тех, кого называли "подлодками", потому что после неудавшегося побега им приходилось ждать в безопасном месте новой благоприятной возможности; Д. прежде и сама давала деньги на содержание таких людей, но по-настоящему в их существование не верила. Она и представить себе не могла, что где-то на городской окраине имеется другой, "подпольный" город. К обеду появилась та самая западная немка из Мюнхена, которая однажды — в такой берлинской манере — спросила, всерьез ли Д. решилась на эмиграцию. Но теперь, показалось Д., она говорила не таким поучающим тоном, вела себя скорее как подруга или сестра. Она не сводила с Д. цепкого взгляда, слегка улыбалась всякий раз, когда Д. кивала в ответ, и озорно выпячивала губы, словно собираясь рассказать смешную историю. Д. чувствовала себя бодро, схватывала все на лету. На новый паспорт, который та женщина перед ней положила, ей даже не хотелось смотреть — она боялась испугаться. Вдруг там окажется не ее фотография. Чтобы прочитать что-то в паспорте, мюнхенке приходилось надевать очки; вид у нее при этом был очень внушительный. У Д. оставалось еще сколько-то времени до вечера. Вечером же ей предстояло превратиться в австрийскую туристку на пути в Скандинавию. В Западный Берлин эта туристка прилетела якобы на самолете, транзит до Балтийского моря ей обеспечило туристическое бюро, и, следовательно, на восточногерманской границе видеть ее никто не мог. Багаж туристки разместился в пузатой сумке из дорогой желтой кожи, собеседница Д. держала эту сумку на коленях и потихоньку распаковывала: несессер, два пуловера, юбка, тапочки, пе-

ньюар — все свежепостиранное, уже бывшее в употреблении и с австрийскими фабричными ярлыками. В портмоне из темно-синей, мягкой, изящно гофрированной кожи лежали деньги, западноберлинские автобусные билеты, авиабилет до Копенгагена, использованные билеты в кино — в Западном Берлине (о чем были фильмы, туристка якобы уже плохо помнила). Портмоне со множеством мелких отделений чрезвычайно понравилось Д., она даже не удержалась и похвалила старомодную защелку. "Это подарок вам", — сказала курьерша слегка насмешливым тоном, и Д. сразу поняла: подарок от Б. Она приободрилась, можно даже сказать, развеселилась, а главное, успокоилась, потому что и хозяйка квартиры, и прятавшийся здесь молодой человек наблюдали за инструктажем без всякого волнения, озабоченные лишь тем, все ли Д. правильно понимает. На прощание посетительница — чтобы Д. сопутствовала удача — трижды сплюнула через плечо. И тут-то Д. почувствовала, что все ее тело напряглось, руки налились свинцом. Когда хлопнула входная дверь, она готова была побежать за гостьей. Она бы охотно помыла посуду, чтобы хоть как-то отвлечься, но ее отослали в гостиную. Вскоре в квартире воцарилась такая тишина, словно, кроме Д., там никого не было. От охватившего ее беспокойства Д. чуть не разрыдалась. В паспорте было девять страниц со штампами виз, отметками о въезде — Д. велели внимательно посмотреть все это и еще запомнить, как выглядит австрийский герб. Но она не могла усидеть на месте, металась по комнате, тесно заставленной мебелью, оставляла следы на чудовищно чистых полах, подолгу стояла у окна и сквозь гардины с цветочными узорами смотрела на улицу, на грязный снег во дворе, на одинокую машину под фонарем — отчаиваясь от того, что только попусту тратит время. Сумерки, как ей казалось, слишком быстро сгущались, уже подступала ночь. Потом Д. попробовала отыскать кондукторшу, не обнаружила в передней ее форменной куртки и до безумия испугалась, услышав, как за спиной тихо отворилась дверь спальни. От шока она потеряла дар речи. Вся сцена представлялась ей зловеще знакомой, как бывает в длинном кошмарном сне: вот она стоит, переодетая в непривычный костюм, в коридоре чужой квартиры, под отбрасывающим странные тени фонарем, а напротив нее — какой-то незнакомый мужчина, равнодушный и сонный, прислонившийся к притолоке двери. Д. попыталась что-то сказать, но запнулась, не зная, как продолжить. Мужчина — тот самый, что прятался в квартире, коренастый, по возрасту немного старше Д., — приблизился к ней, взял у нее паспорт, внимательно посмотрел ей в лицо, как смотрят на неодушевленный предмет, и, наморщив лоб, невозмутимо сказал: "Такое случается со многими, барышня..." — после чего взглянул на нее еще раз, с неожиданной строгостью. Д. поняла. Она назвала имя туристки. А собеседник стал задавать ей вопросы — сдержанно-доброжелательным тоном полицейского чиновника.

— Где вы родились? — спросил он, не без участия, как если бы был уверен в собственном превосходстве.

Место рождения она назвала правильно. А вот в месяце ошиблась. Она ведь теперь "повзрослела" на два с лишним года. И работала инструктором по лечебной физкультуре. Ее теперь звали Ф. Она была благодарна молодому г-ну Б. за то, что он выбрал для нее именно такую профессию, на мгновение даже возгордилась и начала отвечать на вопросы вежливым, слегка удивленным тоном много поездившей на своем веку

особы, с которой никогда еще не случалось ничего подобного — ни на одной границе; но все же почувствовала облегчение, когда молодой мужчина прервал наконец шутливый допрос и принялся растолковывать ей, как на уроке в школе, ее "легенду": какие реки есть в Австрии, где эта туристка побывала за прошедшие годы — во Франции, Швейцарии, Западной Германии и США, — программу ее пребывания в Копенгагене. Он даже не заставлял Д. думать, а сам придумывал все новые факты, касающиеся родственников туристки; они вдвоем сидели на кухне перед замусоленным школьным атласом, продолжали спорить и позже, за ужином, — насчет содержания одного старого фильма, действие которого разыгрывается в Вене. Д., как ни странно, могла при этом спокойно есть. Но время от времени она ощущала потребность перевести дух. А потом опять чувствовала себя настолько уверенно, что даже жалела своего собеседника, потому что тот провел в ожидании уже несколько недель и все равно попадет на Запад позже, чем она. Лицо молодого человека казалось ей давно знакомым; его неторопливая, авторитетная речь, манера едва заметно улыбаться, смотря на собеседника, — все это действовало на нее успокаивающе. Он был "плетельщиком". То есть монтировал стальные каркасы — внутреннюю опору для бетонных стен. Его жена уже перебралась в Западный Берлин, вместе с ребенком. У него имелись при себе их фотографии. На одной Д. увидела большое семейство, собравшееся в гостиной за круглым столом, украшенным еловым лапником: все с застывшими лицами ждали магниевой вспышки. Жена, видимо, попыталась изобразить улыбку, отчего лицо ее болезненно исказилось. У двухлетнего мальчика, державшего в одном кулачке ложку, а в другом — кружку, были, как и у отца, темные волосы. Как только рабочий умолкал, сидение на одном месте начинало тяготить Д. Он подробно рассказал ей о своей последней работе за границей, прибегая к иностранным словам, которые — из-за его берлинского выговора — воспринимались как имена сказочных существ. В самое последнее время он строил дорогу, широкую, как скоростная автотрасса, которая вела к одной из правительственных цитаделей.

— А что такое "японка"? — вклинилась в его рассказ Д., но тут ее отвлекли шаги на лестнице.

Оказалось, "японка" — это тяжелая тачка на резиновых колесах.

— Не хотите чего-нибудь выпить? — вдруг спросил после продолжительного молчания молодой человек.

Она же до такой степени погрузилась в свои мысли, что вздрогнула от звука его голоса. Уже то, что малознакомый мужчина так терпеливо и бескорыстно старается ей помочь, пугало ее. Она думала, ей не хватит мужества, чтобы выйти одной на улицу, сесть в вагон подземки, быть совсем одной среди чужих людей, не надеясь на чью-либо помощь.

— Мой отец все отпуска проводил в пивных, а мать, наверное, злилась... Мне, если выпью, станет плохо, — сказала она.

На улице неожиданно заревел мотор, и Д. почувствовала, что не может сдвинуться с места. Ее собеседник горбился еще сильнее, чем раньше, поэтому, когда он успокаивающе кивнул, она ему не очень поверила. Полицейские могли поджидать ее за углом. Она достала паспорт из уже уложенной сумки, чтобы еще раз взглянуть на фотографию Ф. И не обнаружила ни малейшего сходства с собою. Она не удержалась — надорвала западную сигаретную пачку, приготовленную ей на дорогу. Часы в

гостиной пробили последнюю четверть часа. Пора было уходить, но она не могла отпустить руку скрывавшегося здесь молодого рабочего. Ей казалось, она уходит от всех людей вообще. Она попыталась беззаботно улыбнуться, но по его встревоженному взгляду поняла, что улыбка получилась жалкой. Он ей назвал свой адрес в Западном Берлине, и она на мгновение сумела представить себе эту улицу, представить даже, что идет по ней, держась поближе к домам. Когда она вышла, уже стемнело, и ей не встретилось ни одной живой души.

У входа на станцию подземки она в последний раз предъявила абонементную карточку. Потом, по дороге к Восточному вокзалу, разорвала эту карточку, и особенно тщательно – фотографию на ней, а обрывки разбросала по снегу. На безлюдной и темной площади сияющая огнями громада вокзала казалась опасной пещерой. Возле бокового входа уже ждала кондукторша, хозяйка конспиративной квартиры, Д. отдала ей неизрасходованные восточные марки и восточногерманское удостоверение личности, теперь ставшее недействительным. Они почти не разговаривали; та женщина, держась на некотором расстоянии от Д., прошла за ней через вестибюль, а потом свернула к залу ожидания. Д. – теперь Ф. – поднялась наискось по лестнице, на которой охотно фотографировались гости Восточногерманского государства. В туннеле, ведущем к железнодорожным платформам, ей вдруг пришло в голову, что надо вести себя так, будто она иностранка. Последние ступеньки она одолевала медленно, ощущая себя неуклюжей и тяжелой. Рядом, на соседнем пути, остановился моторный вагон из Западного Берлина, который якобы и доставил ее, австрийскую туристку, к скандинавскому поезду. Среди пассажиров этого поезда ей следовало отыскать одного: с красным плутоватым лицом и в фуражке. Выходя из вагона, он должен держать в руке перчатки, а на перроне надеть их решительным движением, "будто решение принял". Любое отступление от этих заранее оговоренных деталей будет сигналом опасности. Ф. вдруг почувствовала, что стала хуже видеть: голубоватое мерцание неоновых трубок будто окутывало нужного ей человека туманной дымкой. Однако фуражка на нем точно была. Он оглянулся, но взгляд его на Д. не задержался. Потом он прошелся по другой стороне платформы, заложив руки за спину. Руки в перчатках из черной кожи... Д. прошла мимо него, к выходу. Он же тем временем спросил что-то у проводника своего вагона, который в ответ махнул, указывая куда-то в дальний конец поезда. Когда под своды вокзала въехал состав городской электрички, Д. поспешно сбежала вниз по лестнице – прочь от потока восточноберлинских пассажиров. Она сознавала, что движется, но воспринимала свои движения так, как если бы смотрела на себя со стороны. Страх волнами накатывал на нее, стискивал сердце. На улице ей пришлось прислониться к стене.

Пройдя несколько шагов, она увидела на противоположном тротуаре кондукторшу. Они встретились у витрины какого-то магазина. Д. попросила вернуть ей восточные марки, назначила место встречи на следующий день. Женщина уговаривала ее вернуться к ней в квартиру, но Д. не захотела. Они рассматривали выставленные в витрине фарфоровые безделушки, а друг на друга не глядели. Наконец Д. двинулась прочь, сгорбившись и обмякнув от страха. Дома стояли темные, все они были для нее закрыты. Она не знала, куда идти: здесь, в своем городе, она чувствовала себя отрезанной от всех. В такси она еще раз задума-

лась, что́ ей теперь делать, но в итоге так и не назвала шоферу адрес брата.

Ту ночь она провела в квартире своего шефа, профессора, с которым когда-то работала в одном отделении. Она решила, что тотчас уйдет, если он хоть секунду помедлит, не сразу откроет ей дверь. Но не успела она пролепетать до конца выдуманную историю про опоздание на поезд и забытый ключ, как профессор уже вел ее вверх по лестнице. Это было обветшалое, грязное здание — в прошлом доходный дом. Квартира профессора располагалась на втором этаже — пять комнат и коридор, стены которого представляли собой сплошные книжные стеллажи. Через открытую дверь Д. увидела письменный стол, заваленный бумагами, и освещенную настольной лампой бутылку вина. Комната, где ей предложили переночевать, походила на студенческую: вдоль стен громоздились коробки и какие-то аппараты, по виду — радиотехника. Профессор ни о чем ее не спросил, только — в котором часу она будет завтракать. Через неплотно закрытую дверь она прислушивалась, не станет ли он звонить по телефону. Номер полиции она знала наизусть. Но слышала — только досадливое стариковское бормотание, хлопанье дверец шкафа; вскоре профессор вернулся, принес постельное белье. Поверх жилета он успел надеть пиджак, даже повязал галстук. Вид у него был бодрый. Он объяснил, где у него что находится, задернул занавески и зажег свет над кроватью, словно портье, который показывает новому постояльцу гостиничный номер; Д. не заметила, чтобы гостеприимный хозяин бросил на нее хоть один-единственный взгляд, но, дойдя до двери, он обернулся. Спросил:

— Хотите снотворное?

Д. все еще стояла посреди комнаты, с сумкой в руке.

— Да, хочу, — сказала она.

Каждый шаг давался ей с трудом. Она положила руки на его смешные толстые плечи и заплакала. Ей почудилось, будто на всем белом свете у нее никого больше нет, кроме этого старого, ворчливого, чужого, в сущности, человека. Когда он протянул ей через порог стакан со снотворным, она стала извиняться за свои слезы.

— Какие глупости! — буркнул старик и лаконично, словно обращался к пациентке, пожелал ей доброй ночи; правда, в уголках его глаз мелькнула усмешка. На другое утро он на своей машине подвез Д. к той станции городской железной дороги, на которой она договорилась встретиться с мюнхенкой. Д. попыталась было все ему рассказать, но он лишь досадливо махнул рукой. Она так расстроилась из-за предстоящего расставания, что даже забыла его поблагодарить.

Ей недолго пришлось стоять, повернувшись лицом к стене, читать пожелтевшие объявления: вскоре она услышала, как кто-то ее окликает. Голос — жесткий, хорошо знакомый. Мюнхенка, близоруко щурясь, приблизилась к ней — коренастая, ничего не боящаяся, — взяла под руку, вывела на улицу. Вся площадь была засыпана снегом. Какой-то мужчина в коричневом плаще, прислонившийся к фигурному парапету моста, пристально смотрел на них, склонив голову к плечу. Они быстрым шагом прошли мимо — две женщины, торопящиеся по своим делам, может, даже родные сестры. Вода казалась дегтярно-черной и нагоняла на Д. озноб. Но ее провожатая беззаботно тараторила, громко и не переводя дыхания, на самом что ни на есть берлинском диалекте — втолковывала

ей что-то о расписании поездов и о погоде в Дании. В одной церкви, больше напоминавшей дворец и зажатой между административными зданиями с большими окнами, мюнхенка, зайдя в полутемный боковой неф, надела на себя светлое пальто Д., а ей отдала свое, темно-синее, и еще — черный кожаный берет. Стоячий воротник синего пальто плотно прилегал к шее, отчего Д. волей-неволей приходилось держать голову прямо. Перед вращающейся дверью вокзала женщины налетели на какого-то пижона в стеганой куртке, так тот даже застыл на месте, словно ослепленный их видом. В городской электричке мюнхенка что-то объясняла своей спутнице о расположении виадуков, о Шпрее, о туманных силуэтах высотных зданий, возвышающихся над серыми жилыми кварталами, — все это она говорила буднично и вместе с тем уважительно. А Д. только восклицала в ответ: "Ах!", или: "Да-да, я об этом слышала..." Стоявшие возле них пассажиры с удивлением разглядывали добротное пальто, красивый берет, замкнутое лицо иностранной туристки. Когда электричка наконец въехала под величественные черные своды, Д. увидела — через три платформы от себя — светлый моторный вагон. В подземном туннеле, по пути к нужной платформе, спутница Д. завела разговор о назначенном ей в Восточном Берлине свидании — и казалась настолько плохо ориентирующейся здесь, настолько смущенной, что Д. увлеклась и начала объяснять, как добраться к тому месту, где должна состояться встреча. Но тут мюнхенка, не дослушав, потянула ее за собой вверх по ступенькам, и неожиданно они оказались перед открытой дверью моторного вагона. Ф. прошла в свой вагон, а ее спутница остановилась напротив окна, на перроне.

— Сразу же напишите! — крикнула она. — Желаю хорошей погоды в Копенгагене!

Д., крепко ухватившись за верхний край рамы, беспомощно смотрела в это доброе, простодушное, ничем не примечательное лицо. Подходящий ответ в голову не приходил.

— А для детишек чтоб красивые марки! — продолжала мюнхенка.

Подали сигнал к отправлению. Д. высунулась из окна.

— Детям от меня привет! — крикнула она. — Обязательно передайте!

Маленькая коренастая женщина на перроне замахала черным платком, потом ее заслонила тележка носильщика, и вот тогда Д. в полной мере ощутила свое одиночество.

Окажись она в этом вагоне год или два назад, она бы так радовалась предстоящему путешествию, тому, что поезд вот-вот повернет к северу, двинется в те края, куда люди приезжают, чтобы провести отпуск... Уже отойдя от окна и сбрасывая пальто, Д. случайно смахнула с колен сидевшего напротив нее господина газету. Она принялась извиняться; но чем больше старалась говорить на литературном немецком, тем чаще слетали с ее губ типично берлинские словечки. Она не могла отвести взгляда от партийного значка на лацкане у своего визави, от его строгого лица. Он тотчас наклонился за газетой, кивнул, не поднимая глаз, и продолжал читать, поворачивая голову при переходе от строчки к строчке. Д. хотелось спрятаться за своим пальто, чтобы ее случайно не узнал кто-нибудь из бывших пациентов; глянув через проход, она, как ей показалось, увидела знакомое лицо и теперь боялась туда смотреть. Через щель между краем пальто и оконной рамой она наблюдала за городской электричкой, которая тронулась с места одновременно с моторным ва-

гоном, но быстро от него отстала; смотрела на по-зимнему сырую дорогу, петляющую между спортплощадками, на ограды вдоль гребня железнодорожной насыпи — она ощущала потребность вдуматься в то, что расстается с этим городом навсегда. Импортная ткань имела странный суховатый запах, напоминавший о ветре. Д. сдвинула пальто в сторону и оглядела разделенный низкими перегородками вагон. Наискось от нее удобно расположилась сразу на двух сиденьях худенькая актриса — та самая, что заболела, не выдержав разлуки со своим другом из Западного Берлина, та, за которой Д. когда-то ухаживала. Опустив журнал на колени, актриса откусывала по кусочку от яблока — медленно, словно что-то обдумывала. Чувствовала она себя, судя по всему, прекрасно, закинула ногу на ногу, на фоне синего бархата обивки это выглядело шикарно; в сторону Д. она не смотрела. Сама же Д. еще никогда не ездила первым классом. Ярко-синяя обивка казалась ей необыкновенно мягкой и нарядной. Сиденья были очень широкими, на каждом могли бы свободно поместиться две такие девушки, как она, и все же Д. ощущала себя зажатой, скованной, угодившей в ловушку этого громыхающего вагона. Она не выдержала пристального взгляда актрисы (которого не было — Д. его просто вообразила) и отвернулась. Актриса держала обеими руками журнал, но не читала, а думала о чем-то своем. Потом она взглянула на Д., на стоящую у ее ног дорожную сумку западного образца, на дверь, ведущую в коридор, — и стала смотреть в окно. Актриса определенно не хотела встречаться глазами с Д. У той же страх теперь сменился ощущением засасывающей пустоты под сердцем. Туристка Ф. достала из кармана пальто книжку, долистала до середины, будто именно здесь остановилась, и поднесла к глазам. Руки у нее сразу же затекли. Она захлопнула книгу и глянула на заголовок: хотела убедиться, что такое чтение подходит для "западной" женщины. Оказалось, это австрийский учебник по анатомии. Д. старалась перелистывать страницы равномерно. Свои часы она повернула так, чтобы на циферблат можно было смотреть незаметно. Обложка книги казалась унылой, типично научной, ничего "заграничного" в ней не было. Д., не отрывая глаз от трудного текста, выудила из кармана пальто сигареты и положила пестрый целлофановый пакетик на соседнее пустое сиденье, а руку так и не убрала, словно чересчур увлеклась чтением. Актриса тем временем встала и по проходу подошла поближе. Судя по ее виду, состояние ее здоровья — по крайней мере в данный момент — не внушало никаких опасений. Возле Д. она замедлила шаги — вагон качнулся. Но актриса не остановилась, исчезла за дверью. Ее темно-коричневое платье было сшито в стиле ампир, с узким черным бантом под маленькой грудью. Д. постаралась запомнить интересный покрой. Но ее пугала ею же придуманная картинка: что полиция в лице этой изящной молодой женщины, чье модное платье так замечательно соответствует деревянной обшивке вагона и роскошным диванам, вот сейчас наклонится к ней и шепнет: "Следуйте, пожалуйста, за мной". Причем "пожалуйста" будет добавлено только из-за импортного пальто. Поймав случайный взгляд пожилого господина напротив, Д. воспользовалась этим, чтобы предложить ему сигареты. Он потянулся за пачкой, но Д., передавая ее, замешкалась, безуспешно пытаясь сдернуть пленку. Актриса уже шла по проходу назад, гордо подняв красивую голову и посверкивая глазами, сопровождаемая кельнером в черной куртке. Кельнер поставил перед

ней на столик маленькую рюмку со шнапсом и почтительно поклонился. Господин, сидевший напротив Ф., заговорил о Копенгагене. Д. извинилась, что вынуждена прервать собеседника, и прошла, толкнув дверь, в отделение для некурящих, а оттуда, через тамбур, — в вагон второго класса. Там весь коридор был забит пассажирами и чемоданами, и ей пришлось повернуть назад. В туалете она нарочно растрепала себе волосы, потратив на это не меньше десяти минут, после чего вернулась на свое место. Навстречу ей, по проходу, шел кельнер с пустым подносом. Потом Ф. снова раскрыла книгу, сосед же настоял на том, чтобы теперь она взяла его сигарету. Это был именно тот сорт, который Д. обычно курила, но она сделала вид, что закашлялась. Сосед же все бубнил что-то про их поезд, про железнодорожное расписание, про то, что его фабрика наладила сбыт продукции за границей. Спустя примерно час актриса привлекла к себе внимание всех пассажиров. Ее манера упорно, по-дамски, напиваться, снующий взад-вперед кельнер с подносом, подобострастное поведение этого самого кельнера провоцировали осуждающе-завистливые взгляды. Актриса вошла в роль дамы, путешествующей первым классом, внешний антураж этому вполне соответствовал, так что ее в общем не в чем было упрекнуть. Ф. предоставила своему соседу приятную возможность рассказывать ей про места, мимо которых они проезжали, главным образом про заводы, она притворялась, будто все это ей очень интересно, — лишь бы не лишиться такого замечательного прикрытия, как беседа с этим солидным, поучающим господином. Небо над блеклыми лугами лишь чуть-чуть потускнело, но в вагоне уже включили верхнее освещение: в первый момент Д. показалось, будто жесткий свет хлестнул ее по лицу. Когда тьма за окнами сгустилась до черноты, развлекавший Ф. господин уснул. Актриса сидела теперь в самом углу дивана, сгорбившись и поджав колени; смотрела на рюмку, поворачивая ее. Ф. тоже забилась поглубже, спряталась за своим пальто. Пальто она очень медленно отвела от лица, когда почувствовала у себя на плече чьи-то пальцы. Среди задремавших от усталости пассажиров она и актриса вроде как остались наедине. В самом конце вагона спал молодой человек, откинув голову на высокую диванную спинку. Но маленькая актриса сидела теперь очень прямо, была еще бодрой и внимательно смотрела через проход на Ф. Рядом же с Ф. стоял кельнер. И объяснял, что некая дама хочет угостить ее бокалом шампанского. Бокал он ей тут же подал. Маленькая актриса в этот момент приподняла свой. Ф. благодарно кивнула и отпила глоток тепловатой пузырящейся жидкости. Потом сидела ссутулившись, ждала, что сейчас с ней заговорят. Однако когда она очнулась и заметила, что поезд остановился, в вагоне никого кроме нее уже не было. Актриса — среди других пассажиров — шла по платформе. Шла быстрыми, уверенными шагами, слегка наклоняясь вперед. Это была предпоследняя остановка, всего в тринадцати километрах от границы. Немного спустя Ф. вытащила из волос заколки и начала причесываться.

Нетерпение она начала проявлять, лишь когда моторный вагон остановился под сводами вокзала, у водозаборной колонки. Машинист возле гудящего агрегата разговаривал с каким-то железнодорожником, он вопросительно посмотрел на Д. Она рассеянно кивнула. В воображении она снова слышала, как ее инструктируют, описывают дорогу — число шагов совпадало. Когда она вышла из-под навеса над перроном, мелкий дождик, падавший с черного неба, увлажнил ей лицо. Ей почу-

дилось, что она уже различает запахи Балтийского моря, которое было близко – где-то позади этих темных громоздких зданий. Она замешкалась на мгновение, соображая, где "право" где "лево", – из-за того, что на ней были перчатки. А она с детства различала эти два направления, ориентируясь по родинке на левом запястье. Она зашагала в сторону ближайшего барака: мимо него катился железнодорожный вагон, при въезде на паром звук должен был измениться. Звук действительно изменился, где-то совсем недалеко... В светлом помещении контрольно-пропускного пункта полицейские встретили ее вежливыми взглядами. Позади она слышала шаги другой пассажирки, той пришлось пройти чуть дальше. Пока один полицейский рылся в сумке туристки Ф., сама она перелистывала паспорт, с помощью которого Б. хотел ее защитить. Потом еще раз двумя пальцами повернула паспорт к себе, посмотрела на детскую подпись, на фотографию, показавшуюся ей чужой, прочитала слово, вписанное в графу "цвет глаз". Глаза у нее были на редкость синие, но могли казаться светлее или темнее, в зависимости от освещения. Молодой г-н Б. здорово ее подвел с этим паспортом, где значилось: "серо-зеленые". Теперь Д. уже ничего не хотела. Ведь он даже не помнил, какого цвета у нее глаза. Точнее, она хотела одного – вернуться домой. Человек в форме, сидевший в стеклянной будке возле таможенного поста, сказал ей что-то на незнакомом языке. Она старалась держать веки полуопущенными, но смотреть ему прямо в лицо.

Когда оформление документов закончилось, полицейский вышел вместе с нею на двор и придержал ее за руку, пока на паром заезжали товарные вагоны. Он предупредил, что трап мокрый и скользкий. С другой пассажиркой он не разговаривал – у той был французский паспорт. А ей, Д., пожелал счастливого пути.

9

Молодой г-н Б. в нетерпении метался по съезду к автозаправке, дожидаясь, когда наконец появится его новая машина. Ночью он часто просыпался из-за неотвязных снов о гонке по автобану, и теперь на сыром ветру его знобило. Пространство между цехами, расчерченное белыми полосами, было заполнено разноцветными машинами, на которых рабочие приехали на фабрику, а вдали Б. видел однотонное скопище дорогих автомобилей, собранных этими рабочими. Серый утренний свет приглушал краски; уже то, что машин этой модели было так много – многократное повторение одной и той же формы, – нагоняло на молодого г-на Б. невыносимую скуку; он никак не мог оживить в себе ту радость предвкушения, которую так остро ощущал ночью, во сне.

Чтобы получить машину вне очереди, он сослался на свое знакомство с тем уважаемым семейством, младший представитель которого угнал его автомобиль. Все это было ему крайне неприятно, он боялся, что обман раскроется, а с другой стороны, кипел от злости, потому что ему все равно пришлось ждать. Оказавшись наконец в черно-красной жаркой кабине, он вполуха слушал советы обступивших машину механиков, горя желанием поскорее оставить шлагбаум позади.

Вел он машину осторожно, можно даже сказать, робко: в оживленном транспортном потоке скромно вписывался в очередную автомо-

бильную колонну, еще не до конца доверяя своему новому приобретению. Он сосредоточенно, как на занятиях в автошколе, переключал скорость и больше смотрел на спидометр и одометр, чем на дорогу, заботясь единственно о том, чтобы не повредить чувствительный двигатель. Лишь опробовав машину на пустом участке пути, он перешел сперва на восемьдесят, потом на девяносто километров и всецело предался коварному азарту быстрой езды. Ехавшая навстречу машина той же марки приветственно мигнула фарами. Вскоре молодой г-н Б. уже напевал — проглатывая половину слов — популярный джазовый мотив.

Рабочий день давно начался, когда с очередной автозаправки Б. попытался позвонить в западноберлинскую пивную. Набрал четыре цифры — код Западного Берлина, потом еще шесть — номер того телефона-автомата, возле которого, как он полагал, сейчас ждала его Д.

— Она уже здесь? — спросил он.

Хозяйка почему-то замялась. Кроме помех на линии он слышал гул разговоров сидевших у стойки посетителей.

— Да, — сказала хозяйка, но тотчас повесила трубку. Прозвучало это "да" равнодушно и жестко, но Б. постарался отогнать возникшее ощущение тревоги и действительно вскоре о нем забыл.

Как ни внимательно прислушивался он к звукам новой машины, для него было полной неожиданностью, когда в каком-то маленьком городке, в лениво текущем — регулируемом светофорами — транспортном потоке его мотор вдруг заглох. Люди, выглядывавшие из окон ехавшей рядом машины, откровенно потешались, наблюдая его лихорадочные усилия вновь стронуться с места; временный красно-белый номерной знак, означавший, что Б. едет на только что сошедшей с конвейера, еще не обкатанной машине, ничем ему не помог. Поскольку Б. не хотел возвращаться на фабрику, к тамошним механикам, инструкции которых он не дослушал, ему пришлось самому толкать машину до перекрестка, а там, слава богу, обнаружилась автомастерская, над дверью которой красовалась эмблема той же фабрики.

Напротив мастерской размещался небольшой почтамт, напоминавший миниатюрный замок. Поколебавшись мгновение, Б. взбежал по ступенькам и попросил соединить его с берлинской пивной.

— Я не могу сейчас приехать, я... — начал оправдываться он.

— Мне-то без разницы, — отрезала хозяйка и повесила трубку.

Дожидаясь окончания ремонта, Б. ломал голову над ее грубым ответом. И не мог ничего понять. Он даже не слушал автослесаря, который что-то талдычил ему насчет ошибочной регулировки холостого хода, соотношения между засасываемым воздухом и бензином — будто имел дело с новичком. "А вы сразу дали полный газ!" — сказал слесарь укоризненно. Но Б. думал о своем. Выбранная им машина, заляпанная дождевыми каплями и брызгами из луж, стояла с открытым капотом перед мастерской — она сломалась, не прослужив своему владельцу и двух часов. Вдобавок молодому г-ну Б. пришлось упрашивать слесаря, чтобы тот обслужил его немедленно. Каждая минута задержки, которую позволял себе слесарь, означала потерю времени, нужного для преодоления одного километра пути. А ведь Б. собирался к вечеру прибыть в Гамбург, чтобы в аэропорту Д. могла сразу же сесть в его машину.

По автостраде он теперь ехал без всякой охоты, не замечая ни леса, ни деревень, ни съежившихся от сырости виноградников. Малодушно

позволял обычным машинам обгонять свою, гоночную. А если и обгонял какой-нибудь грузовик, то потом все равно старался оставаться в левом ряду — отчего ехавшие за ним начинали сигналить, изгоняя его оттуда. Снова и снова, на разных автозаправках и стоянках, Б. вылезал из машины и звонил в Берлин. "Да в чем дело-то?" — спрашивал он, а хозяйка отвечала: "Ты совсем спятил!" — "Где же она?!" — кричал; и слышал в ответ: "А я почем знаю?" Все это уязвляло его гордость — еще и потому, что буфетчицы и служащие на автозаправках слышали эти странные междугородние разговоры. Квитанции за звонки он неизменно прятал в бумажник, как вещественные доказательства. "Позовите ее!" — молил он, но хозяйка, едва заслышав его голос, бросала трубку. Всю вторую половину были вообще одни только длинные гудки — к телефону никто не подходил.

Он негодовал, сидел, как привязанный, в этой сверхчувствительной машине (на которой долго еще не решится ездить быстрее, чем со скоростью сто километров в час) и не знал, на ком или на чем сорвать свою злость. В полдень он не стал заезжать в кафе, ел всухомятку булочки, лишь бы не терять времени. Вечером, утомленный однообразным трепетанием света фар на бетонном покрытии дороги, он чуть было не поддался искушению заснуть за рулем, предоставив машину ее собственной воле — пусть себе с грохотом врежется в ближайшую мостовую опору.

— Позовите же ее, — попросил он тихо, когда, дозвонившись наконец в Берлин, вновь услышал на другом конце провода звяканье пивных кружек.

— Да не хочет она с тобой говорить, — буркнула хозяйка и сказала, чтобы больше он не звонил.

Ночью он вылез из своей машины перед зданием гамбургского аэропорта — осоловелый от усталости, с затекшей спиной. Он купил билет до Западного Берлина и, ни на что больше не реагируя, проспал весь полет. Потом, уже возле пивной, перебегая при красном свете перекресток, он чуть не попал под автобус — огромного, могучего зверя — и успел увидеть, как автобус этот заносит на повороте. Падая, Б. испытывал странное чувство облегчения...

Рослый молодой человек в черном строгом костюме, в несвежей рубашке с наполовину оторванным воротничком, на моих глазах вдруг качнулся и упал, ударившись головой о бордюрный камень — будто позволил кому-то уронить себя. Я помог поднять его с земли и потом на воющей "скорой помощи" поехал с ним в травмопункт ближайшей больницы. Врачи констатировали легкое сотрясение мозга.

10

Оказалось, новый мир — это небольшой паром, ужин в общем зале, облицованном красными панелями, капитан, пригласивший "туристку Ф." на капитанский мостик. Чиновники в Гедсере, датском пограничном пункте, украдкой посмеивались, когда Д., купив авиабилет до Гамбурга, тут же попросила соединить ее с одним номером в Западном Берлине. Далеко, по ту сторону Балтийского моря, радостно откликнулся хрипловатый женский голос:

— Только чтобы заранее не завтракать!

Западногерманский паром ждал у соседнего причала. Все время переправы Д. слонялась одна по продуваемой ледяным ветром палубе, так как боялась разговаривать с пассажирами. Новый мир — для нее это означало непрестанную заботу о том, как бы не попасться со своим фальшивым паспортом.

В гамбургском аэропорту она сразу заснула на скамейке — так и лежала там, пока сестра из Красного Креста не отвела ее в помещение, где имелись кровати. На пути в Западный Берлин, в самолете, Д. отказалась от завтрака — чтобы сделать все так, как ее просили. Свет, в котором плавали складчатые облака, был белым. Потом самолет нырнул в серовлажную муть над обеими частями Берлина и приземлился в одной части, недалеко от другой. Там уже ждала молодая женщина с рыжеватыми волосами — обняла Д. за плечи, слегка развернула, чтобы лучше рассмотреть темно-синее пальто.

— Тебе очень идет, оставишь его себе! — сказала она.

Завтрак подавали в просторном помещении с застекленным потолком. Стекло дребезжало от гула заходящих на посадку самолетов. Щуплый молодой человек, поклонившийся Д. как-то странно, всем корпусом, попросил ее подробно рассказать о своей поездке — все ли было в порядке с билетами, о чем ее спрашивал полицейский. Поначалу она еще ждала молодого г-на Б., а потому не очень понимала, чего от нее хотят, но потом даже ее обида куда-то улетучилась... Ей пришлось подписать заявление: "Я приехала по доброй воле"... Рыженькая все подливала ей, все подкладывала куски на тарелку, бодро и ласково успокаивала: "Мы видели, как ты шла по перрону, мы знали, что у тебя все получится!" Она замечательно хихикала. Д. хотела бы иметь такую подругу...

А еще оказалось, что новый мир — это лагерь для перемещенных лиц. "Раздвиньте ноги пошире!" — злобно командовала врачиха. В разных конторах Д. подробнейшим образом расспрашивали про советские войска. Никаких таких войск она не видела. "Но ведь все немцы по воскресеньям гуляют, значит, вы волей-неволей проходите мимо советских казарм", — стоял на своем чиновник. Выдержал паузу. И потом попросил объяснить, как все-таки она попала в Западный Берлин. Д. не упомянула студентов, хотя ей грозили, что, если она так и будет молчать, ей не выдадут западноберлинское удостоверение личности. Ей приходилось подолгу ждать перед разными дверьми. Однажды она сидела рядом с молодым пограничником, который бежал из ГДР, пробравшись сквозь проволочное заграждение; он очень стыдился своей солдатской шинели, но Д. из-за этой шинели жалела его еще больше. В Главном полицейском управлении у нее сняли отпечатки пальцев, потом сфотографировали для картотеки; по коридору мимо нее проводили людей в наручниках. Она должна была клятвенно подтвердить дату своего рождения. Участковый уполномоченный, оформлявший удостоверение, когда передавал ей этот документ, фамильярно назвал ее просто по имени.

На неделю ее приютила у себя одна молодая пара, муж и жена с ребенком. Их дочке было столько же лет, сколько племяннице Д. Взяв девочку за руку, Д. ходила гулять с ней — куда-нибудь недалеко. Выбираться в центр ей пока не хотелось. Хозяева часто приглашали гостей. Порой к ним подсаживалась и Д. Однажды она даже поставила на стол

бутылку шампанского, которую купила на деньги, выданные ей в лагере для покупки одежды. Когда в день побега, в вагоне, ее впервые в жизни угостили шампанским, она подумала, что этот напиток – как раз на ее вкус. Вежливо и чуть смущенно рассказывала она нам в тот вечер про Восточный Берлин. А позже взяла с меня обещание:

– Но все, что вы напишете, должно быть выдуманным!

Оно и есть выдуманное.

Ради приличия, а еще потому, что хозяйка пивной уж очень ее уговаривала, Д. навестила в больнице молодого г-на Б. Он был для нее самым обыкновенным больным, не хуже и не лучше других. Поскольку Д. твердо знала, что волновать пациентов нельзя, она обещала этому – одному из них, так забавно обложенному подушками, – обдумать его предложение: выйти за него замуж. Но уезжать из Берлина она не собиралась.

Сидела она у него недолго. Ей ведь еще хотелось – пока не истечет время посещений – осмотреть территорию больницы, состоявшей из нескольких корпусов; а из кармана пальто у нее торчали воскресные газеты, такие толстые из-за разных объявлений, предложений рабочих мест, сообщений о сдающихся комнатах. Она должна была прежде всего подыскать себе жилье...

О переводчике

Смерть Софьи Львовны Фридлянд — большая утрата для всего содружества переводчиков, независимо от того, с каким языком и какой литературой связана их работа — с немецкой ли, скандинавской ли, как в ее случае, или с какой-либо другой.

Но особенную боль причинила эта смерть тем, для кого она оказалась и личной потерей, кто знал Софью Львовну десятки лет как доброго и умного человека. У нее было острое чувство юмора, и она часто с удовольствием цитировала свою замечательную свекровь Веру Максимовну Топер: "Переводчику незачем так уж много читать, достаточно прочесть Библию и Шекспира".

Конечно, не нужно понимать эти слова буквально, как практический совет. Но они — свидетельство душевной широты и чуждости педантичному крохоборству. И думая сейчас об умершей, я тоже повторяю их про себя.

С. Апт

Лиллиан Хелман

Джулия

Повесть

Перевод с английского Л. Бесналовой

© 1973 by Lillian Hellman
© Л. Бесналова. Перевод, 2007

Почти все имена здесь изменены. Не знаю, имеет ли это значение и сейчас, но, думается, моя дородная соседка по купе все еще живет в Кёльне, а уверенности, что немцам даже и теперь по сердцу те, кто первыми вышел на борьбу с фашизмом, у меня нет. А вот что куда более важно: еще жива мать Джулии и, по всей вероятности, жива и ее дочь. И почти наверняка отец дочери еще живет в Сан-Франциско.

В 1937-м — к этому времени я написала "Детский час" и "Настанет день" — меня пригласили в Москву на театральный фестиваль. Когда мне случалось писать об этой поездке, я не упоминала о ее берлинском эпизоде, потому что не могла писать о Джулии.

В том же августе в Европу собрались Дороти Паркер[1] и ее муж Алан Кемпбелл[2], так что мы пересекли океан вместе на старушенции "Нормандии", и путешествие протекало вполне приятно, даже при том, что от якобы добродушных чисто женских шпилек Кемпбелла мне было не по себе.

Приехав в Париж, я все еще не решила, ехать в Москву или нет. И застряла в Париже, радуясь знакомству с Джеральдом и Сарой Мерфи[3], прежде я с ними не встречалась, с Хемингуэем, он приехал из Испании, с Джеймсом Ларднером, сыном Ринга Ларднера[4], — вскоре он вступил в Интербригаду, а несколько месяцев спустя погиб.

Мерфи мне понравились. И неизменно нравились, и были интересны, хотя не стали для меня тем, кем стали для старшего поколения. Не исключено, что они были именно такими, какими их изобразил Калвин Томкинс[5]: у них был стиль; Джеральд был острослов, Сара обладала живым умом и была обходительна, и в то лето — а они недавно потеряли обоих сыновей — переносили горе с подкупающим достоинством. Но по прошествии многих лет моего с ними общения я пришла к выводу, что не такие уж они славные, какими их считали чуть не все, и отношения между ними далеко не такие безбурные, и задолго до конца — конца нашего знакомства, то есть за несколько лет до смерти Джеральда: в ту пору они почти никого из старых друзей к себе не допускали, — мне открылось, что слишком многое в их жизни зиждилось на стиле. Стиль — штука весьма приятная для тех, кто извлекает из него пользу, тем не менее стиль, пожалуй что, далеко не всегда благотворен для тех, кто вынужден жить по его суровым — а других и быть не может — законам.

В то лето в Париж стеклось много известных и богатых людей, Дотти приглашали на ужины, обеды, партии в теннис — при том, что в теннис она не играла, поплавать в бассейне — при том, что она не плавала. Меня радовало — и тогда, и всегда, — что Дотти обхаживают. Меня забавляли ее избыточно изысканные манеры — издевка своего рода, — нередко прикрывавшие презрение и неприязнь к тем, кто ей льстил, в ту самую минуту, когда она напрашивалась на лесть. Стоило ей выпить, и

1. Дороти Паркер (1893–1967) — американская поэтесса, писательница, критик. Ее язвительное остроумие вошло в легенду. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Алан Кемпбелл (1904–1963) — актер и писатель.
3. Джеральд и Сара Мерфи — богатые американцы, близкие знакомые Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса и многих других. Фицджеральд посвятил им роман "Ночь нежна".
4. Ринг Ларднер (1885–1933) — американский писатель, сатирик и юморист.
5. Калвин Томкинс (р. 1925) — писатель, драматург, журналист, автор книг об искусстве XX века. Написал биографию Джеральда и Сары Мерфи под названием "Нет мести лучше, чем жить в свое удовольствие".

манеры ее становилась изысканными до нелепости. Но при этом она насмешничала и язвила: доказывала себе и, по всей видимости, мне, что ее не купить. Она ошибалась: ее могли купить и покупали долгие годы кряду. Но купленный билет был годен лишь на какой-то отрезок ее жизни, и смерть она встретила на своем пути.

Этот мир был мне незнаком. В Нью-Йорке и Голливуде меня обхаживали, как и всех, кто имеет успех в театре, достаточно молод и не успел намозолить глаза. Однако в тот парижский месяц меня приглашали знаменитости рангом ниже, чем поклонники Дотти. Я отлично провела время, за всю жизнь мне не часто случалось так веселиться. Но в один прекрасный день, после сильной попойки, я почувствовала, что с меня довольно. Я была дитятей Депрессии, пожалуй, чем-то вроде социалистки пуританского толка — хотя, давая этим расплывчатым воззрениям наименование, я придаю им определенность, для них нехарактерную, — и во мне бурлили чувства, которые ранние годы правления Рузвельта[1] пробудили у многих. Дотти относилась к обществу, вернее к тому, что мы считали обществом, и к его будущему так же, как и я, но между нами была разница не только поколенческая: Дотти притерпелась ко многому, чего я терпеть не желала. Должна, однако, признать, что Дотти всегда обрушивалась на богатых и знаменитых, к которым ее тянуло, меня же, напротив, они никогда особо не привлекали, так что я не давала себе труда на них ополчаться.

За этот месяц я несколько раз говорила по телефону с моей любимой подругой детства Джулией — она изучала медицину в Вене, — поэтому наутро после одной из попоек я позвонила ей и сказала, что завтра по дороге в Москву проеду через Вену. Однако в тот же день поздно вечером она позвонила мне.

И сказала:

— Я хочу, чтобы ты сделала одну очень важную вещь. Может, ты это сделаешь, а может, и нет. Но я прошу тебя остаться в Париже еще несколько дней: к тебе придет один мой друг. Если все сложится так, как я надеюсь, ты поедешь в Москву через Берлин, и на обратном пути я встречусь с тобой.

Я сказала, что не понимаю, ни кто этот друг, ни почему я должна ехать через Берлин, а она сказала:

— Не могу сейчас ответить на твои вопросы. Получи завтра же немецкую визу. Выбор за тобой, но сейчас не будем об этом говорить.

Мне и в голову не могло прийти отказать Джулии — так сложились наши отношения. И завтра же утром я пошла в немецкое консульство за визой. Консул сказал, что проездную визу мне дадут, но переночевать в Берлине не разрешат, а русский консул объяснил, что для тех, кто направляется в Москву, это обычный порядок.

Я прождала два дня и в тот день, когда с утра пораньше спустилась позавтракать в столовой отеля "Мёрис", уже было собралась снова позвонить Джулии. (Дотти и Алана я избегала, приглашения отклоняла, а две цидулки Алана, написанные с целью прощупать, с вопросами: что это я затеяла? с какой это стати я затворилась в номере? — меня и встревожили, и раздосадовали.) Портье сказал, что меня дожидается вон тот

1. Ф. Д. Рузвельт был президентом США с 1933-го по 1945 г.

господин на банкетке. Высокий пожилой господин поднялся с банкетки и сказал:

– Мадам Хелман? Я пришел доставлять вам билеты и говорить о ваших планах. Мисс Джулия сказала передать вам туристические проспекты.

Мы прошли в столовую, и, когда я справилась, что заказать ему на завтрак, ответил по-немецки:

– Вас не затруднит заказать яйцо, горячее молоко и булочку? Заплатить за них я не могу.

Когда официант отошел, он сказал:

– Вы не будете понимать по-немецки. Я ошибся.

Мои познания в немецком настолько незначительны, объяснила я ему, что никак не могут служить основанием для беспокойства; он ничего на это не ответил: пока не принесли еду, сосредоточенно изучал туристические проспекты. Ел он очень быстро, при этом улыбался так, точно вспоминал нечто приятное, но давно забытое. Покончив с едой, он вручил мне записку. Вот что в ней было написано: *Это мой друг Иоганн. Он тебе обо всем расскажет. Но хочу тебя предупредить: не насилуй себя. Не можешь – не надо, урона твоей чести не будет. В любом случае мы вскоре увидимся. Целую, Джулия.*

Мистер Иоганн сказал:

– Я благодарный за милый завтрак. А теперь не проходить ли нам в Тюильри?

Едва мы вошли в сад, как он спросил: хорошо ли я знакома с Бенджамином Франклином[1], можно ли называть меня экспертом? Я ответила, что мало что о нем знаю. Он сказал, что восторгается Франклином и не смогу ли я находить для него в Америке симпатичный портрет Франклина. Внезапно он опустился на скамью и, хотя день был прохладный и сырой, стер со лба испарину.

– Доставали ли вы немецкую визу?

– Транзитную визу. Переночевать в Берлине я не смогу. Мне разрешено только пересесть там на московский поезд.

– Имеете ли вы готовность провезти для нас пятьдесят тысяч долларов? Мы думаем, вы не понесете страданий, но не гарантируем. Вы провезете деньги, чтобы мы выкупали многих людей, которые уже в тюрьме, и многих, которые скоро туда садятся. Мы малая группа хороших работников против Гитлера. Мы не имеем ни общего убеждения, ни общей религии. Люди, которые встретят вас из-за денег, конечно, если вы даете согласие, раньше были некрупными издателями. У нас есть и католики, и коммунисты, мы различных верований. Джулия просила сказать вам от нее, что вы боитесь бояться и оттого готовы сделать, что не в вашей силе, а в этом есть опасность и для вас, и для нас.

Я порылась в сумочке, закурила, снова порылась. Он откинулся на спинку скамьи – вид у него был усталый, – вытянул ноги.

Чуть погодя я сказала:

– Пойдем выпьем чего-нибудь.

– Я скажу опять. Мы думаем, все пойдет хорошо, но, возможно, много пойдет не так. Джулия сказала мне передать: если мы от вас не услы-

1. Бенджамин Франклин (1706–1790) – американский просветитель, государственный деятель, ученый, писатель, один из авторов Декларации независимости.

шим, когда ваш поезд приедет в Варшаву, Джулия насылает свою семью на американского посла туда через дядю Джона.

– Я знакома с семьей Джулии. Раньше она не очень-то на них полагалась.

– Она сказала, вы так заметите. И если так будет, передать, что дядя Джон стал губернатор. Джулию он любит не очень, но деньги для карьеры у нее брал. И что из-за последнего развода мать тоже зависимая от нее.

Представив, как Джулия помыкает членами своей несметно богатой семейки, я рассмеялась. С тех пор как нам обоим минуло восемнадцать, мы виделись раз десять-двенадцать, не больше, – за эти годы безусловно произошли перемены, но откуда мне было о них знать. Джулия бросила колледж, поступила в Оксфордский университет, перешла в медицинский институт в Вене, стала пациенткой и одновременно ученицей Фрейда. За последние десять лет мы однажды провели вместе Рождество, однажды летом поплавали с месяц на ее яхточке у берегов Массачусетса, однако письма, а мы часто обменивались ими в эти годы, знакомили нас с канвой жизни друг друга, но не с повседневностью, а правда, суть – лишь в ней.

Мне, к примеру, было известно, что она стала, а вероятно, и всегда была социалисткой и жила согласно своим воззрениям в однокомнатной квартирке трущобного района Вены, а своим огромным состоянием делилась со всеми, кто в том нуждался. Никаких излишеств себе не позволяла, к ним не тяготела. Как ни странно, на подарки это не распространялось: меня она буквально осыпала подарками, причем весьма экстравагантными. Все эти годы, стоило ей увидеть нечто, что могло бы прийтись мне по вкусу, и она тут же одаряла меня то старинным веджвудским блюдом[1], то рисунком Тулуз-Лотрека, то подбитым мехом пальто, на которое мы с ней наткнулись как-то в Париже, то собранием сочинений Бальзака в редкостном ампирном книжном шкафчике, то невероятной красоты набором драгоценностей георгианского периода[2] – как она нашла время, чтобы откопать такой изыск, уму непостижимо.

Я сказала ее седовласому посланцу:

– Могу я подумать часов пять-шесть? Джулия ведь именно это подразумевала.

Он сказал:

– Не надо думать продолжительно. К таким делам лучше не быть готовым. Завтра утром я прибуду на вокзал. Если вы идете на перевоз денег, здоровайтесь со мной. Если это для вас не годится, проходите мимо. Не из-за какого решения не надо беспокоиться. – Он пожал мне руку, поклонился и ушел.

Весь день я то кружила около Сент-Шапелль, то заскакивала в нее, предприняла – безуспешно – попытку пообедать, поужинать: хотела вернуться в отель и приступить к сборам не раньше, чем Дотти и Алан отправятся на ужин к Мерфи. Я оставила им записку, где сообщала, что уезжаю рано утром и разыщу их по возвращении из Москвы. Весь день в душе у меня была смута: я не могла ни на что решиться. И наконец легла с твердым намерением: ни за что не засну, пока не разберусь в своих чувствах. Но решения, серьезные в особенности, нагоняют на меня сон,

1. Веджвуд – особый тип фаянса, который выпускала компания, основанная в 1759 г. Джозайей Веджвудом.
2. Георгианский период – время с 1714-го по 1830 г., когда Англией один за другим правили четыре Георга.

возможно оттого, что я знаю: принимать их придется, полагаясь на интуицию, обдумывать же я способна лишь чужие советы. Во всяком случае, спала я так хорошо, что едва не опоздала на ранний поезд.

В вестибюле меня поджидали Алан и Дотти: они вознамерились проводить меня на вокзал. Я запротестовала так решительно и неуклюже, что Алан — при его нюхе отвести ему глаза было практически невозможно — спросил: в чем, собственно, дело, почему я не хочу, чтобы они меня проводили? Когда Алан вышел поймать такси, я сказала Дотти:

— Извините, я не хотела грубить, но Алан действует мне на нервы.

Она улыбнулась.

— Лилли, милая, иначе и быть не может, вы же не психопатка.

На вокзале я уговаривала их уйти, как только мой багаж внесут в вагон, но Алан все не унимался, скорее всего оттого, что я нервничала, но уж никак не оттого, что никто из их знакомых, как он утверждал, еще не уезжал в Москву. Он плоско острил, советовал, чего не следует говорить русским актерам, как вывезти черную икру — словом, нес весь тот вздор, какой обычно несут люди типа Алана, когда хотят сказать нечто совсем другое.

И тут я увидела, что навстречу нам по перрону идет седовласый Иоганн. Когда Иоганн поравнялся с нами, Алан сказал:

— А ведь это тот человек, с которым я видел вас вчера в Тюильри, верно?

Я повернулась к Алану, хотела что-то ответить, хотя бог весть что я могла бы ему сказать; седовласый тем временем прошел мимо нас и направился к вокзалу.

Я бросилась за ним.

— Мистер Иоганн. Прошу вас, мистер Иоганн.

Он обернулся, и я, потеряв голову, возопила:

— Прошу вас, не уходите. Ну пожалуйста.

Иоганн остановился — мне показалось, это длилось вечность, — лоб его собрался морщинами. После чего не торопясь пошел ко мне — и шел так, точно был настороже, начеку.

И тут я наконец нашлась и сказала:

— Я всего только и хотела, что поздороваться с вами. Здравствуйте, мистер Иоганн, здравствуйте.

— Здравствуйте, мадам Хелман.

Алан подобрался к нам поближе. Следовало как-то предостеречь Иоганна.

— Это мистер Кемпбелл и мисс Паркер. Мистер Кемпбелл говорит, что видел нас вчера, и теперь непременно спросит, кто вы, и скажет: мол, он не знал, что мы близко знакомы, иначе вряд ли вы потрудились бы меня проводить.

Мистер Иоганн без запинки ответил:

— Я жалею, что это не так. Нет, я приходил искать племянника, он едет в Польшу. Он не в своем купе, наверное, опаздывает, такой его обычай. Его звать В. Франц, вагон четыре второго класса, и, если я не нахожу его, скажете: я к нему приходил, и я буду благодарный. — Он приподнял шляпу. — Крайне рад, мадам Хелман, что мы имели случай поздороваться.

— Да-да, — сказала я. — Я тоже. Здравствуйте, здравствуйте.

Когда Иоганн ушел, Алан сказал:

— Что за странный разговор. Такое впечатление, будто вы говорите на иностранном языке.

— Прошу прощения, — сказала я, — прошу простить за то, что я говорю не так изысканно, как у вас в Виргинии.

Дотти рассмеялась. Я поцеловала ее, вскочила в поезд. И пошла не в ту сторону — до того издергалась. К тому времени, когда я выяснила у проводника, где мое купе, поезд уже тронулся. По дороге в свой вагон я столкнулась в тамбуре с молодым человеком — в руках у него был чемодан и какие-то пакеты. Он сказал:

— Я — В. Франц, племянник, вагон четыре второго класса. Мисс Джулия передала вам подарок ко дню рождения. — И вручил мне коробку конфет и шляпную картонку с этикеткой "Мадам Полин". Поклонился — и был таков.

Я отнесла подарки в свое купе, там на скамейке слева от окна уже расположились две молодые женщины. Одна — маленькая худышка — держала трость. Другая — плотная деваха лет двадцати восьми, — хотя стояла теплынь, куталась в пальто. Я улыбнулась, они кивнули мне, и я опустилась на скамью. Подарки положила обок и только тут заметила, что к картонке пришпилена записка. Я всполошилась, подумала было: не пойти ли с картонкой в туалет, но решила, что это может вызвать подозрения, и развернула записку. Тогда я хорошо запоминала стихи, кто что сказал, как выглядят самые разные предметы, но с годами моя память притупилась. А вот ту записку я и сейчас помню слово в слово: *На границе оставь конфеты на сиденье. Конфеты открой, шляпу надень. Благодарности за то, что ты сделаешь, от них не будет. Не будет и от меня. Но любовь моя всегда с тобой. Джулия.*

Я долго сидела, не выпуская записку из рук. Впала в апатию — состояние это знакомо мне с тех пор, как я стала осознавать себя, оно и по сю пору пугает меня, лишает способности даже рукой пошевелить. Скажу без ложной скромности, я сообразительная, нередко даже очень сообразительная, но с детства знаю: стоит мне столкнуться с элементарной проблемой определенного рода, я настолько усложняю ее, что она представляется неразрешимой. Я просто-напросто не вижу того, что другому ясно с первого взгляда. И так оно и случилось на этот раз. Джулия не написала, где следует открыть картонку. Вынеси я ее в коридор или туалет — мои спутницы могут что-то заподозрить. И я сидела, ничего не предпринимая, пока не поняла, что не знаю, когда мы пересечем границу — через несколько минут или несколько часов. Решение надо было принять немедля, а я медлила.

О детстве у меня более туманные воспоминания, чем у многих: когда оно кончилось, я отвернула от него лицо свое, а по какой причине, мне и самой неведомо, но никак не по наиболее распространенной — по причине горьких воспоминаний. Меня это угнетало до тех пор, пока много лет спустя мне не открылось, что рассказам о детстве не следует особо доверять. Одни примысливают себе победы и радости, обретая так утешение, другие сосредотачиваются на тяготах, реальных и мнимых, находя в них оправдание своих неудач.

Думается, о своей памяти я знаю все: знаю, когда на нее можно положиться и когда мечта, а то и вымысел накладываются на жизнь, и мечта, потребность в мечте, приводит к искажению прошлого. Вот отчего я с самых ранних лет знала, что у единственного ребенка кошмары реальной жизни воплощаются в припадки буйства. Но своим воспоминаниям о Джулии я доверяю целиком и полностью.

И поныне — много-много лет спустя — я могла бы, не зажигая света, подняться по той лестнице, походить по загроможденному мебелью огромному особняку ее деда и бабки на Пятой авеню, по его бесчисленным обветшало-роскошным комнатам, где стены были увешаны картинами, а на столах теснились безделушки, цены которым я не знала. Притом я не помню, что там говорилось и делалось, за исключением разве что той первой ночи, когда мне разрешили переночевать у них. В новогоднюю ночь — нам с Джулией было тогда лет двенадцать, и нам позволили остаться на поздний ужин — подавали и мясо, и рыбу, а в перерыве между ними шербеты, чтобы лучше прочувствовать разницу вкуса, "очистить нёбо", как говорила бабка Джулии; мы пили разбавленное водой вино, старики — красное, белое вино и шампанское. (Были они так уж стары? Не знаю: они приходились ей дедом и бабкой.) О чем велся разговор за столом, не помню, но после ужина нам разрешили присоединиться к старикам в музыкальной гостиной. Слуга уже поставил на патефон пластинку с "Мирно овцы пусть пасутся"[1], мы вчетвером прослушали ее, потом Джулия встала, поцеловала бабушке руку, деда в лоб, двинулась к двери и подала мне знак следовать за ней. Диковинными, однако, ритуалами заполняют свои дни эти богачи, мне их не постичь.

Всю мою жизнь в канун каждого Нового года я вспоминаю этот вечер. Мы с Джулией лежали на двух сдвинутых кроватях, и она читала отрывки разных стихов, иногда замолкала и просила читать меня, но я не знала ни Данте по-итальянски, ни Гейне по-немецки, однако, хоть я и не понимала ни по-итальянски, ни по-немецки, стихи звучали так прекрасно, что меня охватила сладкая грусть, я чувствовала — в мире меня ожидает столько всякого разного, он обещает столько всего прекрасного, стоит лишь найти свой путь. Все же я прочла кое-что из "Матушки Гусыни"[2], а Джулия — донновскую "Джулию" и засмеялась от удовольствия — "вот как он меня воспел"[3]. Я постеснялась спросить, шутит она или нет.

Когда Джулия отвернулась от меня, было уже очень поздно, и тем не менее я попросила:

— Еще, Джулия, пожалуйста, еще. Какие-нибудь еще стихи помнишь?

Она снова включила свет, стала читать Овидия и Катулла, мне их имена ничего не говорили.

Не знаю, когда я перестала слушать, просто смотрела на прелестное лицо на подушке — в свете лампы ее густые темные волосы красиво отблескивали. Не помню, знала ли я, употребляла ли тогда такие слова, как "благородное", "тонкое" или "волевое", но в ту ночь я подумала — и это точно, — что никогда не видела лица прекраснее. Позже я не думала о том, как она выглядит; когда мы выросли, мне часто доводилось слышать, что Джулию отличает "своеобычная красота", что "она ни на кого не похожа", а один знакомый снобяра сказал про нее: "типичный Берн-Джонс"[4], хотя конечно же в ее лице не было ничего ни от Берн-Джонса, ни от напускной духовности.

1. 208-я "Охотничья" кантата И.-С. Баха. Слова З. Франка.
2. Стишками "Матушки Гусыни" исстари называются народные английские стишки и песенки.
3. В "Элегии XIV: Джулия" Джон Донн (1572–1631) обрисовал Джулию весьма нелестно.
4. Эдуард Берн-Джонс (1833–1898) — английский живописец и рисовальщик. Стилизуя итальянскую живопись, писал картины на темы средневековых легенд.

Много — без малого двадцать — лет прошло с кануна того Нового года до поезда, в котором я ехала в Германию. И в те годы, и в годы после смерти Джулии у меня достало времени подумать о моей любви к ней, слишком сильной и сложной, чтобы ее можно было свести лишь к влечению одной девочки к другой. Тем не менее и оно, отрицать не стану, присутствовало. Не знаю и знать не хочу, да и что толку гадать — теперь-то. Мы никогда не целовались, но и это ничего не доказывает; даже когда я наклонилась в лондонском ритуальном зале над ее изуродованным, топорно заштопанным лицом, меня остановили не страшные шрамы, а то, что я ни разу не поцеловала ее при жизни, и я подумала: что, если бы ей это не понравилось, — и просто погладила ее лицо.

Через несколько лет после того Нового года меня перевели из частной школы в обычную. (У отца в ту пору случились финансовые трудности, и он не мог за меня платить.) Тем не менее с Джулией мы виделись чуть ли не каждый день, и каждую субботу я оставалась ночевать в доме ее деда и бабки. Однако со временем и в ее, и в моей жизни произошли перемены: Джулия и летом, и в зимние каникулы путешествовала, а по возвращении от моих расспросов о красотах Европы отделывалась скверного качества снимками, причем снимала она то, что интересовало ее: в Каире двух малолетних слепцов — она объяснила, что они ослепли оттого, что мухи разносят заразу; в Тегеране бедняков, пьющих воду из сточных канав; в Венеции не площадь Святого Марка, а убогую лачугу гондольера; не сокровища искусства в Ватикане, а нищенскую жизнь Трастевере[1].

А однажды по возвращении она показала мне обрамленную фотографию красивой женщины — это была ее мать — и англичанина — это был муж ее матери. Я спросила, что она испытала при встрече с матерью — за все годы нашего знакомства она ни разу не упомянула о ней, — и Джулия, посмотрев на меня в упор, сказала, что у ее матери "очень завидный замок" и что ее муж поит всех титулованных особ, которые падки на даровую выпивку; впрочем, упомянула она также и Ивлина Во, и Г. Дж. Уэллса, и Нэнси Кьюнард[2], однако, когда я попросила рассказать о них, ответила, что рассказать ей нечего — они с ней поздоровались, и только, а ей хотелось побыстрее уйти от всех к себе в комнату.

— Впрочем, мне отвели не комнату, а покои, — сказала она. — Как и всем гостям, а четырнадцать человек прислуги ютились в подвале, к тому же в большинстве их каморок, которые моя мать именует комнатами, нет окон, и на всех — одна паршивенькая ванная. Мамуля, куда б ее ни занесло, моментально осваивается. Досконально следует обычаям принимающей страны.

Однажды на Пасху — нам тогда было лет по шестнадцать — мы отправились с ее дедом и бабкой в их летнюю резиденцию в Адирондакских горах, такую же просторную и обветшалую, как и все их обиталища. Старики, оба, крепко закладывали — по-видимому, всегда, просто раньше я этого не замечала — и после каждой трапезы задремывали. Однако спать они ложились лишь далеко за полночь: складывали, каждый на своем сто-

1. Район Рима.
2. Хозяйка известного литературного салона.

ле, сложнейшие головоломки, привезенные из Франции, и тот, кто справлялся с задачей первым, получал от проигравшего крупный чек.

Насколько помнится, Джулию не обязывали спрашивать разрешения на наши вылазки, когда мы отправлялись на озеро Шамплейн и в его окрестности. Разумеется, хоть мы и брали с собой одеяла, запасные носки, ботинки и консервы, настоящими туристическими вылазками их не назовешь. Мы совершали долгие прогулки, я часто удила форель, а как-то раз мы забрались на высокую гору, и Джулия поймала сетью зайца — он бежал красиво и стремительно, так и девушки не бегают, — и показала мне, как освежевать его. Вечером мы приготовили зайца, обернув его ломтиками бекона, — лучше этого зайца мне и по сю пору мало что случалось есть, возможно потому, что лучше "Робинзона Крузо" мне мало что случалось читать. Даже теперь, стоит мне увидеть остров, любой остров, — и я не могу думать ни о чем, кроме того зайца, и фантазирую, как продержалась бы там в одиночку, без крыши над головой и орудий труда.

Бродили по острову или удили рыбу мы почти всегда поодиночке, таковò было решение Джулии, и мне оно пришлось по душе, потому что она, как я считала, размышляет над чем-то, что не моего ума дело, и ей нельзя мешать, а возможно, и потому, что и тогда знала: постоянно находиться с кем-то рядом ей в тягость.

По ночам, завернувшись в одеяла, мы разговаривали, сидя по разные стороны костра. Точнее, я задавала вопросы, а Джулия отвечала: она была из тех редких людей, которые могут просвещать, при этом не поучая. Сейчас понимаю, до чего же я была тогда зеленая: о Фрейде я слышала, но, пока она не рассказала мне о его учении, понятия о нем не имела; а мои сведения о Карле Марксе и Энгельсе ограничивались одной фразой из учебника, в которой упоминался "Манифест", и ознакомила меня с их теориями она. Впрочем, как все девчонки, мы болтали и о будущих поклонниках, мужьях, детях, о том, что влияет сильнее: наследственность или окружающая среда, сколько может длиться романтическая любовь, — мешая одно с другим, стрекотали в свое удовольствие, как водится у девчонок на пороге юности.

Однажды вечером мы долго сидели молча: Джулия, опершись на локоть, читала при свете костра немецкую грамматику, а я смеялась — меня смешило звучание немецких фраз, которые она повторяла.

Джулия сказала:

— Ты еще не понимаешь. Люди делятся на учителей и учеников. Ты — ученица.

— И хорошая?

— Когда найдешь то, чему захочешь учиться, будешь хорошей, и даже очень.

Я коснулась ее руки.

— Джулия, я тебя люблю.

Она пристально посмотрела на меня и приложила мою руку к своей щеке.

Нам шел девятнадцатый год, когда Джулия уехала в Оксфорд. На второй год ее пребывания там я поехала к ней. Есть женщины, в жизни которых случается период, когда они достигают совершенства: никогда потом лицо уже не будет таким красивым, а фигура — такой изящной или такой гибкой. У Джулии тогда как раз случился такой период, но она и тут так же не осознавала своей красоты, как и в детстве. Ходила в

мешковатых, затрапезных одеяниях, обувалась так, будто позаимствовала туфли у какого-то старика. К ней никто не наведывался, потому что, как сообщил мне один сраженный ее красотой юный индийский джентльмен, она никого к себе не звала. Куда ее только ни приглашали и в Оксфорде, и в Лондоне, но уважительно она отзывалась лишь о Дж. Д. Бернале и Дж. Б. С. Холдейне[1]. Раз-другой мы с ней посетили лондонские театры, но посреди спектакля она принималась вздыхать, говорила, что пьесы, кроме разве что Шекспира, не воспринимает, да и того только с листа, а бывает, что и с листа — нет.

На следующий год она написала мне, что уезжает из Англии в Вену: будет учиться в медицинском институте в надежде, возможно и напрасной, что Фрейд возьмет ее в ученицы.

Я часто писала ей в тот год, но от нее получила всего одну весточку: на мой день рождения она прислала телеграмму, а вслед за ней рисунок Тулуз-Лотрека — он и поныне висит у меня. Мне польстило, что она думает, будто я понимаю, какой гений Тулуз-Лотрек, хотя на самом деле я ничегошеньки не понимала: меня просветил один соученик, который угощал меня гамбургерами, по-моему, для того, чтобы откровенничать о своих гомосексуальных связях. (Во Вторую мировую войну он получил множество боевых наград и погиб за неделю до ее окончания.)

А несколько месяцев спустя мне пришло письмо от Анн-Мари Траверз, мы с Джулией знали ее по школе, но я знала лучше, потому что летом нас с ней отправляли в один довольно паршивый лагерь. Анн-Мари, сметливая, кокетливая, благовоспитанная, держалась кротко, усвоив с ранних лет эту манеру, которой женщины нередко прикрывают озлобленность. Теперь Анн-Мари, по-видимому, жила в Вене или ее окрестностях и в письме, совершенно неожиданном — мы, помнится, не виделись лет пять, — сообщала, что столкнулась с Джулией на улице, но та ее "отшила"; от знакомых она слышала, что Джулия ведет довольно странный образ жизни, занимается политикой, поселилась, хотя всем известно, что денег у нее куры не клюют, во Флоридсдорфе, социалистическом, пролетарском, "трущобном" районе. В медицинском институте Джулия, как ей говорили, на втором месте, на первом — тоже американец, но немецкого происхождения, замечательно способный молодой человек из Сан-Франциско, красавец скандинавского типа, ей, Анн-Мари, такие не нравятся. Надо знать Анн-Мари, чтобы понять: упоминание о "немецком происхождении" и "скандинавском типе" красавца в одной фразе говорило о том, что она покорена им, но ровней себе не считает. Далее Анн-Мари писала, что ее брат Сэмми недавно попытался покончить с собой, ну а как я: все еще не решила, кем хочу стать — писателем или архитектором? Странное это было письмо, что-то за ним крылось, что-то побудило Анн-Мари его написать, что — я понять не могла, но оно мне не понравилось. Прошел месяц, я забыла о письме Анн-Мари, но тут ее брат Сэмми пригласил меня поужинать, сказал, что живет в "Эльбе" и думает обо мне. Повторил он это и за ужином, а хватив четыре порции виски подряд и запив их пивом, спросил, девственница ли я. Поведение Сэмми меня удивило, он никогда не проявлял ко

1. Джон Д. Бернал (1901—1971) — английский физик и общественный деятель, президент Всемирного совета мира (1959—1965). Джон Б. С. Холдейн (1892—1964) — биолог, иностранный почетный член АН СССР.

мне интереса, и я почувствовала, что за этим что-то последует. Часа в четыре утра — мы уже перекочевали в гарлемский "Смоллз", и он нагрузился виски с пивом под завязку — он спросил, почему я развелась и почему не вышла за его старшего брата Элиота, чья богачка-жена потеряла в кризис все деньги, так что Элиот снова открыт для предложений, а мне он подойдет как нельзя лучше, хотя, на его взгляд, Элиот просто-напросто импозантный зануда. Что же до сестрицы Анн-Мари, то против нее он ничего не имеет, потому что переспал с ней, когда ей было шестнадцать, а ему восемнадцать. Затем, не иначе оттого, что я ахнула, взвился: не мне их судить, всему свету известно про нас с Джулией.

Интересные перемены происходят в американских нравах: в мое время пьяные часто затевали драки в барах, но эти потасовки никогда не перерастали, что теперь не редкость, в поножовщину. В ту пору кто-то вламывал кому-то, а когда драка кончалась, один протягивал другому руку, и не было случая, чтобы ее оттолкнули. (Однажды в знаменитой забегаловке Тони в меня запустил стаканом виски Джеймс Тэрбер, Хэммет[1] отбросил Тэрбера к стене, Тэрбер схватил стакан с другого стола, швырнул его в Дэша, но угодил в официанта, вдобавок родственника Тони. Тони вызвал полицию, твердил: с него довольно, Тэрбер слишком долго испытывал его терпение. Присутствующие в большинстве своем согласились с Тони, однако, когда прибыла полиция, мы встревожились и все как один отправились в полицейский участок, где заверили, что тут и говорить не о чем — разбили по пьянке стакан, только и всего; впоследствии Тэрбер не стал относиться ко мне лучше, но он и до этого меня не жаловал. Как бы там ни было, больше мы об этом никогда не вспоминали.) Вот почему тогда, за столиком в "Смоллзе", я не сочла, что нарушу рамки приличия. И, перегнувшись через стол, отвесила Сэмми пощечину, встала, перевернула стол и ушла домой. Назавтра мне позвонила какая-то девушка и сказала: мол, Сэмми не помнит, что наговорил вчера, но в любом случае приносит извинения; а вечером от него принесли огромный букет. Через несколько дней девушка позвонила снова, я сказала, что не сержусь на Сэмми, но что в свои двадцать пять он еще больший балбес, чем в семнадцать. Она сказала, что передаст Сэмми мои слова.

Что бы Джулия ни думала или ни делала, написала я Анн-Мари, это несомненно интересно, а слушать, как хулят ее взгляды или образ жизни, я не намерена. Письмо мое возвратилось — то ли его не распечатали, то ли снова заклеили, — а почему, я узнала лишь через год.

Вскоре я получила письмо от Джулии: она предлагала мне приехать погостить в Вену, сообщала, что Фрейд взял ее в ученицы и что я должна много чего узнать о "катастрофе, которая надвигается на нас". В ответ я написала, что живу с Хэмметом, не хочу с ним расставаться, но на следующий год, глядишь, и приеду. В письмах, последовавших за этим, Джулия писала о Гитлере, евреях, радикалах, Муссолини. Тогда, в 1933—1934-м, мы активно переписывались, и я сообщила ей, что хочу написать пьесу, боюсь только, у меня ничего не получится, но Хэммет меня подбадривает. Спрашивала, нравится ли ей название "Детский час", и обиделась: в следующем письме, забыв про мой вопрос, она, клокоча гневом, писала о политических силах в Австрии, организующих воору-

1. Джеймс Г. Тэрбер (1894—1961) — американский прозаик-юморист, художник. Дэшил (Дэш) Хэммет (1894—1961) — американский писатель, классик детективного жанра.

женные отряды, о гитлеровской угрозе, о том, что "англичане и французы не осознают, как опасен фашизм в его немецком варианте, и это преступление, ну а тот, другой, — просто-напросто павлин". Я далеко не все поняла в ее письме, хотя к этому времени уже стало ясно, что нацизм не обойдет нас стороной.

Я не могла написать историю тех лет такой, как она представлялась нам тогда. Точнее, не могла написать свою историю: я не веду записей и не знаю, когда стала что понимать. Я знаю, что именно из-за Гитлера — Муссолини нам виделся всего лишь горлопаном, меняющим один дурацкий мундир на другой, — многие из нас очертя голову ушли в радикалы или в то, что тогда считали радикализмом, и что наши скороспелые, неофитские воззрения со временем привели к расколам и безобразным распрям. Но в начале тридцатых люди моего круга, насколько мне известно, лишь подписывали протесты, слушали ошеломляющие рассказы многочисленных эмигрантов, осевших в Нью-Йорке или Голливуде, и жертвовали деньги то на одну, то на другую кампанию. Антисемитизм, застарелая болезнь Германии, нас беспокоил, но мало у кого хватило ума понять, как он опасен. Большинство же принимало его всего лишь за безграмотную демагогию маляра и его подонков-приспешников, за которыми, конечно же, не пойдет никто из немцев — народа, как считали люди моего поколения, "просвещенного" и "цивилизованного".

Однако к 1935-му или к 1936-му то, что до сих пор было лишь рассказами, малопонятными, будоражными, но к нам касательства не имевшими, обернулось чудовищной трагедией, и нам пришлось немедля пересмотреть свои взгляды и уяснить, что следует делать. Бунтари двадцатых, бунтари предыдущего поколения, теперь казались бунтарями разве что в скотт-фицджеральдовском смысле: пролив в свое время кровь понапрасну, они не почувствовали, чем пахнет грядущее, а могли бы учуять, если б его запах не перешиб алкогольный перегар. Скотт сам знал это про себя и оттого, что вполне понятно, отшатнулся от тех старых друзей, которые стали новыми радикалами. Впрочем, на меня бунтари двадцатых всегда производили странное впечатление: я видела в них — сострадания к ним я не испытывала — всего лишь кучку талантливых шутов, кривляющихся на потребу богачам. Все свои надежды я возлагала на новый радикализм.

В 1934-м мы с Хэмметом снимали чудный домик на Лонг-Айленде — мотали деньги, полученные за "Худого человека"[1]. В том году мы оба сильно пили, я пила почти вровень с Хэмметом и нашими постоянными гостями, но я была почти всех моложе и, пьяная, сама себе гадка. Во всяком случае, работа над "Детским часом" не клеилась, и Хэммет, по натуре человек легкий, постановил: впредь переключиться на не столь крепкие напитки, а именно херес, портвейн и пиво. Никогда — ни раньше, ни позже — он не пил больше, не ел меньше, с утра до вечера всех задирал, ко всем цеплялся. Ну и мне захотелось удрать куда подальше. И Хэммет дал мне денег на поездку в Европу.

Так как я хотела закончить пьесу в Париже, деньги нужно было растянуть надолго. И я прямиком поехала в Париж, остановилась в дешевой гостиничке "Жакоб" и дала себе зарок ни с кем не встречаться. Раз в день я выходила прогуляться, два раза — поесть в дешевом ресторан-

1. "Худой человек" — роман Д. Хэммета (1934).

чике, где с грехом пополам читала французские газеты и журналы. Из них мало что можно было узнать, и все же я прочла об образовании "Народного фронта"[1]. В тот год фашисты уже не раз устраивали беспорядки в Париже, будут устраивать их и впредь. Мне, как и большинству американцев, порой казалось, что политическая смута в Европе не имеет касательства к моей жизни и уж конечно же никакого касательства к пьесе о девчонке, загубившей жизнь двух женщин в частной школе Новой Англии.

Однако, прожив месяц в полном одиночестве, я соскучилась да и устала. И позвонила Джулии — в первые недели моего парижского житья мы несколько раз разговаривали по телефону, — сказала, что хотела бы на несколько дней приехать в Вену. Она ответила, что я выбрала не самое удобное время, к тому же говорить по телефону, который прослушивается, вряд ли стоит, но она со мной встретится, а где и когда — в свое время известит. По-моему, тогда я впервые узнала, что телефоны могут прослушивать и что за тобой могут и будут шпионить. Меня это и ошеломило, и позабавило разом.

Я ждала, но никаких вестей от Джулии не последовало. Однако через две недели после моего звонка шапки всех газет сообщили, что австрийские правительственные войска при помощи местных нацистов обстреляли Карл-Марксхоф в венском районе Флоридсдорф. Рабочие-социалисты, живущие в этом районе, защищались, двести человек убито. Я прочла это сообщение в ресторанчике под названием "Четвертая республика" и, не доев обеда, бросилась в гостиницу за записной книжкой. Но адрес Джулии ничего не сообщил мне ни о Карл-Марксхофе, ни о Флоридсдорфе, и я легла спать, призвав себя не давать воли воображению. В пять утра мне позвонили; мужчина, назвавшийся фон Циммером, сказал, что он звонит из Вены, Джулия в больнице.

Не помню, как я ехала в Вену, не помню города — больше мне не доведется его увидеть, — не помню ни названия больницы, ни того, как добралась до нее и на каком языке спрашивала, как добраться. Зато я досконально помню все, что происходило потом. Больничка была маленькая, в бедном районе города. В палате находилось человек сорок. Кровать Джулии стояла прямо за дверью. Правую сторону лица Джулии целиком закрывала повязка, бинты обхватывали всю голову, слева были видны лишь глаз и угол рта. Ее правая рука лежала на одеяле, правая нога — на скрытом под одеялом возвышении. Кроме двух-трех человек в белых халатах, за больными ходили какие-то люди в обычной одежде, стул мне принес мальчуган лет двенадцати-тринадцати, он сказал Джулии по-немецки: "Ваша подруга пришла" — и повернул ее голову так, чтобы она видела меня левым глазом. Она глядела на меня: ни глаз, ни рука ее не двигались, ни я, ни она не сказали ни слова. То первое посещение я помню смутно, нет, у меня не отшибло память — ничего существенного тогда не произошло. Чуть погодя Джулия подняла руку, показала на середину комнаты, и я увидела, что мальчуган — он нес ведро — говорит с сестрой. Сестра подошла к кровати, отворотила голову Джулии от меня и сказала, что мне, пожалуй, лучше прийти завтра. В холле, когда я проходила ми-

1. В 1935 г. во Франции после попытки фашистского переворота, в феврале 1934 г., был создан "Народный фронт", в который вошли коммунисты, социалисты, партии радикалов, радикал-социалистов и еще сорок пять различных организаций.

мо регистратуры, тот же мальчуган подбежал ко мне и сказал, чтобы я остановилась в гостинице "Захер". В гостинице — она оказалась такой дорогой, что я уже было собралась подхватить свои чемоданы и подыскать что-нибудь подешевле, — мне вручили записку. В записке говорилось, что для меня зарезервирован номер в "Захере", потому что здесь я буду в безопасности, и Джулии так спокойнее. Подписал записку Джон фон Циммер.

Вечером того же дня я поехала в больницу и, едва сойдя с трамвая, заметила то, на что утром не обратила внимания. Район был окружен плотным кольцом полицейских, встречались среди них и мужчины в какой-то другой форме. В больнице сказали, что в палату меня не пустят: пациентка еще не проснулась после операции. Я спросила, что это была за операция, они в свою очередь спросили, кем я прихожусь пациентке, впрочем, мой немецкий, да и не только он, выдавал меня с головой. Я попыталась выведать у больничного персонала адрес Джона фон Циммера, но они сказали, что знать такого не знают.

Ни завтра, ни послезавтра к Джулии меня не пустили. Три дня спустя красивая беременная дама в дешевом, явно тесном пальто провела меня в палату. Тот же мальчуган принес тот же стул и осторожно повернул голову Джулии ко мне. Правая ее нога уже не лежала на возвышении, и я решила, что Джулии стало лучше. На этот раз, спустя несколько минут, она подняла правую руку, коснулась моей руки. Я посмотрела на ее руку: руки у нее были слишком большие, даже для нее — а Джулия была рослая, — слишком ширококостные, грубые, некрасивые. Она отдернула руку, словно угадала, о чем я подумала, и я притянула ее обратно к себе. Мы посидели так некоторое время, затем Джулия показала на свой рот: объяснила, что повязки не дают ей говорить. После чего подняла руку и сделала жест, как будто что-то отталкивала.

Я сказала: "Не понимаю, о чем ты" — и вдруг осознала, что говорю с ней впервые за несколько лет. Она повторила тот же жест, затем закрыла глаза — наверное, силы ее оставили. Некоторое время спустя я заснула прямо на стуле, прислонясь головой к стене. Около полудня пришла сестра и сказала, что я должна уйти. Кровать Джулии выкатили из палаты, сестра, насколько я могла понять, сообщила, что ее увозят на процедуры.

Те три дня и три ночи, что я провела в Вене, я никуда не ходила, даже ни разу не погуляла по городу, только раз в день ела в дешевом ресторанчике неподалеку от больницы; старик, его хозяин, говорил по-английски; он сказал, что когда-то жил в Питсберге. По-моему, я не отдавала себе отчета ни в том, где я, ни что произошло в городе, ни чем эти события вызваны, — была напугана тем, что ничего не понимала, и этот страх меня сковал. (От страха я всегда теряю способность говорить и двигаться, едва ли не впадаю в спячку.) Меня не покидала мысль, что я должна разыскать фон Циммера, но я все еще надеялась: не иначе как сегодня он сам найдет меня. На четвертый день вечером, часов в десять, когда я уже прочла все, что взяла с собой, а лечь спать не могла: слишком расходились нервы, я решила пройтись пешком до ресторана у больницы — путь до него был не близкий. Когда я дошла до ресторана, оказалось, что он уже закрыт, и я побрела назад — было далеко за полночь, — думала, как мало я знаю о жизни Джулии, как редко мы виделись в последние годы и как мало я знаю о том, что с ней сейчас.

Когда я наконец добралась до гостиницы, напротив нее стоял тот самый мальчуган из больницы. Я остановилась. Он подошел ко мне и вручил сложенный в несколько раз листок. Поклонился и пошел прочь.

В вестибюле гостиницы я прочла записку, выведенную слабой, нетвердой рукой: *Тут что-то не так. Завтра меня переведут в другое место. Незамедлительно возвращайся в Париж, оставь свой адрес в "Захере". С любовью, Джулия.*

Лишь по возвращении в Париж я вспомнила, что в детстве, готовя уроки вместе, мы переводили латинские упражнения по очереди, а затем по очереди же правили перевод. При этом одна часто указывала другой: "Тут что-то не так"; фразу эту мы повторяли до того часто, что она стала чем-то вроде семейной шутки.

Я прожила в Париже еще месяц, но известия от Джулии не дождалась. Приятель-немец позвонил по моей просьбе в венскую больницу, но там ему сказали, что имя Джулии им неизвестно и, судя по документам, она в их больнице никогда не лежала. Тот же приятель дважды звонил в университет, спрашивал про Джона фон Циммера, но в первый раз ему сказали, что тот больше в университете не числится, во второй — что не знают его адреса.

И я вернулась в Нью-Йорк, закончила "Детский час", а через три дня после премьеры, прошедшей с большим успехом, позвонила бабке Джулии. По-моему, старуха — в нашем детстве она часто напивалась — была пьяна: мне пришлось долго объяснять, кто я такая, после чего она сказала, что ей нет дела до того, кто я, она ничего не знает о Джулии, ничего не знает о ней и о "Морган-банке", хотя оттуда ей переводят колоссальные суммы на самые разные адреса по всей Европе, и она думает, что Джулия просто-напросто спятила.

Примерно год спустя я получила письмо от Джулии, со временем оно потерялось, поэтому, хотя я точно помню, о чем она мне написала, не помню в точности, *как* оно было написано — ведь для нее английский стал чуть ли не иностранным, к тому же она писала о вещах, как ей, по всей видимости, казалось, мне знакомых. В письме говорилось о нацизме и Германии, о необходимости социалистической революции во всем мире, о том, что у нее родился ребенок, и девочке, похоже, ее имя, Лилли, нравится, впрочем, ей вообще все на свете нравится. Писала она и что адреса у нее нет, но письма следует направлять по адресу: Париж, 16, Университетская улица, квартира 3, для нее. Я тут же ответила, поблагодарила за Лилли, написала еще два письма и в конце концов получила от Джулии открытку с цюрихским штемпелем.

Не помню, через какое время после этого мне позвонила Анн-Мари и предложила поужинать с ней. Я, кажется, уже было согласилась, но тут Анн-Мари сказала, что один ее друг видел Джулию — она занимается антифашистской, так это вроде называется, деятельностью, очень опасной, швыряется деньгами, и знаю ли я, что она родила ребенка, ну не глупость ли произвести на свет бедного, нежеланного, незаконнорожденного ребенка? Я сказала, что уезжаю из города и не смогу с ней поужинать. Анн-Мари сказала, что ей очень жаль, они редко наезжают в Нью-Йорк, но по случаю оказались здесь как раз, когда впервые давали "Настанет день"[1], и,

1. Премьера второй пьесы Л. Хелман "Настанет день" состоялась 15 декабря 1936 г. В отличие от "Детского часа" пьеса успеха не имела и после шести спектаклей сошла со сцены.

откровенно говоря, *им* пьеса не понравилась. Я сказала, что это их право, она далеко не многим понравилась; после чего разговор опять зашел о Джулии, что-то о ее ноге, чего я не поняла, и Анн-Мари сказала, что хочет познакомить меня с мужем, ведь он, как мне, разумеется, известно, учился вместе с Джулией в медицинском институте в Вене, а теперь он хирург, и весьма преуспевающий, в Сан-Франциско. Замечательно талантливый, сказала она, и красавец, каких мало. Я не люблю, когда женщины обсуждают внешность мужчин — "ну до чего ж хорош", такая фразочка была в ходу в мое время, — и, чтобы не выдать раздражения, сказала: я, мол, знаю, что она вышла замуж, но не знаю, как зовут ее мужа. Она сказала, что его зовут Джон фон Циммер. Она, конечно же, услышала, что у меня захватило дух, засмеялась и сказала, что в следующий раз, когда они приедут в Нью-Йорк, она мне позвонит, и, кстати, почему я не встречаюсь с ее братом? Он все еще пытается покончить с собой. Мне не довелось больше встретиться с Сэмми, но с собой он не покончил — и это точно: несколько месяцев назад я прочла о нем в светской хронике Сьюзи[1].

За все годы, что прошли с тех пор, я видела Анн-Мари с Джоном фон Циммером только раз, в 1970-м, — тогда я преподавала в Беркли. Они сидели в сан-францискском ресторане в обществе еще шести-семи человек, тоже весьма стильных. Анн-Мари расцеловала меня, пощебетала, и мы обменялись адресами. Фон Циммер молча уставился на стену поверх моей головы. Ни Анн-Мари, ни я, хоть мы и договорились созвониться на следующий день, обещания не сдержали, но мне очень хотелось увидеть фон Циммера: я давно рвалась задать ему один вопрос, поэтому через несколько дней после встречи в ресторане пошла к его приемной. Но, постояв у огромного викторианского особняка, раздумала спрашивать его о чем бы то ни было. И сейчас рада, что не задала вопрос, на который почти наверняка никогда не получила бы ответа.

Но в тот день в 1937 году в несущемся к немецкой границе поезде я сидела и глядела на шляпную картонку. Плотная деваха погрузилась в чтение "Франкфуртер цайтунг", худышка, хотя на ее коленях лежала книга, даже не заглядывала в нее. По всей вероятности, от воспоминаний меня оторвало объявление о том, что первую очередь пассажиров приглашают в вагон-ресторан обедать, и я взяла было шубу, но тут же положила ее назад.

Худышка сказала:

— Красивая шубка. Она теплая? Какой это есть мех?

— Котик. Да, очень теплая.

Она показала на картонку:

— Ваша шляпа тоже есть меховая?

Я чуть было не ляпнула, что не знаю, поняла, что впала в ступор, что так продолжаться не может, и открыла картонку. Вынула высокую, пушистую шляпу из серой лисицы — обе девушки восторженно заахали. Я сидела, разглядывая шляпу, пока дородная не сказала:

— Наденьте. Она хорошая для шубки.

Беспокойство мое, хотя до границы было еще далеко, не в последнюю очередь объяснялось тем, что на мне была вязаная шапочка, и я не знала, куда ее деть. Сняв ее, я встала — примерить шляпу перед длинным

1. Сьюзи Никербокер (псевдоним Эйлин Мэле) вела колонку светских новостей, печатавшуюся в газетах и журналах Херста.

зеркалом, висевшим в простенке. Верх и бока тульи оказались очень плотными, я засунула руку внутрь и наткнулась на грубый шов: под ним и вокруг него нащупывались толстые пачки. Шляпа была очень тяжелой, я потянулась снять ее, но тут же вспомнила: в записке наказывалось надеть шляпу.

Пока я пребывала во власти сомнений, дородная сказала, что идет обедать и не принести ли мне из ресторана бутерброд. Я сказала, что предпочла бы пойти в ресторан, вот только не знаю, когда мы пересечем границу, и тут же поняла, что сморозила глупость, не исключено, что небезопасную. Худышка сказала, что к границе мы подъедем лишь к вечеру — она уже раскрыла коробочку и ела вынутый оттуда ломтик мяса, — так что, если я беспокоюсь насчет багажа, она за ним присмотрит: ресторанные цены ей не по карману. Дородная сказала, что и ей они не по карману, но врач предписал ей принимать лекарство только после того, как она поест горячего и выпьет стакан вина. Итак, прикрыв конфеты шубой, я отправилась с ней в вагон-ресторан. За нашим столом сидели еще двое пассажиров, и она с ходу принялась рассказывать, что училась в Париже, но "подцепила" легочное заболевание и вынуждена возвратиться домой, в Кёльн. Рассказала, что не знает, удастся ли ей закончить диссертацию по филологии: легочное заболевание уже захватило кости. Из нее извергался бессвязный поток слов, предназначавшийся, как я думала, для ушей наших соседей по столу, но и после того, как те отобедали и ушли, она не перестала трещать, а в перерыве между фразами нервно вертела головой: следила за всеми, кто сидит поблизости. Наконец с обедом было покончено, и я вздохнула с облегчением — беспокоилась из-за конфет; впрочем, когда мы вернулись в купе, коробка в целости и сохранности лежала на месте. Худышка спала, но, как только мы вошли, проснулась и сказала дородной по-немецки что-то насчет того, что поезд набит до отказа, назвав ее при этом Луизой. До сих пор я и не подозревала — по их поведению никак нельзя было это предположить, — что они знакомы, и я надолго замолкла — пыталась проанализировать, почему так встревожилась. Потом сказала себе: если трепать нервы из-за каждого пустяка, к тому времени, когда придется поволноваться всерьез, я вконец разлажусь.

Последние несколько часов мы все трое подремывали или читали до тех пор, пока худышка не похлопала меня по колену и не сказала, что через пять-десять минут мы пересечем границу. Наверное, у всех страх выражается по-разному, меня же, если не бросает в жар, то бьет озноб. И теперь в ожидании границы меня бросило в жар. Когда поезд остановился, я собралась выйти — пассажиры высыпали из поезда, спешили к пропускным воротам, в поезд зашли таможенники, производили досмотр в головных вагонах, — не надев ни шубы, ни новой шляпы. И уже стояла на пороге, когда худышка сказала:

— Вы имеете нужду в шубе и шляпе. В погоде ветреность.

— Спасибо. Мне не холодно.

В голосе ее зазвучал металл:

— Вы имеете нужду в шубе и шляпе. Шляпа хорошая на вашей голове.

Я не стала ничего спрашивать: ее тон уже заключал в себе ответ. Вернулась, накинула шубу, надела шляпу, она показалась мне ужасно тяжелой от зашитых в подкладку — бог знает, что в них, — пачек; пока я надевала шляпу перед зеркалом, девушки вышли из купе. Когда я спустилась на перрон, оказалось, что они ушли вперед и между нами вклинились пассажи-

ры из других купе. Дородная не стала меня поджидать. Худышка уронила сумку, поднимая ее, она отступила в сторону и оказалась прямо позади меня. Храня молчание, мы продвигались в общей очереди к пропускным воротам, у которых стояли двое мужчин в форме. Пока проверяли паспорт стоящего впереди пассажира, худышка сказала:

— Если вы имеете временную проездную визу, на нее может уходить более минут, чем у других. Но это ничего страшного. Не надо беспокоить себя.

На проверку моего паспорта ушло не более минут, чем на проверку других. Я прошла контроль так же быстро, как все, и, двигаясь в аккуратной цепочке пассажиров, вернулась в поезд. Худышка шла сзади, однако, когда мы подошли к подножке нашего вагона, сказала: "Пожалуйста", оттолкнула меня и поднялась в вагон первой. Дебелая уже сидела на своем месте — прислушивалась к разговору в соседнем купе, где таможенники беззлобно препирались с пассажиром, открывавшим для досмотра свои чемоданы.

Худышка сказала:

— Они истрачивают долгое время на багаж.

После чего подалась вперед, взяла с сиденья мою коробку конфет. Развязала ленту и сказала:

— Спасибо. Я голодная по шоколаду. Вы очень добрая.

Я сказала:

— Прошу вас, — и поняла, что решительно не гожусь для таких дел. — Эти конфеты я везу в подарок подруге. Прошу вас, не открывайте коробку.

Когда в купе вошли таможенники, худышка жевала конфету — открытая коробка лежала у нее на коленях. Из того, что происходило потом, помню только, что наши чемоданы стащили вниз, причем мои осматривали дольше, чем чемоданы моих попутчиц. Помню, что дородная трещала без остановки, говорила что-то о том, что у меня транзитная виза, что я еду на театральный фестиваль, так как я драматург. (Лишь два дня спустя я поняла, что ничего не говорила ни о московском театральном фестивале, ни вообще о себе.) В разговоре мелькало имя Хелман, но хорошо, если я поняла половину. Один из таможенников сказал: "Еврейка", на что дородная возразила: Хелман вовсе не обязательно еврейская фамилия — и стала сыпать фамилиями и географическими названиями, какими — я не разобрала. После чего таможенники поблагодарили нас, аккуратнейшим образом сложили наши вещи и откланялись.

Какое-то время спустя меня уже не кидало в жар и не бил озноб — в этот день меня больше ничего не пугало. Худышка тщательно перевязала конфеты лентой, но, насколько помнится, пока поезд шел к Берлину, мы не обменялись ни единым словом. В Берлине за нашим багажом пришли носильщики, и я сказала себе — вот когда надо волноваться всерьез, ведь если бы деньги обнаружили на границе, ничего особо плохого со мной случиться не могло — Франция-то поблизости. Вот, следовательно, когда надо собраться, проявить осмотрительность, сообразительность, разумную осторожность. Но надо — не надо, а волноваться я не стала и посмеялась над собой: есть у меня такое свойство — паниковать по пустякам, а при опасности сохранять хладнокровие и только что не впадать в спячку.

Однако никакая опасность мне в тот день не угрожала. Худышка следовала за мной по пятам — а до ворот вокзала было довольно далеко —

до самого выхода, вокруг нас люди целовались, пожимали друг другу руки. Навстречу мне двинулась пара лет пятидесяти, дама распахнула руки и сказала по-английски:

— Лиллиан, до чего же я рада тебя видеть. Какая ты нехорошая — неужели нельзя было остаться у нас подольше, ну да ладно, слава богу, что нам хотя бы удалось повидаться...

Худышка — она подошла ко мне вплотную — сказала:

— Отдайте ей конфеты.

Я забормотала:

— Рада снова повидать вас. Я привезла вам подарок, подарки... — но дама уже выхватила из моих рук конфеты и подтолкнула меня к выходу.

Задолго до того, как я подошла к воротам, пожилая дама и худышка испарились.

А господин сказал:

— Пройдите через ворота. Спросите у железнодорожника, который там стоит, есть ли поблизости от вокзала ресторан. Если он назовет "Альберт", идите туда. Если назовет другой, идите к нему, осмотрите и вернитесь назад к "Альберту", он прямо напротив выхода.

Пока я справлялась у железнодорожника о ресторане, пожилой господин прошел мимо. Железнодорожник попросил меня отойти в сторону: сейчас он занят, займется мной через минуту. Задерживаться на вокзале мне не хотелось, и я, не дожидаясь ответа, пересекла улицу и оказалась у "Альберта". Пройдя через вращающуюся дверь, я увидела Джулию и была так потрясена, что застыла на месте. Джулия привстала, тихо окликнула меня, и я пошла к ней, слезы текли у меня по щекам, сдержать их я не могла: увидела — у ее стула стоят два костыля, и наконец поняла то, что прежде отказывалась понимать. Держась за стол, Джулия приподнялась и сказала:

— Отлично, отлично. Я заказала икру — надо же отпраздновать нашу встречу. Альберту пришлось послать за ней, но много времени это не займет. — Задержала мою руку в своей и добавила: — Отлично. Все прошло отлично. Теперь уже ничего не случится. Давай есть, пить и смотреть друг на друга. После стольких лет.

Я спросила:

— Сколько времени у нас в запасе? Далеко ли тот вокзал, откуда идет поезд в Москву?

— Два часа, но нам придется расстаться раньше, потому что до вокзала тебя должны сопровождать, а тем, кто будет тебя сопровождать, нужно время, чтобы найти человека, который поедет с тобой до утра, то есть до самой Варшавы.

Я сказала:

— Второй такой, как ты, нет. Ты стала еще красивее.

Она сказала:

— Перестань оплакивать мою ногу. Ее ампутировали, протез сделали неудачно, так что через несколько месяцев я приеду в Нью-Йорк за новым. Лилли, не оплакивай меня. Да перестань же лить слезы. Надо довести дело до конца. Сними шляпу — сделай вид, что тебе жарко. Причешись, шляпу положи на скамейку между нами.

Пальто Джулии было распахнуто, и едва я положила шляпу на скамью, как она пришпилила ее к подкладке пальто — английская булавка была у нее наготове.

— А теперь, — сказала она, — я пойду в туалет. Если официант кинется мне помогать, отделайся от него и проводи меня до туалета. Он запирается. Если туда попытаются войти, постучи в дверь, позови меня, но скорее всего ничего такого не понадобится.

Она встала, оперлась одной рукой на костыль и подала мне знак, чтобы я взяла ее под другую руку. Пока мы шли по длинному залу, Джулия отпустила какое-то замечание по-немецки некоему мужчине, по всей вероятности Альберту. Сунула костыль в дверь туалета, быстро потянула его назад, костыль застрял, и Джулия в сердцах подергала его туда-сюда.

Выйдя из туалета, она мне улыбнулась. На обратном пути к нашему столику она говорила очень громко, сказала что-то о туалете по-немецки, потом по-английски.

— Совсем забыла, ты же не знаешь немецкого. Я сказала, что у немцев в общественных туалетах всегда чисто, куда чище, чем у нас, ну а при новом режиме и подавно. У-уу, мерзавцы, у-уу, душегубы.

Когда мы снова сели, на столике уже стояли икра и вино. Джулия пошутила с официантом. Наконец официант отошел, и она сказала:

— Да, Лилли. Все хорошо. Теперь уже опасаться нечего. Но ты вправе знать, что деньги, которые ты провезла, мои, и на них мы сможем спасти пятьсот, а если хорошенько поторгуемся, то и тысячу человек. Так что поверь: ты не только хороший друг, ты сделала большое дело.

— Евреев?

— Евреев из них примерно половина. Остальные — политические заключенные. Социалисты, коммунисты и просто католики из числа инакомыслящих. Здесь не одних евреев преследуют. — Она вздохнула. — Но хватит об этом. Сегодня можно сделать лишь то, что можно сделать сегодня, и сегодня ты сделала это для нас. Тебе не нужно выпить чего-нибудь покрепче вина?

Я сказала, что не нужно, а она сказала, чтобы я говорила быстрее: у нас мало времени, и я должна побольше рассказать о себе. И я рассказала о своем разводе, о жизни с Хэмметом. Она сказала, что прочла "Детский час", довольна мной; и что я собираюсь писать дальше?

Я сказала:

— Уже написала. Еще одну пьесу, она не удалась. Расскажи о дочке.

— Она толстая, хорошенькая. Похожа на мою мать, но с этим я уже смирилась.

— Хотелось бы ее увидеть.

— Еще увидишь, — сказала она. — Я возьму ее с собой, когда поеду за протезом, если хочешь, она даже поживет у тебя.

Я спросила, не предполагая, чем это может грозить:

— А сейчас я не могу ее увидеть?

— Ты что, спятила? Уж не думаешь ли ты, что я могла привезти ее сюда? Довольно того, что я рисковала тобой. Мне это еще дорого обойдется и сегодня, и завтра, и... — тут она улыбнулась. — Я поселила ее в Мюльхаузе[1], у милейших людей. Вижусь с ней по пути сюда, когда пересекаю границу. Вот поеду домой за новым протезом, тогда, глядишь, и оставлю ее у тебя. Дольше держать ее в Европе нельзя. Сейчас здесь не место для детей.

1. Мюльхауз (немецкое название Мюльхаузен) — город на востоке Франции, неподалеку от Рейна.

— У меня нет дома, постоянной квартиры и то нет, — сказала я, — но если ты привезешь девочку, я обзаведусь квартирой.

— Не сомневаюсь. Но это не суть важно. Ты — то, что ей нужно. — Она засмеялась. — Ты такая же горячная, как в детстве?

— Наверное, — сказала я. — Я стараюсь держать себя в руках, но у меня плохо получается.

— Стоит ли прилагать старания?

— Если б ты жила со мной, ты бы не спрашивала.

— Мне всегда нравилась твоя горячность, — сказала она, — я ей доверяла.

— Ты одна такая.

— Не слушай тех, кто уговаривает тебя измениться. Может быть, для окружающих твоя горячность и неудобна, зато для тебя бесценна. Не будь ты такой, не привезла бы нам деньги. Да, я оставлю дочку с тобой. Ее отец тебя беспокоить не будет: он не хочет иметь ничего общего ни с ней, ни со мной. Сплошное благоразумие. Заурядный карьерист, только и всего. Сама не понимаю, как меня угораздило. Говорил же мне Фрейд, ну да ладно. Девочка получилась славная.

Джулия улыбнулась, похлопала меня по руке.

— Когда-нибудь я непременно поведу тебя к Фрейду. Впрочем, что я несу? По всей вероятности, я его больше не увижу: в Европе мне долго не пробыть. Из-за костылей я стала слишком приметной. Но вот и человек, который за тобой присмотрит. Стоит за окном — видишь его? А сейчас встань и уйди. Пересеки улицу, останови такси, скажи таксисту, чтобы ехал к Bahnhof Zoo[1]. Там тебя будет ждать другой человек. Он проследит, чтобы ты благополучно села в поезд, и поедет с тобой до Варшавы. Он в вагоне А, купе 13. Покажи свой билет.

Я дала ей билет.

— Наверное, его вагон слева от твоего. — Она рассмеялась. — *Слева*, Лилли, *слева*. Ты уже научилась отличать, где право, где лево, где юг, где север?

— Нет. Не хочу с тобой расставаться. Поезд уходит только через час. Хочу еще хоть несколько минут побыть с тобой.

— Нет, — сказала она. — Если что-то все же пойдет не так, понадобится время, чтобы нам пришли на помощь. Через несколько месяцев я приеду в Нью-Йорк. Напиши мне из Москвы на парижское отделение "Американ экспресс"[2]. Оттуда для меня раз в несколько недель забирают почту. — Она поднесла мою руку к губам. — Любимая моя подруга.

Она подтолкнула меня, и я встала. Но, дойдя до порога, обернулась и, очевидно, сделала шаг назад, потому что Джулия покачала головой и перевела взгляд на зал.

Человека, которому наказали сопровождать меня до вокзала, я не видела. Не видела и того, другого, который ехал со мной до Варшавы; впрочем, какой-то молодой человек несколько раз прошел мимо моего купе, он же подсел за мой столик в вагоне-ресторане, но не обменялся со мной ни единым словом.

Когда после обеда я вернулась в купе, проводник спросил, не распоряжусь ли я выставить для досмотра два моих чемоданчика в коридор: в

1. Вокзалу Цоо (*нем.*).
2. Компания, специализирующаяся на туристических, банковских и страховых услугах. Основана в 1850 г.

таком случае меня не станут будить на немецко-польской границе. Я сказала, что у меня большой кофр в багажном вагоне, отдала ему ключ для таможенников и заснула, впервые в жизни приняв снотворное, отчего, по-видимому, проснулась, лишь когда поезд в семь утра прибыл в Варшаву. На перроне, когда я, приподняв занавеску, выглянула в окно, уже царила сутолока. Под окном стоял тот самый молодой человек, который подсел за мой столик в ресторане. Он сделал мне знак — что́ он имеет в виду, я не поняла и покачала головой. Тогда он огляделся по сторонам и показал направо. В замешательстве я снова покачала головой, и он отошел от окна. Спустя минуту в купе постучались, я приотворила дверь.

— Доброе утро, — сказали сквозь щель с явно английским выговором. — Я хочу попрощаться с вами, счастливо доехать. — И совсем тихо: — Ваш кофр забрали немцы. Вам ничего не грозит: вы уже пересекли границу. Часа два-три ничего не предпринимайте, затем справьтесь о кофре у польского проводника. Из Москвы возвращайтесь не через Германию, другим путем. — И уже громко: — Передайте привет вашей семье, — после чего исчез.

Два часа я сидмя сидела на постели, ни на что не решаясь, — беспокоилась, не лишусь ли я кофра со всем своим гардеробом. Но в конце концов все же оделась и спросила польского проводника, не передал ли ему немецкий проводник ключ от моего кофра. Проводник — явно в расстройстве чувств — сообщил, что немецкие таможенники сняли кофр с поезда, такое нередко случается, но он уверен, что кофр через несколько дней пришлют в Москву, у них, у немецких подонков, такое в порядке вещей.

Через две недели кофр и впрямь прислали в Москву. С изрезанной подкладкой, со сломанными внутренними переборками, однако, кроме фотоаппарата и четырех-пяти книг, ничего не пропало. Я как не знала тогда, так не знаю и теперь, имела ли история с кофром отношение к Джулии: после этого я тридцать лет не ездила в Германию и с Джулией ни разу не разговаривала.

Я написала ей из Москвы и еще раз из Праги на обратном пути в Париж, а также после того, как вернулась в Нью-Йорк из Испании, где тогда шла гражданская война. Три-четыре месяца спустя я получила от нее открытку. В открытке говорилось, говорится: *Молодец, что поехала в Испанию. Теперь убедилась? Поговорим об этом в марте, когда я вернусь в Нью-Йорк.*

Но вот настал и прошел и март, и апрель, а от Джулии ни слуху ни духу. Я позвонила ее бабке, хоть и знала, что делать этого не следует. Старуха сказала, что уже два года не получала от Джулии никаких вестей, и с какой, собственно, стати я ее беспокою? Я сказала, что видела Джулию в октябре, и она повесила трубку. Примерно в то же время я наткнулась в одном журнале на фотографию матери Джулии: она только что снова вышла замуж, на этот раз за аргентинца, имя его я выбросила из головы — чего ради мне его запоминать?

23 мая 1938 года я получила телеграмму, отправленную из Лондона по неверному адресу два дня назад. Телеграмма сообщала:

Джулию убили тчк прошу дать распоряжения похоронному заведению Мура Уайтчепел-роуд в Лондоне тчк большое горе для вас для всех нас.

Под телеграммой стояла подпись Джон Уотсон, но обратного адреса не было.

В тех случаях, когда слезы могли бы принести облегчение, я плакать не умею, вместо этого я два дня пила не просыхая и, что в эти дни про-

исходило, не помню. На третье утро я отправилась к дому бабки Джулии, и дворецкий — в дом он меня не пустил, вышел на улицу, точно я могла нанести дому какой-то урон, — сообщил, что старики уехали в кругосветное путешествие и вернутся через два месяца. Я попросила сказать, как называется их пароход, он в свою очередь попросил меня предъявить документы, мы долго пререкались, и в конце концов я стала орать, что внучка его хозяев умерла, и пусть он вместе с ними идет куда подальше. В ту ночь мне было так худо, что Дэш — а он всегда был против того, чтобы я куда-либо уезжала, так как сам никуда уезжать не хотел, — сказал, что мне, пожалуй, надо немедля отправиться в Лондон.

От той поездки записей у меня не осталось, осталась лишь память о том, как я стою над ее телом; над ее лицом явно поработали похоронщики, однако скрыть ножевую рану, располосовавшую левую половину лица, им не удалось. Похоронщик объяснил, что сделал все, чтобы замаскировать увечье, но если бы я увидела, в какое кровавое месиво превратили ее тело, я бы поняла — вот чего уж никоим образом не замаскировать.

Я вышла из похоронного заведения, постояла на улице. Когда я вернулась обратно, похоронщик передал мне через стол — он обедал — записку. В ней говорилось: *Дорогая мисс Хелман. Мы надеемся, что Вы приедете, но, возможно, Вам что-либо помешает, на этот случай посылаю копию записки на Ваш нью-йоркский адрес. Никто из нас не знает, каковы пожелания ее родных, где они хотели бы похоронить ту, кого следовало бы похоронить как героиню. Вы вправе знать, что нацисты разыскали ее в квартире одного товарища. Мы привезли ее в Лондон – надеялись спасти. Мне очень жаль, что не могу остаться здесь и помочь Вам. Но лучше обратить мою скорбь по этой замечательной женщине в дела и, хочется надеяться, отомстить за нее. Ваш Джон Уотсон, от имени многих и многих. Salud*[1].

Я ушла, а к вечеру позвонила похоронщику — справиться, есть ли у него адрес Джона Уотсона. Он сказал, что не знает никакого Джона Уотсона, покойную ему передали в доме № 30 на Дауншайр-стрит, принадлежащем некоему доктору Честеру Лоу. Я пошла туда, оказалось, что это многоквартирный дом, но ни на одной из дверных табличек имени доктора Лоу я не обнаружила, и тут меня в первый раз осенило, что мои розыски опасны для людей, которые и без того рискуют жизнью.

И я привезла Джулию домой на старой посудине "Адмирал де Грасс" и на этот раз попыталась связаться с матерью Джулии. Тот же самый дворецкий сказал, что не может дать мне ее адрес, но знает, что о смерти Джулии ей сообщили. Я распорядилась, чтобы тело кремировали, и прах все еще там, где я оставила его в тот давным-давно прошедший день.

Мне, конечно же, следовало бы из Лондона поехать сначала в Мюльхауз и только потом вернуться домой, но я туда не поехала, такая мысль даже не пришла мне в голову ни в те страшные дни в Лондоне, ни на пароходе. После кремации я написала бабке Джулии, сообщила, что у Джулии осталась дочь, я знаю, что она живет в какой-то семье в Мюльхаузе, но больше мне о ней ничего не известно, впрочем, Мюльхауз, по всей вероятности, не такой уж большой город и найти там американского ребенка будет не слишком трудно. Ответа я не получила. Думаю, ничего иного я и не ожидала, поэтому написала еще одно письмо, на

1. Привет (*исп.*).

этот раз вполне резкое, и получила ответ от человека с громкой фамилией из громкой юридической конторы; в письме сообщалось: "при том, что эта история не кажется достоверной", для ребенка, который существует лишь в моем воображении, будет сделано все, и, если удастся что-либо разузнать, "что весьма сомнительно", меня уведомят.

После чего несколько месяцев кряду мне каждую ночь снилась Джулия, и почти всегда в том возрасте, когда мы впервые встретились. Хэммет сказал, что вид у меня хуже некуда, и, раз я не знаю покоя, почему бы не найти юриста или детектива в Мюльхаузе. Уильям Уайлер[1], кинорежиссер, снявший два фильма по моим сценариям, родился в Мюльхаузе, и у его семьи еще остался там магазин. За давностью лет я запамятовала, когда и как Уайлер связал меня с юристом в Мюльхаузе, но он сумел это сделать, и некоторое время спустя юрист написал мне, что выяснить, у кого девочка, будет нелегко, но он полагает, что в конце концов ее найдут, разумеется, если она все еще в Мюльхаузе.

А через три месяца грянула война, и никаких известий из Западной Европы я не получала. В марте 1944 года я приехала из России в Лондон, куда меня вызвали, чтобы я приняла участие в создании документального фильма — это был заказ английского правительства — о жизни портовых рабочих под обстрелами Фау-2. На второй день в Лондоне я поняла, что нахожусь неподалеку от того самого похоронного заведения. Я нашла его, но дом лежал в руинах: в него попала бомба.

Вот и вся история, осталось разве что рассказать, как в начале пятидесятых на лонг-айлендском пикнике у Рут и Маршалла Филдов[2] я сидела на каменной ограде рядом с господином, который рассказывал своему соседу о человеке по фамилии Онассис — тогда я впервые услышала эту фамилию — и о судебном процессе, затеянном против Онассиса правительством США; закончив рассказ, он повернулся ко мне и сказал:

— Я сын того юриста, которому вы написали после смерти Джулии. Я ее троюродный брат.

— Вот как? — не сразу сказала я.

Он сказал:

— Видите ли, я не юрист. Я банкир.

Я спросила:

— Что известно о ее семье?

— Дедушка и бабушка умерли. Джулия-старшая живет в Аргентине.

— Сукины дети, все до одного, — сказала я, — вот они кто.

Он улыбнулся:

— Они мои родственники.

— Нашли ли они девочку, которую так не хотели искать? И плевать мне, родственники они вам или нет.

— Я ничего не знал о девочке, — сказал он.

Я сказала:

— Не верю я вам, — встала с ограды, написала Рути, что плохо себя почувствовала, и уехала домой.

1. Уильям Уайлер (1902–1981) — уроженец Эльзаса, с 1920 г. работал в Голливуде. Снял фильмы "Римские каникулы", "Как украсть миллион", "Смешная девчонка" и др.
2. Маршалл Филд 3-й (1893–1956) — американский издатель и филантроп, в своих изданиях поддерживал всевозможные либеральные начинания, ратовал за улучшение межрасовых отношений и т. д. Внук основателя сети розничной торговли Маршалла Филда.

Роберт Геррик
Стихи

Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой

Фронтиспис сборника "Поэтические творения Роберта Геррика", 1648

© Марина Бородицкая. Перевод, вступление 2007

Роберт Геррик, поэт замечательный и заметный даже среди алмазных россыпей английского XVII века, родился в 1591 году в Лондоне, в семье ювелира. Отца не помнил (тот выпал из окна при невыясненных обстоятельствах, когда мальчику было чуть больше года), воспитывался и обучался у дяди, тоже ювелира, затем в Кембридже, а в 1623 году принял духовный сан. С начала 20-х годов дружил и регулярно встречался в лондонских тавернах с Беном Джонсоном и его кружком — или, как они себя в шутку именовали, "племенем". В 1627 году принимал участие — в качестве капеллана — в неудавшемся военном походе герцога Бэкингемского[1]. В 1629-м Геррик получил приход в Девоншире и поселился там, бывая в Лондоне лишь наездами. В "смутном" 1647 году был лишен прихода за роялистские симпатии и, соскучившись в сельской глуши, радостно вернулся в Лондон, где, судя по всему, жил на средства родни, не получая даже причитавшейся изгнанному священнику пятой части жалованья. После Реставрации, в начале 60-х, приход Геррику вернули, и он снова уехал в Девоншир, где и умер в 1674 году, прожив долгую и, по меркам своего времени, не слишком бурную жизнь.

Виллъям Ларкин (?). Портрет Джорджа Виллерса, графа Букингема. 1616

Еще в 1640 году в издательском реестре появилась запись, уведомлявшая о скором выходе из печати сборника стихов, "сочиненных мистером Робертом Геррикомъ". Однако книга — точнее, две книги под одной обложкой, светские "Гесперидъ" и религиозные "Благочестивые стихотворения", — вышла в свет лишь в 1648 году. Причина задержки — столь знакомый нам *перфекционизм*, тщательная, ювелирная отделка каждой строфы (пригодилась дядина выучка?). "Лучше книге стать золою, / Чем явиться в свет сырою". По свидетельствам современников, Геррик даже процесс печатания контролировал самолично, внося поправки и заставляя наборщиков переделывать каждый подпорченный лист.

Питер Лели, по оригиналу Ван Дейка. Портрет Карла I как главы Ордена Подвязки.

Роберта Геррика причисляют обычно к поэтам-кавалерам. И по кругу тем, и по политическим пристрастиям (держал сторону короля), и по тяготению к "школе Джонсона" (был преданнейшим из "сыновей Бена") он несомненно кавалер, по масштабу же — первый и самый выдающийся из этого клана. Но Геррику, пожалуй, и "кавалерские" рамки тесноваты: он берет шире и "поворачивает" неожиданней. К примеру, ничем не примечательный барочный образ из стихотворения "Отчего покраснели розы" (от стыда, разумеется: возлюбленная поэта затмила их красотой) он доводит до веселого абсурда в парном к нему восьмистишии "Отчего посинели фиалки". В своей духовной лирике он поднимается выше "одноплеменников", а в светскую смело подмешивает "домашнее варенье" и прочий житейский "сор", до какого они не опускались. Или не докапывались.

Переводчик также с радостью вышел бы за рамки журнальной подборки, но — увы! — "Мал кубок мой, и не нальешь полней". Хотелось, по крайней мере, дать читателю представление об этом сильном и своеобразном поэте, о свежести и многоцветье его палитры. Хотя бы по одному мазку взять от каждой краски:

1. К Ла-Рошели; пытаясь завоевать популярность, Бэкингем принялся помогать французским гугенотам.

перекличку с античностью и перебранку с "некоторыми дамами", любовь "безгрешную и бесстыдную" и разговоры с умершим другом, христианство и увлечение деревенским фольклором, акмеистическую пристальность к мелочам ("Мое хозяйство") и дань эмблематике ("Почетный столп"). И столь созвучный нам образчик нестареющего жанра: "Поэт сетует на дурные времена"...

Картинка получилась довольно пестрая — и всё же далеко не полная. Остается надеяться, что

И здесь
Найдутся крохи для души.

Из книги "Гесперид"

О чем эта книга

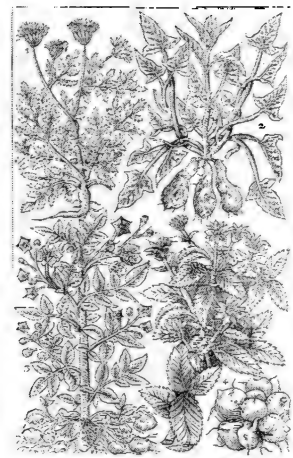
Пою ручьи, леса, луга и нивы,
Цветы и травы, птичьи переливы,
И августовский воз, и майский шест,
Поминки, свадьбы, женихов, невест.
Пишу о юности, любви и страсти,
Ее безгрешной и бесстыдной сласти,
О ливнях, реках, росах на заре,
Бальзамах, благовоньях, янтаре.
Пою времен лихие карусели,
Пишу о том, как розы покраснели,
Описываю двор царицы фей,
И ведьм, и преисподню, и чертей...
Но труд свой небесам я посвящаю,
Куда и сам переселиться чаю.

Поэт объясняет, когда следует читать его стихи

С утра, на трезвый ум да натощак,
Читать мои стихи нельзя никак.
Лишь после яств обильных и питья
Пускай звучит поэзия моя.
Когда на лицах отблески от свеч,
Когда улыбкою сияет печь,
И гимн пропет, и Вакхов жезл подъят,
И розами увенчан стар и млад —
Тогда стихи мои под струнный звон
Читай хоть сам придирчивый Катон!

Вьюнок

Приснилось мне — вот странный случай! —
Что я — садовый вьюн ползучий:
Курчавый, цепкий, как горох,
И Люси я застал врасплох.
Своими усиками крошке
По всей длине оплел я ножки,
Опутал бедра и живот,
И ягодиц округлый свод;
Вверх по спине взобравшись ловко,
Листвой и гроздьями головку
Украсил ей: с такой обновкой
Она являла чудный вид —
Как юный Вакх, лозой увит.
Мои побеги, словно змейки,
Повисли, щекоча, на шейке,
Ей спеленали плечи, грудь —
Так, что рукой не шевельнуть.
Когда ж отросток мой зеленый
Подкрался к дверце потаенной,
Таких вкусил я сладких мук,
Что, пробудившись, понял вдруг:
Желанная исчезла дева,
А стебель обратился в древо.



Из наставления по садоводству Джона Паркинсона "Рай, залитый солнцем. Рай земной". Лондон, 1635

Просьба поэта к Джулии

Джулия, дружок мой милый,
Коли я сойду в могилу,
Не успев стихи издать, —
В печь отправь их, не в печать!
Лучше книге стать золою,
Чем явиться в свет сырою.

Из книги Отто ван Веена "Amorum emblemata". Антверпен, 1608

К Дианиме

Прошу я, не кичись, мой свет,
Очами, коих ярче нет,
Ни взором, что сражает смело
Сердца — твое ж при этом цело, —
Ни пышной гривой, в чьих силках
Влюбленный ветерок зачах.
Рубин в ушке твоем невинном
Пребудет век спустя рубином,
А от красы твоей тогда,
Увы, не сыщешь и следа.

Юбка Джулии

Сколь сладок был мне вид чудесный,
Когда летучий шелк небесный,
Листвой усыпан золотой,
Заколыхался предо мной!
То он вздымался горделиво,
То трепетал нетерпеливо,
Как парус, что команды ждет,
Готовый унестись вперед,
То вдруг раскидывался грозно,
Как небосвод, всей ширью звездной.
На солнце вспыхивал подол,
Цветами огненными цвел,
То прочь стремился безоглядно,
То ноги обвивал столь жадно,
Что жар я в членах ощутил
И перед милою без сил
Простерся, как в преддверье рая,
В истоме сладостной сгорая...
И влекся я, как Моисей,
За облачным столпом — за ней, —
И вечности мне было мало,
Чтоб наглядеться до отвала.

О *некоторых дамах*

Я вам плох? Узнайте ж, девы,
Что такое дщери Евы:
Нитки, тряпки, бахрома,
Пост великий для ума,
Космы, фижмы, вздор, причуды,
Путаница, пересуды,
Сверху шелк, расшитый сплошь,
А под ним — сплошная ложь:
Лживы груди, бедра лживы,
Зубы, локоны фальшивы,
И лишь в головах у дам —
Самый неподдельный хлам.

О*тчего покраснели розы*

Хвалились розы белизной
Перед моею милой,
Но плечи оголивши в зной,
Сафо их посрамила.

И розы белые тогда,
Столь гордые доселе,
Покрылись краскою стыда
И ярко заалели.

Отчего посинели фиалки

Венера, кудри надушив,
В густой бродила чаще,
Фиалки же в лесной глуши
Благоухали слаще.

И в гневе нежных лепестков
Не пощадив, богиня
Избила их до синяков,
Что не сошли доныне.

Молитва Бену Джонсону

Когда в ночи, согбен,
Над рифмой бьюсь я,
Святой заступник Бен,
Тебе молюсь я:

Вдохни в меня свой жар,
Тебе ж твой Геррик
Стихи отправит в дар
На дальний берег.

Украшу твой алтарь
И петь я стану,
Как встарь библейский царь,
Тебе осанну.

Памяти мистера Бена Джонсона

Бен Джонсон мертв, и все забыли стыд:
Комедия протухла и смердит,
Трагедия отбросила котурны,
Иссяк театра дух, живой и бурный,
Осиротела сцена. Всё не так:
Ужимки, позы, каждый жест и шаг,
Ни чувства в репликах, ни нотки свежей —
Один мышиный писк да рев медвежий.
Давно уж ярости священный пыл

Сердец оледеневших не живил,
И стен не сотрясали театральных
Ни грозный гул, ни гром оваций шквальных.
На смену мастерству и мастерам
Грядет невежества безмерный срам
И пир глупцов, чьей кликою презренной
Ошикан был "Алхимик" несравненный.
Но пусть их, Бен! Что взять с таких времен,
Когда рассудок в спячку погружен?
И спать ему во тьме до дня благого,
Когда с тобой он возродится снова.

Поэт сетует на дурные времена

Фортуна и джентльмен, играющий в мяч. Из книги Фрэнсиса Кворлеса "Emblemata". Лондон, 1635

Я скучен сам себе, я мертв почти
Для милых дев (примерно десяти),
К музыке глух, и всякое явленье
Тоску мне навевает и томленье.
Страна больна, и банда лекарей
Ловчится в гроб ее свести скорей.
О, если б Карл, как прежде, правил нами,
Покончивши с дурными временами,
И воцарился всюду век златой,
Марии осиянный добротой, —
Я б кудри умастил росою Тира,
Венком из роз украсился для пира
И в пляс пошел, тряхнувши стариной,
Сшибая звезды головой хмельной!

Мое хозяйство

Часов
Нет у меня, но есть петух:
Готов
Всю ночь он услаждать мой слух.
Есть Прю:
Мой скромный дом она ведет,
В ней зрю
Я экономии оплот.
С утра
Наседка квохчет под крыльцом:
Пора
Меня порадовать яйцом.
Гусак —
Мой сторож: чуть войдет во двор
Чужак —
Шипит, бежит во весь опор.
К нам в дом

Был взят ягненок-сирота,
И в нем
Мы лишнего не видим рта.
Мой кот
Игрив, но чаще деловит,
Живот
Мышами тучными набит.
Засим,
При мне мой Трейси[1], верный друг,
И с ним
Делю я сельский свой досуг.
Мне есть
Чем утешать себя в глуши:
И здесь
Найдутся крохи для души.

Маленькие терцины на подношение поэтом даме горшочка с домашним вареньем

Мала святыня — и ларец по ней,
Мал саженец — подпорка не длинней,
Мал кубок мой — и не нальешь полней.

Лес невелик — мала в нем и сторожка,
Стручок-малютка впору для горошка,
Мал мой кувшин, и масла в нем немножко.

Дров нужно меньше, коли печь тесна,
Младенцу зыбка малая нужна,
Мал мой амбар, и мало в нем зерна.

Мала кладовка — и запас в ней скуден,
Мал городок — и торг немноголюден,
Мал мой приход, и труд не слишком труден.

Подходит лодочка для ручейка,
Для рыбки удочка не велика,
Мал голос мой, и песня коротка.

Мал ротик — по нему и угощенье;
Примите же, мадам, сие творенье:
Горшочек мой, а в нем — чуть-чуть варенья.

1. Мой спаниель. (*Прим. авт.*)

На возвращение поэта в Лондон

Покинув запад, сумрачный и сонный,
На звонкий зов зари новорожденной
Спешу, лечу, от спячки пробужден,
В тот чудный край, где сам я был рожден.
И вот земли твоей благословенной
Касаюсь вновь стопою дерзновенной,
Счастливый город, где навек простер
Дух изобилья щедрый свой шатер.
О племена! О языки, о нравы!
На всякий вкус плоды, труды, забавы!
Свободных римлян пестрая семья,
Твой сын, твой гражданин отныне я.
О Лондон, ты мой дом! С тобой в разлуке,
В глушь сосланный, томился я от скуки,
Но вот я здесь, помилован судьбой,
И вновь по праву ты владеешь мной.
Я не вернусь на запад. До могилы
Я твой: когда во мне иссякнут силы,
Среди своих диковинных вещей
Сыщи местечко для моих мощей.

Капля янтаря

Вот мошка: в янтаре она,
Нетленная, погребена.
И у египетской царицы
Богаче не было гробницы.

Заклятие

Освященную горбушку
Сунь дитяти под подушку,
Чтобы ведьмы в час ночной
Пролетали стороной.

Как поймать ведьму

Чтоб ведьму изловить в ночи —
У порченого взять мочи,
Смешать с мукой, испечь лепешку,
Придвинуть к самому окошку,
И в полночь явится за ней
Чертовка. Средства нет верней!

Канун Сретения Господня

Прощайте, лавр, и розмарин,
И гибкая омела!
Вас в Рождество мы всюду зрим,
Но время пролетело,

И вот самшит мы вносим в дом:
Пусть зеленеет ярко
До пляски солнца за окном —
Пасхального подарка[1].

Когда ж состарится самшит
К святому Воскресенью,
Ему на смену поспешит
Кудрявый тис весенний.

Затем березовых ветвей,
Цветов черед настанет:
На Троицу, когда с полей
Уже теплом потянет.

А там — охапки тростника,
Душистых трав из сада
И ветки юного дубка:
От них в дому прохлада...

Так время свой вершит круговорот:
Одно умрет — другое расцветет.

Почетный столп

Труды свои окончив днесь,
Почетный столп воздвиг я здесь:
Прочней иных колонн
И бронзы полновесной,
Волшбой словесной
Крепится он;
Падут цари,
И алтари
Под свод небесный
Уйдут, как дым,
Лишь он неколебим
Пред натиском любым,
И основанье держат прочно
Слова, расставленные точно.

1. Народное поверье: в день Пасхи в небе танцует солнце. (*Прим. перев.*)

Дописан том и перевернут лист.
В стихах я грешен был, пред Богом чист.

Из книги "Благочестивые стихотворения"

Молитва об отпущении грехов

За юные мои грехи,
За некрещеные стихи,
За каждый оборот расхожий,
В котором глас не слышен Божий,
Прости меня, и стих любой,
Что не подсказан мне Тобой,
Сотри без лишних проволочек.
А сыщется средь сотен строчек
Тебя достойная строка –
И я прославлен на века.

К моей совести

Зачем, скажи мне, ты всегда
Как строгий секретарь суда
Грехи мои заносишь в дело?
Хоть раз бы мимо поглядела!
Уж я туману б напустил
И так пилюлю подсластил,
Что небольшое прегрешенье
Сошло бы мне за украшенье.
Бывает, что и мудреца
Звон злата обратит в слепца;
И если б ты, прельстившись платой,
Перо и свиток свой проклятый
Хотя бы на ночь убрала,
Чтоб я блудил, а ты спала...
Но не бывать такому чуду,
Уж лучше я грешить забуду,
Чтоб не страшиться никогда
Тебя и твоего Суда.

Мой символ веры

Я верю в то, что смерть настанет
И плоть моя землею станет,
Когда же снова оживу,
Христа увижу наяву.
Я верю в Суд, где будет взвешен

Малейший вздох — и все, кто грешен,
Оттуда повлекутся в ад,
Где им мученья предстоят,
А прочих призовет Всевышний,
И буду я средь них не лишний,
Хотя откроет мне врата
Лишь милосердие Христа.
Я верю в Троицу Святую,
Я верю в истину простую:
Христос есть высшее из благ,
Нам посланных. И это так.

Белый остров, или Край блаженных

Здесь, в юдоли снов и грез,
Где текут потоки слез,
Страшен нам зловещих гроз
Гул невнятный,

Но когда наш краткий век
Истечет, как вешний снег,
Нас иной притянет брег,
Благодатный.

Остров света, дивный край,
Где сияет вечный май,
Душам искренним подай
Утешенье,

Чтоб о прошлом не скорбеть,
Ни пред сущим не робеть,
Чтоб не ведали мы впредь
Устрашенья.

Там ни снов, ни забытья,
Там от вольного житья
Не устанем вы и я
В жизни вечной,

Преисполнившись одной
Чистой радостью хмельной,
Непостижной, неземной,
Бесконечной.

Джулиан Барнс
Педант на кухне

Перевод с английского Веры Пророковой

Посвящается Той, Для Которой

Долгая дорога к кухне

К кулинарии я пришел уже в зрелом возрасте. Когда я был маленьким, меня деликатно ограждали от подробностей происходящего в кабинке для голосования, в супружеской постели или под церковными сводами. И, уже по собственному почину, я обходил своим вниманием еще одну закрытую, по крайней мере для мальчиков, сферу английской жизни – я имею в виду кухню. Оттуда появлялись мама и еда – еда, приготовленная в том числе и из плодов отцовского сада-огорода, но ни он, ни мой брат, ни я не расспрашивали (впрочем, нас к этому и не призывали) о том, каким образом продукт преобразуется в еду. Никто не утверждал, что это "чисто женское" занятие, просто считалось, что мужчины к нему не приспособлены. По будням завтрак готовил отец – подогревал овсянку с патокой, поджаривал бекон и тосты, а мы с братом чистили ботинки и возились с плитой – выгребали золу, закладывали уголь.

Этой утренней возней наши кухонные навыки и ограничивались. Что стало очевидным, когда маме пришлось уехать. Однажды отец сделал мне сэндвичи в школу и, поскольку в практике их приготовления он был не силен, запихнул туда все, что я любил. Через несколько часов, когда наша команда поехала на загородный стадион играть в регби, я открыл пакет со своим завтраком. Сэндвичи намокли, расползлись и пропитались алым соком заботливо нарезанной отцом свеклы; сэндвичи краснели за меня, а я – за их создателя.

С кулинарией случилось то же, что с сексом, политикой и религией: к тому времени, когда я начал этим интересоваться, разговаривать об этом с родителями было уже поздно. Они не научили меня вовремя, а я в отместку не собирался спрашивать их теперь. Мне было лет двадцать пять, я учился на юридическом, и кое-что из того, что я стряпал в ту пору, заслуживало самого сурового порицания. Вершиной моего кулинарного искусства были свиные отбивные с горошком и картошкой. Горошек, разумеется, мороженый, картошка – консервированная, очищенная, она еще плавала в сладковатой жидкости, которую я обожал пить; свиные отбивные, никоим образом не походившие на те, что встречались мне впоследствии. Мои были без косточки, все одинаковой формы и пронзитель-

© by Julian Barnes, 2003
© Вера Пророкова. Перевод, 2007

но-розового цвета — он сохранялся вне зависимости от того, сколько времени они жарились. Это обеспечивало повару определенную свободу: недожаренным считался только совершенно холодный кусок, а пережаренным — окончательно сгоревший. И горошек, и картошку, а порой и отбивные я щедро сдабривал сливочным маслом.

В те годы определяющими факторами моих кулинарных экспериментов были бедность, отсутствие навыков и гастрономический консерватизм. Многие в моем положении вообще питались бы отбросами, но я не опускался ниже консервированного языка, хотя, по правде говоря, в мясных консервах встречались компоненты, которые я вряд ли бы приветствовал в необработанном виде. Основной моей пищей стала баранья грудинка: жарить ее было просто, определить готовность не составляло труда, а куска за шиллинг хватало на три трапезы. Затем я перешел к бараньей лопатке. К ней я делал огромный пирог с луком-пореем, морковью и картошкой — рецепт я вычитал в "Ивнинг стандард". У сырной подливки к пирогу был сильный мучной привкус, но стоило разогреть подливку раз, другой, третий, и привкус сходил на нет. Почему — я понял годы спустя.

Понемногу я стал расширять репертуар. В первую очередь набрался опыта (до мастерства было далеко) работы с мясом и овощами. Затем пошли десерты и супы, а уж позже, и много позже, я добрался до пасты, ризотто и суфле. С рыбой всегда возникали проблемы, которые и по сей день не удалось уладить.

Со временем и родителям стало известно, что я готовлю. Отец следил за развитием моих талантов с деликатной настороженностью — примерно такую же он выказал, когда застал меня за чтением "Манифеста коммунистической партии" или когда я вынудил его послушать струнные квартеты Бартока. Если уж все так плохо, говорил он своим видом, то я уж как-нибудь постараюсь привыкнуть. Мама скорее радовалась: дочек нет, так хоть один из сыновей теперь понимает, что такое возиться на кухне. Нет, рецептами мы обмениваться не стали, но она заметила, как я с вожделением поглядываю на потрепанный томик миссис Битон[1]. Мой брат, университетский преподаватель, причем женатый, к пятидесяти годам научился разве что жарить яичницу.

В результате вышеизложенного (а я твердо убежден, что причиной всему "вышеизложенное", а не моя натура) я готовлю хоть и с удовольствием, но без фантазии и довольно тупо. Мне необходимы точный перечень продуктов и отеческая поддержка кулинарной книги. Я завидую тем, кто беспечно бродит с плетеной корзинкой по рынку, покупает то, что приглянется, а потом готовит нечто по наитию, — таких высот мне не достичь никогда.

На кухне я педант, причем педант беспокойный. Всегда слежу за температурой в духовке и строго соблюдаю время приготовления. Приборам я доверяю больше чем себе. Никогда не решусь проверить, готово ли мясо, просто ткнув в него пальцем. Единственная вольность, которую я себе позволяю, — это добавить побольше того, что особенно люблю. Но и тут я не застрахован от ошибок — помню, как я испортил блюдо, для которого требовались скумбрия, мартини и панировка: гости скорее напились, чем наелись.

1. Изабелла Мери Битон (1836–1865) — составитель "Книги о ведении домашнего хозяйства миссис Битон", известнейшего монументального труда по домоводству. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Еще я терпеть не могу пробовать и под любым предлогом от этого уклоняюсь. Например, я твердо убежден: днем, после сладкого чая, у блюда совсем другой вкус, не такой, как вечером, после бодрящей порции джин-тоника. Причина на самом деле одна: я боюсь, что на промежуточной стадии мое творение несъедобно. Отговорка найдется всегда: можно сказать себе, что пробовать нет смысла, так как блюдо приготовлено точно в соответствии с рецептом, а поскольку а) в рецепте не сказано, что нужно пробовать, и б) автор его — уважаемый кулинар, все должно получиться наилучшим образом.

Понимаю, это свидетельствует о недостаточной зрелости. Равно как и мои детские капризы кулинара-любителя. Если вы, заглянув ко мне на кухню, что-нибудь попробуете и похвалите, я расстроюсь, потому что мне хотелось удивить вас за столом. Если же вы доброжелательно и ласково посоветуете добавить чуточку мускатного ореха или еще немножко доварить соус, я сочту вас навязчивым и бестактным.

Бывает, мой гнев изливается на поваренные книги — те самые, на которые я так полагаюсь. Их педантичность не только понятна, но и необходима: любой кулинар-самоучка, судорожно листающий эти страницы, ищет именно четких указаний. И разве кулинарная книга не должна быть так же точна, как учебник хирургии? (Впрочем, это мы робко надеемся, что учебники хирургии точны. Вполне возможно, что некоторые из них сродни поваренным книгам. "Введите каплю анестезии, удалите лишнее, дайте крови стечь, выпейте с коллегами пива, зашейте разрез...") Разве в рецепте слово не так же важно, как в романе? В первом случае неточность ведет к несварению желудочному, во втором — к интеллектуальному.

Порой я глубоко сожалею, что все сложилось так, а не иначе. Это свойственно многим, пришедшим к кулинарии лишь в зрелом возрасте. Вот если бы мама с детства учила меня печь и варить... Помимо всего прочего, я сейчас не нуждался бы так остро в похвале. Когда закрывается дверь за последним гостем, я всегда завожу одну и ту же жалобную песнь: "Я передержал баранину/говядину/свинину". Что на самом деле значит: "Правда, у меня все получилось? А если и не получилось, то ничего страшного, правда?" Обычно домашние мне подыгрывают и уверяют, что все было изумительно. Но иногда все-таки напоминают, что после двадцати пяти неприлично винить в своих недостатках родителей. Более того, их следует простить. Так что, папа, вот что я скажу: сэндвичи со свеклой получились замечательные. Очень вкусно и, главное, оригинально. Я бы так не смог.

Осторожно! Педант за работой

Лет в тридцать с небольшим, когда стряпня, ранее только неприятная необходимость, стала доставлять мне острое удовольствие, я предпринял первую попытку приготовить морковь "Виши". Рецепт я, естественно, вычитал в кулинарной книге, которая, как оказалось, была написана подругой Той, Для Которой Педант готовит. Морковь, вода, соль, сахар, сливочное масло, перец, петрушка — ингредиенты самые обычные, ничего заковыристого. К делу я приступил спокойно и, можно сказать, уверенно. Причем поразмышлял о том, имеется ли в виду Виши

Петена[1] (в таком случае все ингредиенты — коллаборационисты), или Виши как курорт и здравница (при чем тогда сливочное масло, соль и сахар?), или же просто традиционный рецепт этой местности.

Рецепт казался пустяковым даже мне, человеку сверхбдительному и готовому к любому подвоху. Суть элементарна: почистить, порезать, сварить, приправить, проследить, чтобы не подгорело. Я уже собрался ринуться в бой, но тут заметил ошибку в тексте. Он оказался разбит на три раздела, только нумерация у разделов была 1, 2 и 4. Я показал это Той, Для Которой, и ее тоже озадачил пропуск цифры. Она предложила позвонить автору.

О таком я и помыслить не смел. Врачи терпеть не могут, когда в разгар пикника один из соседей вдруг задирает штанину и бормочет: "Не могли бы вы взглянуть..." Для писателя самое страшное, если выясняется, что один из приятелей написал рассказик, небольшой, всего 130 страниц, и мечтает узнать мнение профессионала. А авторы кулинарных книг наверняка ненавидят, если им звонят, причем непременно в тот момент, когда они готовят ужин, уточнить нюансы рецепта, напечатанного бог знает сколько лет назад, или спросить, чем можно заменить молотые иглы дикобраза, если в доме их не оказалось...

Но поскольку гости уже были приглашены, я взял себя в руки, позвонил и изложил проблему.

— Зачитайте мне рецепт, — сказала автор кулинарной книги. Я зачитал.

— По-моему, все правильно, — сказала она.

— Но непонятно, — педантично отметил я, — то ли раздел номер 3 был пропущен издателем, и в таком случае хотелось бы уточнить, что в нем, то ли это опечатка, и вместо цифры 3 поставили цифру 4.

— Прочитайте еще раз, — сказала она, наверняка взбивая в этот момент суфле из морских ежей и щекой прижимая трубку к плечу. Я повторил. — По-моему, все правильно, — отозвалась она. Мой звонок, судя по всему, весьма ее озадачил.

И тогда я вдруг осознал, в чем главная разница между Нами и Ими. Богатые отличаются от обычных людей тем, что у них больше денег, а кулинары, чьи рецепты мы используем, тем, что им больше не нужны советы, которых мы так алчем. Одно дело — быть великим кулинаром, совсем другое — автором вполне пристойных кулинарных книг: это, как любое сочинительство, требует богатого воображения и умения точно все описывать. Вопреки расхожим романтическим убеждениям, большинство людей не вынашивают в душе замысел романа, так же как повара не вынашивают замысел кулинарной книги.

"Художникам следовало бы вырезать языки", — сказал однажды Матисс, схожую метафору можно применить и к большинству поваров. Вот бы приковать их цепями к плите и дозволять лишь по мере надобности подавать еду в окошечко между кухней и столовой. Как-то я провел две ночи в Ламастре в "Отель дю Миди", о котором сохранился хвалебный отзыв Элизабет Дэвид[2] и который по-прежнему славится

1. Анри Филипп Петен (1856–1951) — французский маршал, в 1940–1944 гг., во время оккупации Франции фашистами — глава профашистского правительства, обосновавшегося в городе Виши.
2. Элизабет Гвинн Дэвид (1913–1992) — английская писательница, автор знаменитых кулинарных книг.

лучшей ancienne cuisine[1]. Расплачиваясь по счету, я вдруг заметил плакат с фотографией двадцати самых именитых поваров Ардеша. Они стояли на ступенях какого-то замка, в белоснежных фартуках и колпаках. Я спросил хозяйку, который из них ее супруг.

– Неужели вы его не узнали? – спросила она. Я и не мог узнать – за два дня я его ни разу не видел. – Ах да, он же все время на кухне. – Лишь позже я осознал, насколько это мудро и как редко такие повара встречаются.

Разумеется, мы жаждем рецептов, на что имеем полное право. В старину рецепты передавались из уст в уста, причем в основном женщинами. Позже их начали записывать, и это стало преимущественно уделом мужчин. Теперь нас обучают представители обоих полов. Методика может быть устной (повар ведет передачу по телевизору), письменной (кулинарная книга) и смешанной (выходят и телепередачи, и серии книг). Я предпочитаю готовить по книгам и крайне подозрительно отношусь к поварам, которых уговорили распускать хвост перед камерой. Поведение пионеров телекулинарии не всегда соответствовало высоким целям, обозначенным Джоном Рейтом[2]: взять хотя бы Фанни и Джонни Крэддоков[3]. А в наше время кулинары держатся со зрителями совсем по-свойски, запанибрата: "Ну, смотрите, так может любой дурак. И не думайте, что нужны особый талант, чутье или вкус".

Разумеется не нужны. Но преподавание и обучение, сколько бы мы ни старались превратить их в забаву, по-прежнему остаются преподаванием и обучением. В мои школьные годы была такая шуточка: "Кто умеет – делает, кто не умеет – учит". А мой отец, будучи человеком с юмором и заодно директором школы, добавлял: "А кто не умеет учить, учит учителей". Эту шутку, как я заметил, взяли на вооружение сами педагоги – они "рекламируют" свою профессию с помощью слогана "Кто умеет – учит".

Кто умеет – готовит, кто не умеет – моет посуду. И раз уж мы об этом заговорили, вот еще что: педантизм, как и его отсутствие, свидетельствует лишь о свойствах темперамента, а не о кулинарных навыках. Не-педанты зачастую неправильно оценивают педантов и поэтому относятся к ним свысока. "Я никогда не следую рецепту", – говорят они, словно готовить по кулинарной книге – все равно что заниматься любовью, поминутно заглядывая в руководство по сексу. Или: "Рецепты я читаю, но меня интересует только общая идея". Что ж, дело ваше, но позвольте спросить, воспользовались бы вы услугами юриста, который заявляет: "Я проглядываю законы, но только чтобы уловить суть"? Есть у меня знакомая – на мой взгляд, одна из лучших кулинарок, – которая пользуется поваренной книгой, даже когда жарит курицу. Все дело в том, что и педантизм, и его отсутствие – это палки о двух концах. Среди педантов встречаются как и упертые, нелюбознательные буквоеды, лишенные воображения, так и истовые ревнители, зацикленные на том, чтобы все сделать безукоризненно, не-педанты же либо просто лентяи, либо этакие самонадеянные "творческие" личности, либо люди, уверенные в се-

1. Старинная кухня (*франц.*).
2. Джон Рейт (1889–1971) – первый генеральный директор Би-би-си (с 1922-го по 1938 г.). Считал, что главная задача государственной радиостанции (телевидения еще не существовало) – образовывать и обучать слушателей.
3. С 1955 г. до середины 70-х Крэддоки вели одну из первых кулинарных телепередач в Англии.

бе по праву — освоившие все приемы, познавшие все тайны кулинарной гармонии. Не хочу сказать, что предпочту блюда, приготовленные именно педантами, но я глубоко сочувствую тому, что происходит на кухне и в голове педанта. И еще: всех корифеев профессии я бы включил именно в свой лагерь. Шеф-повар может быть сколько угодно изобретателен и склонен к экспериментам (хотя большинство оригинальных решений украдено у других), но он знает, что блюдо, которым можно гордиться, всегда приготовлено максимально точно. Фразу "Пожалуй, достаточно" редко услышишь на кухнях лучших ресторанов. Самый худший в своей жизни ужин — худший в том смысле, что он вызвал у меня небывалую бурю негодования, — я съел в одном отмеченном мишленовскими звездами[1] французском ресторане, шеф-повар которого сделал не-педантичность своим девизом. Он так и рекламировал кухню своего заведения как cuisine d'instinct[2]. В тот первый и последний вечер, когда я побывал chez lui[3], инстинкт подсказал ему, что следует немедленно растратить весь национальный запас уксуса. Все блюда подавались в суповых тарелках и утопали в уксусе, и я даже стал опасаться, что этой пытке подвергнутся сыры, крем-брюле и кофе.

Вот уже двадцать лет я готовлю морковь "Виши" по одному и тому же рецепту и наконец понял: абсолютно не важно, существует ли раздел номер 3 или нет. Со временем я разгадал смысл названия: первоначально морковь варили на минеральной воде из этого источника. Минеральную воду, пока минералка в бутылках не стала общедоступной, разрешалось заменить обычной водопроводной водой с добавлением щепотки соды. Однако, как отметила бесконечно мудрая Джейн Григсон[4]: "Я бы очень удивилась, если бы вы нашли отличие между глазурованной морковью, приготовленной на минеральной воде из Виши, на водопроводной воде с содой или просто на водопроводной воде". Вот такие замечания мне по душе.

Возьмите две средние луковицы

Соседка матери моего приятеля (да, понимаю, звучит забавно, но все именно так) решила сварить джем. Мать моего друга посоветовала джем из ежевики с яблоками. На следующий день соседка продемонстрировала печальный результат своих усилий: на дне кастрюли застыла густая черная масса, отковырять которую можно было разве что при помощи бормашины. Она решила, что всему причиной — ошибка в рецепте.

Блюстители точности рецептов устроили ей допрос с пристрастием, в ходе которого выяснилось, что в кулинарной книге значилось: "На фунт ягод — фунт сахару". По неизвестной причине (тут мне почему-то вспомнился один медвежонок с опилками в голове) она сочла, что лучше всего отмерить нужное количество при помощи фунтовой магазин-

1. В ресторанных справочниках компании "Мишлен" лучшим заведениям присваивается от одной до трех звезд.
2. Инстинктивная кухня (*франц.*).
3. У него (*франц.*).
4. Джейн Григсон (1928–1990) — автор многих кулинарных книг; в их числе: "Вкусная еда", "Английская пища" и "Вегетарианская поваренная книга Джейн Григсон".

ной банки из-под джема. Сначала она насыпала банку ягод, а затем — банку сахара.

По-моему, здесь вполне позволительно не только посмеяться, но даже и позлорадствовать. Каждый из нас в свое время допускал смешные промахи: один мой знакомый канадский писатель, например, пытался приготовить соус песто из сушеного базилика, но эта история совсем уж анекдотичная. В подобных случаях испытываешь жалость к создателям кулинарных книг. Они придумывают рецепты, потом испытывают их на собственных друзьях, потом свою лепту вносят редакторы издательства, а потом получается то, что получается. Это может стать главной темой всех послеобеденных выступлений на кулинарных конференциях или же материалом для телесериала наподобие "Худшие водители мира", а то и компьютерной игры "Соседи из ада". Если бы только к нам прислушивались...

Педанта на кухне не беспокоит вопрос, что́ есть кулинария — наука или искусство: он вполне удовлетворится тем, что это ремесло, вроде резьбы по дереву или чеканки. Чужд ему и дух кулинарного соперничества. К своему удивлению, он узнал, что в садоводстве, с виду таком безмятежном и безгрешном занятии, кипят роковые страсти, царят зависть и обман и едва не доходит до криминала. Наверняка существует конкуренция и среди кулинаров, но Педант далек от этого. Он всего лишь хочет готовить вкусную и полезную пищу, хочет, чтобы ею не травились друзья, а еще стремится потихоньку расширять репертуар.

Ах, вечный пафос этих "всего лишь"! Человек с амбициями ремесленника никогда не создаст собственного блюда. Разве что изредка позволит себе ослушаться по мелочи. По сути своей он тупой исполнитель, который полностью полагается на рецепт и неуклонно следует чужому слову.

Всякий раз, когда Педант обращается к новому сколь угодно ясному и простому рецепту, его мучают сомнения, он с тревогой вчитывается в написанное. Потому ли этот рецепт изложен так расплывчато, что в нем оставлена пугающая свобода для маневра, или же автор не сумел точно выразить свои мысли? Начинается все с элементарного. Насколько велик "кусок", что подразумевается под "каплей" и какую струйку можно назвать тонкой? "Чашка" — это старая добрая чашка или американская мера объема? Что значит добавить бокал того или сего, ведь бокалы бывают всякие? А как вам понравится (вернемся ненадолго к теме джема) рекомендация Ричарда Олни[1]: "Возьмите столько клубники, сколько помещается в двух ладонях"? Я нисколько не шучу. Нам что, следует обратиться к душеприказчикам покойного мистера Олни и спросить, какого размера были у него ладони? А если этот джем будет варить ребенок? Или великан-циркач?

Рассмотрим проблему с луковицей. Не стану углубляться в дебаты (до недавнего времени так увлекавшие читателей "Гардиан") о бесслезном способе чистить лук. Хочу лишь предупредить, что если вы, как это однажды сделал я, будете чистить его, надев очки для подводного плавания, то пластиковые линзы быстро запотеют и разделочная до-

1. Ричард Олни (1928–1999) — американец, автор ряда книг по французской кулинарии, руководил кулинарными курсами во Франции и США, являлся членом нескольких престижных обществ по гастрономии и виноделию.

ска неминуемо обагрится кровью. Нет, проблема на самом деле в следующем.

1. В рецептах упоминаются луковицы только трех размеров — "небольшие", "средние" и "крупные", а в магазинах продают всякие — размером хоть с пуговицу, хоть с камень для керлинга. Так что указания вроде "Возьмите две средние луковицы" многих педантов заставляют рыться в корзинке с луком в поисках экземпляров, подходящих под описание (а поскольку "средний" — понятие относительное, приходится проводить сравнение со всеми имеющимися луковицами).

2. Чаще всего используются выражения "нарезать полукольцами" и "нарезать кубиками", и логика подсказывает мне, что они обозначают два разных действия: "полукольца" получаются, если резать половинку луковицы поперек, а чтобы вышли "кубики", ту же половинку луковицы сначала надо порезать вдоль, а потом уже поперек. "Полукольца" чаще бывают "тонкими", а кубики — как "мелкими", так и "крупными". Следовательно, прежде чем взяться за нож, приходится выбирать из пяти вариантов. Естественно, если задать себе разумный вопрос: случалось ли вам подавать или пробовать блюдо, в котором лук был нарезан не так, как вам хотелось? — ответом, разумеется, будет: нет, никогда. Но Педант сделает из этого свой вывод: проблема не в способе измельчения, а в том, что до сих пор все получалось лишь благодаря четкому следованию инструкциям.

Вот почему я никогда не ориентируюсь на указанное во многих рецептах время приготовления. Авторы кулинарных книг, по-моему, даже представить себе не могут, сколько времени требуется, чтобы, держа в дрожащей руке ложку, определить, насыпано ли содержимое "вровень" или "с горкой", и сколько — чтобы верно истолковать слово "избыточный" в рекомендации "срежьте избыточный жир". Недавно я был озадачен фразой "замочите фасоль на ночь или с утра, перед уходом на работу" и всерьез задумался, нет ли здесь намека на то, что один из вариантов предпочтительнее: уж не хочет ли автор сказать, что размеренный ночной ритм жизни лучше способствует размягчению фасоли, чем свет и шум дня?

От этих советов про время приготовления одно расстройство. Мне куда больше нравится, когда в рецепте отмечен тот этап, когда процесс приготовления завершается, можно все засунуть в холодильник и перекурить. Хоть опыт и показывает, что большинство блюд от подогревания нисколько не портятся, многие относятся к подогреванию со стойким предубеждением. Первой пролила свет на эту запутанную проблему Марцелла Хазан в книге "Классическая итальянская кухня": "Все операции вплоть до стадии 6 вы можете проделать за несколько часов до подачи на стол". А совет, данный в другом ее рецепте, меня совсем уж обрадовал: "Это блюдо можно приготовить заранее — за несколько дней до употребления".

На самом деле прежде всего нужно избавиться от того, что я называю "ресторанным комплексом". Мы отправляемся в ресторан, заказываем ужин из трех блюд, которые нам подают ровно в то время, когда желудок их требует. Весь антураж заведения заставляет предполагать, что еду готовили специально по нашему заказу — поставили варить порцию фасоли, сунули в духовку несколько картофелин, взбили немного майонеза и так далее. И будто бы так стараются для каждого посетителя. Мы вообще знаем, что это полная чушь, но в глубине души продолжаем в нее верить, и последствия этой веры, когда мы начинаем готовить для других, весьма плачевны. Мы полагаем: каждое блюдо следует

готовить за один заход, и кульминация должна состояться за несколько секунд до подачи угощения на стол. Но следует помнить: принимая гостей, каждый из нас выступает не только в роли шеф-повара, но также официанта, метрдотеля, швейцара и радушного хозяина.

В хозяйственном магазине продается множество полезных штучек и приспособлений, экономящих время на кухне. Но полезнее всего была бы табличка, на которую домашний повар мог бы поглядывать в минуты полной запарки: "Здесь вам не ресторан".

Строго по рецепту

Сколько у вас кулинарных книг?

(а) Недостаточно.

(б) Ровно столько, сколько нужно.

(в) Слишком много.

Если вы выбрали ответ (б), то вы дисквалифицированы за обман, излишнюю самоуверенность, отсутствие интереса к готовке или (самый редкий вариант) за то, что достигли идеала. Вы можете заработать очки за ответы (а) и (в), но чтобы набрать максимум, вам нужно выбрать (а) и (в) одновременно. (а) — потому что всегда можно узнать что-то новое, всегда появляется кто-то, кто может объяснить все яснее, проще, понятнее; (в) — потому что, ориентируясь на вариант (а), постоянно допускаешь ошибки.

На самой удобной и доступной кухонной полке стоят двадцать четыре книжки, на двух полках повыше — тридцать четыре, на полку в нише для стиральной машины сосланы еще двадцать, шесть отправлены в туалет, еще штук десять-пятнадцать раскиданы по дому. В сумме около ста. Это количество можно считать:

(а) умеренным,

(б) нужным,

(в) избыточным.

Как и в первом случае, правильный ответ — (а) и (в) одновременно. Зачастую при попытке свести (в) до (б) образуются излишки, и свидетельства нереализованных кулинарных амбиций, подавляющее большинство которых связано с китайской кухней, отправляются в "Оксфам"[1]. При следующей чистке пострадает, полагаю, "Жажда", книга Найджела Слейтера о соках, купленная мной несколько месяцев назад. К ней у меня никаких претензий. Все дело в том, что у нас нет соковыжималки. Только не думайте, что я не предпринимал попытки ею обзавестись. Как-то раз я прочитал газетный обзор этих агрегатов и выслал чек некой фирме, оказавшейся ненадежной. С чего я взял, что фирме, которой без году неделя, можно доверять? (Моя ошибка состояла в том, что я выписал чек, объяснила мне юрист из "Индепендент": если бы я платил по кредитной карточке, я бы ничего не потерял. Она также сказала между делом, что я мог бы купить соковыжималку такого же качества вдвое дешевле, отчего настроение у меня испортилось окончательно.)

1. Международная благотворительная организация, в ведении которой сбор средств, распродажи, аукционы и т. д.

Итак, книжка про соки есть, а соковыжималки нет. По логике этому экземпляру прямая дорога в "Оксфам". С другой стороны, ведь может случиться, что в этом году я наконец приобрету соковыжималку; к тому же книжка замечательно издана, у нее лимонно-желтая прорезиненная обложка, которую, если вдруг зальешь соком, можно протереть губкой. Впрочем, заливают обычно раскрытые страницы, а они не прорезинены, а следовало бы, как это делала одна парижская газета, выходившая в 1900 году на вулканизированной бумаге, чтобы томный boulevardier[1] мог читать ее в ванне... Ну ладно, "Жажду" оставляем, по крайней мере до следующей чистки.

Если вы только начали собирать кулинарную библиотечку, позвольте дать вам несколько советов, основанных на опыте, за который мне пришлось платить из собственного кармана.

1. Никогда не покупайте книгу из-за картинок. Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорите, показывая на фотографию: "Я сделаю так же!" Ничего у вас не получится. Был у меня знакомый фотограф, работал в рекламе, специализировался на еде, и, поверьте, ухищрения операторов и монтажеров, которые могут сделать худышку даже из Кейт Уинслет, — детские игры в сравнении с тем, что без стыда и совести творят с продуктами.

2. Никогда не покупайте книг с завлекательным дизайном, например таких, где каждая страница разрезана на три горизонтальные полосы — якобы для того чтобы вы могли приготовить практически бесчисленное множество обедов из трех блюд, не листая книгу взад-вперед.

3. Избегайте книг со слишком широкой тематикой, с названиями типа "Лучшие блюда мировой кухни", или, наоборот, со слишком узкой — вроде "Даров Саргассова моря" или "Все о вафлях".

4. Никогда не покупайте книгу шеф-повара, выставленную на выходе из ресторана. Помните: в этот ресторан вы ходите прежде всего затем, чтобы отведать здешние блюда, и не стоит пытаться воспроизводить их в домашних условиях.

5. Никогда не покупайте книг про соки, если у вас нет соковыжималки.

6. По возможности старайтесь избегать красочных сборников местных рецептов, которые так хочется привезти в качестве сувенира из заграничного путешествия. Я проверил это правило на ne plus ultra[2] из поваренных книг, посвященной кантальской кухне. Долгие годы эта книга попусту занимала место, но мне было жалко ее выбросить, хотя я ни разу ничего по ней не приготовил. Кантальские блюда хороши исключительно в Кантале, где часто идут дожди и нет никакой другой кухни. Сколько вам нужно способов приготовления голубцов?

7. Сторонитесь книг со знаменитыми рецептами из прошлого, особенно если это факсимильное издание с гравюрами того времени.

8. Никогда не заменяйте потрепанные томики Джейн Григсон или Элизабет Дэвид на новые издания, даже если теперь они иллюстрированы (см. пункт 1).

1. Бульвардье — завсегдатай парижских Больших бульваров, где сосредоточены "оазисы" светской жизни Парижа, в том числе популярнейшие рестораны и кафе.
2. Зд.: лучшей (*лат.*)

9. Никогда не покупайте сборники рецептов, изданные для благотворительных целей, особенно те, где секретами приготовления любимых блюд делятся дикторы телевидения. Лучше переведите сумму, равную стоимости книги, непосредственно в благотворительный фонд: так и фонд получит больше, и вам придется выкидывать на одну книгу меньше.

10. Помните: авторы кулинарных книг ничем не отличаются от прочих писателей. Многие из них — авторы одной книги (и некоторым лучше было бы никогда не являть ее миру). Не забывайте об этом, когда начинают усердно расхваливать очередной опус.

Регулярные чистки, равно как осмотрительность при покупке новинок, приведут к тому, что у вас останется базовая кулинарная библиотека, соответствующая вашим вкусам, мастерству, притязаниям и финансам. За долгие годы в моей удержались следующие книги: одна энциклопедия ("Спутник кулинара" Алана Дэвидсона, вытеснившая даже энциклопедию "Ларусс"), два классических справочника ("Готовьте с удовольствием" и Констанс Спрай), два трехтомных учебника (Пру Ли и Делия), книжек шесть Джейн Григсон, три или четыре Элизабет Дэвид, три Марцеллы Хазан, две штуки "Ривер кафе"[1], парочка Саймонов Хопкинсонсов, один Алистер Литтл, один Ричард Олни, одна Джослин Димблбай, одна Фрэнсис Биссел, одна Миртл Аллен, один Роули Ли. Этими книгами я пользуюсь постоянно, еще штук в шестьдесят заглядываю время от времени. Есть книги, из которых я взял по одному рецепту: например, в "Кулинарии по временам года" Маргарет Коста я вычитал рецепт суфле с копченой треской, а в "Английской кухне старой и новой" Сьюзен Кемпбелл — рецепт осеннего пудинга (улучшенной версии летнего пудинга с самбукой, ежевикой и кислицей). Почему я не попробовал других рецептов тех же авторов, раз эти оказались так хороши? Я и сам не знаю. А ведь можно просто сделать ксерокс единственного рецепта, которым пользуешься, а книжку отправить в "Оксфам". Наверное, этому мешает сентиментальная привычка открывать ту самую книгу, в которой ты впервые прочитал любимый рецепт.

Ах да, есть еще собственный сборник рецептов! Для газетных и журнальных вырезок вам понадобится альбом или папка. Вот что я посоветую: не вклеивайте туда рецепт, пока не воспользуетесь им хотя бы пару раз и не убедитесь, что он вам пригодится и впредь. Такое собрание вырезок станет наглядным свидетельством изменения ваших кулинарных пристрастий. Плюс к тому, ваш сборник, как альбом с фотографиями, будет напоминать о прошлом: неужели я это когда-то делал? Неужели я пек овощной пирог? А вот это я, кажется, приготовил в тот самый вечер, когда... Вы сами удивитесь тому, сколько чувств и переживаний вы сохранили, вклеив в альбом слегка заляпанную газетную вырезку.

А теперь я, пожалуй, схожу куплю соковыжималку. И тогда мне не придется выкидывать книжку про соки — ни в этот раз, ни в следующий.

Десять минут на чудо

Лето в Кенте, день близится к полудню. Солнце палит все жарче, хозяйский сын отрабатывает теннисную подачу на упавших яблоках, его

1. "Ривер кафе" — мировая сеть ресторанов, славящихся своей изысканной кухней. Рецепты этого заведения были опубликованы в виде нескольких отдельных сборников.

мать, женщина со вкусом и с чувством юмора, сидит и лущит горох. Собираются гости к ланчу, а она неспешно продолжает ссыпать горошины в дуршлаг, что на меня производит огромное впечатление (кулинарией я еще не увлекаюсь, но хозяйке уже сочувствую). Гости угощаются напитками, а она неспешно встает и идет в дом. Нас приглашают к столу, и я до отвала наедаюсь горохом, поданным в огромной миске. Позже, помогая убирать на кухне, я нахожу несколько пакетиков из-под "Бердз Ай"[1]. Говорю об этом хозяйке, а она, нимало не смутившись, с улыбкой отвечает: "Да они никогда этого не замечают".

Так я впервые узнал о свойственном людям стремлении пользоваться по мере возможности готовыми продуктами. Я тогда не был в курсе того, что самая знаменитая из подобных попыток уже описана, причем французом (точнее сказать, наполовину поляком, наполовину французом). "La Cuisine en Dix Minutes ou l'Adaptation au Rythme moderne"[2] Эдуарда де Помиана появилась у нас в 1948 году. Если бы моя хозяйка прочитала эту книгу, она бы сэкономила еще больше времени.

"ГОРОХ. Купите банку консервированного горошка. Полуфунтовой банки хватит на две-три порции. Откройте банку. Слейте лишнюю жидкость".

Далее следуют три рецепта, причем на приготовление каждого блюда уходит всего несколько минут.

Впервые я услышал имя Помиана несколько лет назад — приятель поделился со мной рецептом быстрого томатного супа: помидоры разрезать пополам, запечь в сильно разогретой духовке, выжать сок. По-видимому, одну из стадий он в пересказе пропустил, поскольку, когда я попробовал это приготовить, из целого противня помидоров (пеклись они не десять минут, а раз в шесть дольше), получилась маленькая плошка красной жидкости с семечками, которой хватило бы разве что на бутерброд. Недавно в букинистическом магазине я наткнулся на экземпляр "Десяти минут у плиты", очень милую книжку с гравюрами Тулуз-Лотрека. И тут же нашел рецепт этого супа. Оказалось, что готовится он совсем по-другому.

"Вскипятите в кастрюле три четверти пинты воды, добавьте столовую ложку томатной пасты, вмешайте две десертные ложки манной крупы. Посолите. Варите шесть минут. Добавьте две унции жирных сливок. Разлейте по тарелкам".

Вот что значит пересказанный рецепт. Но когда я воспользовался оригинальной версией, у меня получилась кастрюля комковатой манной похлебки дивного розового цвета. По вкусу это напоминало слегка облагороженный обойный клей. Чем дальше я вчитывался в рецепты "для студентов, для модисток, для служащих, художников, лентяев, поэтов, занятых людей, мечтателей и ученых", тем больше книжка казалась мне занятной безделицей в духе своего времени. Рецепт салата из помидоров заканчивается словами: "На юге Франции всегда добавляют мелко порезанный зубчик чеснока. В умеренном климате это делать не рекомендуется". Не рекомендуется? Времена изменились. У нас на севере теперь питаются не только овсянкой и брюссельской капустой. А

1. Фирма, производящая замороженные продукты.
2. "Десять минут у плиты, или Как приноровиться к ритму современной жизни" (*франц.*).

еще мсье де П. предпослал книге по-галльски игривое посвящение: "Посвящаю эту книгу мадам Икс и молю о десяти минутах ее благосклонности". Sacré bleu, zut alors![1]

И вот тогда-то я прочитал у Элизабет Дэвид в "Омлете и бокале вина" два пассажа о чародее мгновенной стряпни. От нее я узнал, что Помиан (1875–1964) был ученым-диетологом и полвека преподавал в институте Пастера; а еще он был provocateur[2], обожал нарушать традиции и обнаружил в изысканной французской кухне немало того, что и теоретически и практически совершенно неудобоваримо. По неоспоримому мнению Э. Д., многие блюда, которые прославили в шестидесятые и семидесятые французские повара новой волны (например, confiture d'oignons[3] Мишеля Герара), впервые были предложены Помианом.

Дэвид привела также несколько его недесятиминутных рецептов. Поскольку меня, так уж получилось, интересовала томатная тема, то я сразу обратил внимание на Tomates à la Crème[4], готовить которые Помиана научила его мать-полька. Э. Д. считает, что это блюдо "по вкусу настолько разительно отличается от всех блюд из помидоров, что, если какой-нибудь шеф-повар решится включить его в меню своего ресторана, оно неминуемо попадет в путеводители как местная достопримечательность". Возьмите шесть помидоров, разрежьте их пополам, растопите на сковородке кусок сливочного масла, уложите туда помидоры срезом вниз, сверху проткните, переверните, чтобы вытек сок, снова переверните, влейте 50 мл жирных сливок, прокипятите и подавайте к столу.

У меня этот рецепт особого доверия не вызвал: не было точно указано количество масла, не говорилось, на каком огне готовить. К тому же стоял февраль, поэтому лучшие помидоры, которые я смог найти, были бледно-розовыми, твердыми и совершенно несочными. Я с фанатичной упертостью выполнил все расплывчатые указания, только добавил чуточку соли, перца и сахара, слабо надеясь, что не опозорю маэстро... И результат оказался на удивление хорош: с помощью этого метода неизвестно каким образом удалось вытянуть из зимних овощей, вроде бы и позабывших, каковы они на самом деле, их сущность.

И тогда я отправился на www.abebooks.com – заказывать книгу "Готовим с Помианом". Сразу становится ясно, что увидела в нем Элизабет Дэвид: они оба предпочитают одну и ту же разновидность французской кухни (местную, доброкачественную, без выпендрежа) и в описании блюд одинаково немногословны. Разница только в тоне изложения, а для педантичного кулинара-любителя это решающий фактор. Э. Д., мягко говоря, сурова и непреклонна. Вот образец ее красноречия (в рецепте "Грибы, тушенные в сливках": "У нас с сестрами была няня, и она готовила нам это блюдо в камине в детской – из грибов, которые мы сами собирали рано поутру". У тебя, читатель, не возникает ощущения, что ты здесь лишний? А вот пассаж из Помиана ("Молодой картофель с эстрагоном"): "Я воображал себя опытным ботаником, но мои иллюзии рухнули, когда я попросил у молоденькой продавщицы семена петрушки, кервеля и эстрагона. 'У эстрагона всхожих семян нет, – ответила

1. Тьфу ты, черт подери! (*франц.*)
2. Провокатор (*франц.*).
3. Луковое варенье (*франц.*).
4. Помидоры, тушенные в сливках (*франц.*).

она. — Если вам нужно само растение, вот, пожалуйста. Оно живет три года. А потом — милости прошу снова сюда.'"

Помиан сообщает рецепт запеченной телячьей головы, а затем, словно почувствовав вашу неуверенность, добавляет: "Непременно попробуйте, это в самом деле вкусно". Он советует готовить картофельное суфле только для ближайших друзей, потому что скорее всего "вы либо испортите блюдо, либо весь вечер будете извиняться перед гостями за то, что не уделяете им достаточно внимания". Это — "дэвидизм" с человеческим лицом и участливой улыбкой. Но окончательно я понял, что Помиан не просто мне сочувствует, но и полностью поддерживает, когда прочитал рецепт "Bœuf à la Ficelle"[1]. Огузок следует обвязать веревкой и опустить в кипящую воду, после чего вам советуют: "Выньте мясо из кастрюли и срежьте веревку. Мясо снаружи серое и не очень аппетитное. Это может вас слегка расстроить". Какой еще кулинар стал бы писать столь обнадеживающие и милые сердцу педанта слова? "Это может вас слегка расстроить". Хорошо бы в рецептах кроме времени приготовления и количества порций указывать вероятную степень расстройства. Обозначать ее можно виселицами — от одной до пяти.

Помиан заслуживает внимания (и переизданий), потому что предлагает рецепты той самой еды закусочных и бистро, которую все труднее найти во Франции. Я несколько десятилетий готовил картофель dauphinois[2] так, как привык, но вмиг перешел на способ, предложенный Помианом: картофель получается нежный, сочный, в аппетитных золотистых пузырьках. Элизабет Дэвид назвала один из его рецептов (многослойный тост с сыром) "лучшим образчиком кулинарного текста", поскольку это было "смело, изящно, по-взрослому". Дальше она пишет: "Это настоящее творчество... читателю предлагается использовать фантазию, делать собственные открытия, составлять собственное мнение и самому принимать решения, а не рабски следовать тому, чему учат книги". Наверное, так оно и есть, хотя, по-моему, это чересчур уж оптимистичное утверждение. Могу сказать одно: когда я готовил bœuf à la Ficelle, я послушно следовал советам Эдуарда де Помиана и в результате нисколько не расстроился.

Нет, это я делать отказываюсь!

То ли конец 1995 года, то ли начало 1996-го, мы сидим на образцовой лондонской кухне. Время ужина; гости постепенно собираются и ждут, когда их пригласят за длинный, чисто выскобленный стол. На буфете поднос с чем-то круглым, бурым и не очень аппетитным, более всего напоминающим коровьи лепешки.

Благожелательный гость. "Немезида" шоколадная?
Хозяйка. Да.
Благожелательный гость. Не получилось?
Хозяйка. Нет.
Благожелательный гость. Никогда не получается.
Хозяйка. Я сделала еще два десерта.

1. "Говядина в сетке" (*франц.*).
2. Картофель Дофинé (*франц.*).

Вот определяющие моменты этой сцены:

1. Искреннее сочувствие со стороны гостя, который незадолго до этого сам побывал в том же положении, что и хозяйка.

2. Десерт хоть и не получился, но выставлен на всеобщее обозрение – как подтверждение того, что попытка была предпринята.

3. В качестве компенсации этого весьма дорогостоящего провала приготовлены два других десерта.

Моралисты полагают, что гордыня неминуемо карается, но никогда это не получало столь буквального подтверждения (ведь Немезида и есть олицетворение возмездия). Именно гордыня и самоуверенность привели к этой шоколадной катастрофе. "Немезида", позвольте вам напомнить, была фирменным блюдом "Ривер кафе". Его посетители открыли для себя сей самый декадентский из десертов (полтора фунта шоколада, десяток яиц, фунт сливочного масла, полтора фунта сахара), и когда вышла "Кулинарная книга 'Ривер кафе'", некоторые решили приготовить его самостоятельно.

В чем был подвох с "Немезидой", мы так и не выяснили. Была одна параноидальная версия – в рецепте опустили существенную деталь, чтобы люди снова шли в ресторан за настоящей "Немезидой". Имелось и более разумное объяснение: все дело в разнице между ресторанной и домашней духовкой, для некоторых блюд она весьма существенна, а для "Немезиды" существенна вдвойне. Но катастрофа обычно бывала столь впечатляющей, что у немногих хватало сил, оправившись от нокаута, пойти на вторую попытку.

И вот еще что – рекомендую усвоить раз и навсегда: есть блюда, которые следует есть только в ресторанах, каким соблазнительным бы ни казался рецепт из кулинарной книги. По собственному опыту скажу: прежде всего это относится к десертам. Яблочный пирог с тончайшей, но хрустящей корочкой? Забудьте о нем. Равно как и обо всех пирогах, которые пекутся в форме, – на блюдо их красиво никогда не выложить. Да, есть еще йогуртовый торт – его подают в ресторане "Моро" в северном Лондоне: я однажды попробовал приготовить его по рецепту из тамошней кулинарной книги, на вкус получилось восхитительно, но по виду напоминало уже переваренную пищу. Поэтому я делаю следующее: читаю рецепты десертов, вздыхаю и в который раз вытаскиваю из кухонного шкафа мороженицу.

Когда появилась первая "Кулинарная книга 'Ривер кафе'", в синей обложке, она вызвала шквал похвал и шквал насмешек. Некоторые решили, что им выдали рецепт стильной жизни, других же охолонул упор на один-единственный сорт оливкового масла и совершенно определенный сорт чечевицы. Как писал в то время в "Индепендент" Джеймс Фентон: "Какую неделю подряд я то и дело беру в руки эту книгу и тут же кладу ее на место. Ни одного блюда из нее я так и не приготовил. Никак не могу решить, удастся ли мне соответствовать заданным в ней высоким стандартам."

За синей книжкой "Ривер кафе" последовали желтая и зеленая. К синей и зеленой я обращаюсь постоянно, в основном за рецептами пасты, ризотто и овощей. Рецепты там понятные и вполне в духе кулинаров-педантов, результат неизменно восхитительный. Пользуясь этими книгами, я усвоил еще несколько полезных уроков. Урок второй: взаимоотношения повара-профессионала и повара-любителя можно сравнить с

интимным общением. Часто бывает, что один из партнеров опытнее другого, и каждый имеет право в любой момент сказать: "Нет, это я делать отказываюсь!"

Настоящий профессионал — например, Элизабет Дэвид — никогда не станет принуждать или уламывать клиента. А клиент убежден, что имеет полное право довериться собственному чутью, если не желает следовать чужим указаниям. К примеру, купили вы курицу, пришли домой, пробежались взглядом по полке с кулинарными книгами и остановили свой выбор на синей "Ривер кафе". Первый рецепт: "Pollo Alla Griglia". Название подходящее — "Маринованная курица на гриле". Читаете рецепт и понимаете, что три четверти текста посвящены отделению мяса от костей. И думаете: нет, я этого делать не буду. Напиши они "срежьте мясо с костей", я бы, возможно, и согласился. Но, во-первых, я не уверен, хватит ли у меня на это мастерства. Во-вторых, сомневаюсь, что у меня найдется разделочный нож именно для этих целей. И, наконец, третье, и последнее: у меня всего одна курица, и я вовсе не хочу, чтобы через час трудов она выглядела так, будто ее обглодала лиса. Итак, с этим разобрались. Переворачиваем страницу и смотрим, что там еще про курицу. Рецептов два. И оба начинаются с этого треклятого отделения от костей. Что ж, Делия[1], я снова иду к тебе.

Урок второй, часть вторая. Дело не только в трудности исполнения, а еще и во времени. В зеленой "Ривер кафе" есть потрясающий рецепт макарон с помидорами и мускатным орехом (а также с базиликом, чесноком и овечьим сыром), которым я пользуюсь регулярно; здесь вся изюминка в мускатном орехе. Но сначала мне пришлось переварить первую фразу этого рецепта: "Возьмите два с половиной килограмма помидоров черри, разрежьте пополам, удалите семена". Это пять с лишним фунтов помидоров черри. А вы знаете, сколько этих малышей в одном фунте? Я вам скажу: я только что взвесил пятнадцать штук, получилось четыре унции. Значит, в фунте — шестьдесят. Всего получается 300 штук или 600 половинок. Все вокруг в помидорном соке, а ты сидишь и выковыриваешь ножом эти семена, да так, чтобы ни одного не пропустить. Ну, теперь все хором: НЕТ, МЫ ЭТО ДЕЛАТЬ ОТКАЗЫВАЕМСЯ. Не возитесь с семенами, считайте, что они способствуют пищеварению.

Да, ошибки неизбежны, но ведь только так и можно чему-то научиться. Постепенно, проходя через боль и унижение, осознаешь, что ты — не профессиональный повар и у тебя нет под началом дюжины поварят, готовых выковыривать семена из крошечных помидоров, за что им, кстати, еще и платят. Ты — одиночка, работаешь на дому, времени у тебя в обрез, и ты не желаешь превращать приготовление ужина в пытку.

И вообще, чего добиваются те, кто пишет кулинарные книги? Слепого повиновения? Тогда что это будут за отношения? Вы не новобранец, получивший наряд на кухню, вас не накажут, не посадят за неповиновение на гауптвахту. Напомните себе, на чьи деньги куплена эта книга. Завоевать уважение авторов кулинарных книг можно, только

1. Вероятно, речь идет о Делии Смит, звезде британской "телекулинарии" и авторе множества поваренных книг.

восстав против них. Итак, вперед! Дерзость вам только на пользу. Им, возможно, тоже.

Позавчера я снова оказался за тем длинным выскобленным столом. Хозяйка убрала сыры и небрежно, даже с некоторой дерзостью выставила на стол десерт. О да, это была шоколадная "Немезида", идеальная, безукоризненная, выше всяких похвал и сравнений. На сей раз по рецепту из новой книги "Ривер кафе", где она названа "Маленькой простой Немезидой" (древние греки этого словосочетания не поняли бы). Все количество уменьшено вполовину, а главное — изменилось время приготовления: теперь все следует печь не 30 минут на сильном огне, а 50 минут на слабом. Я поздравил хозяйку, не пожелавшую мириться с поражением. Действительно, получилось, что в этом лучшем из миров все, что ни случается, — к лучшему. Она улыбнулась и шепнула мне на ухо: "А печется он все равно в два раза дольше, чем сказано в рецепте".

Кактус и туфелька

Когда я был маленьким, родители обставляли наш дом вещами, купленными на местных распродажах. Например, у нас был антикварный телевизор, размером с комод, с двойными дверцами, на которые при уборке уходило полфлакона полироли. На этом внушительном агрегате покоилась семейная Библия, также приобретенная на распродаже. Однажды я спросил, зачем эта штука лежит на виду, ведь никто из нас в церковь не ходит. Мама дала мне понять, что людям в нашем положении лучше Библию иметь. На форзаце была родословная предыдущих владельцев, которые, по-видимому, умерли или же потеряли веру. Непонятно, думал я, зачем держать в доме семейную Библию чужой семьи.

В кухне имелась и другая семейная Библия, совсем иного рода, тоже сословный атрибут и тоже купленная на распродаже, — "Книга о ведении домашнего хозяйства" миссис Битон, издания 1915 года. Это был неподъемный фолиант толщиной в четыре дюйма, на 1997 страниц. Мама из почтения обернула переплет — полиграфический шедевр арт-нуво — прозрачной пленкой. Текст в то время меня интересовал мало, но иллюстрации, черно-белые и цветные, завораживали. Например, на семнадцати страницах объяснялось, как складывать салфетки, и по картинкам можно было обучиться искусству создавать "Кабанью голову", "Епископа", "Кактус" и "Туфельку". Для этого требовались огромные льняные полотнища, выглаженные и слегка подкрахмаленные. Смысла экспериментировать с жеваными лоскутками, которые я каждый день сворачивал в трубочку и засовывал в пластмассовое кольцо, не было никакого.

Салфетки — всего один из множества примеров. Вся книга пропитана загадочной и причудливой роскошью. Будучи мальчишкой из небогатого пригорода, я не мог поверить, что люди когда-то так жили. Неужели еще остались такие? Неужели есть еще дома с буфетными комнатами, неужели где-то живут сластолюбцы, которые водружают фрукты на многоярусные фарфоровые блюда и подают фаршированных куропаток, выложенных в форме короны Руритании? И действительно ли существует столько супов, сколько их изображено на этих цветных иллюстрациях? Вы только взгляните на батареи бутылок: двадцать восемь штук на од-

ной картинке, "Шато Лафит" рядом с австралийским бургундским фирмы "Эму". И, наконец, у кого было — могло быть — нечто, хотя бы отдаленно напоминающее иллюстрацию номер 1, под названием "Кухня"? Где были изображены высоченный кухонный шкаф, огромные столы, настенные часы размером с вокзальные, а в углу стояла, спрятав руки за спину, строгая и солидная кухарка. Разве это имеет отношение к обычной жизни?

Да практически никакого. К миссис Битон обращались лишь в крайних случаях. "Давайте-ка посмотрим у миссис Битон", — говорила мама, и обычно это касалось хозяйственных или медицинских советов ("Мазь от ознобышей"), а не кулинарных рецептов. Книжка миссис Битон на полке — это было почти как цветная литография королевы Виктории на стене или кружка с портретом Флоренс Найтингейл. Нечто утешительное и патриотичное. И старушка Виктория, и сердобольная Флоренс — обе дожили до почтенного возраста и скончались уже в двадцатом веке. Изабелла Битон родилась в 1836 году и умерла совсем молодой — в двадцать восемь лет, оставив после себя четверых детей и кулинарную книгу. У Конан Дойла в "Дуэте со случайным хором", посвященном проблемам брака, героиня говорит: "Миссис Битон была, наверное, лучшей в мире домохозяйкой". Следовательно, мистер Битон был, по-видимому, счастливейшим из мужей. Увы, счастье длилось недолго.

"Книга о ведении домашнего хозяйства" стала такой объемной уже без нее: мое издание 1915 года почти в два раза толще издания 1861 года. Миссис Битон после смерти превратилась в концепцию, в торговую марку: она стала в некотором смысле богиней, поскольку обрела бессмертие. Как отмечала Элизабет Дэвид, в ранних изданиях книги помещали некролог, написанный мистером Битоном. Но Уорд Лок, купивший у безутешного вдовца права, некролог из текста исключил, что позволяло читателям (быть может, даже в 1915 году) воображать, будто этот матриарх в домашнем чепце все еще продолжает за ними приглядывать.

Когда я унаследовал нашу фамильную библию домашнего хозяйства, то обнаружил вложенную в нее брошюру — бабушкин экземпляр изданного Женским институтом руководства "Как сшить домашние тапочки" (похоже, это не сложнее, чем, к примеру, готовить по рецептам от Хестона Блюменталя[1]). Заодно я перечитал саму "Книга о ведении домашнего хозяйства". Там есть некоторые странные советы: как жарить кукурузные лепешки, что делать с консервами из тетерева (открыть банку, выложить содержимое на сковороду, обжарить). Вот что удивительно: в детстве я пропустил в разделе "Традиционные австралийские блюда" рецепт жареного кенгуру валлаби (ингредиенты: 1 валлаби, телячий фарш, молоко, сливочное масло), а будучи сексуально озабоченным подростком, проглядел двусмысленный пассаж о том, как следует, нанимая кормилицу, осматривать ее грудь.

Знатоки предпочитают Элизу Эктон (1799–1859), у которой миссис Битон позаимствовала немало рецептов. Издатели "Национального биографического словаря" также отдали предпочтение Эктон: она была еще и поэтессой и попала в первое издание 1885 года; Битон же пришлось до-

1. Хестон Блюменталь — ресторатор, автор еженедельной кулинарной рубрики в газете "Гардиан".

жидаться тома "Пропавшие без вести" за 1993 год. Репутация самой "Книга о ведении домашнего хозяйства" также пострадала: Кристофер Драйвер в "Британцах за столом" (1983) писал, что многочисленные дополнения и исправления не пошли ей на пользу, "поскольку в период с 1880-го по 1930 год в английском кулинарном искусстве наблюдался застой).

Я вряд ли буду готовить по этой книге, где предлагается тушить гребешки шестьдесят минут, а мятный соус готовить из четверти пинты уксуса и четырех десертных ложек мяты — современный гурман такого не вынесет. Но и сама миссис Битон, и ее книга остаются классикой викторианской эпохи: здесь есть и энциклопедичность, и систематичность, и рациональность, и человечность (взять хотя бы раздел об уходе за детьми). И нет упрямой приверженности всему английскому, однако просматривается вполне уместное отторжение французской кухни и кулинарных пристрастий. Миссис Битон не призывает к роскоши, но учит хозяек быть одновременно изысканными и экономными. В рецептах всегда указаны не только время приготовления, но и точная, до последнего пенни, стоимость продуктов, и количество порций.

Здесь все построено на вере в стабильность денег — настоящую и будущую. По своим установкам и предположениям, по расчетам времени и стоимости книга миссис Битон более всего схожа с Бедекером[1]: она нацелена на то, чтобы все происходило без сбоев, чтобы вы с комфортом и без задержек добрались до конечного пункта под названием "Ужин". Тому же служат пространные, разнообразные варианты меню: на каждый месяц года вам предлагаются четыре различных (и по сложности, и по стоимости) способа накормить восемь человек. В апреле самый дорогой ужин (бульон с листовыми овощами, жареные голуби, баранья нога, печенье "гарибальди", фаршированные оливки) обошелся бы вам в 2 фунта 2 шиллинга 6 пенсов, а самый дешевый (ячменный суп-пюре, тушеная форель, говяжье филе, пудинг "колледж" и булочки с анчоусами) — в 1 фунт 9 шиллингов 5 пенсов. Обратите внимание на эти пять пенсов, даже не округленные до шести. Какая возвышенная уверенность! Только вот расценки эти взяты из издания 1915 года, вышедшего в свет тогда, когда мир, который представляет эта книга, мир незыблемых ценностей и оптимистичной рациональности, почтительных слуг и причудливых салфеток, уже летел в тартарары.

Зубная фея[2]

— На картинке все выглядело иначе, — сообщил на днях Педант, подавая к ужину две порции свиных отбивных с цикорием. В его голосе слышалась жалость к самому себе.

— Верить фотографиям — все равно что верить в Зубную фею, — невозмутимо ответила Та, Для Которой Педант готовит.

Совершенно справедливое замечание. Одно непонятно: почему, обретя за долгие годы кулинарных сражений толику мудрости, мы упорно

1. Карл Бедекер (1801–1859) — немецкий издатель, книгопродавец; основал в 1827 г. в Кобленце издательство путеводителей по различным странам. Слово "Бедекер" стало названием путеводителей, которые выпускает фирма "К. Бедекер".
2. Популярный в западных странах персонаж детского фольклора. По существующему обычаю ребенок кладет выпавший молочный зуб на ночь под подушку, чтобы его забрала Зубная фея и оставила вместо него монетку.

забываем следовать собственным советам? Несколько страниц назад я с упоением рассказывал, что фотографии — это сплошной обман, и рекомендовал никогда не готовить блюдо, купившись на соблазнительную картинку. Наверное, еще и бросил пару резких слов в адрес фотографов, которые умеют сделать еду особенно аппетитной для глаза.

Текст сегодняшнего рецепта из "Настоящей кухни" Найджела Слейтера — "Отбивные с цикорием", страницы 106—107 — занимает целый разворот, плюс три фотографии: два черно-белых снимка промежуточных стадий и один цветной с готовым блюдом во всей его красе. Клянусь, прежде чем взяться за дело, я едва бросил на них взгляд. Не полный же я болван!

Рецепт привлек меня следующим:

1) все готовится в одной посуде;

2) я, подобно многим, нахожусь в бесконечных поисках — как приготовить свинину, чтобы она не напоминала по вкусу картон;

3) побеги цикория нужно только разрезать вдоль и положить тушиться вместе с отбивными.

Во многих рецептах рекомендуется обдать цикорий кипятком, чтобы не горчил. Но тогда стебли становятся серыми и клеклыми, следовательно эта процедура не только лишняя, но и вредная. Ричард Олни считает, что бланшированный цикорий горчит еще больше. Элизабет Дэвид полагает, что le grand[1] Эдуард де Помиан придумал "единственный правильный способ тушить цикорий — не бланшируя, без воды, в сливочном масле, на медленном огне".

Итак, нам советуют взять "большую неглубокую сковороду" с крышкой, на сливочном и растительном масле обжарить отбивные с одной стороны, добавить семена фенхеля, перевернуть отбивные и выложить на сковороду две разрезанные головки цикория. Срезом вниз — очевидно, чтобы они впитали масло. У моей самой большой неглубокой сковороды с крышкой диаметр десять дюймов; она больше двух остальных, и, насколько я понимаю, у многих из тех, кто готовит по Найджелу Слейтеру, сковороды не больше. Итак, на сковороде уже лежит парочка отбивных величиной, как отмечает мистер Слейтер в своей обычной дружеской манере (когда нервничаешь, это немного раздражает), "с ладонь". Применив грубую силу, я ухитрился втиснуть между ними одну половинку цикория. В этот самый момент мой взгляд упал на вторую из фотографий, где чьи-то руки — предположительно самого мистера Слейтера — величиной со свиные отбивные держат над безукоризненно обжаренными кусками мяса мельницу для перца. Насколько я смог разглядеть, на его "большой неглубокой сковороде" места для цикория практически не оставалось. Педантично позволю заметить, что половинка крупного цикория имеет семь с половиной дюймов в длину, до двух с половиной дюймов в самом широком месте и полтора дюйма в основании. Следовательно, четыре половинки, уложенные разрезами вниз, занимают около шестидесяти квадратных дюймов. Это что же за сковородка такая?

Выходит, кто-то солгал. Крепко выругавшись, я втиснул еще две половинки по краям сковородки, а четвертую убрал в холодильник. Итак,

1. Великий (*франц.*).

первое препятствие было преодолено. Далее следовало вылить в сковороду стакан белого вина, убавить огонь и тушить пятнадцать минут под крышкой. Тут со мной случился новый приступ паранойи. Пятнадцать минут? Помиан тушит цикорий сорок минут, Ричард Олни – не менее часа. Однако следует действовать соответственно указаниям. Через пятнадцать минут отбивные готовы. Остается вынуть и мясо, и цикорий, прибавить огонь, положить на сковороду кусок масла, смешать его со студенистой жидкостью и полить отбивные "золотистым, горьковатым маслянистым соусом".

Нет, этого я делать не стал. Хотя бы потому, что цикорий ножом не протыкался и оставался довольно бледным (в отличие от того, на снимке). Во-вторых, никакой студенистой жидкости в сковороде не наблюдалось. И в-третьих, мой взгляд упал на фотографию, где отбивную поливали густым коричневым соусом.

– Они опять лгут! – возопил я. (Педант на кухне часто испускает подобные вопли, и Та, Для Которой воспринимает их просто как акустические помехи.)

Сами посудите: вначале вы положили сливочное масло и две столовые ложки растительного, затем добавили стакан вина. Плюс отбивные дали жир, а цикорий – сок. Что вы имеете через пятнадцать минут тушения под крышкой на медленном огне? Полпинты бледной жидкости, похожей на телячий бульон. Вам никто не говорит, что его следует выпарить, однако на третьем снимке у Найджела именно что густой соус.

Отбивные я трогать не стал, а цикорий вернул на сковородку и безжалостно прокипятил. "Ужин за полчаса" превратился в "ужин за сорок минут". Время от времени я возил деревянной лопаткой по дну сковороды и приговаривал: "Зажелировавшаяся жидкость", тоном, который кому-то покажется исполненным мудрой, но горькой иронии, а кому-то напомнит причитания сумасшедшего. Наконец блюдо было подано к столу. Вот какие уроки я извлек из этого эксперимента.

1. Свинина все-таки напоминает по вкусу картон (в чем нет вины мистера Слейтера).

2. Полученная жидкость, если ее как следует выпарить, удивительно вкусна, а семена фенхеля очень и очень кстати.

3. Одной сковородой не обойтись, во-первых, потому, что все на нее не уместить, а во-вторых, потому что цикорий готовится дольше свинины. (Впрочем, Педант в этом убежден не до конца, поскольку соус получается таким вкусным именно благодаря тому, что все тушится в одной посуде. Возможно, стоит сначала полчаса тушить цикорий, а потом добавить его вместе с соком к отбивным: то есть выходит, используется не одна посуда, а две.)

4. Все фотографии из кулинарных книг, даже самые правдивые, порождают ложные ожидания. В предисловии к "Настоящей кухне" Найджел Слейтер пишет, что и фотографии тоже настоящие: "Все сфотографировано как есть, безо всяких ухищрений". Он просто готовил, а фотограф просто снимал. По зрелом размышлении получается, что это еще хуже, причем существенно. Фотографии не постановочные, и все же запечатленные на них блюда картинно-роскошны, и такого результата не достичь ни одному домашнему повару.

5. Статистика свидетельствует: неуверенный в себе кулинар-любитель, открывший книгу, где есть рецепты с фотографиями и без, непре-

менно выберет тот, который с фотографиями. То ли потому, что надеется на свое мастерство, то ли хочет знать, как будет выглядеть его стряпня. Так или иначе, но это несусветная глупость. Если в сознании нет заранее сложившегося образа, разрыв с действительностью будет не столь болезненным.

6. Помните рисунки карандашом? Как в книжке Элизабет Дэвид? Те, что будят воображение, а не комплекс неполноценности?

7. Мистер Слейтер, безусловно, принадлежит к разряду небожителей. А я обнаружил на рынке поваренных книг незаполненную нишу. Есть книги, которые зовут покорять вершины, а есть и такие, задача которых — успокоить нас, простых смертных. Первые — из разряда "Для обладающих мастерством, свободным временем и кучей денег", вторые из разряда "С этим справится любой дурак". А как насчет серии с условным названием "Рецепты хорошие, но повозиться придется"? Или, выражаясь точнее, "Реальные рецепты". Как вы думаете, пойдет?

Хорошие вещи

В Китае, если к концу ужина скатерть вокруг вас усеяна рисинами, забрызгана каплями соевого соуса, веточками от супа из ласточкиного гнезда и т. д., это считается похвалой угощению. Во всяком случае, так однажды сказал нам вежливый гид-китаец, хотя, возможно, он просто хотел утешить круглоглазых бедолаг, не умеющих как следует пользоваться палочками.

Ровно по тем же приметам можно (метафоры здесь никакой нет) оценивать качество кулинарных книг. Если они захватаны грязными руками, если по ним растекаются свекольные разводы и жирные пятна как из теста Роршаха[1], значит, хозяин их ценит. По этим признакам, а также руководствуясь методом дедукции, нетрудно определить, что мое любимое произведение — "Блюда из овощей" Джейн Григсон. Да, разумеется, ее "Блюда из фруктов" заляпаны черной смородиной, к "Блюдам из рыбы" прилипло несколько высохших костей, но "Блюда из овощей" хранят на себе следы самых жестоких кулинарных битв. Им присущ еще один признак популярности: под обложку сложено столько газетных вырезок, что книжка стала в два раза толще. Причина простая: всякий раз, когда на ум приходят капуста, свекла или пастернак, рука автоматически тянется к Григсон, поэтому там хранятся и все прочие рецепты на ту же тему.

Если только кулинарная книга не является собранием чужих рецептов, личность автора просматривается непременно. Порой это только мешает, поскольку эта личность может оказаться авторитарной, высокомерной, вялой, скучной. Бывает, авторы, при всем своем опыте и знании кулинарии, абсолютно не разбираются в том, что происходит в душах тех людей, которые покупают их книги. Энтони Лейн в рецензии на практически бесполезную книгу Марты Стюарт цитирует типичный совет насчет приема гостей: "Особое внимание следует уделить началу вечера, когда гости еще не освоились и чувствуют себя скованно и не-

1. Тест Роршаха — тест исследования личности. Основывается на толковании чернильных клякс тестируемым.

уверенно". "Это гости-то чувствуют себя неуверенно? — справедливо возмущается Лейн. — А как насчет хозяина, который психует у плиты?"

Такого культа личности у Григсон нет: скорее, ее присутствие ощущается как аромат знакомой и любимой травки в рагу. Без этой травки рагу не было бы таким вкусным, и при этом она не застревает в зубах, ее аромат не заглушает другие запахи. Григсон общается с вами как близкий друг, который знает предел ваших кулинарных возможностей. Все ее истории, шутки, ссылки на собственный опыт всегда уместны — например, она вспоминает про свою бабушку, которая верила, что чищеные огурцы вызывают газы, но Григсон никогда не уходит далеко от темы. В ее профессионализме нет сухости, в великодушии — угодливости.

Некоторые авторы кулинарных книг имеют наглость подавать свои рецепты так, словно они были придуманы всего за несколько месяцев до выхода книги в свет, Григсон же всегда с благодарностью ссылается на источники. Некоторые авторы превозносят современную кулинарию, а к опыту прошлого относятся с превосходством; Григсон же вовсе не считает, что мы находимся на новом витке технологии и прогресса, для нее настоящее — это часть непрерывного процесса. На самом деле мы куда менее изощренные и опытные повара, чем наши предшественники. Кухонная техника сделала из нас лентяев; темп жизни возрос, и мы стали более нетерпеливы; с изобретением вакуумных упаковок и глубокой заморозки мы потеряли ощущение смены времен года; у нас так много импортных продуктов, что мы с презрением относимся к нашим, отечественным. Особое внимание Григсон уделила крамбе[1]: почему все гоняются за cavolo nero[2], а крамбе, который выращивал Томас Джефферсон и который Карем[3] сравнивал с сельдереем и спаржей, совсем забыт?

Григсон была человеком весьма образованным, но никогда свою образованность не выпячивала. Вот, например, что она пишет про капусту: "Ее просто выращивать, а еще капуста — зеленый овощ, доступный в течение всего года. Однако этому овощу присущи определенные недостатки, с которыми необходимо бороться. Вареная капуста пахнет на весь дом, а переваренная может испортить любое блюдо. И еще у всех на зубах навязли рассказы про то, какая она полезная. Не верите мне — почитайте Плиния. Мы ей, конечно, верим, но она так увлекательно пишет, что действительно хочется заглянуть в Плиния. Далее, рассуждая о капусте, она ссылается на Декарта. Одна знатная дама, которая разделяла бытовавшее в те времена убеждение, что посвятившие себя философии, ведут аскетическую жизнь, однажды увидела, с каким наслаждением философ ужинает. Она выказала свое удивление, на что Декарт ответил: "Вы полагаете, хорошие вещи Господь придумал исключительно для дураков?" Эта история, судя по всему, была для Григсон глубоко символичной, отсюда и название ее сборника — "Хорошие вещи".

Ее убежденность в том, что прошлое живо, вдохновила меня взяться за блюда, к которым бы я и не подступился, например, за "Тыкву в сухарях" Тулуз-Лотрека. Я потерпел фиаско, но хотя бы убедился в том, что у Тулуз-Лотрека удивительное чувство цвета. А вот "Картофель с гру-

1. Крамбе — род растений семейства крестоцветных. Черешки его побегов используют как овощи, подобно спарже.
2. Черная капуста (*итал.*).
3. Мари-Антуан Карем (1784—1833) — известный повар, служивший у Талейрана, Георга IV, Ротшильда и др.

шей" Монтеня, блюдо, которое философ открыл для себя в 1580 году в Швейцарии (и которое отлично сочетается с ветчиной), свидетельствует о том, что наши гастрономические пристрастия, возможно, и изменились, но вкус к хорошей еде мы сохранили.

Джейн Григсон была замужем за Джефри Григсоном, самым ехидным и придирчивым литературным критиком Англии; они с Джейн походили, судя по их работам, на Джека Спрата и его супругу[1]. Однако Джейн Григсон не то что обожала еду вообще, у нее были вполне определенный вкус и точка зрения. Она знала, что ей нравится, а что нет. Дикую капусту она называла "совершенно отвратительной", большинство сортов английской капусты считала "зимней пищей пастухов, школьников и заключенных". К брюкве она тоже была крайне сурова.

Впрочем, порой ее доброта граничила с идеализмом. Вот как она предается мечтаниям о том, что англичане, где бы они ни жили, обязательно дружно возьмутся выращивать овощи. "Представьте себе многоэтажные дома с растениями на каждом балконе. Помидоры "сливки" в горшках, травы в ящиках, по дверным косякам вьются побеги кабачков. Внутри на подоконниках — баклажаны, перец, базилик, горчица и кресс-салат, а в темной кладовке — грибы в корзинках".

Следует отметить, что прошло двадцать пять лет, и главные проблемы густонаселенных районов вовсе не в том, что все вокруг пронизано запахами тимьяна и базилика, и не в том, что пожилые дамы спотыкаются о заполонившие дорожки стебли кабачка. Впрочем, быть может, авторы кулинарных книг — оптимисты по природе. (Вы только представьте себе рецепт от кулинара-брюзги: "Вряд ли, конечно, что получится, а если и получится, то наверняка невкусно, но, если вам не лень, попробуйте...") Джейн Григсон не просто была замечательной сама по себе, она была исключительной. "Блюда из овощей" начинаются с эпиграфа из Роберта Льюиса Стивенсона: "Всякая книга — это, по сути, письмо друзьям того, кто эту книгу написал". Это так, но лучшие из книг убеждают даже незнакомых с автором читателей в том, что и они его друзья.

Будьте *взаимно вежливы*

Марцелла Хазан в своем капитальном труде "Основы классической итальянской кухни" приводит рецепт филе голубой рыбы (луфаря) по-генуэзски, запеченной с картофелем, чесноком и оливковым маслом. Я отправился в рыбную лавку, куда всегда хожу с некоторой опаской. Там продают отменную рыбу, но любят подшутить над покупателем.

— У вас есть голубая рыба? — спросил я.

— Голубая рыба... — повторил продавец раздумчиво. — У нас есть рыба белая, красная, розовая, желтая... — Он оглядел витрину, отыскивая не перечисленные им цвета, и сердце у меня упало.

Приготовление пищи начинается с похода по магазинам, и если на кулинарные курсы я вряд ли запишусь, то вот на курсы покупателей — с удовольствием. При условии, что преподавать там будут диетолог, кулинар, психолог и специалист по теории игр. Помню, когда отменили про-

1. Персонажи из "Сказок Матушки Гусыни". "Джек Спрат не мог есть жирной пищи. / Его жена наоборот: / Кусочек постный без подливки / Ей никогда не мог влезть в рот". Перевод Н. Фриенко.

дуктовые карточки, мама стала брать меня с собой в магазин: тогда я и осознал, какая это тягостная ежедневная обязанность — общение с продавцом. У нее имелись финансовые средства, у него — запасы продуктов; она знала, чего хочет, он знал, что у него есть; она могла отказаться заплатить запрошенную цену, он мог отказаться отдать то, что у него имелось. Это было противостоянием сил, порой с привкусом классовой борьбы. Согласие иногда достигалось, но равновесие было шатким.

Поэтому Педанта редко вдохновляют рецепты, начинающиеся со слов "Попросите своего мясника..." или "Позвоните в свою рыбную лавку и поинтересуйтесь..." Теперь я знаю многих отличных торговцев мясом, рыбой, овощами, но "своими" я их не назову никогда. Мне случается заходить к мяснику, который бывает беспричинно груб. Например, когда ты вежливо просишь что-то, он хватает первый попавшийся кусок, сует его тебе под нос и спрашивает, выпятив губу: "Это вас устроит?", после чего на долю секунды швыряет мясо на весы и выкрикивает цену — явно завышенную.

Однако мясо он продает отменное. Мистер Грубиян смягчился лишь однажды — когда случилась вспышка коровьего бешенства, но должен признаться, что мрачный мизантроп, пытающийся заискивать перед покупателем, — зрелище не для слабонервных. Удручающий успех супермаркетов обусловлен многими факторами, в том числе и тем, что здесь общение покупателя с продавцом сведено к минимуму. Присмотритесь повнимательнее к тем, кто работает в мясных отделах супермаркетов: одеты они как мясники, но в них не чувствуется личностей; они ведут себя вежливо и слегка отстраненно — как служащие, обученные не акцентировать внимание на том, что мясо — это плоть убитых животных.

Покупателю остается одно — набираться опыта, а следовательно и уверенности в себе. В кулинарных книгах все обычно начинается с описания утвари и процесса приготовления блюда, умение же ходить по магазинам считается само собой разумеющимся. Большинство из нас довольствуется мудростью народных советов. Рыба: свежесть определяется по глазам. Устрицы: покупать только в те месяцы, в названиях которых есть буква "р". Ананасы: у зрелых ананасов легко отходит листок (всегда забываю какой — наружный или внутренний), только вот сначала отыщите магазин, где разрешено дергать листья. Мясо: спросите мясника, хорошо ли оно подвешено (нет, это надо сформулировать как-то иначе). Эти банальные приемы только демонстрируют ваше невежество, и преимущество получает продавец. Есть и еще одна загвоздка: вы отправляетесь за покупками со списком, составленным суровым и строгим автором рецепта, но чего-то никак не можете отыскать. Вас немедленно охватывает паника.

Поэтому так ценны любые советы из кулинарных книг. Например, хорошо, когда допускается замена одного другим ("Это блюдо можно приготовить как из белой, так и из розовой или желтой рыбы..."). В этом смысле меня полностью удовлетворяет Марцелла Хазан. Когда я начал готовить по ее книге, я был приятно удивлен. Я всегда полагал, что основной принцип итальянской кухни — быстрое приготовление свежих продуктов, и не рассчитывал на возможность маневра. Хазан непременно перечисляет возможные варианты, отдает должное сушеным травам, настоятельно рекомендует консервированные помидоры, счи-

тая, что они зачастую вкуснее свежих, нередко предпочитает копченую свинину свежей. Она избавляет от многих мучений, объясняя, какие из блюд можно готовить заранее. И даже, потакая нашей лени и любви к комфорту, снова и снова пытается адаптировать итальянские блюда к микроволновке. К счастью, эти попытки чаще всего заканчиваются провалом.

Но, главное, она раз и навсегда освободила меня от комплексов касательно пасты. У меня была электрическая машинка для приготовления пасты — предмет моей несказанной гордости. Машинка тряслась, подпрыгивала, громыхала и наконец извергала из себя ту пасту, которую я, надев нужную насадку, выбрал. Пасту следовало немедленно выложить на вощеную бумагу, чтобы она не слиплась, а сам агрегат требовалось в течение трех секунд разобрать и вымыть, иначе остатки теста присыхали намертво. Зато далее следовал упоительный момент опускания пасты в кипящую подсоленную воду, куда я всегда щедро добавлял оливкового масла — я где-то вычитал, что это не дает макаронинам слипаться. Pasta della casa[1]? Да, с ней приходится повозиться, но она все равно вкуснее любой покупной.

А потом я прочитал Марцеллу Хазан. Начала она со следующего: "Никогда не добавляйте в воду масло, оно нужно только в тех случаях, когда вы готовите домашнюю фаршированную пасту (чтобы начинка не вывалилась). А потом добила меня окончательно: "Нынче совершенно безосновательно принято считать, что "свежая" паста лучше фабричной. Ничуть не лучше, это просто разные блюда. Не всегда можно заменить одну пасту другой, но во всем, что касается качества, они абсолютно равны". Нет, ну каково? Оказывается, я долгие годы гордился своей домашней пастой и готовил из нее блюда, для которых предпочтительнее покупная.

Машинка для изготовления пасты отправилась в шкаф для ненужной утвари, а Марцелла Хазан была причислена к лику святых. Ее рецепты не только предоставляют свободу действий: на мой взгляд, они практически всегда обеспечивают успех и гарантируют, что приготовленное блюдо на вкус будет таким, каким ему следует быть. Она вселяет в меня уверенность, и, возможно, в один прекрасный день я позвоню торговцу рыбой и прорычу в трубку: "Значит так, мне нужна голубая рыба, а все свои шуточки можете оставить при себе!"

Одного раза достаточно

Как-то раз я позвонил на ферму, занимающуюся поставкой экологически чистого мяса, и заказал оленину. Обращался я туда впервые и спросил, что еще можно у них приобрести. Женщина на другом конце провода зачитала список, заканчивавшийся белками. Это вызвало у меня живейший интерес. С тех самых пор, как негодяйки-белки объели в моем саду все бутоны камелии, я искал способа им отомстить. Стоили эти мелкие вредители недорого (чего следовало ожидать), дама посоветова-

1. Домашняя паста (*итал.*).

ла готовить беличье мясо долго, на медленном огне. А затем спросила, разделывать тушку или нет.

— А что лучше? — спросил я.

— Если тушку не разделать, — последовал ответ, — она очень похожа на белку.

Я заказал разделанную.

Через пару дней прибыла пенопластовая коробка, и я, отложив в сторону оленину, сразу полез за amuse-gueule[1]. Вскрыл пакет и... Тушку забыли разделать, и выглядела она, как белка, с которой сняли шкурку. Я попытался вести себя с ней построже: "Ты самая обыкновенная крыса, только чуть пообаятельнее" и еще что-то в том же духе, но желание ее приготовить от этого нисколько не усиливалось. В конце концов я отдал ее бедному студенту, который мечтал стать лесником. Больше я белок никогда не заказывал.

Некоторые блюда просто невозможно заставить себя приготовить, а тем более съесть. Или, сделав это однажды, повторить эксперимент. Одна моя всеядная приятельница наотрез отказывается есть две вещи: устриц и морских ежей. Когда ее спросили, что она имеет против морских ежей, она ответила: "На вкус они как теплые сопли". Это описание оказало на меня профилактическое действие, хотя, бывало, в парижских ресторанах я соглашался на суфле из морских ежей — когда платил кто-то другой. По вкусу суфле напоминало... нет-нет, на самом деле это вполне... знаете, я затрудняюсь подобрать слова.

Как-то раз в китайском магазинчике в Сохо я купил угря, привез его домой и только тогда осознал, что его придется чистить. Делается это так: нужно прибить угря гвоздем к дверному косяку или к другой деревянной конструкции, сделать надрезы чуть ниже головы, взять в обе руки плоскогубцы, подцепить надрезанные участки кожи, упереться ногой в дверь на уровне головы угря и медленно стянуть кожу, упругую и эластичную, как велосипедная камера. Когда все закончилось, я даже был рад, что сделал это. Теперь, если я окажусь на необитаемом острове, где у меня не будет ничего, кроме угря, двух пар плоскогубцев и дверного косяка, я не растеряюсь. Но я бы не хотел посвятить всю жизнь закреплению этих навыков. Я люблю угря во всех видах — копченого, тушеного, жареного, — однако отныне предпочитаю, чтобы кожу с него снимали другие.

Я пробовал мясо змеи, крокодила, даже буйвола. А также те самые столетние яйца, которые китайцы зарывают в землю, а затем (что те самые белки) через годик-другой выкапывают, они показались мне на вкус самыми обычными яйцами, пролежавшими годик-другой в земле. В Австралии я ел кенгуру — на литературном обеде с Кадзуо Исигуро[2]: он заказал кенгурятину со словами "Обожаю есть национальные символы". ("Интересно, что он ест в Англии? — проворчал сидевший рядом со мной поэт. — Львов?") Сейчас, когда приближается пора пеших прогулок, я стараюсь есть побольше грачей: я знаю паб в Чилтернсе, где их готовят. Один-единственный раз в жизни я ел даже бигмак, но не будем о низменном.

1. Закуска (*франц.*).
2. Кадзуо Исигуро (р. 1954) — английский писатель японского происхождения, автор романов "Остаток дня", "Не отпускай меня" ("ИЛ", 1992, № 7; "ИЛ", 2006, № 7).

На моего друга, мастера путевых заметок Редмонда О'Ханлона, все это никакого впечатления не производит: для него крокодил — такая же повседневная пища, как для нас лосось. По его пищевому тракту за многие годы путешествий прошли кайманы, капибары, крысы, агути, армадилы, обезьяны, вараны, личинки мух, гусеницы и прочие живые организмы. В свою очередь это нисколько не впечатляет сына О'Ханлона, Галена. Когда отец в очередной раз задумчиво перечислял всю гастрономическую экзотику, которую ему довелось попробовать, подросток Гален перебил его, сказав: "Папа, у тебя же вкусовые сосочки отсутствуют, поэтому совершенно неинтересно, что ты ел ".

Чаще всего пробуешь что-то только единожды не потому, что это невкусно, а потому, что новой возможности не представляется (крокодил, насколько я помню, удивительно разнообразен на вкус: мне подали три разных куска на одной тарелке, один походил на мясо, второй на рыбу, а третий на нечто среднее между тем и другим). Наверняка надменные потомки заклеймят наши гастрономические пристрастия как постыдные, позорные и невразумительные. Подобные чувства испытываем и мы, когда узнаем, что люди Средневековья и Возрождения ели цапель, причем охотиться на них обучали соколов. Англичане жарили цапель с имбирем, итальянцы с чесноком, немцы и голландцы пекли пироги с цаплями, французы считали дурным вкусом подавать цапель без соуса, а Ла Варенн[1] предложил, чтобы блюдо выглядело аппетитнее, украшать поднос цветами. Эти занимательные сведения почерпнуты мной из весьма язвительной антологии "В дебрях кулинарии", составленной по материалам журнала Алана Давидсона "Petits Propos Culinaires"[2].

Бывает, что какое-то блюдо ты приготовил один-единственный раз в жизни, причем оно вполне получилось, несколько мелких неприятностей в процессе готовки не в счет, короче — не случилось ничего из ряда вон выходящего, ничего такого, что помешало бы представить, каково оно на вкус в идеале. Тем не менее по неведомым для тебя причинам ты не можешь даже помыслить о том, чтобы приготовить его снова. Возможно, одного из твоих гостей на улице вытошнило. Во всяком случае, каждый раз, даже годы спустя, когда кулинарная книга открывается на этой странице, что-то в этом рецепте настораживает.

Как-то я приготовил для адмирала в отставке зайца в шоколадном соусе. Как по-вашему, удачный выбор? Да, определенный риск был — я никогда прежде этого блюда не готовил. Адмирал был видным семидесятилетним мужчиной, прославившимся своими амурными победами. Усевшись за стол, он огляделся и обратил внимание на картины на стенах.

— Мой отец тоже баловался живописью, — заметил он.

Я знал — а он знал, что я знаю, и я знал, что он знает, что я знаю, — что его отец был одним из самых известных английских художников своего времени. Итак, нота была задана. Когда стало ясно, что на камбузе сегодня дежурит Педант и, более того, он собирается подавать основное блюдо, и это блюдо, судя по названию, представляет собой нормальную пищу, залитую какой-то мерзостью, я поймал на себе тяжелый и отнюдь не бесстрастный взгляд адмирала.

1. Франсуа-Пьер Ла Варенн (1618–1678) — знаменитый французский кулинар, автор многих кулинарных книг.
2. "Беседы о кулинарии" (*франц.*).

Рецепт я взял из "Хороших вещей" Джейн Григсон. Когда заяц потушен, следует приступить к приготовлению соуса, для чего нужно растопить на сковороде сахар и добавить немного винного уксуса. А в полученный сироп добавить шоколад, кедровые орехи, цукаты и так далее. Но сироп повел себя неожиданно — грозно зашипел, забулькал и превратился в кислую на вкус комковатую карамельную массу. Скрыть провал не представлялось возможным. С одной стороны, имелся заяц, а с другой — все остальные ингредиенты, и воссоединиться они могли только посредством соуса, который не получился.

Я уже взял чистую сковороду и снова стал растапливать сахар, но тут услышал, как адмирал признается в любви Той, Для Которой Педант готовит. Этого никак не ожидали ни я, ни она, ни, судя по его голосу, сам адмирал. Речь его была громкой и четкой — как у всякого, кто привык отдавать приказы.

— Что делать тому, кто полюбил? — спросил он отнюдь не риторически, и эти слова до сих пор звенят у меня в ушах.

Сахар размягчался, а сердце мое, должен признаться, потихоньку каменело. Нос я уткнул в кулинарную книгу, но уши ловили все, что происходит в столовой, поэтому, по-видимому, сосредоточенности мне не хватало. Когда я дошел до кульминационного момента приготовления соуса, все опять зашипело и слиплось в один комок. Уж не было ли это какой-то дурацкой метафорой? Что ж, адмирал, прошу прощенья, но в меню внесены некоторые поправки. Вам будут предложены и заяц, и шоколад, но без нормального соуса. Соус прилип к сковороде. Да, вот еще что: ешьте осторожно, не подавитесь какой-нибудь мелкой косточкой.

С того самого вечера я зарекся делать зайца в шоколадном соусе. Впрочем, порой меня так и подмывает узнать, каков на вкус жареный адмирал. Подозреваю, он мало чем отличается от белки.

Раньше надо было предупреждать!

Вскоре после истории с влюбленным адмиралом и взорвавшимся сиропом я вступил в переписку с Джейн Григсон по поводу гастрономических пристрастий Флобера, который скорее был не гурманом, а просто любителем поесть. В Египте он мог попробовать и дромадера, но вообще-то любимой его едой были мандарины и устрицы. Воспользовавшись случаем, я как мог сдержанно упомянул о трудностях, с которыми сталкиваешься, когда вливаешь уксус в раскаленный сахар.

"Это действительно тонкий момент", — утешила меня она и дала несколько советов относительно того, как свести вулканический эффект к минимуму. (Во-первых, можно снять сковороду с огня: да, действительно, как это я сам не додумался...) Далее она поведала о том, как вообще избежать каких-либо неприятностей: "Честно говоря, теперь я кладу сахар и уксус одновременно и сразу перемешиваю".

Раньше нужно было предупреждать, горестно вздыхаю я.

Некоторое время спустя один мой приятель-повар описал в своей газетной колонке простой и легкий способ приготовления ризотто. Все любители стряпать дома знают, что последние двадцать минут занимаешься одним и тем же: помешиваешь, добавляешь воду, психуешь; помешиваешь, добавляешь воду, психуешь и так далее. Разве что успе-

ваешь оторваться от плиты и налить себе чего-нибудь успокаивающего со льдом, о нормальном же человеческом общении не может быть и речи.

Однако оказалось, выход найден. По новой методе начальные стадии остались прежними: потомить лук, обжарить на растительном или сливочном масле рис, добавить стакан вина или вермута, но вместо того, чтобы влить первую порцию воды и начать помешивать и психовать, следовало влить всю жидкость сразу, довести до кипения, убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и оставить на то же время, которое обычно уходило на помешивание. Поводов для психоза почти не осталось, хотя тот факт, что нельзя поднимать крышку и проверять, как идет процесс, негативно сказывается на сознании неуверенного в себе кулинара. Но важнее другое: теперь у вас есть возможность приготовить салат, смешать коктейли и вообще вести себя по-человечески.

Я несколько раз опробовал новую методу и, насколько мне помнится, недостатков в ней не обнаружил. Но затем все-таки вернулся к старому способу: по-видимому, это блюдо ассоциируется у меня с суетой вокруг плиты и сопутствующим психозом. А какое-то время спустя мы пришли к нашему приятелю и застали его за приготовлением ризотто в старом, бескрышечном варианте. Он помешивал рис, правда успевал при этом делать еще три дела.

— А как же насчет того, чтобы влить всю воду сразу и оставить под крышкой?

— Нет, я в этом разочаровался, — ответил он, словно удивляясь тому, что это может кому-то нравиться.

Мило, правда? Что же он не отрекся публично, в той же колонке? Он, видите ли, изменил точку зрения! Такого не должно происходить! И тем не менее происходит постоянно, и это — один из самых трудных уроков, которые следует усвоить кулинару-любителю. Мы свято верим, что рецепт публикуют лишь после того, как инструкции, которым мы должны следовать, были отработаны до совершенства. Опробованы, выверены до мельчайших подробностей, а затем уже спущены нам. Кроме того, мы полагаем, что авторы рецептов, когда готовят, так же неукоснительно следуют рецепту, как и мы. Вовсе нет! Как нельзя дважды ступить в одну и ту же воду, так и повар никогда не вступит дважды в один рецепт. Сам повар, продукты, рецепт, получившееся блюдо каждый раз чуть другие. И ни постмодернизм, ни принцип неопределенности Гейзенберга[1] здесь ни при чем.

На днях мы пригласили на ужин наших друзей-молодоженов из Швейцарии и решили угостить их чем-нибудь традиционно английским. Выбор пал на лососину в тесте под пряным соусом (Джейн Григсон уверяет, что взяла этот рецепт из меню ресторана "Дыра в стене" в Бате). Два куска филе один на другом, а между ними — прослойка из масла, смородины и имбиря (добавление в рыбу сладкого указывает на средневековое происхождение блюда). Все это нужно завернуть в тесто и поставить на полчаса в духовку. В обязанности Педанта входило снять рыбу с костей, а Та, Для Которой Педант готовит, взяла на себя начинку и пряный соус. К счастью, рецепт встречается и в "Готовим рыбу"

1. Вернер Карл Гейзенберг (1901—1976) — немецкий физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии 1932 г.

Джейн Григсон (1973), и в ее же "Английской кухне" (1974), поэтому перед каждым лежало по экземпляру и не нужно было толкаться и пихаться, как это бывает, когда на кухне встречаются двое.

Та, Для Которой смешала имбирь со сливочным маслом и попросила столовую ложку смородины. Я достал пакет и застыл над ним с ложкой.

— Там написано с верхом? — спросил я безо всякой иронии.

— Нет. Значит, без верха.

Жаль, потому что я люблю смородину. Однако я послушно набрал ложку смородины, и мы продолжали готовить. В другом углу кухни уже закипал соус.

— Как-то все расплывчато, — донесся до меня голос. — "Порезать петрушку, кервель, эстрагон". А сколько — не указано.

— Типичный пример паршивого рецепта, — сочувственно вздохнул я и обратился к правилу Педанта за номером 15б. Когда количество не определено, кладите побольше того, что вам нравится, поменьше того, что вам не очень нравится, а то, чего вы терпеть не можете, вообще не кладите.

Сэндвич из лососины был сооружен, соус кипел, тесто готово было отправиться под скалку, и тут я спросил:

— А миндаль?

— Какой миндаль?

— "Столовая ложка чищеного и молотого миндаля", — зачитал я фразу из "Английской кухни".

— Впервые об этом слышу, — сказала она, заглянув в "Готовим рыбу".

Мы сравнили рецепты из обеих книг и обнаружили следующие различия: в одной миндаль был, в другой — нет; в одной столовая ложка смородины, в другой — столовая ложка с верхом изюма, два куска имбиря и четыре унции сливочного масла, неопределенное количество петрушки, кервеля и эстрагона и чайная ложка петрушки вместе с чайной ложкой кервеля пополам с эстрагоном.

Я разъял сэндвич из лосося, и мы добавили миндаля, а еще, по моему педантичному настоянию, разницу между просто столовой ложкой смородины и столовой ложкой с верхом. Я также разразился тирадой про то, что теоретически мне известно: все рецепты приблизительны, кулинар всякий раз делает поправки, исходя из имеющихся продуктов, и ничто не записано на скрижалях (разве что процесс смешивания винного уксуса с кипящим сахаром), и далее в том же духе. Но я не желаю сталкиваться с этим в процессе готовки. Да, и вот еще что: знай я, что можно заменить смородину изюмом, я не взял бы смородину, которая, судя по этикетке, была куплена полгода назад.

Теперь по сути. Каково блюдо было на вкус? Потрясающее, о чем я говорю сам лишь потому, что был ответственен за наименее существенные этапы. Значит, в конце концов все это не имело значения? Вообще-то, не имело. Тогда почему столько суматохи? Да потому, что в этом и заключается суть приготовления пищи. Это почти что словарное определение. Приготовление пищи есть трансформация неопределенности (рецепт) в определенность (само блюдо) посредством суматохи.

А поскольку я не терплю никаких (даже собственных) упреков в адрес Джейн Григсон, я стал выдумывать объяснения. Это была своего рода проверка, возможно, даже шутка, во всяком случае по-григсоновски

изощренная попытка преподать верным и преданным читателям урок о сути принципа неопределенности Гейзенберга. На самом деле все было моей выдумкой, и я ворчал по сему поводу еще несколько недель. Пока кто-то не указал мне, что дочитай я рецепт до конца, то узнал бы следующее: "Это – слегка измененная версия..." Том Джейн, чей отчим Джордж Перри-Смит подавал то же самое блюдо в "Дырке в стене", прислал мне первую опубликованную версию рецепта – из "Гордости настоящей хозяйки" Томаса Доусона (1585 г.): "Как запечь голову лосося. Следует посыпать рыбу имбирем и солью, приправить, добавить немного смородины, обернуть в тесто, смазать маслом и запекать два часа, после чего подавать".

Хорошо еще, что я ничего не готовил в 1585 году. Вот бы я переживал из-за расплывчатости указаний. Приправить? Чем? А смородины *немного*? Немного – это сколько? И никаких указаний про температуру духовки. Какого жребия, Педант, ты избежал!

Простота – залог успеха

"Помогите! – взывало пришедшее по электронной почте письмо. – Что такое "двадцатиграммовый желток"? Как его взвесить? А лишнее как убрать?"

Как вы думаете, какой из авторов кулинарных книг спровоцировал этот вопль души? Совершенно верно, мистер Хестон Блюменталь. Вы читаете его еженедельные рецепты? "Толченые меренги с фисташками под соевым майонезом"? Принимаете брошенный вызов или комплексуете по поводу своей косности? Чувствуете обильное слюноотделение и крадетесь на кухню или представляете себе призывно горящую вывеску "Пицца-экспресс"?

Только поймите меня правильно. Я благоговею перед мистером Блюменталем. Однажды я ужинал в его ресторане "Дикая утка" в Брее и, несмотря на максимально консервативный выбор, насладился дивными экзотическими блюдами. Он учился в "Эль Булли", экстравагантном новаторском ресторане к северу от Барселоны, и нужна определенная смелость, чтобы ставить подобные эксперименты в окрестностях Лондона. Кроме того, он – один из немногих рестораторов столь высокого уровня, кто разрешает приносить свое вино и берет плату только за откупоривание бутылки. Он являет собой редчайшее сочетание повара с барочным воображением и великолепного гастротехнолога, который знает составляющие каждого продукта. Дайте ему человеческие мозги, он их проварит в корнасском вине 1978 года, а сверху зальет лакричным желе; но ему, возможно, никогда не постичь, что происходило в этих мозгах до того, как их сунули в кастрюлю.

Повторяю: поймите меня правильно. Я вполне готов приготовить что-нибудь по рецепту мистера Блюменталя, хотя, когда он заявляет, что бифштекс лучше всего жарить, переворачивая его каждые пятнадцать секунд (32 фуэте за восемь минут готовки), я склонен задуматься о том, кто будет заниматься картошкой фри и хумусом, пока я буду 128 раз переворачивать четыре бифштекса, поэтому здесь я – пас. Кстати, о картошке фри – вы читали его рецепт? Он доводит "методику паузы" (незадолго до готовности вынуть сетчатую корзину с картошкой, на-

греть масло до начальной температуры, после чего снова окунуть в него картошку для окончательного подрумянивая) до логического завершения (или до крайности). По Блюменталю картошку следует обжарить и остудить в холодильнике. Через пару часов снова разогреть масло и завершить процесс. Я много размышлял об этом, но не могу вообразить, чтобы хоть кто-нибудь на это решился.

Однако его методика медленного приготовления пищи кажется мне здоровой и достойной восхищения. Его "медленно" — это очень медленно. На днях я готовил рагу из бычьих хвостов и, по обыкновению, просмотрел штук шесть рецептов — выяснял, кто сколько времени тушит хвосты. Алистер Литтл — два часа (это шутка?); Фэй Машлер — три часа; Фрэнсис Биссел — четыре часа (уже теплее). Я тушил часов пять и еще два раза подогревал по сорок пять минут, и раз от раза хвосты становились все мягче. Полагаю, по рецепту мистера Блюменталя на это требуется полный лунный цикл.

Но и здесь я столкнулся с непреодолимым препятствием. Я ознакомился с несколькими его рецептами, где температура духовки дана в градусах по Цельсию. У меня стандартная плита со шкалой на несколько отметок регулировки газа, и я понял, что речь идет об отметке 1 и ниже. Таблицы соотношения температуры по Фаренгейту и по Цельсию, приведенные в кулинарных книгах, начинаются со 110°, а мистер Блюменталь для одного из рецептов предлагает 65°. Кроме того, он утверждает, что без термометра для духовки не обойтись, более того, настаивает, что прежде чем поставить блюдо в духовку, нужно разогреть ее точно до этой температуры. На глазок — исключено.

И тут я вспомнил, что вообще-то у меня есть термометр для духовки: я купил его во время одного из тех походов в хозяйственный магазин, когда отправляешься на поиски супермодной кухонной техники, а возвращаешься с разделочным ножом и какой-нибудь сомнительной новинкой. В конце концов термометр оказывается в том ящике, где свалены в кучу ненужные и забытые вещи. Я его откопал. Шестьдесят пять градусов, мечтательно сказал я себе. Шесть часов, семь часов, двое суток, и запах, проникший из кухни в кабинет. Я вынул термометр из упаковки и обнаружил, что нижняя отметка 75°.

Идей мистера Блюменталя не улавливает ни мой внутренний радар, ни мой кухонный термометр — больше мне сказать нечего. Это кухня высокая, олимпийская, кухня пресыщенных и капризных богов, которым наскучили тысячи лет банального совершенства. Куда больше меня мучит совесть, когда дело касается кулинаров столь же возвышенных, но более доступных. Я глубоко уважаю Элизабет Дэвид, однако готовлю по ее книгам гораздо реже, чем следует, и даже реже, чем хочется. Почему? Да потому, что все время чувствую на себе ее бдительный взгляд, потому, что мне кажется — стоит мне ошибиться, и я оскорблю ее дух, витающий на моей кухне. Один небрежный жест — и я оскверню святилище, именуемое кухней.

Или возьмем, к примеру, американского кулинара Ричарда Олни. Как и миссис Дэвид, он был поборником добра, тонким и глубоким писателем, умевшим ввести пищу в широкий культурный контекст. В некрологе "Таймс" было справедливо отмечено, что "'Простая французская пища' Олни относится к тем немногим кулинарным книгам, которые должны быть в каждом доме". Кроме того, Олни был блюсти-

телем высочайших стандартов. Много лет назад меня в качестве ресторанного критика пригласили на день французской кухни в отель "Дорчестер". Это был банкет человек на двести, приготовленный бригадой поваров из ресторанов с мишленовскими звездами. Среди гостей был и Олни, и позже мне рассказывали, что, когда официант налил ему бокал красного вина, Олни лишь пригубил его и тут же отправил назад. Не потому, что оно отдавало пробкой, а потому, что было на пару градусов теплее, чем следовало.

"Простая французская пища". Будьте бдительны: первое из трех слов названия — это ловушка, в которую попадаются только последние болваны. На первых шести страницах Олни рассуждает о простоте и в конце концов приходит к выводу, что "простота — дело сложное". Лозунг современного человека: "Если пища не проста, то она не хороша". Олни прибегает к инверсии: "Если пища не хороша, значит — она не проста". Согласно этому утверждению все, от деревенской еды до изысканной кухни, должно считаться простым. Речь идет не о простоте приготовления. А о "чистоте результата", что (как вы уже, наверное, догадались) может потребовать немалых усилий.

Издатель "Простой французской пищи" злонамеренно выпустил книгу в клееном, а не прошитом переплете, поэтому те страницы, к которым обращаешься регулярно, все время выпадают. В моем случае это рецепты цветной капусты в сухарях, жареных кабачков и бараньей ноги в маринаде. Я действительно выбрал наипростейшие блюда.

Что легко объяснимо. Я, как и многие, делаю в своих поваренных книгах пометки — ставлю галочки, крестики, вопросительные и восклицательные знаки, записываю, как лучше поступить в следующий раз. В некоторых случаях следующий раз исключен. Вот как я отрецензировал предложенное Олни суфле с кабачками (заранее прошу извинить за стиль): "Этот ужин на двоих я готовил четыре часа. Суфле не поднялось, поэтому утопало в соусе, и с виду это была охренительная дрянь. Но охренительно вкусная!" Главной моей ошибкой было то, что у меня не нашлось формы для саварена. Не нашлось? Точнее сказать, я и не подозревал о ее существовании. Там, где Олни упоминает о сем предмете, я приписал: "Где в этой идиотской книге объясняется, что такое 'саварен'?"

Как вы понимаете, приготовление суфле с кабачками привело меня в полное замешательство. Но нет, формы для саварена я покупать не стал. А вернулся к полюбившейся мне цветной капусте в сухарях. Это история о том, как полезно умерять свои амбиции, но главным образом — об отношении к поражению. И здесь пути кулинаров-любителей, а в особенности кулинаров-педантов расходятся с путями господ Блюменталя и Олни и госпожи Дэвид. Вовсе не хочу сказать, что эти асы не признают поражений. Элизабет Дэвид, в частности, пишет: "Загубить можно любое блюдо. От этого никто не застрахован". Но она наверняка согласилась бы с Ричардом Олни, который заявляет: "В неудаче нет ничего позорного. Провал порой куда поучительнее успеха".

В теории я с этим согласен. Но на практике большинство дилетантов считает провал именно что позором, и переубедить их практически невозможно. Поэтому мы, дилетанты, всегда стараемся избежать неудачи, и если какое-то блюдо не получается, мы за него больше не беремся.

Никогда. Это наш принцип естественного отбора. Самый – в обычном смысле этого слова – простой выход.

В *багровых тонах*

Ложная этимология порой интереснее научно обоснованной. Отличным примером тому служит случай с "Mangel-Wurzel". Слово это немецкое и первоначально имело такой вид: "Mangold-Wurzel" – кормовая свекла, буквально "корень свеклы". Но неграмотные немецкие крестьяне, когда слышали это слово, понимали его как "Mangel-Wurzel", то есть "корень нищеты". Что по-своему логично, ведь люди ели такие корни лишь тогда, когда больше есть было нечего и в мерзлой земле они могли найти только это. Англичане заимствовали немецкое слово уже в искаженной фонетической форме – "Mangel-Wurzel". Французы же, всегда склонные оберегать свой язык от заимствований, эту искаженную форму еще и перевели: "racine de disette", "корень нищеты", – зафиксировав таким образом в своем языке ложную этимологию.

"Корень нищеты"... Французы к корнеплодам необъективны и относятся к ним с обычным своим высокомерием. Турнепс они превозносят (по-моему, так чересчур), а вот француза, который со знанием дела употреблял бы в пищу пастернак, я не встречал. Одна француженка недавно мне призналась, что никогда не пробовала топинамбур, не говоря уж о брюкве, но слыхала, что во время войны с голоду люди ели и это. Подтверждение такому наблюдению вы найдете в книге Ричарда Олни "Простая французская пища", где есть пара рецептов с турнепсом, но нет ни одного с топинамбуром, брюквой или свеклой. Элизабет Дэвид во "Французской провинциальной кухне" вскользь упоминает, что пастернак "используют в малых количествах, чтобы придать аромат овощным рагу и супам".

Могу предположить, что дело здесь в фонетике. Английское "swede" (брюква) звучит куда съедобнее, чем французское "rutabaga", которое в буквальном смысле вязнет в зубах. Англичане называют земляную грушу иерусалимским артишоком, а во французском "le topinambour", похожем на слово "тамбурин", слышится барабанная дробь и намек на оглушительные процессы, происходящие в кишечнике после употребления сего овоща. Раз уж мы говорим о народной этимологии, отмечу, что английское "иерусалимский" не имеет отношения к земле обетованной, а пошло от неправильно расслышанного французского girasol, то есть подсолнечник – именно его и напоминает ботва топинамбура.

Помню, во время первого путешествия по Франции я приходил в недоумение от дорожного знака, часто встречавшегося в сельских районах: в красном треугольнике было написано одно слово – BETTERAVES[1]. Почему французские фермеры полагали, что уборка и транспортировка этого чудесного овоща опасна для дорожного движения? По-видимому, эти знаки действительно имели отношение к свекле, но

1. Свекла (*франц.*).

даже если и так, откуда такое презрение, за что несчастные betteraves приравняли к несъедобным gravillons, chutes des pierres и chaussée déformée[1]?

Впрочем, должен заметить, что у свеклы было немало взлетов и падений. Эдуард де Помиан отмечает, что Орибазий, придворный врач Юлиана Отступника, отзывался о ней крайне неодобрительно. Как-то раз я упомянул об этом в электронном письме специалисту по Аристотелю Джонатану Барнсу[2], и он ответил, что "Орибазий по большей части переписывал Галена"[3]. Хорошо, уточняю: о свекле крайне неодобрительно отзывался Гален. Он считал, что свеклу, чтобы от нее был хоть какой-то толк, нужно долго варить, и похвалы его весьма скупы: "Лишь должным образом сваренная свекла может соответствовать по питательности прочим корнеплодам". А также: "Как слабительное свекла не принесет ни пользы, ни вреда".

В Англии свекла появилась в XVII веке, тогда она считалась сладостью и использовалась весьма широко; в XVIII веке был даже рецепт "красного печенья на свекольном соке". Однако впоследствии проявилась врожденная склонность англичан к пуританству: если овощ по своей природе сладок и приятен на вкус, нужно сделать его мерзким и кислым. Миссис Битон предлагает всего два способа приготовления свеклы, которую, по ее мнению, следует либо мариновать, либо варить; впрочем, она еще цитирует совершенно неаппетитный рецепт от доктора Лайона Плейфэра: ржаной хлеб, где для приготовления теста следует смешать в равных количествах тертую свеклу и муку. С теми, кто продолжал упорствовать в своей любви к свекле, боролись еще более изощренными методами. Некий человек из Олдема написал мне, что его дед даже в руки свеклу не брал, поскольку во времена его молодости ее сажали на могилах. И с тех пор свекла вызывала у него исключительно мрачные ассоциации.

Многие выросшие школьники по сию пору с отвращением вспоминают мерзкие кружочки свеклы, которыми в школьных столовых почему-то накрывали вкуснейший колбасный фарш. Для меня свекла навеки связана с бабушкиной вилкой для маринада — этим двузубым орудием подцеплялось то, что мне в детстве казалось совершенно несъедобным. У орудия имелся еще и поршень, при помощи которого подцепленное снималось с зубцов, что свидетельствовало об особой опасности маринованных лука, огурцов и свеклы: было очевидно, что ни один здравомыслящий человек не пожелал бы взять эту гадость в руки.

В те времена в масле обжаривали только картошку, теперь же нам предлагается ассорти из жареных овощей, и многие возят вилкой по тарелке, отодвигая пастернак и сельдерей, и целятся именно в царственного пурпура ломтики. Свеклу тогда варили в алюминиевых кастрюлях, причем ботву старались отрывать, а не срезать, чтобы свекла меньше истекала кровавым соком. Теперь же свеклу запекают в духовке, что позволяет свести кровотечение к минимуму. Бывало, зимними вечерами к

1. Гравий, камнепады... разбитая дорога (*франц.*).
2. Джонатан Барнс — брат писателя, издатель и переводчик трудов Аристотеля, автор монографий и научных статей, профессор философии Женевского университета.
3. Гален (ок. 130 — ок. 200) — римский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины.

столу подавали борщ, теперь же это может быть что угодно — вплоть до замысловатого супа-пюре из свеклы со сметаной и чесноком по рецепту Саймона Хопкинсона. В ресторанах почти в каждом зеленом салате вы обнаружите несколько листочков с багровыми прожилками. В меню имеются свекла в сухарях и пироги со свеклой. Позволю себе возразить Галену, утверждавшему, что недоваренная свекла вызывает "скопление газов и рези в желудке": есть рецепт ризотто со свеклой, где половину тертой сырой свеклы выкладывают на сковороду сразу, а половину добавляют под конец; у меня это блюдо всегда пользуется успехом, и никто из гостей коликами не страдает.

Французы здесь нас опередили. Элизабет Дэвид пишет, что первым, кто восстановил доброе имя свеклы, был Помиан. Он рекомендовал горячий гарнир из свеклы к зайчатине за многие десятилетия до того, как это стал делать Мишель Герар[1]. Еще он смешивал свеклу (тоже горячую) со сливками и уксусом. "Сочетание для французской кухни необычное, — отмечает Элизабет Дэвид, — впрочем, он предлагал много неординарных рецептов овощных блюд, что всегда вызывало яростный протест реакционеров".

Но достигла ли свекла подлинного расцвета славы? Да, она снова вошла в моду, что отнюдь не значит, что раскрыты все ее возможности. Ею зачастую пользуются повара, которые гонятся прежде всего за декоративностью: их интересует скорее цвет, чем вкусовые качества. В моду может войти все что угодно, даже простые и нужные продукты. Взять, к примеру, молодую картошку: когда-то ее тщательно скребли, потом начали подавать в мундире, затем стало принято есть ее полуочищенной — в живописных лохмотьях. Мы ее то варили, то тушили, то пекли. Продукты более редкие то становятся супермодными, то вдруг исчезают с нашего стола.

Возможно, свекла тоже выйдет из моды — вместе с киви, лимонным сорго и вялеными томатами. Утешает одно — что-то исчезает только потому, что его место занимает что-то другое ("плодами нищеты" мы вынуждены ограничиваться лишь в голодные времена). Кто знает, быть может, настанет очередь земляных каштанов, кольраби и столь любимой Джейн Григсон крамбе. А французы даже снизойдут до пастернака.

Незваный ужин

Ресторатор Кеннет Ло в тридцатые годы участвовал в Кубке Дэвиса — играл за Китай. Я с ним встречался всего однажды: ему было тогда под восемьдесят, но на корт он еще захаживал. Он рассказал мне, что после шестидесяти стал играть гораздо лучше. Я спросил почему.

— Суетиться перестал, — ответил он.

Помню, меня это признание повергло в недоумение, но Уимблдонский турнир ежегодно подтверждает, что Ло был прав. Нет зрелища более раздражающего, чем красующиеся на всех рекламах, опекаемые фа-

1. Мишель Герар (р. 1933) — известный французский кулинар.

натичными папашами-мамашами юные дарования, панически боящиеся провала. И ничто не наводит такую тоску, как просчитанная до механистичности игра сверхвыносливых чемпионов. Выигрыш часто оказывается всего-навсего мучительным спасением от поражения. А когда вся эта пыхтящая, вопящая и ломающая ракетки братия наконец освобождает корт, на него выходит четверка ветеранов, у которых силы, может, уже и не те, зато с мозгами все в порядке, и начинается неспешная игра в свое удовольствие — такое, какого они не испытывали с самого детства.

Я тогда думал, что мы с Ло беседуем о теннисе и только. Но со временем понял, что его замечание распространяется на многое другое, в том числе и на кулинарию. Ведь это все должно доставлять удовольствие. Вот ты, предвкушая чудесный вечер, продумываешь меню, закупаешь продукты, готовишь. Потом начинается само действо — ты ешь вместе с друзьями то, что для них приготовил. А потом с удовольствием (из скромности стараясь себя не перехвалить) вспоминаешь, как все прошло. Увы, такое редко бывает. Гораздо чаще радость предвкушения омрачена присущим хозяевам беспокойством, сам вечер из-за выпитого видится слегка в тумане, а необходимость мыть посуду отравляет воспоминания.

Несколько месяцев назад мы пригласили гостей. Одна дама, войдя, окинула взглядом стол, накрытый на шестерых, и сказала:

— Смелые вы люди. Я больше гостей на званый ужин не приглашаю.

На что мы ответили только:

— Это не званый ужин.

Во-первых, это словосочетание у нас в доме запрещено. Стоит изменить выражение, как тут же меняется смысл. Мой приятель однажды сказал задумчиво: "Я бы, может, и вышел на пенсию, если бы это не называлось 'выйти на пенсию'". Поэтому "вечером зайдут друзья" — это не эвфемизм, а просто другое название самого события. К которому ты готовишься не менее тщательно и удовольствие от которого получаешь не меньшее.

"Званый ужин" — кошмарное выражение. Светский долг, словно безумная теннисная мамаша, стоит у вас за спиной, загнанный повар-любитель мечется по задней линии корта, уверенный, что не выдержит напряжения и запорет подачу. А сочинители кулинарных книг это напряжение только усугубляют. Званый ужин подразумевает три перемены блюд. В кулинарной колонке и в поваренной книге приводятся примеры меню. Закуски, основное блюдо, [сыр] в квадратных скобках (от тебя хотя бы не ждут, что и его ты приготовишь сам) и в заключение десерт. Заранее составленные меню для разных времен года, части первая, вторая и третья. Автор это умеет, следовательно, ты тоже должен уметь. И ты покоряешься, хотя возмущаешься в глубине души: мало им того, что ты эту книгу купил!

Однако, хотя именно поваренные книги все усложняют, в них порой можно отыскать полезный совет. Здесь пальма первенства принадлежит моему любимейшему Эдуарду де Помиану. Первая глава книжки "Готовим с Помианом" называется "Обязанности хозяина", одна мысль о которых ввергает в уныние. На самом же деле всем рекомендую сделать ксерокс этих страниц и повесить над плитой. Всех гостей, которые могут оккупировать ваш дом, Помиан делит на три группы.

1) Те, кого вы любите.
1) Те, с кем вы обязаны общаться.
3) Те, кого вы терпеть не можете.

Вы соответственно "либо готовите отменный ужин, либо придумываете что-нибудь попроще, либо вообще не подходите к плите, поскольку в последнем случае покупаете уже готовое". Очень полезная градация. Да, наверное, заранее прикидывать, насколько вам нравятся гости, — это низко и мелко, только вот очень уж тоскливо лезть из кожи вон ради равнодушного зануды.

Да, разумеется, остается еще "отменный ужин" для тех, "кого вы любите". И снова рекомендую прислушаться к Помиану: "Если хотите, чтобы ужин удался, за столом должно быть не больше восьми человек. И приготовить нужно *одно, но хорошее блюдо*". Курсив Помиана, а не мой. Этот совет греет душу, а? Да, перемен будет три или четыре, если учитывать сыр в квадратных скобках, но все усилия можно направить на главное блюдо. Тем самым Помиан намекает, что для закусок и десерта можно воспользоваться услугами traiteur[1] или pâtissier[2].

Французы не считают это позорным. А поскольку теперь и в Англии можно купить вполне приличные закуски и пристойные пироги с ягодами, мы имеем на это полное право. Сами посудите, что предпочтут ваши гости — хозяина, провозившегося до последней минуты на кухне, или его же, но в человеческом облике? Да, придется преодолеть вековые предрассудки, а также убедить себя в том, что, подавая к столу блюдо, которое кто-то из гостей примет за ваше творение, вы никого не обманываете. Обман — это только когда вы говорите, что сами это приготовили.

Недавно у меня была очень напряженная неделя, а тут еще должны были прийти "друзья на ужин". Я вспомнил рекомендации Помиана, но поступил несколько иначе. Закуски и десерт я решил сделать сам, а вот основное блюдо — лазанью с грибами — заказал в итальянской кулинарии по соседству. Вот что следует предпринять: дня за два вы заказываете то, что вам нужно, а потом забираете полуфабрикат, который остается только испечь. Да, признаюсь, сервированная на домашней посуде покупная лазанья норовит выглядеть по-домашнему.

Ужин прошел отлично, и повар нисколько не нервничал. Про салат (слегка подвядший) никто ничего не сказал, про мой десерт — вот негодяи! — тоже. Но все в один голос заявили, что лазанья изумительная.

— Я очень рад, — сдержанно ответил я. Правду удалось утаить.

Через пару недель я получил по электронной почте письмо от одного из гостей, который, по счастью, уже уехал за границу. Тот снова выразил восторги по поводу лазаньи и попросил рецепт. Как бы вы поступили на моем месте? Я заглянул в Марцеллу Хазан, выписал все очевидные ингредиенты и посоветовал смешать сухие грибы со свежими. Насчет времени приготовления я был совершенно уверен (поскольку мне об этом сказали в кулинарии). Но неделю спустя пришло еще одно письмо: "У меня лазанья получилась гораздо хуже".

1. Кулинар, готовящий блюда на заказ с доставкой на дом (*франц.*).
2. Кондитер (*франц.*).

В подобных ситуациях даже мудрый Эдуард де Помиан бессилен что-либо посоветовать.

Нижний ящик

Вы помните старые мясорубки? Струбцину, которая прикручивалась к столу, гнутую ручку, набор потускневших насадок? Помните, как ползли червячки фарша, навевая мысли о маньяках, пускавших жертв на котлеты? Не прошло и ста лет, как этот достойный агрегат наконец усовершенствовали; я, как и многие другие, погнался за модой и купил оранжевую штуковину с резиновой присоской, посредством которой она теоретически должна была держаться на любой поверхности. Бог его знает почему, но у меня ничего не выходило; сколько я ни плевал на резину, чтобы под ней образовался вакуум, стоило мне крутануть ручку, и мясорубка заваливалась на бок. Поэтому она отправилась на кладбище — tiroir de refuses[1]; и я сподвигся на покупку кухонного комбайна. Я давно уже не кручу фарш вручную, и мясорубка стала предметом из прошлого, как форма для студня, машинка для приготовления пасты и терка для сухарей.

Однако выкинуть эту мясорубку с бесполезной присоской я никак не мог. Она кочевала с полки на полку, пока не оказалась в чулане среди остатков кафельной плитки и обрезков ковролина. От ненужных поваренных книг я избавляюсь с легкостью, а вот утварь выкидывать не люблю. Например, есть у меня целый мешок вкладышей в формочки — когда я пек корзиночки, эти вкладыши совершенно не помогали; а еще формы для хлеба, оставшиеся с тех пор, когда я увлекался дрожжевым тестом, а еще ступка, пестик которой раскололся надвое, и она с тех пор так и тоскует в одиночестве. Я зачем-то храню их — вместе с кастрюлями без крышек (что вполне разумно) и крышками без кастрюль (что уже полный идиотизм).

На кухне у Педанта один из ящиков отведен под ножи и всяческие овоще- и рыбочистки, 80 процентов которых используются постоянно. Есть еще горшок с деревянными ложками, лопатками и так далее, из них в ходу 95 процентов, а было бы и все сто, если бы не непременный половник с черпалом из тыквы. Но есть и другой ящик — там обитают предметы, которыми пользуются от случая к случаю; там все валяется вперемешку, и, сунув туда руку, всякий раз рискуешь обо что-то обрезаться. Когда я последний раз в нем разбирался? Лет десять назад? Пора провести инвентаризацию.

Ящик невелик, но в нем поместилось восемьдесят два предмета (если считать упаковку деревянных шпажек для барбекю за один). Молоток для отбивания мяса и марлевый мешочек для процеживания желе нужны все время; из четырех пробок для бутылок (такие уж у меня щедрые друзья) одна нужна определенно; веселкой и кулинарным шприцем за последние десять лет я наверняка что-то взбивал и фаршировал. А вот все остальное... У меня имеются непременные салатные ложки с ручками в виде жирафьих голов, пластмассовая лопатка сомнительной

1. Ящик для отходов (*франц.*).

чистоты, двадцать одна китайская палочка, три ножа и вилка, сохранившиеся с тех пор, когда приборы из самолетов еще хотелось украсть, деревянные ложки всевозможной формы и терка для шоколада, забытая кем-то из гостей, а также шесть гофрированных трубочек для коктейля, шпатель, который, как я думал, "пригодится, чтобы снимать с решетки мясо", почерневшая вилка с шестью зубцами, чье происхождение неизвестно, а назначение непонятно, и так далее. Три таинственные металлические детали наверняка относятся к каким-то кухонным агрегатам, которые мы никогда не используем и, судя по всему, списали в утиль. В самой глубине обнаружились настенный крючок без крепления, два дохлых таракана и очищенный миндальный орешек.

Собрав волю в кулак, я выкинул орешек, таинственные металлические детали и приборы с авиарейсов (слишком уж они в стиле восьмидесятых). И на этом процесс застопорился. Следовало бы, конечно, выкинуть три из четырех пробок, но каждая была по-своему мила. Я сократил количество палочек, поскольку приготовить китайскую еду на десять с половиной человек не представляется возможным. Остальное же нужно было либо скопом выбросить, либо тем же скопом убрать на место. Я предпочел последнее.

Причиной тому была не только постыдная жалость к очевидной рухляди, но и оптимизм кулинара — а вдруг пригодится? Было в этом и обещание самому себе: настанет время, когда я обрету Идеальную кухню, тогда-то для всего этого хлама и настанет Судный день. Об этом дне мечтает любой кулинар. Переехав на новое место, естественно, обустраиваешь кухню под себя, но многое оставляешь как было. Раз в жизни можно решиться и на кардинальную переделку. Педант и Та, Для Которой Он Готовит, предприняли такую попытку лет двадцать назад. Мы даже обратились к дизайнеру. Сначала мы объяснили ему, что нам нужно, потом он нам объяснил, что нам нужно; мы все обсудили и пришли в смятение, в каковом и пребывали, пока он от нас не отказался — по причине нашей фатальной нерешительности.

Все дело в том, что окончательно понимаешь, что тебе нужно, только после того, как ошибешься. (Некоторые руководствуются этим принципом и в браке.) Существуют люди, которые способны и помочь, и посоветовать, но и у них есть idées fixes[1]. Однажды я поссорился с мастером по сборке мебели, потому что просил его сделать рабочую поверхность в одном углу кухни на восемь дюймов выше, чем в другом, объясняя это тем, что я именно на восемь дюймов выше Той, Для Которой. А он отказывался наотрез.

— Высота рабочей поверхности — тридцать четыре дюйма, — твердил он, словно "Отче наш".

Я же вновь и вновь излагал свои доводы.

Он погрузился в молчание, а затем привел убийственный с его точки зрения довод:

— А если вы решите продать дом?

Утешает меня одно — бывает, и самые знаменитые кулинары не получают того, что хотят. В книжке "На бескрайних просторах гастрономии" Элизабет Дэвид описывает кухню своей мечты: "Она будет свет-

1. Навязчивые идеи (*франц.*).

лая, просторная, теплая и уютная", и "у каждой вещи будет свое место". В ней не будет "ненужного хлама", все будет расставлено по полкам и разложено по ящикам, а на виду останется только то, что используется постоянно. Да, в горшке будут стоять деревянные ложки-лопатки, но "штук шесть, а не сорок, как сейчас". Видите, она такая же, как мы, простые смертные. Вот только я подозреваю, что среди ее ложек не было ни одной с жирафьей головой.

В кухне миссис Дэвид будут окна до полу, двойная мойка, длинная полка для тарелок, два холодильника, кресло, две духовки и рабочий стол с мраморной столешницей. Цвет стен — максимально нейтральный, а сочные оттенки будут исходить только от сочных овощей и фруктов. Дэвид постарается избежать основных ошибок "так называемых современных кухонь", во многих из которых, как это ни странно, "холодильники ставят рядом с газовыми плитами. Не хватает только повесить над плитой полку для бутылок с вином". Короче говоря, идеальная кухня Элизабет Дэвид "будет мастерской художника, где вместо мольберта — плита, а вместо красок — кухонная утварь".

Все это я прочитал не без зависти. И с некоторой долей смущения: холодильник Педанта стоит как раз рядом с плитой. Я понадеялся, что теплоизоляция подразумевается. Утешило, хотя бы отчасти, меня то, что даже миссис Дэвид не удалось реализовать свои мечты. Уже после того, как книга вышла, миссис Дэвид наконец оборудовала у себя в Челси новую кухню, но "планировка дома помешала полностью воплотить план в жизнь".

Увы, мечты часто остаются лишь мечтами. Наверное, у меня никогда не будет столь необходимой мне второй духовки, а у Той, Для Которой — вожделенной дровяной плиты. Зато будет засоряться раковина, а какие-нибудь мелочи — например, упаковки с фруктовым чаем — непременно станут падать за угловую тумбочку, где им суждено валяться несколько месяцев. Но я постараюсь относиться к этому философски — как к издержкам служения кулинарии. Главное, что требуется от кулинара-любителя, — уметь обходиться тем, что имеешь, будь то инструментарий, исходный продукт или уровень собственного мастерства. Это путь проб и ошибок, и за малейшую удачу ты ждешь похвалы, пусть даже не вполне заслуженной. Страшно представить, что было бы, случись мне обрести кухню своей мечты. Ведь тогда мое кулинарное искусство обязано было бы ей соответствовать. И не на что было бы списать провал. А теперь, благодаря Элизабет Дэвид, у меня появилась новая отговорка: "Жаль, конечно, что все получилось не так, как было задумано. Но это все потому, что какой-то болван установил плиту рядом с холодильником".

Всему мораль

На второй день слушания дела по иску Оскара Уайльда (он обвинял маркиза Квинсберри в клевете) между адвокатом обвиняемого Эдмундом Карсоном и писателем состоялся примечательный диалог. Карсон спросил о некоем Альфреде Тейлоре, который за плату якобы поставлял Уайльду мальчиков и которого Карсон хотел представить как личность сомнительную. В частности, адвокат сообщил следующее: Тейлор живет на верхнем этаже, не имея прислуги (что не подобает джентльмену); на

окнах у него глухие шторы, задернутые даже днем (ясное дело — эстет); он жжет у себя в квартире благовония (следовательно, он еще хуже, чем просто эстет), водит дружбу с юношами и так далее.

Карсон. Он сам готовил еду?

Уайльд. Об этом мне ничего не известно. Я там никогда не ужинал.

Карсон. То есть вы не знали, что Тейлор готовит себе сам?

Уайльд. Не знал. А если и так, что в этом плохого? На мой взгляд, это вполне разумно. Вы спросили, известно ли мне об этом. Я отвечаю: нет, потому что никогда этого не видел, сэр.

Карсон. Я и не имел в виду, что это плохо.

Уайльд. Разумеется. Кулинария — это искусство. (*Смех в зале.*)

Карсон. Тоже искусство?

Уайльд. Тоже искусство.

Карсон, разумеется, находил в этом что-то дурное. Человек, который, помимо всего прочего, сам возится у плиты, не может быть примерным гражданином. А смех, вызванный безобидным замечанием Уайльда насчет искусства кулинарии, свидетельствует о том, что Карсон был прекрасно осведомлен о предрассудках английских присяжных.

Кулинария вообще-то считается занятием нравственно нейтральным и даже благопристойным, а что до сочинения поваренных книг, то тут карсоновская язвительность была бы и вовсе неуместной. В 1923 году жена Джозефа Конрада[1] Джесси опубликовала книжку "Кулинарные советы хозяйке небольшого дома", предисловие к которой написал ее супруг. Начиналось оно так:

"Из всех книг, сочиненных на протяжении многих веков, лишь те, что касаются вопросов кулинарии, можно считать безупречными с точки зрения нравственности. В любом сочинении позиция автора может вызвать критику или неприятие, и только у поваренной книги одна и строго определенная цель. И заключается она в том, чтобы помочь человечеству обрести счастье".

Высказывание убедительное и демонстрирующее солидарность писавшего с супругой. Мы бы вполне согласились с ним, если бы Конрад тут же не поставил под сомнение собственный авторитет, сообщив: "Признаюсь, я никогда в жизни не прочел ни одной кулинарной книги до конца". Здесь есть что возразить. Во-первых, можно привести и другие примеры сочинений, цель которых — обеспечить счастье человечества: например, учебники по пчеловодству и руководства по ремонту крыши. Во-вторых, тезис о том, что поваренные книги, в отличие от многих других, пишутся из чистых побуждений, в наше время уже не бесспорен. Взгляните на лучащегося самодовольством шеф-повара, который рекламирует книгу, написанную по его телепередачам, — тщеславия в нем нисколько не меньше, чем в любом писателе. А в третьих, легко себе представить поваренную книгу, которая многим покажется насквозь безнравственной — к примеру, ту, где собраны рецепты блюд из мяса вымирающих животных.

Впрочем, суть того, о чем говорит Конрад, ясна. Вот еще одно его высказывание: "Хорошая кулинария — основа морали". Вот только ин-

1. Джозеф Конрад (1857–1924) — английский писатель польского происхождения.

тересно, что он подразумевает под словом "хорошая"? Конрад отвечает: "Для меня это — добросовестное приготовление простой еды в повседневной жизни, а не более или менее удачные эксперименты с редкими блюдами для праздных застолий". Есть в этом отзвук добротного пуританизма, как в шерстяных кальсонах. По-видимому, если миссис Конрад кормила Джозефа на завтрак деревенским яйцом всмятку с домашним хлебом — это было хорошо, а если по случаю его дня рождения покупала в "Фортнум энд Мейсон"[1] яйца ржанки, которые, отварив, присыпала критмумом морским и подавала с чиабаттой, это считалось редким блюдом и было, соответственно, уже нехорошо.

С этого места аргументы Конрада становятся все более шаткими. Здоровая пища — залог хорошего пищеварения, пишет он (что правда); а это, в свою очередь, залог бодрости и здравомыслия. И в качестве контраргумента он описывает рацион североамериканских индейцев.

"Краснокожие были отменными охотниками, но их жены не освоили искусства добросовестного приготовления пищи, что привело к удручающим последствиям. Племена и Великих озер, и Великих равнин страдали жесточайшим несварением желудка... [и]их семейная жизнь была омрачена угрюмостью и раздражительностью, являвшимися следствием плохого питания".

Вот в чем причина "необоснованной агрессивности" индейцев. В отличие, разумеется, от обоснованной агрессивности англичан того времени, а также французов, бельгийцев, немцев и американских империалистов, которые питались рационально. Это утверждение сродни утверждению, что национальный характер определяется климатом, а гениальность — болезнью. Аббат Прево, автор "Манон Леско", полагал, что склонность англичан к самоубийству объясняется тем, что они едят полусырое мясо (а также тем, что топят печи углем и слишком много времени уделяют плотским забавам). С тем же успехом мы можем предположить, что нынешний милитаристский пыл американцев напрямую связан с их любовью к фастфуду, и дать таким образом возможность любой солдатской вдове подать в суд на ближайший "Макдоналдс". Всем, кто склонен связывать избыток агрессии с потреблением белка, спешу напомнить, что Гитлер был вегетарианцем.

Но все же мы по-прежнему признаем и одобряем то, что отстаивал Конрад, — простоту, добросовестность, умеренность: мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Внутри каждого из нас теплится мечта о сельской пасторали, о домике с огородиком у подножья холма, где жизнь сообразна временам года: пашешь, сеешь, собираешь урожай, стряпаешь и ешь; выращиваешь ровно столько, чтобы хватило себя прокормить, а лишнее выменять на что-то полезное. Во времена Конрада это еще как-то можно было осуществить. Его ближайший друг Форд Мэдокс Форд[2] после Первой мировой войны именно так и жил в Западном Суссексе — вместе с австралийской художницей Стеллой Боуэн, о чем писал лирично, но без сентиментальности. У них были коза и свинья, а также мальчик, помогавший копать огород, а еще — Форд оставал-

1. Универмаг в Лондоне, знаменитый своими экзотическими продовольственными товарами.
2. Форд Мэдокс Форд (1873–1939) — английский писатель. Романы "Наследники" (1901) и "Романс" (1903) написаны в соавторстве с Джозефом Конрадом.

ся верен себе — он строил грандиозные, безумные и неосуществимые планы: собирался вывести устойчивый к болезням картофель, мечтал отыскать "философский камень земледелия" и разработать метод "комплексного применения удобрения".

Он и на кухне был бог. В книге "Вдали от суеты" Боуэн пишет, что Форд был "бесподобный кулинар". Когда он готовил, то "никогда не жалел масла. И на кухне все переворачивал вверх дном, так что служанка еле успевала за ним прибирать. Однако он отдавался процессу, не жалея себя, и в дело шло все. Срезанный жир, капустная кочерыжка отправлялись в чугунок, всегда стоявший на огне".

Страсть к кулинарии Форд пронес через всю жизнь. Накануне уже следующей мировой войны, после литературной конференции в Боулдере, штат Колорадо, он приготовил для прощального ужина Chevreuil des prés-salés[1]. Там присутствовал и двадцатипятилетний Роберт Лоуэлл[2]. Четверть века спустя он писал, что это был "лучший ужин в его жизни". Форд был великим писателем, и элемент художественного вымысла присутствовал даже в его блюдах. "И могло ли кому-нибудь прийти в голову, — продолжал Лоуэлл, — что оленину Форд приготовил из баранины?"

Филип Ларкин полагал, что "поэзия — удел здоровой души", здесь он спорил с теми, кто полагал, что поэзия доступна лишь святым безумцам. Стряпня — тоже удел душевно здоровых, причем в буквальном смысле. У Стеллы Боуэн был один знакомый поэт с Монпарнаса, у которого случился нервный срыв, и его поместили в клинику. А когда отпустили, он поселился в комнате, окна которой выходили на boulangerie[3]. Поэт почувствовал себя окончательно выздоровевшим в тот день, когда, увидел в окно женщину, покупающую хлеб. Он рассказывал Боуэн, что "вдруг позавидовал тому, с какой серьезностью она выбирает буханку".

В этом-то и суть. Выбираешь хлеб. Не жалеешь масла. Переворачиваешь на кухне все вверх дном. Пускаешь в дело каждый кусочек. Кормишь друзей и родственников. Вы не просто сидите за столом — вы участвуете в общей трапезе. Несмотря на все свои придирки и занудство Конрад был прав. Это — нравственный акт. Это — свидетельство душевного здоровья. И давайте предоставим Конраду последнее слово. "Добросовестная стряпня, — писал он, — способствует ясности ума, благородству мысли, терпимости к недостаткам ближних, что есть истинная и неподдельная форма оптимизма. Чем и вызывает наше уважение".

По правде говоря, тут есть к чему придраться, но — вы уж извините, у меня суп выкипает, так что я вас покину. Готовлюсь к очередному праздному застолью.

1. Оленина (*франц.*).
2. Роберт Лоуэлл (1917–1977) — американский поэт.
3. Булочная-кондитерская (*франц.*).

Илья Смирнов

Об одном стихотворении Ли Бо

Хорошо известно, что китайская поэзия — одна из древнейших на земле. Возникнув во втором тысячелетии до нашей эры, она просуществовала, внешне мало меняясь, вплоть до начала XX века. Разумеется, такая поэзия не может быть простой, легкой для понимания. Она требует подготовленного читателя. И такой читатель на протяжении более чем трех тысячелетий у китайской поэзии был. Классическое образование предполагало знакомство со всем массивом традиционной культуры, причем главнейшие тексты требовалось заучивать наизусть. Более того, умение сочинять стихи входило в обязательную программу государственных испытаний на получение чиновничьей должности. Таким образом поэт в средневековом Китае обращался к читателю, легко ориентирующемуся не только в тонкостях стихосложения, но в намеках, цитатах, иносказаниях, которыми насыщена традиционная поэзия. С отменой в начале XX века классического образования такой читатель исчез и в самом Китае.

Стоит ли говорить, сколь затруднено понимание китайской поэзии для тех, кто принадлежит совсем иной культурной традиции. Поэтому перед тем как представить читателям "ИЛ" одно китайское стихотворение, необходимо, хотя бы бегло, рассказать об особенностях поэтической традиции в этой стране.

Сначала — о старинном языке, на котором создавалась средневековая поэзия. Этот язык — *вэньянь* (букв. "слово культуры"), своеобразная латынь всего Дальнего Востока — был воспринят из Китая и в Японии, и в Корее, и во Вьетнаме, где столетиями сосуществовал с национальными языками, оставаясь языком высокой культуры.

В этом языке слово, как правило равное одному слогу и записанное одним иероглифом, отличается принципиальной аморфностью, не имеет ни приставок, ни окончаний и может стоять в предложении практически на любом месте, в какой угодно комбинации, обретая более или менее определенные грамматические свойства в зависимости от контекста. Если в прозаическом языке синтаксис достаточно устойчив и, в частности, обычен порядок подлежащее — сказуемое, то в языке стихотворном сказуемое может и начинать строку. Вследствие такой грамматической свободы отдельная строка и стихотворение в целом по сей день остаются предметом разнообразных, часто противоречивых интерпретаций, многие из которых, закрепившись в комментаторской традиции благодаря авторитету того или иного толкователя, служат путеводной

© Илья Смирнов, 2007

нитью при чтении старинной китайской поэзии как для носителей языка, так и для иностранных исследователей и переводчиков.

Вдобавок к языковым факторам интерпретационную гибкость китайской поэзии в значительной мере предопределило ее вероятное происхождение из архаической гадательной практики, лежащей в основании всего традиционного китайского культурного комплекса. Иными словами, принципиальная многозначность, открытость для толкований имманентно присущи китайскому стихотворению и зафиксированы в трактатах по поэтике в качестве особого понятия *хань сюй* — "таящегося накопления" в переводе академика В. М. Алексеева. Так, известный средневековый поэтолог Сыкун Ту (XI в.) описывает сущность *хань сюй* следующим образом:

Поэт, ни единым словом того не обозначая, / Может целиком выразить живой ток своего вдохновения. / Слова стиха, например, к нему не относятся, / А чувствуется, что ему не преодолеть печали[1].

При этом идеальное стихотворение внешне должно выглядеть по возможности просто и непритязательно, "пресно" (*дань*), но скрывать в себе "неисчерпаемую глубину мысли" (*ли хэнь шэнь*). Для достижения желанной глубины служат широко используемые реминисценции, аллюзии, цитаты из классических памятников, географические названия, отсылки к деталям биографии, названия стихотворений типа "вторю стихам такого-то", "на рифмы такого-то", иногда задающие семантику текста, скажем, "провожаю друга", "пою о чувствах", "дворцовые жалобы" и т. п.; и, наконец, даже отсутствие личных местоимений.

Теперь, когда кое-что о китайской поэзии сказано, можно перейти к стихотворению, которое мы выбрали для более подробного разговора.

Хрестоматийное стихотворение Ли Бо (701—762) "Сетование на яшмовых ступенях" ("Юй цзе юань") прославлено в китайской словесности. И это при том, что отдельное стихотворение за редчайшими исключениями не воспринимается и не рассматривается традиционной поэтической критикой вне поэтического цикла, даже вне всего творческого наследия поэта, а чаще и вовсе вне собрания произведений разных поэтов, объединенных династийной хронологией, общей темой или стихотворной формой, нумерологически значимым числом ("триста стихотворений", "тысяча поэтов" и т. п.) или по другому, порой достаточно произвольному, признаку.

Стихотворение "Сетование на яшмовых ступенях" входит в число наиболее часто переводимых текстов Ли Бо. Во-первых, оно есть во многих известных китайских антологиях, и его трудно миновать; во-вторых, европейцев с самого начала знакомства с китайской поэзией привлекала форма *цзюэцзюй* — так называемых оборванных, или усеченных, строф, и в самом деле представляющих собой квинтэссенцию старинной лирики; в-третьих, оно, это стихотворение, внешне выглядит соблазнительно простым — ни имен, требующих сложных объяснений, ни трудных для восприятия географических названий, ни пугающе причудливой образности; зато, и это в-четвертых, в стихотворении присутствует тот набор поэтизмов — осень, ночь, луна, — который, не царапая слух и глаз евро-

1. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. — Пг., 1916. Перевод В. М. Алексеева.

пейца, воспринимается как присущий именно китайской поэзии; наконец, традиционная китайская критика весьма высоко оценивала это стихотворение.

Итак, сначала подстрочник.

Сетование на яшмовых ступенях

Яшмовое крыльцо / рождает белую росу;
Ночь длится... // Полонен шелковый чулок.
Вернуться, опустить / водно-хрустальный занавес –
Звеняще-прозрачный... // Созерцать осеннюю луну.

Оговорюсь, что хотя подстрочник всегда передает только самый поверхностный смысл и весьма условен, но для такого грамматически аморфного языка, как старинный китайский *вэньянь*, он еще и создает иллюзию синтаксической внятности, которая в реальности возникает только после тщательного анализа формальных и содержательных особенностей конкретного стихотворения.

Итак, перед нами классическое пятисловное четверостишие (*у янь цзюэцзюй*) с цезурой после второго слова-знака (одной косой чертой отмечена слабая цезура, двумя – более сильная) и рифмой на концах четных строк – a b c b (в современном произношении рифма утрачена).

Сейчас попробуем слово за словом и строка за строкой проанализировать подстрочник на предмет точности выбранных русских слов и словосочетаний, а также для установления более или менее отчетливых синтаксических отношений между ними.

В китайской поэзии названия стихотворений играют важнейшую роль. Нередко именно они позволяют сориентироваться во многих существенных внутритекстовых обстоятельствах, которые в силу особенностей китайского языка и китайской поэтики установить затруднительно или невозможно. Название часто выступает как своеобразный ключ к смысловой и грамматической структуре стиха.

В нашем примере слово-иероглиф *юань* (в оригинале это третий, последний знак заглавия), переведенный нами пока с достаточной долей условности как "сетование", сам по себе указывает только на семантическое поле эмоции, покрывающей достаточно обширное синонимическое пространство: от грусти, тоски, печали до душевных терзаний, жалобы, ропота. В китайской поэзии, лирической по преимуществу, различные модификации чувства тоски представлены очень широко. Как писал первый известный по имени китайский поэт Цюй Юань (IV–III вв. до н. э.), "нет веселья на сердце так давно и так долго, И печаль за печалью вереницей проходят". Нам важно определить место использованного Ли Бо знака *юань* в длинном ряду синонимов и понять его смысловую индивидуальность.

Большинство поэтических примеров со знаком *юань* отчетливо демонстрируют присутствие в его семантике не просто безотчетной грусти или острой печали, причина которой неизвестна или глубоко упрятана, но и внятно выраженной, имеющей вполне конкретный повод досады или даже обиды. Поэтому в глагольной форме (грамматическая аморфность письменного китайского языка *вэньянь* позволяет морфологизировать *юань* и как имя, и как глагол) *юань* обычно имеет значение "винить, роптать, проклинать". В столь типичных для китайского стиха

параллельных конструкциях *юань* обычно выражает более сильную и активную эмоцию, чем синонимичные ему слова, в частности, наиболее близкое *хэнь* – тоже понимаемое как тоска или печаль с оттенком обиды[1].

Бином *юйцзе*, которым начинается заголовок стихотворения, по нормам грамматики должен рассматриваться как определяемое *цзе* с предшествующим ему определением *юй*. *Цзе* – имеет словарное значение "крыльцо", "ступень (-ни)" и трудностей для понимания не представляет, разве что следует оговориться, что конструктивно китайское крыльцо гораздо более обширно, оно, как правило, тянется вдоль всего фасада здания, а нередко и охватывает его с боковых сторон и даже по всему периметру, как своего рода терраса (отсюда нечастое словарное значение "помост").

Эпитет *юй* – в традиционном русском переводе "яшмовый". На самом деле имеется в виду не яшма, а нефрит, с древности очень популярный в Китае как материал для изготовления ритуальных и магических предметов, что прочно связало его с представлениями о божествах и государях. Как писал В. М. Алексеев, "для китайской поэзии это эпитет ко всему лучшему, драгоценному, как к предметам, так и к отвлеченным понятиям... В китайской поэзии яшма обладает мистическими свойствами: она чиста, струиста, тепла и влажна... обладает чистым звуком"[2]. Не случайно яшма, особенно молочно-белая, ассоциировалась с физической красотой женщины, являясь идеальным символом совершенства ее тела.

Все сказанное тем не менее не слишком приблизило нас к пониманию смысла заголовка "Сетование на яшмовых ступенях". Чаще всего так случается при обращении только к словарям, даже самым подробным. Помочь могут контексты, собранные в знаменитом конкордансе "Пэйвэнь юньфу" ("Сокровищница рифм с приложением литературных текстов", 1711). Среди прочего там находим, во-первых, самое раннее употребление сочетания *юйцзе* в "Оде Западной столице" Бань Гу (32–92): "Яшмовые ступени – это отделанное яшмой крыльцо"; заметим себе, что бывало и такое; во-вторых, строки из знаменитой "Оды о собственной печали" выдающейся поэтессы I в. Бань-цзеюй: "Цветущий дворец во прахе, на яшмовых ступенях – мох; внутренний двор густо зарос, зарос зеленой травой". Тут требуется пояснение, тем более что почти наверняка, как станет ясно из дальнейшего, "Ода" представляет собой один из главных источников разбираемого нами стихотворения Ли Бо.

Та, что осталась в истории китайской поэзии под именем поэтессы Бань, была наложницей (об этом свидетельствует ее придворный в этом качестве ранг – *цзеюй)* императора Чэн Ди, который, отлучив ее от ложа, оставил доживать век в одиночестве в одном из отдаленных дворцовых покоев. Свою судьбу она и оплакивает в "Оде о собственной печали". Так "яшмовые ступени" становятся не только поэтическим символом государева дворца, но своеобразным знаком множества позднейших стихотворений о лишенной государевых милостей гаремной деве и, шире, покинутой возлюбленной вообще.

1. См.: Тань Аошуан. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. – М., 2004. С. 215.
2. В. М. Алексеев. В старом Китае. – М., 1958. С. 106.

Окончательно эта связь закрепилась, судя по "Пэйвэнь юньфу", стихотворением Се Тяо (464–499) "Сетование на яшмовых ступенях" (название которого Ли Бо повторил дословно): "Вечером в тереме / опустила жемчужный полог; // Блеснул светлячок / — погас-растаял во мраке. // Долгая ночь... / Шью одежды из шелка; // Думы о вас / — когда же конец им?"

Таким образом, заглавие позволяет нам поместить стихотворение Ли Бо в определенный тематический контекст, что должно существенно помочь в его дальнейшем анализе, в первую очередь с определенностью признать в лирическом персонаже женщину, для чего других очевидных оснований в тексте нет: личные местоимения в *вэньяне*, особенно в его поэтической версии, встречаются крайне редко.

Двинемся дальше. Первая строка — "Яшмовые ступени/ рождают белую росу" – кажется нетрудной для понимания. Грамматически ее, правда, можно интерпретировать и как "На яшмовых ступенях рождается белая роса" — но в пользу первого варианта говорит не только наиболее характерная для китайского языка последовательность подлежащее-сказуемое, но и такие немаловажные доводы: поскольку речь скорее всего, как говорилось, идет об императорском дворце, то ступени, вероятно, и в самом деле сделаны из нефрита, а одно из почитаемых китайцами свойств этого минерала — способность оставаться холодным в жару и теплым в холод; поскольку поэту, как мы увидим из дальнейшего, важно указать в числе прочего на воцаряющийся в природе холод, то теплый нефрит и в самом деле словно бы отпотевает влагой — образ, который жалко было бы потерять. Кроме того, субъектная позиция больше соответствует ключевой роли, которую, очевидно бином *юйцзе* – "яшмовые ступени" — играет в стихотворении: при всей принятой в четверостишиях жесточайшей экономии слов (23 знака, включая заглавие) только эти повторяются. Вообще метафорическое использование глагола "рождаться" *(шэн)* достаточно резко контрастирует здесь с его привычным употреблением, в частности, у самого Ли Бо, сравни строки: "Изумрудный лотос / родился в укромном источнике или Одинокая орхидея / родилась в укромном саду".

"Белая роса" (*бай лу*) кроме прямого словарного значения имеет и метафорическое — "иней", которое, видимо, восходит еще к "Шицзину" ("Книга песен", XII–VI вв. до н. э.), где сказано: "Белая роса — словно иней". Вообще эпитет "белый" с древности прочно ассоциировался с западом (отсюда смысловые оттенки заката), осенью, тщетой жизни и т. п. Не случайно "белой росой" называется один из 24 сезонов года, длящийся с 7-8 по 23-24 сентября, когда в природе проявляются первые признаки осеннего увядания. В поэзии эти смысловые обертоны явлены во всей полноте (сравни у Ли Бо: "Белая роса... / Вянет все цветущее и созревшее (т. е. цветы и плоды); или: Белая роса.../ вижу: день догорает; // Алые краски / с падением инея блекнут"; у него же весьма важное соположение двух ключевых эпитетов нашего стихотворения: "Осенняя роса бела, словно яшма" (точнее: нефрит); у Хань Юя (768–821): "Белая роса / пала на белые травы, // полынь и орхидея / вместе вянут и чахнут" ("Осенняя печаль"); число примеров легко умножить.

Вообще "роса" в китайской поэзии весьма емкий символ. С древности с нею связывали и представление о быстротечности человеческой жизни, и надежду на обретение бессмертия: считалось, что святые небожители питались только небесной росой. Как символ краткости жизни,

роса, вероятно, впервые появляется в народной песне *юэфу* эпохи Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.): "Как быстро исчезла роса // со стрелок дикого лука! Исчезла, но поутру ляжет опять. // А человек, в могилу сойдя, разве вернется?" Потом этот образ использовал поэт и полководец Цао Цао (155-220): "Человеческой жизни срок каков? – Примерно как у утренней росы".

Кроме того, поскольку "белая роса", как говорилось, есть также образное обозначение инея, нельзя упустить и ассоциации, связанные со словом "иней" *(шуан)*. Традиционно символизируя в поэзии седину, иней тоже прочно ассоциируется с человеческой старостью и сопутствующей ее приходу печалью. В 15-м стихотворении из цикла "Песни осенней заводи" Ли Бо эта связь особенно зрима: "Белые волосы – / на три тысячи саженей, // оттого и тоска /столь же долга. / Не узнать – / в светлом зеркале, // откуда / появился осенний иней". У него же в "Веяньях древности": "Только иней / в зеркале появился". Задолго до Ли Бо поэт У Цзюнь (459–520) написал: "Иней осенний/ ложится на пряди висков". Похожие строки есть и у Бо Цзю-и (772–846): "Осенний иней / захватил виски до корней".

Нельзя не сказать и о традиции сравнения осенней росы с яшмой, которое использует, в частности, сам Ли Бо: "Осенняя роса / бела, словно яшма", что создает в первой строке сложнейшую перекличку не явленных впрямую смыслов.

Наконец, самое время упомянуть об эротических коннотациях, которыми роса обладает в китайской культуре: наряду с дождем, пролившимся из тучи, это – одно из образных обозначений мужского семени (кстати, эпитет "белый" тоже по преимуществу "мужской"). И здесь стоит вернуться к определению "яшмовый", которое в числе прочих смысловых оттенков тоже не лишено и эротического (сравни такие словосочетания как *юйфан* – "брачные покои", *юцюань* – "яшмовый источник"; по китайским представлениям совокупление – "питье из 'яшмового источника'" – способствовало долголетию; "яшмовый стебель", "яшмовые ворота" и т. п). Прочитанная в подобном контексте первая строка обретает, пожалуй, подлинную смысловую глубину и столь ценимую китайскими знатоками многозначность.

Вторая строка в своей доцезурной части явно отсылает к инвариантному стихотворению Се Тяо, у которого "долгая ночь" *(чан е)*. Но у Ли Бо ночь – подлежащее, а следующий знак *цзю* стоит в позиции сказуемого и может быть переведен или кратким прилагательным ("ночь долга"), или глаголом ("ночь длится"). Последнее предпочтительнее, поскольку лучше передает течение времени, эту бесконечно длящуюся ночь тоски, особенно имея в виду, что в глагольном значении у знака *цзю* акцентирован смысл "задерживаться", "мешкать", "затягивать свое пребывание".

Далее после сильной цезуры следует синтаксически почти и не связанные с предыдущими три знака, переведенные как "полонен *(цинь)* шелковый чулок". *Цинь* – слово с сильной эмоциональной окраской и чаще всего выступает в функции глагола со значениями "захватывать", "грабить", "овладевать", "проникать", "вторгаться" (в современном языке является частью бинома *циньлюэ* – "агрессия"). Выбор безличной формы отглагольного краткого прилагательного продиктован только требованиями русского синтаксиса, поскольку фраза "ночь длится" нетипичным для китайской поэтической грамматики образом отделяет субъект ("белая роса") от объекта ("шелковый чулок").

Чулки (*ва*) — "полоненные", т. е. намокшие от росы — кроились в виде невысоких сапожек, в которые заправлялись штаны. Разумеется, шелковые *(ло)* чулки носили только высокородные дамы. Собственно говоря, в рассматриваемом стихотворении только эти шелковые чулки — второй после "яшмовых ступеней" намек на то, что его лирический субъект — женщина, что она не простолюдинка, что она взволнована: во-первых, вышла на крыльцо в чулках, не надев туфель, во-вторых, долго ("ночь длится") не замечает, что они от росы промокли насквозь. Кроме того, кажется существенным, что эпитет "шелковый" присутствует и в "исходном" тексте Се Тяо, где одинокая героиня ночь напролет шьет для возлюбленного шелковые одежды *(ло и)*.

Второе двустишие начинается двумя глаголами, лишенными грамматических показателей лица и времени, как обычно в поэтическом языке, и из осторожности переведенными парой инфинитивов — "вернуться" *(цюе)*, "опустить" *(ся)*. Вообще нормативная грамматика стиха требует передавать такую глагольную пару причастием и глаголом — "вернувшись, опущу", но общая неопределенность атмосферы стихотворения заставляет избегать излишней конкретизации.

"Водно-хрустальный занавес" — имеется в виду полог, сделанный из низок горного хрусталя, который китайцы называли "семя (или "зародыш", или "сущность") воды" *(шуй цзин)*, а в древности считали хрусталь окаменевшим льдом. Для нас важно подчеркнуть в контексте всего стихотворения устойчивую образную связь хрусталя с росой и луной, а "занавеса" — полога кровати — с любовной темой. При этом в поэзии поднятый кроватный полог, как правило, символизировал женское одиночество, а опущенный — счастливое любовное свидание. Подчеркнем, что в инвариантном стихотворении Се Тяо присутствует полностью совпадающая по общему смыслу ("опустила полог"), но синонимичная в деталях (не "водно-хрустальный", а *чжу* — "жемчужный", и полог записан другим иероглифом, но с тем же звучанием — *лянь*) строчка. М. Е. Кравцова, рассмотревшая любовно-лирические стихотворения направления Юнмин (вторая половина V — начало VI в.), выделяет особую группу стихотворений о "бытовых реалиях, напоминающих о спальне", куда входят и стихи о пологе — "Воспеваю полог" Ван Жуна и "Воспеваю полог" Шэнь Юэ.

Последняя строка начинается двумя иероглифами, грамматическую роль которых трудно определить. Функционально *лин-лун* — это звукоподражание, в данном случае призванное передать легкий звон, с которым опустился хрустальный полог, поэтому оно скорее тяготеет к предыдущей строке. Однако в общем синтаксисе второго двустишия *лин-лун* выполняет ту же роль, что в первом играла фраза *е цзю* – "ночь длится", то есть разрывает логическое движение событий. Как слова "ночь длится" отделяли подлежащее "роса" от сказуемого "полонила" (сообщив ему форму "полонен"), так *лин-лун* прерывает ряд однородных (при любой морфологизации) сказуемых: "вернуться", "опустить", отделяя от них "взирать", то есть имеет место нечто вроде вставного или вводного предложения, которое пунктуационно могло бы в переводе браться в тире.

Подобные звукоподражания широко распространены в китайском поэтическом языке, и, как правило, их семантика значения не имеет: знаки подбираются исключительно по фонетическому принципу. Однако в нашем случае обращают на себя внимание некоторые значимые тонкости. Кроме чисто звуковой формы, оба знака имеют общее словарное

значение — "звон яшмы (нефрита)" или "звон яшмовых подвесок" (заметим: яшмовые подвески на поясе — важная деталь придворного женского наряда; сравни строку из *юэфу* танского поэта Ван Цзяня (766–830): "Яшмовые подвески звенят *лин-лун* // на утренней заре"). У обоих иероглифов один и тот же детерминатив — "яшма", то есть знак ключевой для всего стихотворения. Как осмысленный бином в поэтическом языке *лин-лун* очень часто выступает метафорой снега, а *лин* с детерминативом "вода" имеет значения "холодный", "морозный", "зябнуть", "мерзнуть" (вспомним, что и хрусталь устойчиво связан с холодом).

Далее после сильной цезуры следуют три последних иероглифа: *ван цю юэ* — "взирать на осеннюю луну". *Ван* — слово высокого лексического строя, не обыденное *цзянь* — "смотреть", а именно "взирать", "смотреть вдаль" (часто — с высокой башни, что, по китайским представлениям, есть действие, имеющее магическое и космическое значение); ср. у Ли Бо: "Окрестности обозрел (ван) с террасы Ланъе"; или: "Поднимаюсь все выше, озираю (ван) четыре моря" (Китай называли страной среди четырех морей, но в реальности, разумеется, ни с какой вершины увидеть эти "четыре моря" невозможно, то есть *ван* здесь имеет значение "устремлять взор"). Но у этого знака есть и значения: "с надеждой взирать", "уповать", "чаять", что в контексте нашего стихотворения, во всяком случае, следует учитывать.

Созерцание луны, тем более осенней — частый мотив китайской лирики. Пожалуй, яснее всего можно продемонстрировать наиболее традиционные обертоны этого мотива на примере знаменитого стихотворения Ли Бо "Дума тихой ночью": "Возле постели ясной луны блик — / Чудится, это — на земле иней; / Поднимаю голову — смотрю на ясную луну, / Опускаю голову — думаю о родном крае".

Для краткости дадим его парафраз, стараясь акцентировать наиболее существенный для нас и для стихотворения "лунный" мотив. Итак, поэт на чужбине тоскует по отчему дому, и тоска эта особенно остра ночью; а тут еще луна положила рядом с постелью блик, похожий на иней, который всегда напоминает об осени, — значит, скоро конец года, еще одного, проведенного на чужбине, и о старости — с инеем традиционно, как мы помним, сравнивается в поэзии седина на висках. Так что лунный свет/иней напомнил поэту о быстротечности жизни, и потому он думает о родине, когда смотрит вниз, мечтая вернуться домой, покуда не исчерпались еще годы земного бытия. Хорошо видно, что и в "Думе тихой ночью" взгляд на луну рождает устойчивый круг ассоциаций, а опорными словами оказываются все те же ключевые образы нашего стихотворения, присутствующие в нем явно или в подтексте: иней (=роса)—осень—белый—седина—ночь—луна—тоска. Наконец, если сказать, что одной из постоянных метафор луны служит яшма, а у древнего поэта, государя династии Лян (VI в.), есть известная строка: "Ночная луна — словно осенний иней", — то мы увидим если не математическую, то поэтическую (иней=белая роса, луна=иней, следовательно: луна=белая роса=яшма) формулу, которая являет нам стихотворение Ли Бо, буквально пронизанное белизной и холодом.

Последняя строка, кроме всего сказанного, — один из примеров часто и справедливо оспариваемой, но все-таки не лишенной оснований точки зрения, что китайское стихотворение являет, благодаря изобразительности иероглифов, еще и некую зрительную картину, проясняющую содержание. У пары знаков *лин-лун*, как мы говорили, ключи одина-

ковые — "яшма", у *ван* ("взирать") — ключ "луна" (древнейшее исходное значение этого знака: "смотреть на луну"), а два последних иероглифа не имеют столь зримой глубинной этимологии и видятся в их словарных значениях. Так что с учетом дополнительных смыслов, сообщаемых ключевыми знаками иероглифов, возникает следующий, параллельный смысловому зрительный ряд: яшма — яшма — луна — осень — луна. Какие-то дополнительные обертоны от такого соположения безусловно возникают.

Впрочем, "познакового" анализа стихотворения для его исчерпывающего понимания недостаточно. Посмотрим, как устроено наше четверостишие на уровне композиции.

Каждое из двустиший не только вполне автономно, но они весьма резко противопоставлены одно другому. Так, действие первого протекает вне помещения, на дворцовых ступенях — это в пространственном отношении низший уровень (условно: уровень земли), следующий, чуть более высокий, — где-то у верхнего края чулка, то есть едва выше поверхности крыльца. "Большое время" — сезон года — впрямую не названо, дана только его примета — роса; зато отмечено время суток — ночь, но ее рамки разомкнуты, она длится. Субъекты действия только неодушевленные: ступени, ночь, чулок. Все три предиката обозначают действия, протекающие одновременно и независимо: ступени рождают росу, ночь длится, чулок полонен, но при этом все двустишие остается статичным. Наконец, в нем царит полнейшее безмолвие.

Во втором двустишии субъект отсутствует, но благодаря глаголам — вернуться, опустить, взирать — его (ее) присутствие вполне ощутимо. Действие происходит внутри помещения, и хотя число предикатов то же, что и в первом двустишии, второе гораздо динамичнее, поскольку здесь все три глагола передают последовательность поступков. Время суток не названо, дана только его примета — луна, зато сезон — осень — обозначен, то есть ситуация прямо противоположна той, что была в первом двустишии. Появляется и звук — то самое *лин-лун*, звон опускаемого полога. Взгляд, обращенный к луне, в последней строке расширяет пространство стихотворения до уровня неба: все стихотворение оказывается пронизанным восходящим движением от первых знаков "яшмовые ступени" (земля) до последних — "осенняя луна"(небо) — так что человек, не названный, но присутствующий в стихотворении, занимает привычное положение между небом и землей в фундаментальной триаде китайского умозрения небо—человек—земля *(тянь-жэнь-ди)*, символизирующей высшую природную гармонию.

Таким образом, мы можем признать, что короткое двадцатисловное четверостишие Ли Бо представляет собой весьма сложную конструкцию на всех уровнях — от грамматики и семантики до культурно-философских универсалий. Оно наполнено множеством не проявленных смыслов, которые для своей актуализации требуют известных усилий. Здесь уместно сделать два замечания. Во-первых, все проделанные над текстом операции не выходят за рамки традиционных процедур понимания поэтического текста и, собственно, на такое понимание и опирались. Другое дело, что старая культура, предполагавшая и обеспечивавшая для определенного слоя населения (к которому, как правило, принадлежали и поэты, и читатели поэзии) одинаковый уровень образования, то есть твердое усвоение (заучивание наизусть!) всех главнейших памятников высокой словесности — от канонических сочинений до фундаменталь-

ных поэтических антологий, — автоматизировала эти процедуры до такой степени, что чтение любого стихотворения (или всякого другого литературного текста) сопровождалось его пониманием во всем многообразии ассоциаций, цитат, намеков и т. п. Покуда это было возможно, классическая поэзия существовала, а когда обилие и сложность внутрипоэтических связей превысили некий пороговый уровень стандартной образованности — она умерла.

Но до той поры едва ли не главным наслаждением знатока — ценителя поэзии являлся именно процесс понимания, узнавания, угадывания всего того, что скрывается за внешне непритязательным ("пресным" *дань*, в китайской терминологии) иероглифическим фасадом стихотворения, даже нарочито прозрачным, сквозь который легко проникает профанный взгляд и либо не обнаруживает за ним почти никакой сущности, либо, поддавшись самообольщению, принимает форму за сущность и полагает ее ничтожной и недостойной внимания.

***

Теперь, когда стихотворение Ли Бо представлено читателю в многообразии заключенных в нем смыслов, можно попытаться оценить существующие русские версии. Историю его переложения на русский язык следует, видимо, вести от сборника "Свирель Китая" (1914), переводчики которого В. Егорьев и В. Марков впервые в значительном объеме познакомили отечественную публику с образцами классической китайской поэзии. У этого сборника дурная репутация, его неоднократно критиковали со всей возможной ядовитостью, и читатель, имеющий перед глазами подстрочник стихотворения Ли Бо, с легкостью вынесет свое суждение об этом многословном переводе-пересказе:

Лестница при лунном свете[1]

Из белого, прозрачного нефрита
Подымается лестница,
Обрызганная росой...
И в ней светится полная луна...

Все ступени мерцают лунным светом.
Царица в длинных одеждах
Поднимается по ступеням,
И роса, переливаясь,
Мочит края благородных покровов.

Она идет к павильону,
Где лунные лучи
Прядут свою ткань.
Ослепленная, останавливается она на пороге.
Ее рука тихонько спускает жемчужный занавес,
И ниспадают чудные каменья,

1. Далее название в переводах стихотворения дается тогда, когда оно отличается от стандартного "Тоска (сетование) на яшмовых ступенях".

Журча, как водопад,
Пронизанный лучами солнца.
И внимает царица журчанью
И с грустью смотрит на лунный свет,
На осенний лунный свет,
Льющийся сквозь жемчуг.
...И долго с грустью смотрит на лунный свет.

Казалось бы, такой перевод иначе как курьезным не назовешь. Но мы, восстановив хронологию дальнейших переложений "Ступеней" на русский язык, все-таки вернемся к этому первому опыту.

Иное качество следующих переводов предопределило то обстоятельство, что за дело взялись профессиональные синологи — и какие! Совсем еще юный, но со всеми заметными чертами гениальности Ю. К. Щуцкий издал под руководством своего учителя, крупнейшего китаиста XX столетия В. М. Алексеева, первую книгу китайской поэтической классики в достоверных переложениях. Вот его версия знаменитого стихотворения:

Я стою... У яшмовых ступеней
Иней появляется осенний.
Ночь длинна-длинна... Уже росой
Увлажнен чулок мой кружевной.
Я к себе вернулась и печально
Опустила занавес хрустальный,
Но за ним я вижу: так ясна
Дальняя осенняя луна!

Вскоре сам В. М. Алексеев предложил свой вариант перевода:

Яшмовый помост рождает белые росы...
Ночь длинна: овладели чулочком из флера.
Уйду, опущу водно-хрустальный занавес:
В прозрачном узоре взгляну на месяц осенний.

Излишне говорить о том, что оба переводчика досконально поняли содержание стихотворения во всем богатстве ассоциаций, тонких намеков — слово за словом и строка за строкой.

Ю. К. Щуцкий, хотя количество добавленных им к китайскому оригиналу значимых слов очень невелико, лишает Ли Бо его строгой лапидарности, выводит смысл "из-за слов", лишая стихотворение таинственной прелести и обаяния недоговоренности. С первых же слов "Я стою..." перевод обретает грамматическую категоричность, а с введением в текст отсутствующего там эпитета "печальна" — и категоричность смысловую, иными словами, лишается тех достоинств оригинала, о которых с таким пылом говорят китайские критики. Наконец, переводчик радикально нарушает форму пятисловной строки с цезурой после второго знака, а значит — всю стройную композицию четверостишия; столь же мало соответствует оригиналу и парная рифмовка, к тому же не окончаний строк, а окончаний их доцезурной и послецезурной частей.

Пожертвовавший единственной формальной приметой китайского стихотворения — рифмой (как мы говорили, исчезнувшей в современ-

ном произношении), В. М. Алексеев сохраняет все остальные особенности оригинала. Каждая строка из пяти значащих русских слов у него являет собой смысловое единство, отчетливо членится в точном соответствии с китайской нормой на два слова до цезуры и три после. В первых двух строках передана та лирическая неопределенность, которой восхищался китайский знаток. Собственно, она присутствует и в двух заключительных строках, где все три глагола (уйду, опущу, взгляну) лишены в качестве сказуемых подлежащего, а следовательно — грамматического лица.

Переводчик заботливо подбирает русские соответствия китайским словам: от буквально точного "рождает" до "овладели" для глагола *цинь*, вариант, может быть, недостаточно "агрессивный", но несравненно более близкий к оригиналу, чем вялое, прямолинейное (к тому же неверное) "увлажнили" Ю. К. Щуцкого. Очень характерен для переводческой манеры В. М. Алексеева и составной эпитет "водно-хрустальный", хотя, к сожалению, не найден русский эквивалент для соседнего *лин-лун* – и звукового, и зрительного образа разом.

Более чем через тридцать лет после Ю. К. Щуцкого и В. М. Алексеева за перевод поэзии Ли Бо взялся известный поэт А. Гитович, подстрочники для него делал прекрасный знаток китайского языка Б. М. Понкратов. В подготовленный поэтом том Ли Бо вошло и интересующее нас стихотворение:

Ступени из яшмы

давно от росы холодны.
Как влажен чулок мой!
Как осени ночи длинны!
Вернувшись домой,
опускаю я полог хрустальный
И вижу — сквозь полог —
сияние бледной луны.

Еще почти четверть века спустя по подстрочнику китаиста В. Т. Сухорукова свое переложение дал другой поэт, выдающийся мастер поэтического перевода Арк. Штейнберг:

На крыльцо из нефрита
белый иней россыпью лег.
Долгой ночью намокли
кружева узорных чулок.
Дома, полог прозрачный
опустила, присела к окну;
Сквозь хрустальные снизки
на осеннюю смотрит луну.

1983, рукопись

Из сравнительно недавних переводов, выполненных профессиональными синологами, укажем на вариант, предложенный С. Торопцевым в его посвященной жизни и творчеству Ли Бо "Книге о Великой Белизне":

Заиндевело яшмово крыльцо,
Чулок пропитан влажностью ночною.
Хрустальным пологом свое лицо
От лунного сияния прикрою.

В последнее время Интернет широко раздвинул круг перелагателей классической китайской поэзии, но сколько-нибудь заметных удач вообще и в переводе интересующего нас стихотворения Ли Бо в частности это новшество не принесло. Вот, для примера, версия с сайта, именуемого "Китайская классическая поэзия в переводах Александра Матвеева":

Печаль у яшмовых ступеней

На яшмовых плитах капли росы белеют.
Холодная ночь... Кружевные чулочки промокли...
Ушла, опустила водянисто-хрустальную штору.
В мерцающем звоне разбился месяц осенний.

(см. http://www.chinesepoetry.e-burg.ru)

На Западе едва ли не первым это стихотворение перевел по подстрочнику Эрнеста Фенолозы и включил в свой сборник "Катай" Эзра Паунд, снабдив его и переводом традиционного китайского комментария. В очень точной и поэтичной русской версии А. Кистяковского перевод Паунда выглядит так:

Грусть драгоценных ступеней

Драгоценные плиты ступеней серебрит росистая седина.
И от искристых капель темнеют шелковые мои башмачки.
Опущен хрустальный полог, промокли мои башмачки,
Сквозь ясный осенний воздух видна голубая луна.

Примеч. Грусть – значит, есть о чем грустить. Драгоценные плиты ступеней – значит, дворец. Шелковые башмачки – значит, грустит дама, а не служанка. И пришла она сюда давно, потому что башмачки уже потемнели и промокли от капель серебристой росы. Стихотворение кажется особенно замечательным, потому что в нем нет прямой жалобы.

Из современных английских версий приведем как совершенно, так сказать, типовую перевод Артура Купера:

Marble Stairs Grievance

On Marble stairs
Still grows the white dew
That has all night
Soaked her silk slippers.

But she lets down
Her crystal blind now
And sees through glare
The moon of autumn.

Как мы видим, представленные переводы сделаны переводчиками разных дарований, в разное время и с разными целями: от чисто научных до художественно-просветительских; в переводах этих есть ошибки — и неверно понятый оригинал, и бросающиеся в глаза неловкости русского языка, но объединяет их одно: стремление прояснить все грамматические и смысловые связи. Тем самым они вошли в очевидное противоречие с китайской поэтической нормой: среди китайских знатоков это стихотворение прославлено, прежде всего, туманной недоговоренностью, непроявленностью смысла, лишь брезжущего за словами. Именно поэтому, как говорит один китайский критик, "эти два десятка слов стоят двух тысяч", и, как замечает другой, кроме заглавия, ничто не называет той тоски, о которой идет речь.

Так что, кажется, самое время задаться вопросом: а можно ли вообще представить себе иноязычную версию этого стихотворения, которая позволила бы читателю искренне разделить восторги китайских знатоков и согласиться с мнением Чжу Си (XII в.), сказавшего, что в "Сетовании на яшмовых ступенях" Ли Бо — само совершенство? Возможно ли хотя бы приблизиться в переводе к передаче фундаментальных принципов китайской поэтики, а не только внешней формы стиха? Отрицательный ответ, похоже, очевиден.

Однако же пути художественного перевода (как и всякого творческого предприятия) неисповедимы. Несколько лет назад выдающийся теоретик и практик переложения иноязычной поэзии на русский язык М. Л. Гаспаров (1935-2006) начал экспериментировать с текстами своих любимых европейских стихотворений, пытаясь удалить из их русских версий все то, что, по мнению переводчика, затеняло поэтический смысл, ослабляло внутреннее напряжение стиха. Смелость подобного подхода поражает воображение, но и обнадеживает: может быть, привычные нормы и правила перевода поэзии не столь уж неопровержимы, а для далеких поэтических традиций стоит поискать свежих решений?

Рискну высказать крамольную для всякого синолога мысль. Если иметь в виду китайскую поэтическую классику с ее сжатостью, многозначностью, внешней простотой при почти бездонной глубине смыслов, не стоит ли вспомнить опыты злополучных, многократно осмеянных Егорьева и Маркова, которые в начале XX века превращали китайское четверостишие в весьма обширный русский текст, зато — пусть не всегда верно — проявляли не только поверхностный смысл, но то, что только угадывается за словами? Да, они делали это убого и топорно, но, как сейчас кажется, в самой попытке что-то брезжило.

Русская судьба классического стихотворения Ли Бо, на мой взгляд, убедительно свидетельствует об исчерпанности привычных приемов и методов переложения китайской поэзии, давших только самое поверхностное о ней впечатление. Чтобы двинуться в глубь великой поэтической традиции Китая, нужно искать нехоженые переводческие дороги.

Чистое искусство

Умберто Эко *Сказать почти то же самое. Опыты о переводе* / Пер. с итал. и прочих А. Н. Коваля. – СПб.: Симпозиум, 2006[1]

Эта книга Умберто Эко выросла, по его собственному признанию, из двух циклов лекций: 1997–1999 годов в Болонском университете и в 2002 году в Оксфорде, а также из комментариев к переводам "Упражнений в стиле" Р. Кено (выполненного им в 1983 году) и "Сильвии" Ж. де Нерваля (выполненного в 1999-м). С самого начала автор заявляет, что его книга ни в коем случае не претендует на то, чтобы стать учебником по теории перевода. И не удивительно. *Традукология*, то есть "переводоведение", смело может претендовать на звание самой загадочной из узкоспециализированных филологических дисциплин. Ведь если человек сам вплотную занимается перевоссозданием текста на другом языке (в том числе как редактор), то его наблюдения – это обобщение опыта практикующего переводчика; а если нет – то что толку в его теоретизированиях? Сама постановка вопроса о теории перевода весьма спорна, и Эко поступает весьма мудро, просто обходя его. При этом он добавляет не без юмора, что ничего не смыслит в *постколониальном* переводе, потому что не может даже приблизительно проконтролировать переводы своих текстов на арабский или корейский языки, и, хотя его произведения переводят как мужчины (американец Уивер), так и женщины (русская Костюкович и испанка Лосано), видимо, эти последние настолько вовлечены в традиционный "мужской дискурс", что ему никогда не приходилось сталкиваться с проблемами *феминистского* перевода.

Но при этом опыт Эко в области перевода уникален. Потому что он задействован в этом процессе и как "объект" – один из самых переводимых авторов современности, которому приходится постоянно общаться со своими переводчиками, проверяя и направляя их работу, растолковывая лексически затемненные места и неисчислимые спрятанные аллюзии своих романов, – и как "субъект" (т. е. как переводчик вышеуказанных произведений Нерваля и Кено, а также редактор переводов научных текстов), и даже как "инструмент", т. е. как теоретик-семиотик, озабоченный вопросами "означающего" и "означаемого" и их перевыражения при переходе из одной знаковой системы в другую. Сам он вполне отдает себе в этом отчет, и поэтому Эко нет нужды излишне теоретизировать, чтобы создать объемную картину; ему достаточно просто обобщить свой "тройственный" опыт – разумеется, привлекая свою не менее уникальную эрудицию.

В сущности, вся книга представляет собой подробное, с разных точек зрения, раскрытие значения пяти слов названия: сказать – почти – то – же – самое. Что значит "сказать"? Переводчик должен постоянно помнить о разных уровнях содер-

1. Фрагменты книги печатались в "ИЛ" (2005, № 10).

жания текста и о том, что они могут попеременно выходить на передний план. Большой любитель ребусов, Эко иллюстрирует это утверждение при помощи одной из таких загадочных картинок с ключом, но не только: например, применительно к "Войне и миру", которая, как известно, начинается с длинной беседы князя Василия Курагина с Анной Павловной Шерер, Эко замечает: "Перечитав эти страницы, вы увидите, что совершенно не обязательно понимать, о чем говорят персонажи; важно понимать, что говорят они по-французски", и к развитию событий их блестящая болтовня не имеет никакого отношения.

Что значит "почти"? Этот вопрос особенно актуален в переводах стихотворных. Эко многажды напоминает о "переговорах" и конвенциях, заключаемых переводчиком с читателем, о неизбежных потерях и компенсациях. О том, что возможны разные решения по отношению к звукописи и ритму фраз, рифме и строфике. Наконец, о случаях, когда избежать потерь просто невозможно — как, например, передать в немецком переводе "Острова накануне", что отец Каспар говорит по-итальянски с сильнейшим немецким акцентом, и их приходится компенсировать (в данном случае — тем, что "немецкий" отец Каспар говорит на очень архаичном немецком).

Что такое "то"? Вопрос этот тоже далеко не так прост. В "Маятнике Фуко" один из героев, Бельбо, на любое замечание (хотя бы о погоде или о красотах пейзажа) отвечает цитатой. Что в таком случае будет то́? Иными словами, как следует поступать переводчику, когда Бельбо разражается очередной реминисценцией; надо ли ему переводить цитату (или воспользоваться цитатой из уже имеющегося перевода на его языке), или, поскольку она может ничего не сказать неиталоязычному читателю, подыскать в его родной литературе примерный аналог, чтобы подчеркнуть маниакальную литературоцентричность персонажа? В каждом случае этот вопрос приходится решать индивидуально (т. е. опять-таки это вопрос конвенции, "переговоров"), и счастье переводчика, если автор, как в случае с самим Эко, жив-здоров и готов помочь советом или авторизацией решения, далеко отстоящего от оригинального текста. В случае же, например, со знаменитой (своей темнотой) строкой 105 из первой песни "Божественной комедии": "e sua nazïon sarà tra feltro e feltro" ("его рождение будет между войлоком и войлоком") переводчику приходится принимать волевое (пускай научно обоснованное) решение — что такое "меж войлоком и войлоком": идет ли речь о том, что будущий спаситель Италии родится в бедной семье, или же Данте намекает на конкретного человека, родившегося между Фельтре (область Венето) и Монтефельтро. Таким образом, переводчику сплошь и рядом приходится выбирать один из нескольких возможных смыслов и становиться интерпретатором.

Не менее запутан вопрос с "же". Формально оно не нужно в заголовке; фраза "сказать почти то самое" вполне полноценна и удовлетворительно передает смысл итальянского Dire quasi la stessa cosa; но в то же время ни один живой носитель русского языка не позабудет вставить эту частицу — и ее наличие как раз и позволяет отличить живой / художественный перевод от механического / машинного. Нюансы, тонкости модальностей — именно благодаря им, с трудом формализуемым, художественный перевод и остается областью искусства, а не ремесла. Кроме того, Эко подробно анализирует каверзные вопросы о

передаче цветов и их еле уловимых оттенков и рассказывает, как он сам, переводя "Сильвию" подбирал названия деталей дамского туалета XVIII века, ставшего безнадежно архаичным уже к моменту действия новеллы Нерваля (1820-е годы).

И наконец, что такое "самое". Чем определяется "самость" переводимого произведения и самость получаемого перевода? (Эко оперирует терминами "текст-источник" и "текст прибытия".) Что позволяет заключать, что произведение А является переводом произведения А на другой язык, а не вариацией на его тему? Предположим, пишет Эко, некто взялся перевести 10-страничный рассказ и в оговоренный срок принес в редакцию 150-страничную рукопись. В этом случае в нее даже не нужно заглядывать, чтобы понять, что перевод никуда не годится. Но если кинорежиссер снимает полуторачасовой фильм по этому рассказу, одного хронометража явно недостаточно, чтобы сделать заключение об адекватности или неадекватности переноса содержания в другую среду. Надо посмотреть фильм и лишь после этого выносить суждение. Но такие вопросы возникают не только при переходе в другой вид искусства. Эко подробно разбирает случай, когда для того, чтобы сохранить смысл, приходится радикально перерабатывать содержание — свои собственные переводы "Упражнений в стиле" Кено. Но для русского читателя еще более красноречивым может оказаться пример, связанный с переводом на русский язык использованных в книге примеров. В частности, из "Поминок по Финнегану" Джойса. Эко приводит фразу, которая в оригинале состоит из тридцати односложных слов:

Tell me all, tell me now. You'll die when you hear. Well, you know, when the old cheb went futt and did what you know. Yes, I know, go on.

Это вполне органично английскому (тем более джойсовскому) языку, но требует разной степени натяжек в разных языках. Французский и итальянский переводчики дают себе "поблажки" в виде многосложных слов. Русскому языку, как известно, такая лапидарность свойственна в минимальной степени, но русский переводчик Андрей Коваль принимает вызов:

Режь мне все, режь прям щас. Да ты б сдох, каб знал! Ну, ты ж знашь, как тот стар хрыч вдруг — брык! — да и дал то, что знашь? Ну вѣмь, вѣмь: дуй, парь, жарь!

Здесь самое время сказать об особенностях русского издания. Переводить книгу, посвященную переводу, со множеством примеров и параллельными местами на пяти языках — задача неимоверной трудности и "штучности". Недаром на титульной странице стоит редкостное: "перевод с итальянского и прочих Андрея Коваля". Работа переводчика — настоящий подвиг. Но мало того: Эко дает одни и те же фрагменты из своих и чужих текстов в переводах на пять языков — и переводчик дает в приложении "переводы переводов", стараясь подчеркнуть особенности восприятия одного и того же текста на разных языках. Издатели объясняют, что это было сделано потому, что "примеры конкретных переводческих решений составляют значительную и неотъемлемую часть книги", но порой возникает ощущение, что Андрей Коваль хочет явить нам pur art, искусство перевода в чистом виде. Например, когда анализируются переводы на разные языки ставшей уже знаменитой первой главы "Баудолино", написанной на народном "псевдопьемонтском" (по признанию самого

Эко) языке XIII века, от которого письменных источников не осталось. Коваль дает такой "перевод" с каталанского перевода:

алэ ж мабуть и нэ треба ничого никому у ханцелярии пышуть сибе усе що ни попадя чи трэба чи нэ трэба а хто их знайдеть [ци лысты] ~~та хай іх запхает сэбэ в жо да оно йому байдуже~~

Трудно сказать, насколько точно это соответствует каталанскому тексту Аренас Ногеры, но легко представить, как что-то подобное мог написать киевский хлопец — "двойник" паренька Баудолино — на пергаменте, утащенном из Софии Киевской...

Порою все эти филологические куншткюки и бесконечные цепи аллюзий, намеков (например, автор признается, что все названия глав в "Острове накануне" представляют собой подлинные названия трактатов XVII–XVIII веков — и что прикажете делать переводчикам?) кажутся чрезмерными, избыточными, подтверждая двусмысленную репутацию Эко — не только знаменитого романиста и ученого, но и холодного манипулятора, компилирующего свои тексты как компьютерные программы. Но словно специально для того, чтобы сгладить это впечатление, автор — непробиваемый интеллектуал, эрудит и острослов — помещает в глубине книги поразительное по своей беззащитности признание: "Иногда я задаюсь вопросом: не пишу ли я романы только для того, чтобы позволить себе все эти отсылки, понятные лишь мне самому? Но при этом я чувствую себя художником, который расписывает камчатую ткань и среди завитков, цветков и щитков помещает едва заметные начальные буквы имени своей возлюбленной. Если их не различит даже она, это неважно: ведь поступки, вдохновленные любовью, совершаются бескорыстно".

Филология родилась из необходимости интерпретации текстов; а переводчики — те же интерпретаторы, и значит, самые первые филологи. Книга Эко о переводе — выражение той самой бескорыстной любви к слову, без которой в равной степени были бы невозможны ни наука, ни литература.

Михаил Визель

Сотни душ пошли за мной...

Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. / Составитель и автор предисловия Б. А. Ерхов. — М.: Рудомино, 2004; Генрик Ибсен *Песнь Сольвейг.* / Сост. Б. А. Ерхов. — М.: Эксмо, 2005

2006 год был годом памяти одного из самых прославленных и почитаемых писателей Скандинавии Генрика Ибсена — исполнилось 100 лет со дня его смерти. Эта годовщина дала повод вновь обратиться к его творчеству и попытаться взглянуть на Ибсена как на писателя, остающегося современным и поныне. Вроде бы имя Ибсена никогда и не было забыто, его пьесы ставятся в российских театрах и изучаются в университетах, но сам писатель как бы отдалился от современности, сделался фактором культурно-историческим, превратился в монумент самому себе, став классиком. Свидетельством этому являются весьма немногочисленные издания его произведений в нашей стране. Отрадно, что в преддверии памятной даты, благодаря стара-

ниям Б. А. Ерхова, вышли две книги, призванные способствовать усилению читательского интереса к жизни и творениям великого норвежца.

Книга "Судья и строитель" включает в себя статьи и высказывания западных и отечественных литераторов и деятелей культуры о произведениях и творчестве Ибсена. Цель этого издания не только определить место Ибсена в мировом культурном процессе, но и дать представление о взглядах интеллектуалов ушедшего столетия на искусство и социальные проблемы, индикатором которых часто становились произведения Ибсена. Его драмы были современны каждой из сменяющих друг друга эпох, поскольку вопросы, поставленные норвежским писателем, оказывались насущными для любого времени и любой общественной формации.

Еще при жизни Ибсен одновременно был любим и почитаем, не понят и недооценен самыми выдающимися умами того времени. Остается утверждать только одно — Ибсен никогда никого не оставлял равнодушным. В книгу "Судья и строитель" включено множество статей, заметок, высказываний, свидетельствующих о различном отношении к творчеству норвежского писателя, это издание становится своеобразной энциклопедией, где весь XX век проходит под знаком Ибсена. Очень удачной является в этой связи публикация автобиографической заметки "Детство", поскольку наряду с другими голосами звучит голос самого писателя, личность и талант которого формировались в небольшом городке Шиене (в переводе К. Бальмонта — Скиене), откуда началось его триумфальное шествие по миру и сквозь времена и эпохи.

Важное место в книге занимают суждения о творчестве Ибсена его великих современников — блистательных драматургов Б. Бьёрнсона, Ю. А. Стриндберга, М. Метерлинка и Дж. Б. Шоу. Б. Бьёрнсон в своей рецензии на драматическую поэму "Пер Гюнт" фактически сформулировал отношение к Ибсену, которое и по сей день остается доминирующим: "Не подлежит сомнению лишь одно: всем, кто с любовью трудится на ниве духовного и чувственного обновления нации и борется с отрицательными проявлениями человеческой природы в себе самих и в своих ближних, следует принести глубокую благодарность".

Конечно, главным идеологическим последователем Ибсена и проводником его идей в театре стал Дж. Б. Шоу, который впервые в своей книге "Квинтэссенция ибсенизма" дает всесторонний анализ принципов, на которых базируется драматургическая манера норвежского писателя. Именно это сочинение заложило основы научного подхода к оценке ибсеновского наследия. От Шоу увлечение творчеством Ибсена передалось и английским модернистам, что подтверждают включенные в издание статьи Д. Джойса, испытавшего также его несомненное влияние.

Если продолжать перечень почитателей Ибсена в Европе и Америке, то можно встретить имена К. Гамсуна, Г. Джеймса, Р. М. Рильке, Т. Манна, А. Миллера и др. Все это в конечном итоге и есть свидетельство эпохальности творчества норвежского писателя.

Особенный интерес для нас представляют высказывания великих русских писателей об Ибсене. Хорошо известно, что Чехов не принимал Ибсена и относился к нему весьма критично, и в этой связи весьма любопытно замечание другого титана эпохи — Л. Н. Толстого, которое приводит П. П. Гнедич в своем очерке "Последние орлы": "Л. Н. Толстой, искренне

любя Чехова, не любил его пьес. 'Это у вас напускное от Ибсена, — говорил он. — А Ибсен сам-то немного стоит'". Толстой этим фактически указывает на преемственность, которая существует между творчеством Ибсена и Чехова, двумя великими реформаторами театра. Российская интеллектуальная элита того времени разделилась — одни не принимали Ибсена, как Толстой и Чехов, другие видели в нем пророка и своего предтечу, как Ю. Балтрушайтис, А. Белый и А. Блок, отразивший взгляд своего поколения на Ибсена в очерке "Генрих Ибсен": "Творения Ибсена для нас не книга, или если и книга, то — великая книга жизни". Но можно ли утверждать, что символисты поняли Ибсена до конца? Увлекавшись его идеями, они создали некую символическую фигуру, сделав ее предметом для поклонения, но творчество Ибсена настолько многообразно и глубоко, настолько далеко выходит за рамки своего времени, что остается жизненным и поныне.

Как бы подтверждая мысль о том, что Ибсен был и будет одним из величайших писателей, создавшим не только новый театр, но и особую поэтическую форму, которая не могла не найти своего продолжения в литературе, составитель антологии включает в нее многочисленные поэтические тексты: от хорошо известных русскому читателю стихотворений А. Блока "Сольвейг" и Е. Евтушенко "Песня Сольвейг" до произведений современника Ибсена шведского поэта К. Снойльски и норвежского автора А. Бьёрке.

Нельзя не отметить, что над данным изданием трудился целый коллектив переводчиков и практически все переводы выполнены специально для него, что, вне всякого сомнения, увеличивает его ценность для русского читателя.

Выход книги "Песнь Сольвейг" стал весьма отрадным событием, поскольку в ней содержатся стихотворения Ибсена в переводах русских поэтов и его знаменитый "Пер Гюнт" в переводе А. В. Шараповой, сделанный в свое время для постановки в Театре на Таганке. Ибсен-поэт сейчас в России гораздо менее известен, чем Ибсен-драматург, и смысл этого издания видится в том, чтобы напомнить читателю еще об одной грани ибсеновского таланта. А ведь поэзия Ибсена — это самобытное и яркое явление в норвежской литературе, и несомненно, что, если бы Ибсен не написал ни одной из своих драм — он остался бы в памяти потомков как выдающийся поэт. Несмотря на то что подборка стихов небольшая, она все же позволяет составить мнение об Ибсене-поэте, лирический герой которого сродни персонажам-бунтарям его драм. Пафос и вера в силу человеческого духа присутствуют в его стихах: "Светобоязнь", "Терье Викен", "Основа веры" — но мерилом всего остается нравственная доминанта, и даже творчество измеряется именно этим: "Что значит жить? В борьбе с судьбою, // с страстями темными сгорать. // Творить? То значит над собою // нелицемерный суд держать" (перев. Т. Гнедич).

Стихотворный перевод драматической поэмы "Пер Гюнт", помещенный в данном издании, хоть и не является каноническим и общепризнанным — вокруг него по сей день ведутся споры, — все-таки заслуживает внимания читателей, поскольку в некотором роде он стал уже фактом отечественной культуры.

А. В. Коровин

"Удивительнейшая сказка — это сама человеческая жизнь"

Собрание сочинений Х. К. Андерсена в 4 т. / Сост. А. Чеканский, А. Сергеев, О. Рождественский. — М.: Вагриус, 2005[1]

Никто не станет оспаривать тот факт, что Ханс Кристиан Андерсен является знаковой фигурой для европейской культуры и его имя известно в нашей стране абсолютно всем. В жизнь каждого человека Андерсен приходит в самом раннем детстве, когда герои его удивительных сказок проникают в наши сны и игры. И сказать, что любой ребенок знает и любит Андерсена, — значит, сказать чистую правду. Но, вырастая, большинство людей так и оставляет Андерсена в детстве вместе со старыми игрушками, он становится частью воспоминаний, и редко кто берет с полки его книгу, чтобы перечитать хорошо известные сказки и открыть для себя новые, о которых, оказывается, многие даже не подозревали, когда были детьми. Если сейчас спросить у взрослого, что написал Андерсен, то ответ всегда будет примерно одинаков: чуть больше десятка произведений, среди которых "Принцесса на горошине", "Стойкий оловянный солдатик", "Дюймовочка", в то время как Андерсен — автор более чем 160 сказок и историй, шести романов, путевых очерков, двух автобиографий, множества пьес и стихотворений.

Андерсен был большим датским писателем, проявившим себя во всех литературных жанрах, но большая часть его творчества так и не стала широко известна в мире: славу и признание снискали только его бессмертные сказки, совершенные по форме и поэтичные по своему содержанию, — так Андерсен превратился в детского писателя, хотя даже в его самых простеньких на первый взгляд сказках — правда, если в них внимательно вчитаться — мы найдем глубинный смысл, порой недоступный детскому сознанию.

Изменить ситуацию с восприятием Х. К. Андерсена как исключительно детского сказочника призвано четырехтомное собрание его сочинений, осуществленное издательством "Вагриус" в год празднования 200-летнего юбилея датского писателя и ставшее, без сомнения, знаковым для отечественной культуры событием. Коллектив переводчиков под руководством блестящих знатоков датского языка, культуры и литературы А. Сергеева и А. Чеканского поставил перед собой задачу не только заново перевести на русский язык хорошо известные сказки, давно уже ставшие классикой, но и возвратить Андерсена взрослому читателю. В четырехтомник вошли практически все сказки и истории, уже ранее издававшиеся на русском, и его биографические сочинения: знаменитая "Сказка моей жизни", которая частично была опубликована в собрании сочинений Х. К. Андерсена 1894—1895 годов, и малоизвестная и никогда не переводившаяся на русский язык книга, условно называемая "Жизнеописанием", относящаяся к раннему периоду творчества писателя. В 1833 году, отправившись в Италию, Андерсен оставил эту рукопись своему другу Э. Колину, впоследствии она попала в Королевскую библиотеку, где и была обнаружена только в 1924-м.

Нельзя не отметить, что, взявшись за подобный труд, пе-

1. Несколько сказок, подготовленных для этого издания, было напечатано в "ИЛ" (2005, № 7).

реводчики оказались в очень сложной ситуации, поскольку уже более столетия в России Андерсена знают по переводам Петра и Анны Ганзен, чей авторитет по сей день остается непререкаемым. Эти переводы давно уже стали частью русской культуры, без них немыслима наша литература — именно на них опирается русская андерсениана, стоит вспомнить хотя бы Е. Шварца. Андерсен, которого мы знаем с детства, говорит языком Ганзенов, а новое собрание сочинений предлагает нам услышать несколько иную речь; ситуация дополнительно осложняется и тем, что над переводами сказок работал целый коллектив авторов, и каждый из них имел собственный взгляд на андерсеновские тексты. К подготовке этого издания были привлечены практически все московские переводчики-скандинависты: А. Афиногенова, Н. Киямова, Н. Федорова, Ю. Яхнина, О. Дробот, А. Нестеров, Т. Чеснокова. Но отсюда следует различие в интонации, которое все-таки наблюдается в переводах сказок: очень трудно их сравнивать между собой и еще менее перспективно новые переводы сравнивать с ганзеновскими, поскольку любой перевод уязвим для критики, особенно когда знаешь оригинал и имеешь свое мнение, как его лучше перевести.

Конечно, последнее слово в оценке проделанной работы всегда останется за читателем, но значимость подобного проекта неоспорима. Кто знает, может быть, Андерсен для многих предстанет в совершенно другом свете и покажется писателем, вполне заслуживающим внимания не только детей, но и взрослых. В том числе и потому, что удалось избежать адаптации и русификации андерсеновских текстов. К тому же в издание вошли редко публикуемые истории 1850—1870 годов, которые являются слишком серьезными для детей, а взрослым просто не приходило в голову, что Андерсен так же поэтично и вдохновенно может писать о самых существенных вопросах бытия: о жизни и смерти, о любви и вере, о горестях и радостях человеческих, о превратностях судьбы — практически обо всем, что может волновать человека и занимать его думы.

Весьма своевременным является публикация полного текста "Сказки моей жизни" (перевод О. Рождественского и Б. Ерхова) и "Жизнеописания" (перевод А. Чеканского), что позволяет читателю лучше представить себе облик великого сказочника. Эти два автобиографических сочинения дополняют друг друга, при сопоставлении их видно, как изменяются взгляды писателя на окружающую действительность, на собственную личность и искусство. В юности человек, конечно же, более искренен с самим собой, поэтому в "Жизнеописании" перед нами предстает Андерсен, который еще не начал творить миф о самом себе, воплощенный в знаменитой сказке "Гадкий утенок".

Вокруг личности Андерсена в настоящее время достаточно много спекуляций, выходят различного рода биографии писателя, характер и образ жизни которого пытаются интерпретировать в свете различных теорий или собственных соображений о том, каким мог быть Андерсен. И "Сказка моей жизни", и "Жизнеописание", по сути, являются художественной прозой, где реальные события переплетаются с вымыслом и фантазией. Представляется, что главным для нас, читателей, должен стать тот образ Андерсена, который вырастает из его произведений, ведь давно известно, что художественный текст гораздо больше говорит об эпохе и личности, чем любой научный трактат. Именно в литературном произведении и

проявляется подлинное лицо человека, поскольку автору нет необходимости искажать действительность — он ее творит. Создавая вымышленный мир, где героем становится он сам, писатель и предстает в своем истинном облике. И тут открывается, что для Андерсена одной из главных является тема человеческого во всех его проявлениях, именно то, что традиционно обозначается словом "гуманизм". Андерсен стремится осмыслить свое место и одновременно место каждого отдельного человека в окружающей действительности, его роль в этой жизни, которая в конечном итоге слагается из сотворенных добрых дел. В 1846 году дрезденский врач Г. Г. Карус написал в альбом Андерсена следующие строки: "Удивительнейшая сказка — это сама человеческая жизнь". Эти слова стали творческим и жизненным девизом датского писателя.

Андерсен пытается осознать и определить место творческой личности в этом мире, практически идет по пути создания мифа о самом себе как о поэте и творце, что в принципе укладывается в рамки романтической эстетики. В рассуждениях Андерсена, конечно, можно усмотреть определенную наивность, но эта наивность сродни мудрости, поскольку писатель стремится создать универсальную и вместе с тем простую картину бытия, где не будет места раздорам и спорам, где все взаимосвязано и разумно.

Именно автобиографические тексты позволяют понять, почему высказанные Андерсеном идеи, не являющиеся, по сути, оригинальными и новыми, воплощенные в его сказках и историях, уже не нуждаются в обосновании и аргументации: они сливаются с реальностью, становятся ее частью, как сказка становится частью жизни каждого человека, когда он еще мал и не утратил веры в чудеса.

Одним из безусловных достоинств настоящего издания является его фундаментальность. В последнее время нечасто выходят книги, снабженные научным комментарием и серьезными аналитическими статьями. К чести издательства "Вагриус" надо отметить, что оно, следуя лучшим традициям отечественного книгоиздания, пригласило для этой цели специалиста по датской литературе А. В. Сергеева.

В целом остается надеяться, что вышедшее в юбилейном, 2005 году собрание сочинений дойдет до читателя, который откроет для себя нового Андерсена.

А. В. Коровин

ИЛ" *рекомендует*

На книжных прилавках начала 2007 года

Выбор главного редактора

Берроуз-мл. Уильям С. *От винта* (*Speed: Kentucky Ham*) / Перев. с англ. Ольги Шидловской. — М.: Эксмо, 2006. — 320 с. — 5000 экз.

"От винта" — пронзительная автобиографическая дилогия Уильяма Берроуза-мл., сына одного из главных героев поколения битников, писателя Уильяма С. Берроуза.

Первый роман дилогии — психоневрологическая нью-йоркская одиссея "Холдена Колфилда 60-х", полная отчаяния, опустошения — и надежды. Во второй книге автор вспоминает о времени, проведенном с отцом в Танжере, знакомстве с литературными соратниками Берроуза-старшего и годах лечения. Предисловие к этому уникальному изданию дилогии Уильяма Берроуза-мл. написала выдающаяся исследовательница литературы битников Энн Чартерс, а послесловие — отец писателя.

Брюкнер Паскаль. *Любовь к ближнему* (*L'amour du prochain*) / Перев. с франц. Аркадия Кабалкина. — М.: Махаон, 2006. — 352 с. — (Современная классика. Бестселлер). 7000 экз.

Книга о молодом человеке, имеющем все атрибуты успешной жизни — красавицу-жену, умных детей, прекрасную работу в МИДе, перспективы карьерного роста, верных друзей, но вдруг, в 30 лет, понявшем, что все не то и не так. Понявшем, что его единственное призвание — давать любовь окружающим! Казалось бы, что может быть благороднее такой жизненной цели? Однако наш герой отдает женщинам любовь плотскую, самую что ни на есть греховную, низменную и все же одновременно и возвышающую, очищающую, лишенную корысти... Это книга и о другом: о нашем одиночестве в этом мире, о невозможности понимания даже между самыми близкими людьми, о том, что каждый из нас в одиночку ищет смысл жизни, но никому еще не удавалось найти его...

В "ИЛ" опубликованы фрагменты книг Паскаля Брюкнера "Искушение невинностью" (2003, № 6) и "Вечная эйфория" (2006, № 3).

В Америке все возможно: Антология американского юмора / Перев. с англ., составление, вступительная статья, комментарии А. Ливерганта. — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2006. — 744 с. — 4000 экз.

В антологию вошли рассказы, очерки, афоризмы и пародии более тридцати американских писателей, отдавших дань жанру сатиры и юмора. Сборник открывает "Альманах Бедняка Ричарда" Бенджамина Франклина, а завершают пародии и юморески нашего современника Вуди Аллена. Взяв в руки эту книгу, читатель получит возможность не только вновь встретиться с широко известны-

ми и любимыми в нашей стране Э. По, М. Твеном, О. Генри, К. Воннегутом, но и открыть для себя многие не менее достойные блестящие имена.

Костюкович Елена. *Еда. Итальянское счастье* – М.: Эксмо, 2006. – 816 с. – 4000 экз.

Что такое флорентийский бифштекс, миланское ризотто, тревизанский цикорий, каприйский салат? Чем кухня Венеции отличается от кухни Сицилии? Как не опростоволоситься перед римским официантом, заказывая артишоки? Что подают на ватиканских приемах? С чего началось настоящее мороженое? Как разобраться в нескольких десятках видов пасты? Какой должна быть настоящая пицца?

Ответы на эти и множество других не менее насущных вопросов вы найдете в книге Елены Костюкович "Еда. Итальянское счастье". Несравненный знаток истории и культуры Италии, переводчик знаменитых романов Умберто Эко, она приглашает российского читателя в увлекательное гастрономическое путешествие по Апеннинскому полуострову в обществе классиков итальянской литературы, великих художников и поваров. С этой книгой можно странствовать по Италии – или наслаждаться жизнью, не покидая собственной кухни.

В переводе Елены Костюкович в "ИЛ" неоднократно публиковались произведения Умберто Эко.

Курлански Марк. *Всеобщая история соли* / Перев. с англ. Н. Жуковой, М. Сухановой. – М.: КоЛибри, 2007. – 512 с. – (Вещи в себе).

Принцесса из французской сказки сказала отцу: "Я люблю тебя, как соль". Король разгневался и изгнал дочь из королевства. И лишь потом, оставшись без соли, сумел осознать ее истинную ценность, а заодно и глубину дочерней любви. "Соль" американского писателя Марка Курлански – это книга о веществе, заурядность которого заставляет нас забыть, что без него невозможна сама наша жизнь. Соль так доступна и так дешево стоит, что мало кто помнит, сколь вожделенной она была еще совсем недавно – до начала XX века. Загадочным соленым кристаллам с глубокой древности приписывались самые удивительные свойства: во многих культурах соль играла важнейшую магическую роль или служила валютой, на соли приносили клятву на верность, из-за нее воевали. Подавать эту драгоценную и загадочную субстанцию к столу считалось жестом экстравагантного расточительства, а соляной налог служил для подданных мерилом справедливости монарха. Оказывается, установить подлинную стоимость соли – одной из самых доступных вещей на Земле – нелегко и сейчас.

ди Лампедуза Джузеппе Томази. *Гепард* (*Gattopardo*) / Перев. с итал. Елены Дмитриевой. – М.: Иностранка, 2006. – 336 с. – (The Best of Иностранка). 5000 экз.

Джузеппе Томази ди Лампедуза (1896–1957) – представитель древнего аристократического рода, блестящий эрудит и мастер глубоко психологического и животрепещуще поэтического письма. Роман "Гепард", принесший автору посмертную славу, давно занял заметное место среди самых ярких образцов европейской классики. Луи Арагон назвал произведение Лапмпедузы "одним из великих романов всех времен", а знаменитый Лукино Висконти получил за его экранизацию с участием Клаудии Кардинале, Алена Делона и Берта Ланкастера Золотую Пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Вели-

кая книга впервые была переведена на русский более сорока лет назад под названием "Леопард". Теперь она возвращается в Россию – в новом переводе и под своим истинным именем.

Время действия романа – 60-е годы XIX века, когда Джузеппе Гарибальди возглавил движение за объединение Италии и освобождение ее от иноземного господства. На Сицилии, где высаживаются гарибальдийцы, старый князь Фабрицио Корбера ди Салина с грустью наблюдает гибель своего класса под натиском политических бурь...

Масетти Катарина *Не плачь, Тарзан! (Tarzans tarar)* / Перев. со швед. О. Коваленко. – М.: Текст, 2006. – 221 с. – (Первый ряд). 3000 экз.

Новый роман известной шведской писательницы Катарины Масетти рассказывает о непростых отношениях между молодым преуспевающим бизнесменом и скромной учительницей рисования, которая, едва сводя концы с концами, растит двоих маленьких детей и никак не может избавиться от любви к своему необыкновенному, сумасшедшему мужу.

Нотомб Амели *Страх и трепет (Stupeur et tremblements)* / Перев. с франц. Натальи Поповой и Игоря Попова. – М.: Иностранка, 2006. – 157 с. – (The Best of Иностранка). 5000 экз.

"Страх и трепет" – самый знаменитый роман бельгийки Амели Нотомб. Он номинировался на Гонкуровскую премию, был удостоен премии Французской академии (Гран-при за лучший роман, 1999) и переведен на десятки языков.

В основе книги – реальный факт авторской биографии: едва окончив университет, Нотомб год проработала в крупной токийской компании. Амели родилась в Японии и теперь возвращается туда как на долгожданную родину, чтобы остаться навсегда. Но попытки соблюдать японские традиции и обычаи всякий раз приводят к неприятностям и оборачиваются жестокими уроками. Нотомб заставляет читателя смеяться, пугает и удивляет, а в конце концов выворачивает наизнанку миф о Японии, выстроив сюжет вокруг психологической дуэли двух юных красивых женщин.

В "ИЛ" опубликован роман Амели Нотомб "Антихриста" (2004, № 10) и повесть "Любовный саботаж" (2006, № 3).

Стоппард Том *Берег Утопии (The Coast of Utopia)* / Перев. с англ. Аркадия и Сергея Островских. – М.: Иностранка, 2006. – 480 с. – (The Best of Иностранка). 7000 экз.

Героями исторической трилогии "Берег Утопии" неожиданно стали Белинский и Чаадаев, Герцен и Бакунин, Огарев и Аксаков, десятки других исторических персонажей, в России давно поселившихся на страницах школьных учебников и хрестоматий. У Стоппарда они яркие, сложные и – главное – живые люди. Нескончаемые диалоги о судьбе России, о будущем Европы, и рядом – частная жизнь, в которой герои влюбляются, ссорятся, ошибаются, спорят, снова влюбляются, теряют близких. Нужно быть настоящим магом театра, чтобы снова вернуть им душу и страсть.

В "ИЛ" опубликованы пьесы Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (1990, № 4), "Аркадия" (1996, № 2) и "Травести" (2000, № 12).

Патрик Рамбо
Patrick Rambaud
[р. 1946]. Французский писатель, лауреат Гонкуровской премии и премии Французской академии.

Автор более 30 книг, среди них *Вирджиния К.* [*Virginie Q.*, 1988], *Падал снег* [*Il neigait*, 2000], *Отсутствующий* [*L'Absent*, 2002].
Публикуемый роман печатается по изданию *L'Idiot du village* [Paris: Bernard Grasset, 2005].

Вено Тауфер
Veno Taufer
[р. 1933]. Словенский поэт, драматург, переводчик.

Автор сборников стихов *Свинцовые звезды* [*Svinčene zvezde*, 1958], *Узник свободы* [*Jetnik prostosti*, 1963], *Приключения* [*Prigode*, 1973], *Песенник уцененных слов* [*Pesmarica rabljenih besed*, 1975], *Сонеты* [*Sonetje*, 1979], *Черепки стиха* [*Črepinje pesmi*, 1990], *Колыхание тишины* [*Nihanje molka*, 1994], *Пряди* [*Cosmi*, 2000]. В его переводах опубликованы стихи многих европейских и американских поэтов XX века, в том числе К. Кавафиса, У. Б. Йейтса, Т. С. Элиота, Т. Хьюза, У. Стивенса.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Уве Йонсон
Uwe Johnson
[1934–1984]. Немецкий прозаик, переводчик, телеведущий. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премии Теодора Фонтане, Георга Бюхнера и Ингеборг Бахман.

Автор романов *Догадки насчет Якоба* [*Mutmaßungen über Jakob*, 1959], *Третья книга про Ахима* [*Das dritte Buch über Achim*, 1961], *Дни года* в 4-х тт. [*Jahrestage*, 1970–1983] и рассказов. В *ИЛ* печатались рассказы, речь *Я о себе самом* и переписка Уве Йонсона и Макса Фриша [2003, № 9].
Публикуемый роман печатается по изданию *Zwei Ansichten* [Frankfurt: Suhrkamp, 1998].

Лиллиан Хелман
Lillian Hellman
[1907–1984]. Американская писательница, драматург.

Автор пьес *Детский час* [*The Children's Hour*, 1934], *Настанет день* [*Days to Come*, 1936], *Лисички* [*The Little Foxes*, 1939; рус. перев. 1944], *Стража на Рейне* [*Watch on the Rhine*, 1941], *Порыв ветра* [*The Searching Wind*, 1944], *Осенний сад* [*The Autumn Garden*, 1951], *Игрушки на чердаке* [*Toys in the Attic*, рус. перев. 1967] и др., автобиографического романа *Сырой материал* [*An Unfinished Woman*, 1969], сценариев. Пьесы Л. Хелман ставились во многих театрах нашей страны. По повести *Джулия* снят знаменитый одноименный фильм Ф. Циннемана с участием Джейн Фонда и Ванессы Редгрейв.
Публикуемая повесть *Julia* взята из сборника *Pentimento* [New American Library, 1973].

Роберт Геррик
Robert Herrick
[1591–1674]. Английский поэт.

Автор поэтических сборников *Геспериды* [*Hesperides*] и *Благочестивые стихотворения* [*His Noble Numbers*], вышедших под одной обложкой в 1648 г. Переводы отдельных стихотворений Геррика на русский язык публиковались в антологиях.

Джулиан Барнс
Julian Barnes
[р. 1946] Английский писатель. Лауреат премий

Автор романов *Метроленд* [*Metroland*, 1980; рус. перев. 2001], *До того, как мы встретились* [*Before She Met Me*, 1982], *Попугай Флобера* [*Flaubert's Parrot*, 1985], *Глядя на солнце* [*Staring at the Sun*, 1986]. В *ИЛ* были опубликова-

Сомерсета Моэма, Медичи, Букеровской премии. Кавалер французского ордена Искусств и Литературы

ны романы *История мира в 10 1/2 главах* [1994, № 1], *Дикобраз* [1995, № 6], *Как все было (обсуждение)* [2002, № 7], три рассказа из сборника *Через Ла-Манш* [1998, № 11], рассказ *Вспышка* [1999, № 1], рассказы из сборника *Лимонный стол* [2006, 12].
Публикуемый текст печатается по изданию *The Pedant in the Kitchen* [LONDON: ATLANTIC BOOKS, 2004].

Илья Сергеевич Смирнов
[р. 1948]. Переводчик и исследователь классической и современной литературы Китая, кандидат филологических наук.

В его переводе опубликованы книги *Из китайской лирики VIII-XIV веков* [1978], *Яшмовые ступени. Китайская поэзия эпохи Мин. XIV–XVII вв.* [1989], *Призрачная тень. Поэзия эпохи Мин* [2000], *Небесный мост. Поэзия Гао Ци 1336–1374* [2000]. В *ИЛ* печатались его переводы из средневековой китайской поэзии [1986, № 10 и 1999, № 6], повестей *Мимоза* Чжан Сянляна [1988, № 8] и *Красная Азалия. Жизнь и любовь в Китае* Аньци Минь [1996, № 6], стихов Ян Ляня [2004, № 1] и др.

Переводчики

Екатерина Львовна Кожевникова
Переводчик с французского.

В ее переводе были опубликованы произведения П. Феваля, М. Эме, М. Юрсенар, С. Брюссоло, Ж. Барбе и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат многочисленных премий, в том числе *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти стихотворных сборников [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Джона Донна *Избранное* [1994], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], сборники *Книга NONсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002], *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов* [2003] и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4; 2003, № 5], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10], У. Дж. Смита [2002, 10], Джона Клэра [2005, № 4], А. Теннисона [2006, № 5], А. Э. Хаусмана [2006, № 6], Дж. М. Хопкинса [2006, № 12] и др., эссе *Йейтс в 1923 году. Возвращение в Тур Баллили* [2005, № 10].

Софья Львовна Фридлянд
[1928—2006]. Переводчик с немецкого и скандинавских языков. Лауреат премии имени Жуковского [1998].

Переводила романы, рассказы и пьесы К. Гамсуна, С. Цвейга, В. Кёппена, К. Вольф, М. Вальзера, А. Стриндберга, И. Бахман и др. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы романы Э. Штриттматтера *Оле Бинкоп* [совместно с Н. Ман, 1965, № 7—10], Ф. Дюрренматта *Правосудие* [1988, № 6] и *Пенсионер* [фрагмент, 1996, № 4], Г. Грасса *Жестяной барабан* [Книга первая, 1995, № 11], повесть М. В. Шульца *Солдат и женщина* [1979, № 10], главы из книги Г. де Бройна *Сорок лет. Повесть о жизни* [1998, № 2] и др.

Лариса Георгиевна Беспалова
Переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе издавались произведения И. Во, Б. Бейнбридж, О. Генри, С. Моэма, К. Э. Портер, У. Фолкнера, В. Вулф, С. Беккета, С. Беллоу, А. Моруа и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили и др.

Вера Вячеславовна Пророкова
Филолог, переводчик с английского.

В ее переводе публиковались произведения Т. Адзопарди, И. Б. Зингера, Б. Маламуда, а также роман *На прибрежье Гитчи-Гюми* Т. Яновиц и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказы из сборника Т. Яновиц *Рабы Нью-Йорка* [1998, № 3], романы Ф. Проуз *Голубой ангел* [2002, № 11, 12], Т. Роббинса *Вилла "Инкогнито"* [2005, № 1], глава из книги П. Г. Вудхауса *За семьдесят* [2005, № 10].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В первом номере "ИЛ" за 2007 г.
пропущен копирайт Кэрил Черчилл –
© Caryl Churchill Ltd 2000
и не напечатано имя автора фотографии Кэрил Черчилл –
Вэл Риландс.

В оформлении обложки использован фрагмент картины картины немецкого художника Рудольфа Дишингера [1904–1988] *Граммофон* [1930].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова.
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в в киосках "Новой газеты". Обращайтесь по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12:00 до 17:30 часов.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

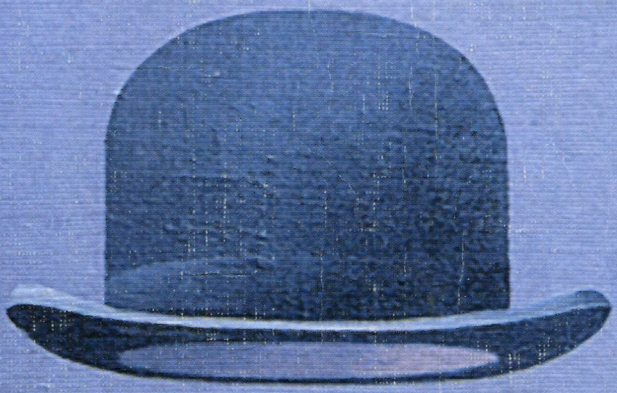
Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.1.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 17.
Тираж 7330 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

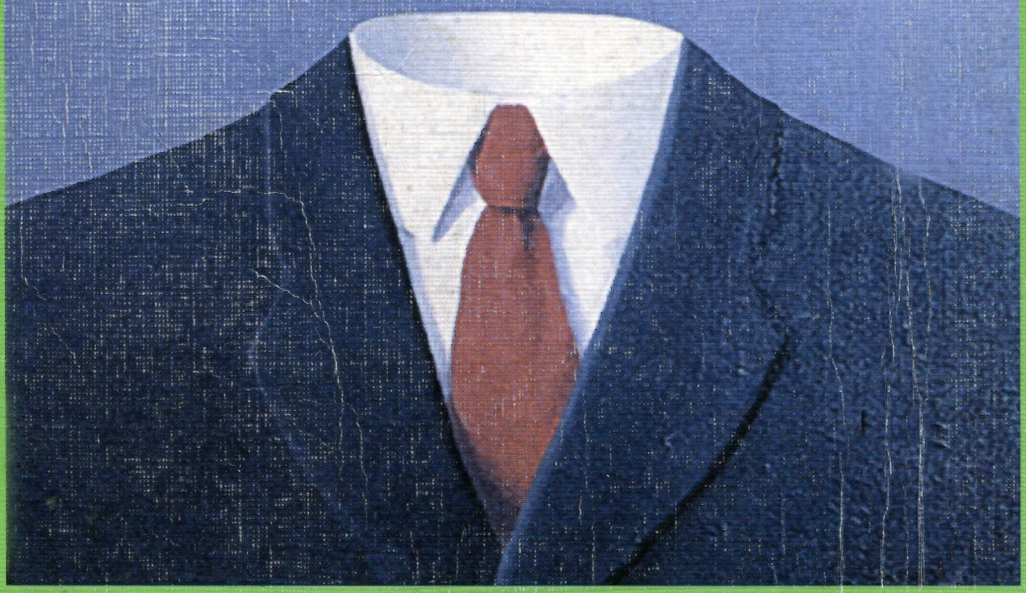
[3] 2007

ШВЕЦИЯ XXI: НОВЫЕ ГОЛОСА — РОМАНЫ ЛОТТЫ ЛУТАСС “ГОЛОСА В ПРОСТРАНСТВЕ” И ЮНАСА ХАССЕНА ХЕМИРИ “НА КРАСНОМ ГЛАЗУ” / АНТОЛОГИЯ НОВЕЛЛЫ: СЕСИЛИЯ ДАВИДСОН, МАТС КЕМПЕ, ЧЕРСТИН НУРБОРГ, НИННИ ХОЛЬМКВИСТ И ДР. / СТИХИ ХЕЛЕНЫ ЭРИКСОН, ОСЕ БЕРГА, БОБА ХАНСОНА И ДР. / СТАТЬИ О СОВРЕМЕННОЙ ШВЕДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СТАФФАНА СЁДЕРБЛУМА И МАЛЬТЕ ПЕРСОНА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Отдельные номера можно приобрести в редакции журнала
"Иностранная литература" по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №2, 1-304